

К. Р. Манускович

Константин Михайлович Станюкович

Том 3. Повести и рассказы (Собрание сочинений в десяти томах #3)

Константин Михайлович Станюкович — талантливый и умный, хорошо знающий жизнь и удивительно работоспособный писатель, создал множество произведений, среди которых романы, повести и пьесы, очерки и новеллы. Произведения его отличаются высоким гражданским чувством, прямо и остро решают вопросы морали, порядочности, честности, принципиальности.

В третий том вошли рассказы и повести: «Человек за бортом», «На камнях», «Мрачный штурман», «В шторм», «Между своими», «Серж Птичкин», «Истинно русский человек», «Танечка», «Испорченный день» и другие.

<http://ruslit.traumlibrary.net>

Содержание

Повести и рассказы	0005
«Человек за бортом»	0005
На камнях	0045
Мрачный штурман *	0079
В шторм	0191
Между своими	0220
Серж Птичкин	0246
Истинно русский человек *	0273
Танечка	0315
Испорченный день	0348
Грозный адмирал	0377
«Бесшабашный»	0534
Пассажирка *	0606
Страдалец *	0762
Рождественская ночь *	0795
Дяденька Протас Иванович *	0806
Комментарии	0843

**Константин Михайлович
Станюкович
Собрание сочинений в
десяти томах
Том 3. Повести и рассказы**

Повести и рассказы

«Человек за бортом»

I

Жара тропического дня начинала спадать. Солнце медленно катилось к горизонту.

Подгоняемый нежным пассатом, клипер нес всю парусину и бесшумно скользил по Атлантическому океану, узлов по семи. Пусто кругом: ни паруса, ни дымка на горизонте! Куда ни взглянешь, все та же безбрежная водяная равнина, слегка волнующаяся и роко-чущая каким-то таинственным гулом, окайм-ленная со всех сторон прозрачной синевой безоблачного купола. Воздух мягок и прозрачен; от океана несет здоровым морским запа-хом.

Пусто кругом.

Изредка разве блеснет под лучами солнца яркой чешуйкой, словно золотом, перепрыги-вающая летучая рыбка, высоко в воздухе про-реет белый альбатрос, торопливо пронесется над водой маленькая петрель, спешащая к да-

лекому африканскому берегу, раздастся шум водяной струи, выпускаемой китом, и опять ни одного живого существа вокруг. Океан да небо, небо да океан — оба спокойные, ласковые, улыбающиеся.

— Дозвольте, ваше благородие, песенникам песни петь? — спросил вахтенный унтер-офицер, подходя к офицеру, лениво шагающему по мостику.

Офицер утвердительно махнул головой, и через минуту стройные звуки деревенской песни, полной шири и грусти, разнеслись среди океана.

Довольные, что после дневной истомы наступила прохлада, матросы толпятся на баке, слушая песенников, собравшихся у баковой пушки. Завзятые любители, особенно из старых матросов, обступив певцов тесным кружком, слушают сосредоточенно и серьезно, и на многих загорелых, обветрившихся лицах светится безмолвный восторг. Подавшийся вперед широкоплечий, сутулый старик Лаврентьич, «основательный» матрос из «баковщины», с жилистыми, просмоленными руками, без пальца на одной руке, давно оторван-

ного марса-фалом, и цепкими, слегка вывернутыми ногами, — отчаянный пьяница, которого с берега привозят всегда в бесчувствии и с разбитой физиономией (он любит лезть в драку с иностранными матросами за то, что они, по его мнению, «не пьют настояще, а только куражатся», разбавляя водой крепчайший ром, который он дует гольем), — этот самый Лаврентьич, слушая песни, словно замер в какой-то истоме, и его морщинистое лицо с красно-сизым, как слива, носом и щетинистыми усами — обыкновенно сердитое, точно Лаврентьич чем-то недоволен и сейчас выпустит фонтан ругани, — смотрит теперь необыкновенно кротко, смягченное выражением тихой задумчивости. Некоторые матросы тихонько подтягивают; другие, рассевшись по кучкам, вполголоса разговаривают, выражая по временам одобрение то улыбкой, то восклицанием.

И в самом деле, хорошо поют наши песенники! Голоса в хоре подобрались всё молодые, свежие и чистые и спелись отлично. Особенно приводил всех в восторг превосходный бархатный тенорок подголоска Шутикова.

Этот голос выделялся среди хора своей красотой, забираясь в самую душу чарующей искренностью и теплотой выражения.

— За самое нутро хватает, подлец, — говорили про подголоска матросы.

Песня лилась за песнью, напоминая матросам, среди тепла и блеска тропиков, далекую родину с ее снегами и морозами, полями, лесами и черными избами, с ее близкими сердцу бездольем и убожеством...

— Вали плясовую, ребята!

Хор грянул веселую плясовую. Тенорок Шутикова так и заливался, так и звенел теперь удальством и весельем, вызывая невольную улыбку на лицах и заставляя даже солидных матросов поводить плечами и притопывать ногами.

Макарка, маленький, бойкий молодой матросик, давно уже чувствовавший зуд в своем поджаром, словно в себя подобранном теле, не выдержал и пошел отхватывать трепака под звуки залихватской песни, к общему удовольствию зрителей.

Наконец пение и пляска кончились. Когда Шутиков, сухощавый, стройный чернявый

матрос, вышел из круга и пошел курить к кадке, его провожали одобрителными замечаниями.

— И хорошо же ты поешь, ах хорошо, пес тебя ешь! — заметил растроганный Лаврентьич, покачивая головой и прибавляя в знак одобрения непечатное ругательство.

— Ему бы подучиться, да ежели, примерно, генерал-бас понять, так хучь в оперу! — с апломбом вставил молодой наш писарь из кантонистов, Пуговкин, щеголявший хорошим обращением и изысканными выражениями.

Лаврентьич, не терпевший и презиравший «чиновников»[1], как людей, по его мнению, совершенно бесполезных на судне, и считавший как бы долгом чести при всяком случае обрывать их, насупился, бросил сердитый взгляд на белокурого, полнотелого, смазливового писарька и сказал:

— Ты-то у нас опера!.. Брюхо отрастил от лодырства, и вышла опера!..

Среди матросов раздалось хихиканье.

— Да вы понимаете ли, что такое обозначает опера? — заметил сконфуженный писа-

рек... — Эх, необразованный народ! — тихо проговорил он и благоразумно поспешил скрыться.

— Ишь какая образованная мамзеля! — презрительно пустил ему вслед Лаврентьич и прибавил, по своему обыкновению, забористую ругань, но уже без ласкового выражения...

— То-то я и говорю, — начал он, помолчав и обращаясь к Шутикову, — важно ты поешь песни, Егорка...

— Уж что и толковать. Он у нас на все руки. Одно слово... молодца Егорка!.. — заметил кто-то.

В ответ на одобрения Шутиков только улыбался, скаля белые ровные зубы из-под добродушных пухлых губ.

И эта довольная улыбка, ясная и светлая, как у детей, стоявшая в мягких чертах молодого, свежего лица, подернутого краской загара, и эти большие темные глаза, кроткие и ласковые, как у щенка, и аккуратная, подобранный, сухощавая фигура, крепкая, мускулистая и гибкая, не лишенная, однако, крестьянской мешковатой складки, — все в нем

притягивало и располагало к себе с первого же раза, как и чудный его голос. И Шутиков пользовался общей приязнью. Все любили его, и он всех, казалось, любил.

Это была одна из тех редких, счастливых, жизнерадостных натур, при виде которых невольно делается светлее и радостнее на душе. Такие люди какие-то прирожденные философы-оптимисты. Его веселый, сердечный смех часто раздавался на клипере. Бывало, он что-нибудь рассказывает и первый же заразительно, вкусно смеется. Глядя на него, и другие невольно смеялись, хотя бы в рассказе Шутикова иногда и не было ничего особенно смешного. Оттачивая какой-нибудь блок, отскабливая краску на шлюпке или коротая ночную вахту, примостившись на марсе, за ветром, Шутиков обыкновенно тихо подпевал какую-нибудь песенку, а сам улыбался своей хорошей улыбкой, и всем было как-то весело и уютно с ним. Редко когда видели Шутикова сердитым или печальным. Веселое настроение не покидало его и тогда, когда другие готовы были упасть духом, и в такие минуты Шутиков был незаменим.

Помню я, как однажды мы штормовали. Ветер ревел жестокий, кругом бушевала буря, и клипер, под штормовыми парусами, бросало, как щепку, на океанском волнении, готовом, казалось, поглотить в своих седых гребнях утлое суденышко. Клипер вздрагивал и жалобно стонал всеми членами, сливая свои жалобы со свистом ветра, завывающего в надувшихся снастях. Даже старики матросы, видавшие всякие виды, угрюмо молчали, пытливо посматривая на мостик, где словно приросла к поручням высокая, закутанная в дождевик фигура капитана, зорко взглядывавшего на беснующуюся бурю.

А Шутиков в это время, придерживаясь одной рукою за снасти, чтоб не упасть, занимал небольшую кучку молодых матросов, с испуганными лицами прижавшихся к мачте, посторонними разговорами. Он так спокойно и просто «лясничал», рассказывая про какой-то забавный деревенский случай, и так добродушно смеялся, когда долетавшие брызги волн попадали ему в лицо, что это спокойное настроение невольно передавалось другим и ободряло молодых матросов, отгоняя всякую

мысль об опасности.

— И где это ты, дьявол, насобачился так ловко горло драть? — снова заговорил Лаврентьич, подсасывая носогрейку с махоркой... — Пел у нас на «Костенкине» один матросик, надо правду сказать, что форменно, шельма, пел... да все не так забористо.

— Так, самоучкой, в пастухах когда жил. Бывало, стадо разбредется по лесу, а сам лежишь под березкой и песни играешь... Меня так в деревне и прозывали: певчий пастух! — прибавил Шутиков улыбаясь.

И все почему-то улыбнулись в ответ, а Лаврентьич, кроме того, трепанул Шутикова по спине и, в виде особого расположения, выругался в самом нежном тоне, на который только был способен его испитой голос.

II

В эту минуту, расталкивая матросов, в круг торопливо вошел только что выскочивший из палубы плотный пожилой матрос Игнатов.

Бледный и растерянный, с непокрытой, коротко стриженной круглой головой, он сообщил прерывистым от злобы и волнения голосом, что у него украли золотой.

— Двадцать франкоков! Двадцать франкоков, братцы! — жалобно повторял он, подчеркивая цифру.

Это известие смутило всех. Такие дела бывали редкостью на клипере.

Старики нахмурились. Молодые матросы, недовольные, что Игнатов внезапно нарушил веселое настроение, более с испуганным любопытством, чем с сочувствием, слушали, как он, задыхаясь и отчаянно размахивая своими опрятными руками, спешил рассказать про все обстоятельства, сопровождавшие покражу: как он, еще сегодня, после обеда, когда команда отдыхала, ходил в свой сундучишко, и все было, слава богу, целехонько, все на своем месте, и как вот сейчас он пошел было за сапожным товаром — и... замок, братцы, сломан... двадцати франкоков нет...

— Это как же? Своего же брата обкрадывать? — закончил Игнатов, обводя толпу блуждающим взглядом.

Его гладкое, сытое, чисто выбритое, покрытое крупными веснушками лицо с небольшими круглыми глазами и острым, словно у ястреба, загнутым носом, отличавшееся всегда

спокойной сдержанностью и довольным степенным видом неглупого человека, понимающего себе цену, теперь было искажено отчаянием скряги, который потерял все имущество. Нижняя челюсть вздрагивала; круглые его глаза растерянно перебегали по лицам. Видно было, что покража совсем его расстроила, обнаружив его кулацкую скаредную натуру.

Недаром же Игнатов, которого некоторые матросы уж начинали почетно величать «Семенычем», был прижимистым и жадным к деньгам человеком. Он и в кругосветное плавание пошел, вызвавшись охотником и оставив в Кронштадте жену — торговку на базаре — и двоих детей, с единственной целью прикопить в плавании деньжонок и, выйдя в отставку, заняться в Кронштадте по малости торговлей. Он вел крайне воздержную жизнь, вина не пил, на берегу денег не тратил. Он копил деньги, копил их упорно, по грошам, знал, где можно выгодно менять золото и серебро, и, под большим секретом, давал мелкие суммы займы за проценты надежным людям. Вообще Игнатов был человек обороти-

стый и рассчитывал сделать хорошее дело, привезя в Россию для продажи сигар и кое-какие японские и китайские вещи. Он и раньше уж занимался такими делишками, когда плавал по летам в Финском заливе: в Ревеле, бывало, закупит килек, в Гельсингфорсе сигар и мамуровки и с выгодой перепродает в Кронштадте.

Игнатов был рулевым, служил исправно, стараясь ладить со всеми, дружил с баталером и подшкипером, был грамотен и тщательно скрывал, что у него водятся деньжонки, и притом для матроса порядочные.

— Это беспрременно подлец Прошка, никто, как он! — закипая гневом, взволнованно продолжал Игнатов. — Даве он все вертелся в палубе, когда я ходил в сундук... Что ж теперь с этим подлецом делать, братцы? — спрашивал он, обращаясь преимущественно к старикам и как бы ища их поддержки. — Неужто я так и решусь денег?.. Ведь деньги-то у меня кровные... Сами знаете, братцы, какие у матроса деньги... По грошам сбирал... чарки своей не пью... — прибавил он униженным, жалобным тоном.

Хотя никаких других улик, кроме того, что Прошка «даве вертелся в палубе», не было, тем не менее и сам потерпевший и слушатели не сомневались, что украл деньги именно Прошка Житин, не раз уже попадавшийся в мелких кражах у товарищей. Ни один голос не раздался в его защиту. Напротив, многие возмущенные матросы осыпали предполагаемого вора бранью.

— Эдакий мерзавец... Только срамит матросское звание... — с сердцем сказал Лаврентьич.

— Д-да... Завелась и у нас паршивая собака...

— Надо его теперь проучить, чтобы помнил, лодырь беспутный!

— Так как же, братцы? — продолжал Игнатов... — Что с Прошкой делать?.. Ежели не отдаст он добром, я попрошу доложить старшему офицеру. Пусть по форме разберут.

Но эта приятная Игнатову мысль не нашла на баке поддержки. На баке был свой особенный, неписанный устав, строгими охранителями которого, как древле жрецы, были старые матросы.

И Лаврентьич первый энергично запротестовал.

— Это, выходит, с лепортом по начальству? — презрительно протянул он. — Кляузы заводить? Забыл, видно, с перепугу матросскую правилу? Эх вы... народ! — И Лаврентьич для облегчения помянул «народ» своим обычным словом. — Тоже выдумал, а еще матросом считаешься! — прибавил он, бросая на Игнатова не особенно дружелюбный взгляд.

— По-вашему, как же?

— А по-нашему так же, как прежде учили. Избей ты собачьего сына Прошку вдрызг, чтобы помнил, да отыми деньги. Вот как по-нашему.

— Мало ли его, подлеца, били! А ежели он не отдаст?.. Так, значит, и пропадать деньгам? Это за что же? Пусть уж лучше форменно засудят вора... Такую собаку нечего жалеть, братцы.

— Жаден ты к деньгам уж очень, Игнатов... Небось Прошка не все украл... Еще малость осталась? — иронически промолвил Лаврентьич.

— Считал ты, что ли!

— То-то не считал, а только не матросское это дело — кляузы. Не годится! — авторитетно заметил Лаврентьич. — Верно ли я говорю, ребята?

И все почти «ребята», к неудовольствию Игнатова, подтвердили, что кляузы заводить «не годится».

— А теперь веди сюда Прошку! Допроси его при ребятах! — решил Лаврентьич.

И Игнатов, злой и недовольный, подчинился, однако, общему решению и пошел за Прошкой.

В ожидании его матросы теснее сомкнули круг.

III

Проход Житин, или, как все пренебрежительно называли его, Прошка, был самым последним матросом. Попавший в матросы из дворовых, отчаянный трус, которого только угроза порки могла заставить подняться на марс, где он испытывал неодолимый физический страх, лентяй и лодырь, отлынивавший от работы, и ко всему этому нечистый на руку, Прошка с самого начала плавания стал в

положение какого-то отверженного пария. Все им помыкали; боцмана и унтер-офицеры походя, и за дело, и так, здорово живешь, ругали и били Прошку, приговаривая: «У, лодырь!» И он никогда не протестовал, а с какой-то привычной тупой покорностью забитого животного переносил побои. После нескольких мелких краж, в которых он был уличен, с ним почти не разговаривали и обращались с пренебрежением. Всякий, кому не лень, мог безнаказанно обругать его, ударить, послать куда-нибудь, поглумиться над ним, словно бы иное отношение к Прошке было немислимо. И Прошка так, казалось, привык к этому положению загнанной, паршивой собаки, что и не ждал иного обращения и переносил всю каторжную жизнь, по-видимому, без особенной тягости, вознаграждая себя на клипере сытной едой да дрессировкой поросенка, которого Прошка учил делать разные штуки, а при съездах на берег — выпивкой и ухаживаньем за прекрасным полом, до которого он был большой охотник; на женщин он тратил последний грош и ради них, кажется, таскал деньги у товарищей, несмотря на суро-

вое возмездие, получаемое им в случае поимки. Он был вечный «гальюнщик» — другой должности ему не было, и состоял в числе шкапачных, исполняя обязанность рабочей силы, не требовавшей никаких способностей. И тут ему доставалось, так как он всегда лениво тянул вместе с другими какую-нибудь снасть, делая только вид, как ленивая лукавая лошадь, будто взаправду тянет.

— У-у... подлый лодырь! — ругал его шкапачный унтер-офицер, обещая ему уже начистить зубы.

И, разумеется, «чистил».

IV

Забравшись под баркас, Прошка сладко спал, бессмысленно улыбаясь во сне. Сильный удар ноги разбудил его. Он хотел было залезть подальше от этой непрошеной ноги, как новый пинок дал понять Прошке, что он зачем-то нужен и что надо вылезать из укромного местечка. Он выполз, поднялся на ноги и глядел на злое лицо Игнатова тупым взором, словно бы ожидая, что его еще будут бить.

— Ступай за мной! — проговорил Игнатов,

едва сдерживаясь от желания тут же истерзать Прошку.

Прошка покорно, словно виноватая собака, пошел за Игнатовым своей медленной, ленивой походкой, переваливаясь, как утка, со стороны на сторону.

Это был человек лет за тридцать, мягкотелый, неуклюжий, плохо сложенный, с несоответственным туловищем на коротких кривых ногах, какие бывают у портных. (До службы он и был портным в помещичьей усадьбе.) Его одутловатое, землистого цвета лицо с широким плоским носом и большими оттопырившимися ушами, торчащими из-под шапки, было невзрачно и изношенно. Небольшие тусклые серые глаза глядели из-под светлых редких бровей с выражением покорного равнодушия, какое бывает у забитых людей, но в то же время в них как будто чувствовалось что-то лукавое. Во всей его неуклюжей фигуре незаметно было и следа матросской выправки; все на нем сидело мешковато и неряшливо, — словом, Прошкина фигура была совсем нерасполагающая.

Когда, вслед за Игнатовым, Прошка вошел

в круг, все разговоры смолкли. Матросы теснее сомкнулись, и взоры всех устремились на вора.

Для начала допроса Игнатов первым делом со всего размаха ударил Прошку по лицу.

Удар был неожиданный. Прошка слегка пошатнулся и безответно снес затрецину. Только лицо его сделалось еще тупее и испуганнее.

— Ты сперва толком пытай, а накласть в кису успеешь! — сердито промолвил Лаврентьич.

— Это ему в задаток, подлецу! — заметил Игнатов и, обратившись к Прошке, сказал: — Признавайся, сволочь, ты у меня золотой из сундука украл?

При этих словах тупое Прошкино лицо мгновенно осветилось осмысленным выражением. Он понял, казалось, всю тяжесть обвинения, бросил испуганный взгляд на сосредоточенно-серьезные, недоброжелательные лица и вдруг побледнел и как-то весь съежился. Тупой страх исказил его черты.

Эта внезапная перемена еще более утвердила всех в мысли, что деньги украл Прошка.

Прошка молчал, потупив глаза.

— Где деньги? Куда ты их спрятал? Сказывай! — продолжал допросчик.

— Я денег твоих не брал! — тихо отвечал Прошка.

Игнатов пришел в ярость.

— Ой, смотри... до смерти изобью, коли ты добром не отдашь денег!.. — сказал Игнатов и сказал так злобно и серьезно, что Прошка подался назад.

И со всех сторон раздались неприязненные голоса:

— Повинись лучше, скотина!

— Не запирайся, Прошка!

— Лучше добром отдай!

Прошка видел, что все против него. Он поднял голову, снял шапку и, обращаясь к толпе, воскликнул с безнадежным отчаянием человека, хватающегося за соломинку:

— Братцы! Как перед истинным богом! Хучь под присягу сичас! Разрази меня на месте!.. Делайте со мной, что вгодно, а я денег не брал!

Прошкины слова, казалось, поколебали некоторых.

Но Игнатов не дал усилиться впечатлению и торопливо заговорил:

— Не ври, подлая тварь... Бога-то оставь! Ты и тогда запирался, когда у Кузьмина из кармана франок вытащил... помнишь? А как у Левонтьева рубаху украл, тоже шел под присягу, а? Тебе, бесстыжему, присягнуть, что плюнуть...

Прошка снова опустил голову.

— Винись, говорят тебе, скорее. Сказывай, где мои деньги? Нешто я не видел, как ты около вертелся... Сказывай, бессовестный, зачем ты в палубе шнырял, когда все отдыхали? — наступал допросчик.

— Так ходил...

— Так ходил?! Эй, Прошка, не доводи до греха. Признавайся.

Но Прошка молчал.

Тогда Игнатов, словно бы желая испробовать последнее средство, вдруг сразу изменил тон. Теперь он не угрожал, а просил Прошку отдать деньги ласковым, почти заискивающим тоном.

— Тебе ничего не будет... слышишь?.. Отдай только мои деньги... Тебе ведь пропить, а

у меня семейство... Отдай же! — почти молил Игнатов.

— Обыщите меня... Не брал я твоих денег!

— Так ты не брал, подлая душа? Не брал? — воскликнул Игнатов с побелевшим от злобы лицом. — Не брал?!

И с этими словами он, как ястреб, налетел на Прошку.

Бледный, вздрагивающий всем съезжившимся телом, Прошка зажмурил глаза и старался скрыть от ударов голову.

Матросы молча хмурились, глядя на эту безобразную сцену. А Игнатов, возбужденный безответностью жертвы, свирепел все более и более.

— Полно... Будет... будет! — раздался вдруг из толпы голос Шутикова.

И этот мягкий просящий голос точно сразу пробудил человеческие чувства и у других.

Многие из толпы, вслед за Шутиковым, сердито крикнули:

— Будет... будет!

— Ты прежде обыщи Прошку и тогда учи!

Игнатов оставил Прошку и, злобно вздрагивая, отошел в сторону. Прошка юркнул вон

из круга. Несколько мгновений все молчали.

— Ишь ведь, какой подлец... запирается! — переводя дух, проговорил Игнатов. — Ужо погоди, как я его на берегу разделаю, коли не отдаст деньги! — грозился Игнатов.

— А может, это и не он! — вдруг тихо сказал Шутиков.

И та же мысль, казалось, сказывалась на некоторых напряженно-серьезных, насупившихся лицах.

— Не он? Впервые ему, что ли?.. Это беспреренно его дело... Вор известный, чтоб ему...

И Игнатов, взяв двух человек, ушел обыскивать Прошкины вещи.

— И зол же человек на деньги! Ох, зол! — сердито проворчал Лаврентьич вслед Игнатову, покачивая головой. — А ты не воруй, не срами матросского звания! — вдруг прибавил он неожиданно и выругался — на этот раз, по видимому, с единственной целью: разрешить недоумение, ясно стоявшее на его лице.

— Так ты, Егор, думаешь, что это не Прошка? — спросил он после минутного молчания. — Кабысь больше некому.

Шутиков промолчал, и Лаврентьич больше не спрашивал и стал усиленно раскуривать свою короткую трубочку.

Толпа стала расходиться.

Через несколько минут на баке стало известно, что ни у Прошки, ни в его вещах денег не нашли.

— Запрятал, шельма, куда-нибудь! — решили многие и прибавляли, что теперь Прошке придется худо: Игнатов не простит ему этих денег.

V

Нежная тропическая ночь быстро спустилась над океаном.

Матросы спали на палубе — внизу было душно, — а на вахте стояло одно отделение. В тропиках, в полосе пассата, вахты спокойные, и вахтенные матросы, по обыкновению, коротают ночные часы, разгоняя дрему беседами и сказками.

В эту ночь, с полуночи до шести, на вахте довелось быть второму отделению, в котором были Шутиков и Прошка.

Шутиков уж рассказал несколько сказок кучке матросов, усевшихся у фок-мачты, и от-

правился покурить. Выкуривши трубку, он пошел, осторожно ступая между спящими, на шканцы и, разглядев в темноте Прошку, одиноко притулившегося у борта и поклевывавшего носом, тихо окликнул его:

— Это ты... Прошка?

— Я! — встрепенулся Прошка.

— Что я тебе скажу, — продолжал Шутиков тихим ласковым голосом: — ведь Игнатов, сам знаешь, человек какой... Он тебя вовсе изобьет на берегу... безо всякой жалости...

Прошка насторожился... Этот тон был для него неожиданностью.

— Что ж, пусть бьет, а я евойных денег не касался! — ответил после короткого молчания Прошка.

— То-то он не верит и, пока не вернет своих денег, тебе не простит... И многие ребята сомневаются...

— Сказано: не брал! — повторил Прошка с прежним упорством.

— Я, братец, верю, что ты не брал... Слышь, верю, и пожалел, что тебя занапрасно давеча били и Игнатов еще грозит бить... А ты вот чего, Прошка: возьми ты у меня двадцать

франоков и отдай их Игнатову... Бог с ним! Пусть радуется на деньги, а мне когда-нибудь отдашь — приневоливать не стану... Так-то оно будет аккуратней... Да, слышь, никому про это не сказывай! — прибавил Шутиков.

Прошка был решительно озадачен и не находил в первую минуту слов. Если б Шутиков мог разглядеть Прошкино лицо, то увидел бы, что оно смущено и необыкновенно взволнованно. Еще бы! Прошку жалеют, и мало того, что жалеют, еще предлагают деньги, чтобы избавить его от биття. Это уж было слишком для человека, давно не слыхавшего ласкового слова.

Подавленный, чувствуя, как что-то подступает к горлу, молча стоял он, опустив голову.

— Так бери деньги! — сказал Шутиков, доставая из кармана штанов завернутый в тряпочку весь свой капитал.

— Это как же... Ах ты господи! — растерянно бормотал Прошка.

— Эка... глупый... Сказано: получай, не кобянься!

— Получай?! А, братец! Спасибо тебе, добрая твоя душа! — отвечал Прошка дрогнув-

шим от волнения голосом и вдруг решительно прибавил: — Только твоих денег, Шутиков, не нужно... Я все же чувствую и не хочу перед тобой быть подлецом... Не желаю... Я сам после вахты отдам Игнатову его золотой.

— Так, значит, ты...

— То-то я! — чуть слышно промолвил Прошка... — Никто бы и не дознался... Деньги-то в пушке запрятаны...

— Эх, Прохор, Прохор! — упрекнул только Шутиков грустным тоном, покачивая головой.

— Теперь пусть он меня бьет... Пусть всю скулу своротит. Сделай ваше одолжение! Бейте подлеца Прошку... жарь его, мерзавца, не жалей! — с каким-то ожесточенным одушевлением против собственной особы продолжал Прошка. — Все перенесу с моим удовольствием... По крайности знаю, что ты пожалел, поверил... Ласковое слово сказал Прошке... Ах ты господи! Вовек этого не забуду!

— Ишь ведь ты какой! — промолвил ласково Шутиков и присел на пушку.

Он помолчал и заговорил:

— Слушай, что я тебе скажу, братец ты

мой: брось-ка ты все эти дела... право, брось, ну их!.. Живи, Прохор, как люди живут, по-хорошему... Стань форменным матросом, чтобы все, значит, как следует... Так-то душевней будет... А то разве самому тебе сладко?.. Я, Прохор, не в укор, а жалеючи!.. — прибавил Шутиков.

Прошка слушал эти слова и находился под их обаянием. Никто, во всю его жизнь, не говорил с ним так ласково и задушевно. До сей поры его только ругали да били — вот какое было ученье.

И теплое чувство благодарности и умиления охватило Прошкино сердце. Он хотел было выразить их словами, но слова не отыскивались.

Когда Шутиков отошел, пообещав уговорить Игнатова простить Прошку, Прошка не чувствовал уж себя таким ничтожеством, каким считал себя прежде. Долго еще стоял он, посматривая за борт, и раз или два смахнул наверхывавшуюся слезу.

Утром, после смены, он принес Игнатову золотой. Обрадованный матрос алчно схватил деньги, зажал их в руке, дал Прошке в зу-

бы и хотел было идти, но Прошка стоял перед ним и повторял:

— Бей еще... Бей, Семеныч! В морду в самую дуй!

Удивленный Прошкиной смелостью, Игнатов презрительно оглядел Прошку и проговорил:

— Я разделал бы тебя, мерзавца, начисто, кабы ты мне не отдал деньги, а теперь не стоит рук марать... Сгинь, сволочь, но только смотри... попробуй еще раз ко мне лазить... Искалечу! — внушительно прибавил Игнатов и, оттолкнув с дороги Прошку, побежал вниз прятать свои деньги.

Тем и ограничилась расправа.

Благодаря ходатайству Шутикова и боцман Щукин, узнавший о воровстве и собиравшийся «после уборки искровянить стервеца», вместо того довольно милостиво, относительно говоря, потрепал, как он выражался, «Прошкино хайло».

— Испужался Прошка Семеныча-то! Предоставил деньги, а ведь как запирался, шельма! — говорили матросы во время утренней чистки.

VI

С той памятной ночи Прошка беззаветно привязался к Шутикову и был предан ему, как верная собака. Выражать свою привязанность открыто, при всех, он, разумеется, не решался, чувствуя, вероятно, что дружба такого отверженца унизит Шутикова в чужих глазах. Он никогда не заговаривал с Шутиковым при других, но часто взглядывал на него, как на какое-то особенное существо, перед которым он, Прошка, последняя дрянь. И он гордился своим покровителем, принимая близко к сердцу все, до него касающееся. Он любовался, поглядывая снизу, как Шутиков лихо управляет на рее, замирал от удовольствия, слушая его пение, и вообще находил необыкновенно хорошим все, что ни делал Шутиков. Иногда днем, но чаще во время ночных вахт, заметив Шутикова одного, Прошка подходил и топтался около.

— Ты чего, Прохор? — спросит, бывало, приветливо Шутиков.

— Так, ничего! — ответит Прошка.

— Куда ж ты?

— А к своему месту... Я ведь так только! —

скажет Прошка, словно бы извиняясь, что беспокоит Шутикова, и уйдет.

Всеми силами старался Прошка чем-нибудь да угодить Шутикову: то предложит ему постирать белье, то починить его гардероб, и часто отходил смущенный, получая отказ от услуг. Однажды Прошка принес щегольски сработанную матросскую рубаху с голландским передом и, несколько взволнованный, подал ее Шутикову.

— Молодец, Житин... Важная, брат, работа! — одобрительно заметил Шутиков после подробного осмотра и протянул руку, возвращая рубаху.

— Это я тебе, Егор Митрич... Уважь... Носи на здоровье.

Шутиков стал было отказываться, но Прошка так огорчился и так просил уважить его, что Шутиков, наконец, принял подарок.

Прошка был в восторге.

Случайно проходивший Шутиков, увидав, как травят Прошку, вступился:

— Это, Иванов, не того... нехорошо это... Чего ты пристал к человеку, ровно смола?

— Прошка у нас не обидчивый! — со сме-

хом отвечал Иванов... — Ну-ка, Прошенька, расскажи, как ты у батюшки шильники таскал и мамзелям опосля носил... Не кочевряжься... Расскажи, Прошенька! — глумился на общую потеху Иванов.

— Не тронь, говорю, человека... — строго повторил Шутиков.

Все были удивлены, что за Прошку, за лодыря и вора Прошку, Шутиков так горячо заступается.

— Да ты чего? — окрысился вдруг Иванов.

— Я-то ничего, а ты не куражься... Ишь тоже нашел над кем куражиться.

Тронутый до глубины души и в то же время боявшийся, чтобы из-за него не было Шутикову неприятностей, Прошка решился подать голос:

— Иванов ничего... Он ведь так только... Шутит, значит...

— А ты съездил бы его по уху, небось перестал бы так шутить.

— Прошка бы съездил?.. — удивленно воскликнул Иванов, до того показалось ему это невероятным. — Ну-ка, попробуй, Прошка... насыпал бы я тебе, вислоухому, в кису.

— Может, и сам бы съел сдачи.

— Не от тебя ли?

— То-то от меня! — сдерживая волнение, проговорил Шутиков, и его обыкновенно добродушное лицо было теперь строго и серьезно.

Иванов стусевался. И только когда Шутиков отошел, проговорил, насмешливо улыбаясь и указывая на Прошку:

— Однако... нашел себе приятеля Шутиков... Нечего сказать... приятель... хорош приятель, Прошка-гальюнщик!

После этого происшествия Прошку обижали меньше, зная, что у него есть заступник, а Прошка еще сильнее привязался к Шутикову и скоро доказал, на что способна привязанность его благодарной души.

VII

Это было в Индийском океане, на пути к Зондским островам.

Утро в тот день стояло солнечное, блестящее, но прохладное — относительная близость Южного полюса давала себя знать. Дул свежий ровный ветер, и по небу носились белоснежные перистые облака, представляя со-

бой изящные фантастические узоры. Плавно раскачиваясь, клипер наш летел полным ветром под марселями в один риф, под фоком и гротом, убегая от попутной волны.

Был десятый час на исходе. Вся команда находилась наверху. Вахтенные стояли у своих снастей, а подвахтенные были разведены по работам. Всякий занимался каким-нибудь делом: кто оканчивал чистку меди, кто подкабливал шлюпку, кто вязал мат.

Шутиков стоял на грот-русленях, прикрепленный пеньковым поясом, и учился бросать лот, недавно сменив другого матроса. Вблизи от него был и Прошка. Он чистил орудие и по временам останавливался, любуясь на Шутикова, как тот, набравши много кругов лот-линя (веревки, на которой прикреплен лот), ловко закидывает его назад, словно аркан, и затем, когда веревка вытянется, снова быстрыми ловкими движениями выбирает ее...

Вдруг со шканцев раздался отчаянный крик:

— Человек за бортом!

Не прошло нескольких секунд, как снова зловеший крик:

— Еще человек за бортом!

На мгновение все замерло на клипере. Многие в ужасе крестились.

Вахтенный лейтенант, стоявший на мостике, видел, как мелькнула фигура сорвавшегося человека, видел, как бросился в море другой. Сердце в нем дрогнуло, но он не потерялся. Он бросил с мостика спасательный круг, крикнув бросать спасательные буйки и с юта, и громовым взволнованным голосом скомандовал:

— Фок и грот на гитовы!

С первым окриком все офицеры выскочили наверх. Капитан и старший офицер, оба взволнованные, уж были на мостике.

— Он, кажется, схватился за буюк! — проговорил капитан, отрываясь от бинокля. — Сигнальщик... не спускай их с глаз!..

— Есть... Вижу!

— Скорей... скорей ложитесь в дрейф да спускайте баркас! — нервно, отрывисто торопил капитан.

Но торопить было нечего. Понимая, что каждая секунда дорога, матросы рвались как бешеные. Через восемь минут клипер уже ле-

жал в дрейфе, и баркас с людьми, под начальством мичмана Лесового, тихо спускался с борцовцев.

— С богом! — напутствовал капитан. — Ищите людей на ост-норд-ост... Да не заходите далеко! — прибавил он.

Упавших в море уже не было видно. В эти восемь минут клипер пробежал по крайней мере милю.

— Кто это упал? — спросил капитан старшего офицера.

— Шутиков. Сорвался, бросая лот... Лопнул пояс...

— А другой?

— Житин! Бросился за Шутиковым.

— Житин? Этот трус и рохля? — удивился капитан.

— Я сам не могу понять! — отвечал Василий Иванович.

Между тем все глаза были устремлены на баркас, который медленно удалялся от клипера, то скрываясь, то показываясь среди волн. Наконец он совсем скрылся от глаз, не вооруженных биноклем, и кругом был виден один волнующийся океан.

На клипере царила угрюмая тишина. Изредка лишь матросы перекидывались словами вполголоса. Капитан не отрывался от бинокля. Старший штурман и два сигнальщика смотрели в подзорные трубы.

Так прошло долгих полчаса.

— Баркас идет назад! — доложил сигнальщик.

И снова все взоры устремились на океан.

— Верно, спасли людей! — тихо заметил старший офицер капитану.

— Почему вы думаете, Василий Иванович?

— Лесовой не вернулся бы так скоро!

— Дай бог! Дай бог!

Нырря в волнах, приближался баркас. Издали он казался крошечной скорлупой. Казалось, вот-вот его сейчас захлестнет волной. Но он снова показывался на гребне и снова нырял.

— Молодцом правит Лесовой! Молодцом! — вырвалось у капитана, жадно глядевшего на шлюпку.

Баркас подходил все ближе и ближе.

— Оба в шлюпке! — весело крикнул сигнальщик.

Радостный вздох вырвался у всех. Многие матросы крестились. Клипер словно ожил. Снова пошли разговоры.

— Счастливо отделались! — проговорил капитан, и на его серьезном лице появилась радостная, хорошая улыбка.

Улыбался в ответ и Василий Иванович.

— А Житин-то... трус, трус, а вот подите-те!.. — продолжал капитан.

— Удивительно... И матрос-то лодырь, а бросился за товарищем!.. Шутиков покровительствовал ему! — прибавил Василий Иванович в пояснение.

И все дивились Прошке. Прошка был героем минуты.

Через десять минут баркас подошел к борту и благополучно был поднят на боканцы.

Мокрые, вспотевшие и красные, тяжело дыша от усталости, выходили гребцы из баркаса и направлялись на бак. Вышли Шутиков и Прошка, отряхиваясь, словно утки, от воды, оба бледные, взволнованные и счастливые.

Все с уважением смотрели теперь на Прошку, стоявшего перед подошедшим капитаном.

— Молодец, Житин! — сказал капитан, невольно недоумевая при виде этого неуклюжего, невзрачного матроса, рисковавшего жизнью за товарища.

А Прошка переминался с ноги на ногу, видимо робея.

— Ну, ступай, переоденься скорей да выпей за меня чарку водки... За твой подвиг представлю тебя к медали, а от меня получишь денежную награду.

Совсем ошалевший Прошка даже не догадался сказать «рады стараться!» и, растерянно улыбаясь, повернулся и пошел своей утиной походкой.

— Снимайтесь с дрейфа! — приказал капитан, поднимаясь на мостик.

Раздалась команда вахтенного лейтенанта. Голос его теперь звучал весело и спокойно. Скоро были поставлены убранные паруса, и минут через пять клипер снова несся прежним курсом, подымаясь с волны на волну, и прерванные работы опять возобновились.

— Ишь ведь ты какой, блоха тебя ешь! — остановил Лаврентьич Прошку, когда тот, переодетый и согрешивший чаркой рома, под-

нялся вслед за Шутиковым на палубу. — Портной, портной, а какой отчаянный! — продолжал Лаврентьич, ласково трепля Прошку по плечу.

— Без Прохора, братцы, не видать бы мне свету! Как я это окунулся да вынырнул, ну, думаю, — шабаш... Богу отдавать душу придется! — рассказывал Шутиков. — Не продержусь, мол, долго на воде-то... Слышу — Прохор голосом кричит... Плывет с кругом и мне буюк подал... То-то обрадовал, братцы! Так мы вместе и держались, доколь баркас не подошел.

— А страшно было? — спрашивали матросы.

— А ты думал как? Еще как, братцы-то, страшно! Не дай бог! — отвечал Шутиков, добродушно улыбаясь.

— И как это ты, братец, вздумал? — ласково спросил Прошку подошедший боцман.

Прошка глупо улыбался и, помолчав, ответил:

— Я вовсе и не думал, Матвей Нилыч... Вижу, он упал, Шутиков, значит... Я, значит, господи благослови, да за им...

— То-то и есть!.. Душа в ем... Ай да молодец, Прохор! Ишь ведь... Накось покури трубочки-то на закуску! — сказал Лаврентьич, передавая Прошке, в знак особенного благоволения, свою короткую трубочку, и при этом прибавил забористое словечко в самом нежном тоне.

С этого дня Прошка перестал быть прежним загнанным Прошкой и обратился в Прохора.

На камнях

I

Вечерняя вахта на «Красавце», куда меня недавно перевели с «Голубчика», была не из приятных.

Дождь хлестал немилосердно и, несмотря на новый дождевик и нахлобученную зюйдвестку, ехидно пробирался за воротник, заставляя по временам вздрагивать от холода водяной струйки, стекавшей по спине. Дул довольно свежий противный ветер, и клипер «Красавец», спешивший вследствие предписания адмирала, несся под парами полным ходом среди непроглядной тьмы этого бурно-

го вечера в Китайском море.

Признаюсь, мне было очень жутко в начале вахты. Воображение юнца-морьяка, настроенное окружающим мраком, рисовало всевозможные неожиданности, с которыми, казалось, мне не справиться. В глазах мелькали — то справа, то слева — воображаемые красные и зеленые огни встречных судов или внезапно вырастал под носом клипера грозный силуэт громадного «купца», не носящего, по безопасности, как часто случается, огней, и я напряженнее вглядывался вперед, в темную бездну, вглядывался и, не видя ничего, кроме чуть белеющих гребешков волнующегося моря, часто покрикивал часовым на баке вздрагивающим от волнения голосом «Хорошенько вперед смотреть!» — хотя и понимал, что часовые, так же как и я, ничего не увидят в этой кромешной тьме, окутавшей со всех сторон наш несшийся вперед маленький клипер.

Скоро, впрочем, я свыкся с положением. Нервы успокоились, галлюцинации зрения прошли, и к концу вахты я уже не думал ни о каких опасностях, а ждал смены с нетерпе-

ньем влюбленного, ожидающего свидания, мечтая только о свежем белье, сухом платье и стакане горячего чая в теплой кают-компании.

Время на таких вахтах тянется чертовски долго, особенно последняя склянка. От нетерпения поскорей обсушиться и отогреться после четырехчасовой «мокрой» вахты, кажется, будто этой последней, желанной склянке и конца не будет.

— Сигнальщик! Узнай, сколько до восьми?

Притаившийся от дождя под мостиком сигнальщик, хорошо знающий нетерпение «господ» перед концом вахты, торопливо спускается вниз и через минуту возвращается и докладывает, что осталось «всего восемь минут».

«Целых восемь минут!»

— Ты на каких это часах смотрел? — грозно спрашиваешь у сигнальщика.

— В кают-компании, ваше благородие! Уж Николай Николаич обряжаются к вахте, — прибавляет в виде утешения сигнальщик и исчезает под мостик.

И снова шагаешь по мостику, снова взгля-

дываешь на компас и снова приказываешь, чтобы вперед смотрели.

Дождь начинает хлестать с меньшею силой, и ветер как будто стихает.

«Счастливец этот Литвинов!» — не без зависти думаешь о «счастливце», который смеет тебя и не промокнет до нитки.

Вот наконец бьет восемь склянок, и с последним ударом колокола окутанная в дождевик плотная фигура лейтенанта Литвинова появляется на мостике.

— Скверную же вы сдаете мне вахту... Что бы приготовить получше? — говорит Литвинов, заливаясь, по обыкновению, веселым смехом.

— Скверную? Вы посмотрели бы, что на моей было! — отвечаешь недовольным, обиженным тоном. — Дождь-то проходит.

— Зато темно, как...

Литвинов заканчивает свое сравнение и говорит:

— Ну, сдавайте вахту... Небось чаю хочется? Спешите, а то пан Казимир унесет свой коньяк... И то я его наказал на целую рюмку. Накажите и вы, чтоб он не мог заснуть от от-

чаяния.

Я стал сдавать вахту: сказал курс, передал распоряжение не уменьшать хода без приказа капитана и прибавил, что в исходе девятого мы должны быть на траверзе группы маленьких подводных островков. Они должны оставаться слева.

— Да разве мы их еще не прошли?

— То-то нет... Хотите удостовериться — взгляните на карту. Она, кстати, наверху, в рубке.

Мы спустились в маленькую рубку под мостиком и заглянули туда.

Там сидел сухощавый низенький пожилой человек лет пятидесяти, с маленьким морщинистым суровым лицом, озабоченно поглядывая на лежащую перед ним карту. На нем был дождевик и зюйдвестка, из-под которой виднелись седоватые волосы.

Это был старший штурман «Красавца», штабс-капитан Никанор Игнатьевич Осинников, или, как тихонько звали его гардемаринны, «Синус Синыч», молчаливый, угрюмый, основательный служака из штурманских «косточек», много переплававший на своем веку,

страшно самолюбивый и мнительный в охране своего достоинства, щекотливый к малейшей шутке и в то же время редкий добряк, несмотря на свой суровый вид, с теми, кто пользовался его расположением, то есть не подозревался в насмешливом или презрительном отношении к штурманам и кто умел хорошо брать высоты и вычислять безошибочно широту и долготу места.

Литвинов, этот общий любимец и enfant gate[2] кают-компаний, всегда добродушный, веселый и жизнерадостный, остроумный рассказчик неистощимых анекдотов, умевший вызывать улыбку даже на хмуром лице Никанора Игнатьевича, заглянул в карту, на которой был проложен курс, и неосторожно кинул вопрос:

— А не снесет нас течением, Никанор Игнатьич?

Несколько суеверный, не любивший, чтобы заранее говорили о какой-нибудь опасности, грозившей клиперу по штурманской части, Никанор Игнатьевич строго взглянул на молодое, румяное, веселое лицо лейтенанта.

— А вы думаете, течение не принято в рас-

чет? Принято-с! Потому-то и курс проложен-с в десяти милях от этих маленьких подлецов! — с сердцем промолвил старый штурман, указывая своим высохшим костлявым пальцем на «маленьких подлецов», обозначенных на карте. — Оно, конечно, лучше бы и еще подальше от них! Наблюдений сегодня не было... Течения тут никто не определял... Черт его знает! — как бы в сердитом раздумье прибавил Никанор Игнатьевич.

— Так отчего же мы не наплюем на этих подлецов и не оставим их совсем далеко, Никанор Игнатъич? — спросил, весело улыбаясь, Литвинов.

— То-то вам все наплевать! А приказание адмирала — спешить как можно скорей?.. На него не наплюешь! Капитан и решил идти ближе к берегам. Волнение здесь не такое сильное, как в открытом море при этом подлом норд-весте, и следовательно, клипер имеет большой профит[3] в ходе-с. Там мы ползли бы узлов по шести, а теперь по десяти дуем-с! Не давай таких предписаний! — неожиданно прибавил возбужденно и сердито Никанор Игнатьевич. — Какая такая спешка!

Столь подробное объяснение, которым удостоил обыкновенно скупой на слова старый штурман, едва ли можно было приписать исключительно расположению Никанора Игнатьевича к Литвинову. Возбужденный, сердитый тон штурмана обнаруживал скорее его волнение, которое он всегда испытывал, тщательно, впрочем, скрывая его, когда вблизи клипера были какие-нибудь «большие» или «маленькие подлецы».

Литвинов больше не расспрашивал. Поднимаясь на мостик, он снова повторил мне на прощанье совет «непременно наказать пана Казимира» и вслед за тем крикнул веселым, звучным голосом, во всю силу своих могучих легких:

— Вперед смотреть!

И, точно наэлектризованные этим веселым голосом, часовые на баке так же весело и громко ответили:

— Есть! Смотрим!

Вышел из рубки и Никанор Игнатьевич.

Полоса света, падавшего от машинного люка, осветила низенькую, маленькую фигурку старшего штурмана, пробиравшегося, по-

нузив голову, на бак с большим биноклем в руке.

«Теперь Синус Синыч, верно, сам будет вперед смотреть. Смотрите, смотрите, господа!» — подумал я, спускаясь вниз, веселый и довольный, что кончилась эта скверная вахта.

II

Через пять минут переодевшись в сухое платье, я уже сидел в теплой, светлой уют-компании за стаканом чая, испытывая то ощущение довольства, удовлетворенности и некоторой приятной истомы, которое хорошо знакомо морякам. Теперь уж меня не особенно занимало, что делается там, наверху, — хлещет ли дождь или нет. Здесь, внизу, было уютно, сухо и тепло.

Однако совета Литвинова так-таки и не удалось исполнить, хотя я и не прочь был влить несколько ложечек коньяка в чай. В тот самый момент, как вестовой подал мне стакан и я только что хотел подговориться к превосходному докторскому коньяку, предусмотрительный доктор (он же пан Казимир), по обыкновению ораторствовавший о возвы-

шенных предметах со своим несколько театральным пафосом и весь поглощенный, казалось, точным определением истинного мужества, успел все-таки заметить мой «прицельный» взгляд на бутылку. И, словно бы желая собственным примером показать образец истинного мужества, он поднялся с дивана, не окончив перечисления всех знаменитых «светочей поэзии и философии», трактовавших об этом вопросе, и унес, к крайнему моему огорчению, бутылку *fine champagne*[4] в свою каюту.

Многие, заметившие этот маневр, наградили меня сочувственными улыбками, а сосед мой, молодой черноволосый мичман Гарденин, штудировавший Шлоссера, шепнул, отрываясь от книги:

— Опоздали! А ведь бутылка, против обыкновения, была на столе все время, пока доктор разводил разводы. Сегодня он в особенном ударе! Старшего офицера уж в лоск уложил и заставил удрать в каюту. Теперь донимает Ванечку... Смотрите, как Ванечка обалдел! Скоро, пожалуй, придется спешить на выручку... — прибавил, усмехаясь, мичман, умев-

ший с большим искусством травить доктора.

Пан Казимир между тем вернулся и продолжал как ни в чем не бывало прерванную беседу об истинном мужестве, обращаясь главным образом к сидевшему близ него младшему механику, невозмутимому молодому хохлу в засаленной, когда-то белой куртке, как к единственной жертве, способной выслушивать без знаков нетерпения длинные речи и рассказы доктора, герой которых, Казимир Викентьевич Горжельский, разумеется, являлся всегда при бенгальском освещении.

— Великий поэт Виктор Гюго в одном из своих творений говорит, что мужество есть неперенное качество возвышенных натур.

Доктор, говоривший с заметным польским акцентом, стал было цитировать стихи Виктора Гюго, отвратительно произнося французские слова, но, продекламировав несколько стихов, остановился.

— Впрочем, вы ведь не знаете по-французску? — спросил он.

«Обалдевший» механик с невозмутимым видом отрицательно качнул головой.

— Так я вам переведу.

Он перевел и продолжал:

— Другой гениальный поэт, Байрон... Вы знаете по-английску!

Ванечка снова ответил отрицательным кивком.

Тогда доктор привел по-русски соответствующий пример из Байрона и прибавил, что любит читать классиков в подлинниках. Это не то что переводы! Очень жаль, что молодой человек не знает языков! Он дал бы молодому человеку много интересных книг на французском, немецком, английском и итальянском языках. Он на всех этих диалектах свободно говорит и читает... Он много перечитал книг... «Не менее десяти тысяч томов!» — прибавил доктор и снова воскликнул:

— Ах, как жаль, что вы не знаете языков!

И этот самоуверенный, полный необыкновенного апломба тон, каким говорил доктор, и выражение самовосхищения, стоявшее в чертах его продолговатого желтого, окаймленного черными баками лица с низким узким лбом, под которым сидели небольшие холодные темные глаза, и быстрые взгляды ис-

подлобья, бросаемые во время разговора на окружающих, — словом, все в этом сорокалетнем Нарциссе, влюбленном в себя, говорило, что он не столько жалеет о незнании Ванечкой иностранных языков, сколько хочет порисоваться и убедить публику в своих преимуществах.

Несмотря на знание доктором четырех языков (крайне, впрочем, сомнительное) и на необыкновенные случаи из практики, о которых любил рассказывать доктор, пана Казимира в кают-компании недолюбливали, «случаям» его верили с осторожностью и считали доктора самолюбивым, надутым фразером и хвастуном. Даже юные гардемарины, с которыми доктор вначале пробовал либеральничать, очень скоро поняли подозрительность его цивизма[5], напыщенность фразы и ограниченность ума. Вдобавок и его льстивая манера обращения с капитаном и старшим офицером, любезное высокомерие с другими и чисто шляхетское, полное нескрываемого презрения отношение к матросам еще более нас отталкивали, и доктор напрасно расточал перлы красноречия, рассказывая в интимной

беседе а part[6] о высших «непонятых натурах», обреченных судьбою жить среди людей низменного уровня. Непонятую натуру обедали и относились к ней далеко не дружелюбно.

К этому надо прибавить, что доктор был из тех поляков, которые упорно отреклись от своей национальности в среде русских и прикидываются ярыми патриотами среди поляков.

Пожалев, что наш милейший хохол Ванечка обречен на тьму невежества, доктор хотел было рассказывать один из «интересных случаев в его жизни, когда знание иностранных языков принесло ему громадную пользу», как мой сосед Гарденин, воспользовавшись временем, пока доктор не спеша свертывал папиросу, шепнул мне:

— Совсем он замучает Ванечку. Я ведь слышал этот «случай»... Очень длинный случай... Вы знаете историю про знатную итальянку?

— Нет.

— Так вот она в кратком изложении. Знатная итальянка в Петербурге... Ну, конечно, красавица и, конечно, у нее сложная болезнь,

редкая в медицине... Пять знаменитых врачей, с Боткиным во главе, не понимая ни слова по-итальянску, не понимают, разумеется, и ее болезни, лечат от пневмонии, тогда как у нее сердце, печень и что-то в кишках, — словом, совсем не то, а что-то другое... перикардит и еще какое-то мудреное название. Знатная итальянка чахнет, еще два-три дня — и не видать бы ей божьего света, как вдруг пан Казимир приезжает из Кронштадта и совершенно случайно, хотя и без тени правдоподобия, попадает к знатной итальянке. Вы догадываетесь, конечно, о финале? Она прогоняет всех врачей, через пять дней встает с постели, а еще через пять едет на бал к бразильскому посланнику. Само собой, дело не обходится без романтической компликации[7]. Исполненная благодарности к своему спасителю (вдобавок тогда пан Казимир был чертовски хорош и, по его словам, отчаянный сердцеед), знатная итальянка намекает, что так и так, она не прочь выйти замуж за пана Горжельского (предки доктора ведь от Пяста!), но он, натурально, как благородный шляхтич, не хочет воспользоваться увлечением ее знойного

темперамента и сделаться владельцем замка в Неаполе и рисовых полей в Ломбардии... И вот тогда-то она снимает с своего пальца и надевает на мизинец пана Казимира тот самый необыкновенный брильянт, стоящий сорок две тысячи франков (ни одного сантимата менее!), которым доктор вместе с другими кольцами украшает свои противные пальцы по праздникам и при съездах на берег... Нет, положительно надо выручать Ванечку! Уж доктор разглаживает баки — значит, сейчас начнет.

И с этими словами, произнесенными вполголоса, черноволосый, худенький, с подвижною физиономией и вздернутою губой Гарденин поднялся с места и, присаживаясь на противоположном крае стола, рядом с Ванечкой, обращается к доктору:

— Позвольте побеспокоить вас, доктор, одним вопросом?

Серьезный тон и самое невинное выражение лица молодого мичмана обманывают на этот раз доктора, и он, не подозревая никакой каверзы, позволяет благосклонным наклоением головы.

— Объясните, пожалуйста, что это за болезнь перикардит? — продолжал Гарденин, по-видимому весьма заинтересованный сведениями о перикардите, и в то же время незаметно подталкивает локтем Ванечку: уходи, мол!

Хотя доктор предварительно и замечает, что профану в медицине довольно трудно будет понять сущность этой болезни, тем не менее входит в подробные объяснения, уснащая их различными медицинскими терминами, а тем временем младший механик благополучно удирает из кают-компанияи.

Удовлетворив любознательности Гарденина и совершенно успокоившись насчет его намерений, доктор, заметивший исчезновение Ванечки, не может удержаться от искушения рассказать про «случай» и прибавляет:

— Я только что хотел рассказать об одном весьма интересном случае излечения именно той болезни, которая вас интересует... Все лучшие доктора...

— Это когда вы лечили одну знатную итальянку, доктор? — перебил мичман.

Доктор, не любивший, чтобы его прерыва-

ли, с важностью промолвил:

— Я на своем веку многих аристократов пользовал...

— Но, сколько мне помнится, именно у итальянки был жестокий перикардит с какими-то осложнениями, и если бы не ваше искусство, плохо пришлось бы больной? — продолжал Гарденин с самым серьезным видом, преисполненный, казалось, необыкновенным почтением к искусству доктора.

— Да, был такой случай... Я пользовал маркизу Кастеламарре! — говорил доктор, произнося слова «маркизу Кастеламарре» с каким-то сладостным замиранием в голосе. — Об этом случае в свое время много говорили в медицинском мире...

— Как же, как же... Я ведь слышал, как вы рассказывали эту любопытную историю...

— Это, извольте знать, не история, а факт! — внушительно проговорил пан Казимир, начиная хмуриться.

— О, разумеется факт, тем более что и брильянтовое кольцо в сорок две тысячи франков — тоже факт, и весьма ценный факт!

— Вероятно, вам не случалось видеть хоро-

ших брильянтов, и вы, кажется, изволите сомневаться в ценности моего супира? — с презрительной усмешкой заметил закипавший злостью доктор, нервно пощипывая длинными желтыми пальцами свою выхоленную, великолепную черную бакенбарду.

— Христос с вами, доктор, смею ли я сомневаться? — воскликнул, по-видимому с полной искренностью, шаловливый мичман. — Такие ли еще бывают факты!.. «Есть много, друг Горацио, тайн» и так далее... Я, положим, не видал хороших брильянтов — не стану врать, — но видал, например, крупнейших окуней у нас, в Смоленской губернии, и знаю тоже в своем роде интересный факт об их живучести, о котором я, с вашего позволения, расскажу. Стали жарить однажды громадного жирного окуня, фунтов эдак десяти, и что ж бы вы думали? Уж один бок его стал румяниться, а окунице, подлец, все еще жив... Так и пляшет, я вам доложу, на сковороде. Сняли этого самого мерзавца со сковороды, зашили ему брюхо, пустили в речку, и — поверите ли, доктор? — ведь поплыл, как встрепанный, окунь-то этот... Факт невероятный, а ведь я

сам видел! — прибавил с невозмутимой серьезностью мичман.

Общий смех огласил кают-компанию.

Не смеялся только один доктор.

Позеленевший от злости, с презрительно сощуренными глазами, он в первую минуту пребывал в гордом молчании и только, когда смех прекратился, заметил с пренебрежением оскорбленного величия:

— Признаюсь, я не понимаю этого мичманского остроумия... Какой-то окунь... какой-то вздор...

Вдруг раздался страшный треск. Клипер вздрогнул всем своим корпусом, как-то странно покачнулся и, казалось, сразу остановился.

Все на мгновение замерли, недоумевающие и испуганные, взглядывая друг на друга широко раскрытыми глазами.

Старший офицер, вылетевший из каюты, пронесся как бешеный наверх. Вслед за ним ринулись и другие. Доктор, бледный как полотно, не трогаясь с места, беззвучно что-то шептал и крестился.

В первое мгновение я не сообразил, что такое случилось, и не испугался. Но вслед за

тем мне почему-то представилось, будто на нас наскочило судно и врезалось в бок. И тогда мною овладел страх, который я тщетно усиливался побороть, стараясь казаться спокойным. Сердце упало, холод пробежал по всему телу, и я бросился стремглав вслед за другими наверх, охваченный паникой и стыдясь в то же время своего малодушия, недостойного моряка.

III

Непроглядная темень по-прежнему окутывала клипер, недвижно стоявший среди моря. На палубе царила грозная тишина. Только рокотало море да ветер жалобно посвистывал в снастях. И среди этой тишины клипер, приподнимаемый волнением, снова еще раз и другой тяжело ударился о подводный камень. Удары эти сопровождались таким наводящим ужас треском во всех членах судна, что казалось, оно не вынесет этой пытки и вот-вот сейчас развалится пополам.

— О господи! — раздалось чье-то скорбное восклицание среди людских теней, собравшихся кучками на палубе.

И чей-то голос стал тихо читать молитву.

— Беспременно тепериче разобьет нас на каменьях!

— Вишь, угодили-то как!

— Смирно! — раздался вдруг с мостика голос капитана.

Разговоры мгновенно смолкли.

— Триселя и кливер поставить! Лотовые на лот! Полный ход вперед! — командовал капитан.

В этом негромком, несколько гнусавом, отчетливом голосе не слышно было ни одной нотки страха или волнения. Он был спокоен, прост и ровен, точно капитан распорядился на ученье. И это спокойствие словно бы сразу низводило опасность положения до самой обыкновенной случайности в море и, невольно передаваясь другим, вселяло бодрость и уверенность в сердца испуганных людей.

— Ишь ведь, отчаянный он у нас какой! — проговорил кто-то среди толпившихся матросов повеселевшим голосом.

— Не бойсь, он распорядится!

И у меня отлегло от сердца. Я еще более устыдился своего малодушия и торопливо поднялся на мостик, где должен был нахо-

даться, по расписанию, во время аврала.

Машина работала полным ходом, но клипер не двигался с места.

— Как глубина?

В ответ раздался отрывистый голос старшего штурмана, под наблюдением которого лотовые обмеряли глубину вокруг клипера.

Недаром голос Никанора Игнатьевича, перегнувшегося через борт с фонарем в руках, звучал сердито. Обмер показывал, что клипер сидел всем своим корпусом на камне и только корма была на вольной воде.

— Фальшвейры! — приказал капитан.

Ярко-красный огонь фальшвейров, выкинутых с обеих сторон, погрузив в тьму клипер, рассеял таинственность окружающего мрака. Слева, в недалеком расстоянии, белелись грозные буруны, доносясь слабым откликом характерного гула. Справа море было чисто и с однообразным ровным шумом катило свои волны, рассыпавшиеся пенистыми седыми верхушками. Ясно было, что мы, по счастью, налетели на крайний камень из этой группы маленьких «подлецов», брошенных среди моря.

— Стоп машина! Полный ход назад! — распорядился капитан, передавая приказания в машину через переговорную трубку.

Прошла еще бесконечная тягостная минута.

— Идет ли? — спросил капитан своим прежним спокойным гнусавым голосом.

— Нет!

И, словно в подтверждение, что не идет, клипер снова беспомощно ударился о камень. Удар этот, тяжелый, медленный, казалось, был ужаснее прежних.

Капитан взялся за ручку машинного телеграфа.

«Дзинь-дзинь!»

Машина застопорила.

«Дзинь-дзинь!»

Машина снова застучала полным ходом.

Бедняга клипер, точно прикованный, не подавался.

Я взглянул на худощавую невысокую фигуру капитана, стоявшего в полосе слабого света от огня компаса, рассчитывая по выражению его лица узнать о степени грозившей нам опасности.

Ни черточки страха или волнения! Напротив, во всей его фигуре, неподвижно стоявшей у машинного телеграфа, было какое-то дерзкое, вызывающее спокойствие, и всегдашнее чуть заметное надменное выражение, обыкновенно скрадывавшееся любезной улыбкой, теперь, ничем не сдерживаемое, светилося во всех чертах красивого молодого лица, опущенного светло-русыми вьющимися бакенбардами.

Мне не был симпатичен этот «лорд», как метко прозвали гардемарины нашего капитана. Молодой, красивый, изящный, фаворит высшего начальства, не в пример другим делавший карьеру, двадцати шести лет уже бывший командиром щегольского клипера, он держал себя гордо и неприступно, с тою холодной вежливостью, под которою чувствовалось снисходительное презрение служебного баловня и черствость себялюбивой натуры. И, несмотря на это, теперь этот человек невольно восхищал своим самообладанием.

«Неужели же он несколько не боится за клипер?» — с досадой думал я, посматривая на невозмутимого «лорда».

Точно в ответ на мои мысли, капитан тихо сказал старшему офицеру все тем же своим спокойным голосом:

— Кажется, плотно врезались. Осмотрите, нет ли течи?.. Да чтобы гребные суда были готовы к спуску! — еще тише прибавил капитан. — Мало ли что может случиться!

Не успел старший офицер уйти, как с бака крикнули:

— В подшкиперской вода!

Этот неестественно громкий, взволнованный голос нашего боцмана-финляндца заставил меня невольно вздрогнуть. Под мостиком кто-то испуганно ахнул.

В ответ на отчаянный окрик капитан крикнул обычное «есть!» таким равнодушным, хладнокровным тоном, будто в известии боцмана не было ничего важного и он отлично знает, что в подшкиперской вода.

И, понизив голос, прибавил, обращаясь к старшему офицеру:

— Что за идиот этот чухонец!.. Орет, вместо того чтобы прийти доложить... Потрудитесь осмотреть, Алексей Петрович, что там такое, велите поскорей заткнуть пробойну и

дайте мне...

Взбежавший на мостик младший механик прервал капитана докладом, что в машине вода.

— И много?

— Подходит к топкам! — взволнованно отвечал обыкновенно невозмутимый хохол.

— Помпа пущена?

— Сейчас пустили!

— Ну и отлично! — промолвил капитан, хотя, казалось, ничего «отличного» не было. — Давайте чаще знать, как в машине вода.

Механик ушел, а капитан хладнокровно продолжал отдавать приказания старшему офицеру, и только речь его сделалась чуть-чуть торопливее и отрывистее.

— Пустить все помпы! Скорей на пробойну пластырь! Когда сойдем, подведите парус.

Старший офицер бегом полетел с мостика, а капитан снова взялся за ручку машинного звонка.

«Сойдем ли?»

Сомнение закрадывалось в душу, усиливаясь при новом ударе беспомощного клипера и вызывая мрачные мысли.

«До берега далеко, не менее двадцати миль... Как доберемся мы на шлюпках при таком волнении, если придется спасаться? Неужели нам грозит гибель? За что же? А жить так хочется!»

И сердце тоскливо сжималось, и взор невольно обращался по направлению к этому далекому берегу.

Но глаз ничего не видит, кроме непроглядной тьмы бурной ночи. Ветер, казалось, крепчал. Всплески волн с шумом разбивались о бок клипера.

«Ах, если б он скорее сошел!»

С тех пор как мы вскочили на камень, прошло не более двух-трех минут, но в эту памятную ночь эти минуты казались вечностью.

— Господин С.! Взгляните, как барометр, да посмотрите, нет ли воды в ахтерлюке! — приказал капитан.

Я бросился вниз, и — странное дело! — мрачные мысли тотчас же исчезли; я думал только, что надо исполнить приказание, не вызвав снисходительно-насмешливого замечания «лорда».

На трапе я нагнал Гарденина, посланного

старшим офицером с тем же поручением.

Гарденин вошел первый в кают-компанию, но вдруг остановился на пороге и, приложив палец к губам, шепнул, указывая на открытую докторскую каюту:

— Смотрите, как действует истинное мужество!

Несмотря на серьезность положения, я невольно улыбнулся вслед за Гардениным, увидав пана доктора. Без сюртука, с спасательным поясом, обвязанный весь какими-то мешочками, метался он по каюте, собирая вещи, и растерянным голосом бормотал какие-то слова.

— А ведь потом нам же будет рассказывать, как геройствовал! — зло проговорил Гарденин, входя в кают-компанию.

Заслышав голоса, доктор торопливо надел пальто и вылетел к нам.

Бледный, с искаженным от страха лицом, стараясь под жалкой, неестественной улыбкой скрыть перед нами свой страх, спросил он прерывистым голосом:

— Ну что? Есть ли надежда, что сойдем?

— Никакой! Сейчас тонем, доктор! — гро-

бовым голосом отвечал Гарденин.

Страшный треск нового удара, казалось, подтверждал эти слова.

— О пан Иезус! О матка божка! — в ужасе шептал доктор крестясь.

— Полно врать, Гарденин! — перебил я, чувствуя невольную жалость к этому олицетворению страха. — Пока никакой непосредственной опасности нет, доктор!

— А вы уж собрались спастись?.. Небось теперь и пана Иезуса и матку божку вспомнили? — насмешливо кинул Гарденин и, повернувшись, крикнул вошедшему с фонарем вестовому: — Живо, люк!

Несмотря на страх, доктор метнул в спину Гарденина взгляд, полный ненависти и злобы. Он не простил Гарденину этой злой шутки и с той минуты возненавидел его.

— А я на всякий случай приготовился ко всему! — обратился ко мне доктор с заискивающей улыбкой, оправившись несколько от страха после моих успокоительных слов. — Не следует никогда теряться в опасности! — прибавил он с хвастливостью и торопливо бросился наверх...

Я спустился за Гардениным в ахтерлюк. Воды там не оказалось, и мы тотчас вышли.

— Как вы думаете, Гарденин, сойдем?

— А черт его знает! Нет, непременно выйду в отставку, как вернусь в Россию, если только буду жив! — неожиданно прибавил он. — Эти ощущения не особенно приятны... ну их! Я вот смеюсь над доктором за его трусость, а ведь сам, признаться, жестоко трушу! — проговорил с какою-то возбужденной, подкупающей искренностью Гарденин, пользовавшийся заслуженною репутацией лихого офицера.

С этими словами он выскочил из кают-компании.

Взглянув в капитанской каюте на барометр, я поднялся наверх и взбежал на мостик.

IV

Капитан стоял на краю и, перегнувшись через поручни, смотрел за борт, держа в руке фонарь. На шканцах, перевесившись совсем через борт, с тою же сосредоточенностью смотрел на воду и Никанор Игнатьевич.

Точно в ожидании чего-то особенно важного, на палубе была мертвая тишина. Только

машина, работавшая полным ходом, торопливо отбивала однообразные такты.

Я доложил капитану о высоте барометра и об осмотре ахтерлюка, но он, казалось, не обратил внимания на мой доклад и, не поднимая головы, крикнул:

— Идет ли?

Несколько секунд не было ответа.

— Тронулся! — вдруг прокричал старый штурман. — Идет! — еще веселее крикнул он через секунду.

— Пошел... пошел!.. — раздались с бака радостные голоса.

Капитан торопливо подошел к компасу.

— Самый полный ход вперед! — крикнул он в машину.

Слышно было, как клипер с усилием черкнул по камню и, словно обрадовавшись свободе, вздрогнул всем телом и быстро двинулся вперед, рассекая темные волны. Грозный бурун над камнем белелся седым пятном за кормой.

Невыразимое ощущение радости и счастья охватило меня. Громкий вздох облегчения пронесся на палубе. И дерзкая, вызывающая

улыбка весело играла на лице капитана.

— Лево на борт! — крикнул он рулевым, и клипер, сделав полный оборот, поворотил назад.

— Счастливо отделались! — сказал капитан подошедшему старшему офицеру. — Что, много воды?

— Порядочно... Одну пробоину нашли в носу... Сейчас будем подводить парус...

— Я иду назад! — заметил капитан. — Идти по назначению далеко, да и ветер противный... Как окончите подводку паруса, ставьте все паруса и брамсели.

— Ветер крепчает! — осторожно вставил старший офицер.

— Ничего, пусть гнутся брам-стенги! Под парами и парусами мы живо добежим до порта и завтра будем в доке. Нас, верно, таки порядочно помяло... Не правда ли? — прибавил капитан.

И, не дождавшись ответа, спросил:

— Кто на вахте?

— Я! — проговорил Литвинов, поднимаясь на мостик.

— Курс SSW... Идти самым полным ходом!

— Есть!

— Ну, теперь пойдете-ка, Алексей Петрович, посмотрим, какова течь... А ведь крепок «Красавец»! Било его сильно-таки... Сколько мы стояли на камне, Никанор Игнатьич?

— Четыре с половиной минуты-с! — хмуро отвечал старый штурман.

— Довольно времени, чтобы разбиться! — усмехнулся капитан, спускаясь с мостика и исчезая в темноте.

Через полчаса под носовую часть клипера был подведен парус. Все помпы работали, едва успевая откачивать воду, и «Красавец» под парами и всеми парусами несся среди мрака ночи узлов по тринадцати в час, словно раненый зверь, бегущий к логову, чтобы зализать свои раны.

Мрачный штурман*

I

После трехлетнего дальнего плавания с грозными подчас штормами и непогодами, после тепла и приволья южных широт с их роскошными пейзажами, вечно греющим ярким солнцем, беспредельной высью бирюзового неба и волшебными тропическими ночами — корвет «Грозный» в 186* году возвращался на далекую родину.

На корвете было сто семьдесят пять человек команды, шестнадцать офицеров, доктор и иеромонах.

Все радовались возвращению. Долгое плавание, несмотря на все прелести природы, порядочно-таки надоело. Всем — и офицерам и матросам — хотелось поскорей на сушу, отдохнуть после продолжительной, полной тревог и случайностей, жизни на море.

Надо было поспеть в Финский залив до заморозков, и потому все торопились.

Чуть затихал попутный ветер, и вся поставленная парусина еле двигала корвет, или

ветер начинал задувать «в лоб», принуждая к томительной лавировке, — как отдавалось приказание разводить пары, и старший механик, Иван Саввич Холодильников, давно уж скучавший по Кронштадту, где осталась молодая жена, — торопливей и веселей, чем обыкновенно, облакался в свою просаленную и прокопченную «машинную» куртку и с радостным лицом бежал к себе в «преисподнюю», переваливаясь всем своим худым, костлявым туловищем, похожим на плохо собранную машину, и размахивая, словно крыльями, длинными, никогда не находившими места руками.

И скоро «Грозный», попыхивая дымком из своей короткой горластой трубы, шел вперед полным ходом, подрагивая кормой под однообразный и равномерный стук машины.

Редкие заходы в попутные порты за углем и за свежей провизией отличались теперь короткими стоянками, не позволявшими любознательным мичманам основательно знакомиться с местными ресторанами и красотой туземок. Капитан, изнывавший в ожидании увидеть жену и детей, торопился сам и пото-

рапливал всех. Значительно смягчившийся характером, по мнению молодых мичманов, с тех пор как получено было предписание «следовать в Кронштадт», и «разносивший» подчиненных далеко не с прежней страстной стремительностью, он при каждом заходе в порт без обычной раздражительности просил «медлительного барона», ревизора корвета, «не копать» и как можно скорей оканчивать расчеты с берегом.

Но просьбы капитана на этот раз были излишни.

Барон Оскар Оскарович, которого матросы перекрестили в «Кар Карыча» и звали потихоньку «долговязой цаплей», и без капитанских просьб сбросил теперь свою упрямую, методичную и самодовольную остзейскую флегму и с удивительной в нем быстротой летал к консулам, торопил поставщиков, принимал провизию без придиричивой мешкотни и заставлял грузить уголь по ночам, ибо, в свою очередь, торопился в Митаву, к невесте; портреты ее в различных позах и костюмах влюбленный барон получал чуть ли не каждой почтой и теперь предвкушал счастье ско-

ро припасть к ногам оригинала.

Таким образом, корвет нигде не застаивался и не терял времени, что, разумеется, очень радовало всех женатых людей и влюбленных женихов и несколько огорчало некоторых молодых офицеров, не сидевших, как большая часть молодежи, «на экваторе» и мечтавших было «просадить» сотни две-три франков в Париже. Но увы! — в Шербурге*, где сперва предполагали краситься, корвет простоял лишь сутки, и Париж «улыбнулся».

— По крайности, денежки ваши целы, — утешал раздобревший за время плавания отец Агафон.

— Вам, батя, хорошо рассуждать... Вы — монах.

— В каких это смыслах?

— А в таких смыслах, что вас не должна смущать прелесть француженок, а нас смущает... Впрочем, если бы вы увидали их в Париже...

— Замолчите, бесстыдники, — добродушно останавливал мичманов отец Агафон и затыкал обеими руками уши, оставляя, однако, щелочку.

Ввиду скорого окончания плавания и настроение команды сделалось веселым и приподнятым. Еще бы! Матросам, более чем кому-либо, «очертело» это шатание по океанам, полное беспокойств, трудов и опасностей суровой морской службы, с частыми порками и зуботычинами, с вечной руганью за малейшую оплошность, приводившую в ярость офицеров «дантистов», которых на корвете было довольно-таки.

На баке и в палубе матросы, рассчитывавшие после «дальней» сходить домой на побывку, чаще, чем прежде, лясничают о «своих местах», а женатые, обстоятельные матросы, и те из холостых, которые не прогуливали на берегу всех денег, чаще заглядывают в свои парусинные мешки, чтобы пересмотреть прикопленные за три года собственные вещи (преимущественно рубахи) и заграничные гостинцы для баб. Старики, ожидающие «чистой» и, вероятно, плавающие в море последний раз в жизни, толкуют между собой о разных «способных должностях», которые могли бы они исполнять, если не поживется в дерев-

не.

В кают-компании те же темы разговоров. Холостые офицеры с веселым оживлением беседуют о том, кто куда поедет после плавания. Наверное, дадут шестимесячный отпуск с сохранением содержания и годовой оклад не в зачет, в виде награды. Значит, можно заново экипироваться. Особенно экспансивны мичмана, недавно произведенные из гардемарин. Многие из них ушли в плавание безбородыми, безусыми юношами, а теперь возвращаются молодыми людьми, с загорелыми, огрубевшими, свежими лицами, с шелковистыми бородками, окрепшими голосами, с некоторой напускною серьезностью и преувеличенным щегольством манерами заправских «морских волчков».

Каждого из них давно нетерпеливо поджидают в семьях. Каждого сладко манит радость свидания после долгой разлуки и давно не испытанная прелесть родного гнезда, где мать и подростки сестры и братья с благоговейным вниманием и с гордой любовью будут слушать по вечерам, собравшись тесным кружком, рассказы вернувшегося странника. И вся

обстановка «той» жизни, совсем не похожая на настоящую, кажется теперь особенно уютной, приятной и милой.

«Там» не будет ни «мокрых» ночных вахт, ни постоянной качки, ни штормов, наводящих трепет, бережно скрываемый от чужих глаз под видом небрежного равнодушия, ни отчаянных «разносов» свирепеющего от вечного одиночества капитана, который приучил себя каждому пустяку придавать серьезное значение, ни замечаний педанта старшего офицера, представляющегося занятым одной лишь службой. «Там» не услышишь этих внезапных, способных разбудить мертвого, окриков боцмана: «Пошел все наверх рифы брать!» — окриков, заставляющих среди ночи выскакивать из теплой койки и, наскоро одевшись, стремглав лететь наверх на палубу. «Там» не придется постоянно и неизменно видеть одних и тех же людей, сведенных на пространстве длиною в сто шестьдесят футов; обязательное непрерывное общение с ними делает подчас самых лучших людей невыносимыми друг другу, по крайней мере на время, пока «берег» с его удовольствиями

не даст новых впечатлений, и эти самые люди, казавшиеся благодаря скуке и однообразию томительного тридцатидневного перехода «невыносимыми», — снова кажутся не такими уж тяжелыми людьми, и беседы с ними после «берега» опять получают интерес. «Там» нет этой тесной каютки, где все «принайтовлено», — узкой и темной, с наглухо «задраенным» иллюминатором, обмываемым седой волной, которая иногда невольно заставляет думать, что лишь несколько дюймов дерева отделяют человека от этого страшно-таинственного бездонного океана, которому ничего не стоит поглотить корвет со всеми его обитателями. Какая-нибудь роковая случайность — столкновение, пожар, ураган — и... все кончено. Океан, по-прежнему загадочный и таинственный, с прежним бессмысленным бешенством будет катить свои седые валы над местом, где только что волновались, мечтали, надеялись, — словом жили две сотни людей...

Такие мысли об «изнанке» плавания теперь чаще лезут в голову, хотя, по ложному стыду, о них никто не решается говорить. И

возвращение становится еще желаннее и милее. И разговоры о поездках в разные уголки России не истощаются среди молодежи.

III

Семейные люди — доктор, механик и артиллерист — никуда не собираются. Им только бы поскорей добраться до Кронштадта, где свиты оставленные ими гнезда. Люди солидных лет, они не пускаются в откровенные излияния, но зато обнаруживают малодушное нетерпение и раздражительность каждый раз, когда засвежеет противный ветер, разводя большое волнение, и «Грозный», не отличающийся сильной машиной, еле подвигается вперед, кляня носом и с трудом выгребая против ветра, или когда стоянка где-нибудь кажется им продолжительною.

В первом случае они то и дело выходят наверх и сердито и беспокойно посматривают и на небо, покрытое тучами, и на воду, справляются о барометре и молчаливо хмурятся в кают-компании, а во втором — с затаенным недоброжелательством бросают взгляды на ревизора, когда он, усталый от беготни, хлопот и пререканий на берегу, возвращается на

корвет и с мрачным видом, молча пьет чай в кают-компании, только что выругав совершенно безвинного вестового.

«И чего он копался на берегу, этот долговязый барон? Отчего до сих пор не везут угля? Ведь так мы опоздаем в Кронштадт!» — досадливо думают они. И все косо поглядывают на «долговязого барона».

Но ревизор мрачен, как ночь, и никто не отваживается на расспросы, выжидая, когда начинавшее лысеть чело молодого барона немного прояснится.

В эту минуту входит в кают-компанию мичман Петров, прозванный «легкомысленным мичманом». Он только что выспался перед ночной вахтой и, заметив ревизора, немедленно спрашивает, щуря спросонков глаза:

— Что, барон, скоро дождемся угля?

Это было слишком даже и для такого флегматика, как «долговязая цапля»! Этим углем его уж успели довести до белого каления, едва он, выскочив со шлюпки, показался на палубе.

— Когда же уголь? — встретил его с немым

укором капитан, едва сдерживаясь от желания по крайней мере «вдребезги разнести» барона.

— Скоро ли уголь-с? — сухо спросил старший офицер.

— Отчего не везут угля? — считал долгом остановить барона каждый из гулявших на палубе.

Хотя барон, щеголявший своей джентльменской остзейской выдержкой, и отвечал всем по обычаю изысканно любезно, длинно и обстоятельно, но внутри у него кипело. Раздраженный и отсутствием обещанных консулом шаланд с углем, и немым укором капитана, во взгляде которого он ясно прочел сдержанную злобу, и обилием этих вопросов об угле, полных, казалось, скрытых обвинений, барон был весь начинен досадою и гневом, когда, наконец, спустился в кают-компанию и молча отхлебывал чай, чувствуя бросаемые на него не особенно ласковые взгляды доктора и остальных женатых.

Таким образом, вопрос «легкомысленного мичмана» был фитилем, приставленным к заряженной пушке.

И барон теряет свое самообладание. Весь вспыхивая, он накидывается на мичмана.

— Да что вы ко мне пристаёте с углем, позвольте вас спросить? — восклицает он раздраженным, гневным голосом. — На себе я его привезу, что ли, как вы думаете?

Но так как мичман, ошалевший от этого неожиданного взрыва, в первую секунду мог лишь удивленно вытаращить глаза, то барон снова выпаливает:

— Разве я виноват, что этот англичанин, имеющий честь называться русским консулом, такое животное? Должен ли я отвечать за него, или не должен, по вашему мнению?

И, разумеется, не дожидаясь мнения мичмана, барон продолжает «разряжаться».

Он, вот, с раннего утра, сегодня, как собака, рыскал по городу, высунувши язык, а все: «Когда уголь?», «Отчего нет угля?» Нечего сказать, деликатно! Поехали бы сами, посмотрели, как с консулом дела делать. Три раза он был у этого рыжего дьявола из-за угля. Сперва было совсем отказал найти людей по случаю воскресенья... Наконец дал слово, что к шести часам шаланды будут, а их нет. Это черт знает

что такое! Пускай капитан жалуется на подобных консулов... Консул — скотина, а ревизор виноват!

— Покорно вас благодарю! — неожиданно прибавляет барон, взглядывая со злостью на мичмана.

— Но позвольте, барон...

— Что «барон»! Барону никакого отдыха нет... Барону вот сию минуту надо опять ехать на берег из-за этого консула, а вам что?.. Спите сколько угодно... Покорно благодарю!

— Да разве я, барон...

— Побыли бы вы ревизором, испытали бы эту каторгу! — продолжает он, несколько смягчаясь, по-прежнему не обращая ни малейшего внимания на попытки мичмана докончить фразу.

По счастью, вбегает рассыльный и докладывает, что идут шаланды с углем.

И барон, не докончив чая и своих lamentаций, выскакивает наверх. Лица женатых проясняются. Только «легкомысленный мичман» с минуту находится в недоумении, за что это обрушилась на него долговязая цапля.

— Верно, попало ему от капитана, а? —

смеется он, обращаясь к присутствующим.

IV

По мере того, как «Грозный» приближается к северу, видимо возрастает общее нетерпение. Уже высчитывают остающиеся дни плавания («если, бог даст, не будет никаких случайностей», — опасливо прибавляют люди постарше) и чаще стыдят старшего механика за то, что «Грозный», несмотря на полный ход и на самую благоприятную погоду, «ползет» как черепаха, всего по семи с половиною узлов в час.

— Хоть бы до восьми постарались, Иван Саввич! — говорят ему, когда он показывается в кают-компании.

Все, разумеется, отлично знали, что Иван Саввич, заботившийся о своей «машинке», как нежно называл он двухсотпятидесяти-сильную машину корвета, точно о родной дочери, и сам «старался» и нисколько не виноват, что его «машинка» большего хода давать не могла, но надо же было излить досаду нетерпения, тем более что объект этих жалоб, милейший Иван Саввич, был в высшей степени мягкий, добродушный и невозмутимый

человек.

И он не обижался.

Покуривая дешевую манилку* и теребя свои реденькие рыжеватые бакенбарды, окаймлявшие рябое, покрытое веснушками лицо, с съехавшим чуть-чуть на сторону носом и большими голубыми глазами, кроткое и умное выражение которых значительно смягчало некрасивость его лица, Иван Саввич терпеливо отмалчивался или замечал, добродушно улыбаясь:

— Больше ходу взять неоткуда... Слава богу, идем хорошо. И то подшипники нагреваются! — озабоченно прибавлял Иван Саввич.

— Нечего сказать... хорош ход!.. — иронизировал кто-нибудь.

— И такого хода не будет.

— Это почему?

— А если засвежеет... Кажется, к тому дело идет! — пугал Иван Саввич.

— Типун вам на язык, Иван Саввич!

— Небось этого не любите! — смеется Иван Саввич.

Но когда суточное плавание корвета, благодаря попутному ветру, бывало не менее

двухсот миль, большая часть семейных людей расцветала.

Экспансивнее других женатых выражал в такие дни свою радость доктор Лаврентий Васильевич Жабрин, высокий, крупных размеров, видный толстяк, лет за сорок, с громадным животом, снискавшим ему большой почет и уважение среди китайцев. Его шаровидное румяное лицо с двойным подбородком, с мясистым носом, толстыми сочными губами и маленькими, заплывавшими жиром глазками — лицо с благодушно-довольным выражением уравновешенного человека — теперь положительно сияло и потому, вероятно, казалось еще ординарнее и глупее, чем обыкновенно.

Лаврентий Васильевич был совсем обленившийся, зажиревший человек, идеалы которого давно сузились в рамках маленького, нетребовательного личного благополучия и ленивого покоя. В течение трех лет плавания он большую часть времени просиживал на своем постоянном почетном месте, рядом с местом старшего офицера — на диване, или в приятном и всегда нетерпеливом ожидании

часов еды, или в осовелом состоянии хорошо покушавшего обжоры, чувствующего ко всем прилив необыкновенного дружелюбия вместе с неодолимым желанием расстегнуть нижние пуговицы, стесняющие громадный живот, и подремать, подсапывая и подсвистывая носом, с засусленной сигарой во рту.

Это неизменно блаженное настроение доктора нарушалось лишь тогда, когда на корвете случались больные. Тогда Лаврентий Васильевич становился раздражительным и озабоченным. Он терпеть не мог больных, особенно таких, которые продолжали хворать и после натирания горячим уксусом — этого излюбленного Лаврентием Васильевичем средства против всяких болезней. Приходилось, таким образом, беспокоиться и изыскивать другие средства, а между тем профессиональные познания доктора, по-видимому, были не из обширных. Он давно не заглядывал в медицинские книжки и предоставлял больше природе делать свое дело, помогая лишь ей уксусом, горчичниками и касторовым маслом. Вероятно, потому он отрицал и самую медицину, утверждая, что она еще в младен-

честве, что еще не вполне дознано, как лекарства действуют на организм, и, следовательно, несравненно, мол, лучше обходиться по возможности без лекарств.

И обыкновенно добродушный Лаврентий Васильевич серьезно сердился, когда матрос жаловался на нездоровье.

— Ну, чем ты, каналья, болен? Какая у тебя болезнь может быть? Просто полодырничать в лазарете захотелось, а? Так ты так и скажи, а то: болен!

— Никак нет, вашескородие... Ломит всего... Нутренности горят, вашескородие...

— Гмм... Ломит? «Нутренности» горят? — сердито ворчит Лаврентий Васильевич. — Посмотрим, посмотрим, братец... Покажи-ка язык!

Матрос добросовестно высовывает язык, весь покрытый белой пленкой.

Доктор хмурится. «Кажется, в самом деле болен, шельма», — думает он.

— Так ломит, говоришь ты?

— Ломит, вашескородие.

Лаврентий Васильевич тогда пробует рукой голову, щупает пульс и, обращаясь к

фельдшеру, отважно приказывает:

— Антонов! Натереть его покрепче горячим уксусом да напоить малиной... Пусть хорошенько пропотеет. А к вечеру, если не будет лучше, дать две ложки касторового масла...

— Не прикажете ли, ваше высокоблагородие, для верности дать прием хины на случай, если *febris gastrica*...[8]

— Что ж, можно и хинки дать... Дай, братец, дай.

— Сколько прикажете: десять гранов?

— Пожалуй, десять.

По счастью для врача, а еще более для матросов, серьезно больных на корвете почти не было, и таким образом уксус, малина, горчишки и касторовое масло успешно делали свое дело вместе с фельдшером Антоновым, к которому матросы гораздо охотнее прибегали за помощью, чем к «ленивому борову», как нелюбезно звали доктора на баке.

Возвращение в Россию несколько встрянуло и Лаврентия Васильевича. Он сбросил обычную лень и неподвижность и по временам даже «нервничал», то есть ел без особен-

ного обжорства. В «счастливые дни» хорошо-го суточного плавания он оживлялся, охотно угаживал желающих «марсальцей»* и чирутками* из Манилы, рассказывал свои любимые анекдотцы скромного содержания (давно, впрочем, всеми слышанные), первый заливаясь в конце анекдота густым, сочным, утробным смехом, и надоедал всем расспросами: «Когда придем в Кронштадт?»

Скорей бы добраться! Довольно с него этого долгого плавания. Шутка сказать: три года! Он уж больше ни за что не оставит своей Марьи Петровны и троих ребяток и не пойдет за границу (бог с ней!), хоть заграничное плавание и выгодно, конечно, в материальном отношении. Но он не гонится за большим. Он не жаден к деньгам и не мечтает о карьере. Он не намерен ради усиленного оклада подвергаться беспокойствам и жить в разлуке с любимой семьей. Довольно и трех лет!.. Слава богу, за три года он кое-что скопил про запас.

— По нашим скромным требованиям как-нибудь проживем и с береговым содержанием! — весело, с чувством полного удовлетворения, прибавлял довольный Лаврентий Ва-

сильевич, заранее предвкушавший сладость осуществления своей давнишней мечты, из-за которой, собственно говоря, он, этот ленивый толстяк и счастливый семейный человек, и просился в кругосветное плавание. Мечта эта — покупка маленького деревянного домика с садиком, — конечно, в одной из дальних кронштадтских улиц, где дома дешевле, — уже высмотренного и приторгованного Марьей Петровной, образцовой хозяйкой и женой, до сих пор влюбленной в своего «Лаврика», такой же высокой, крупной, дебелой и еще моложавой, как и ее супруг. Там, в собственном домике, план которого недавно прислала жена, он отлично разместится в шести комнатах со своей «Машетой» и тремя мальчуганами и снова заживет в семье, среди любимых и любящих лиц, в приволье домашнего уюта и общей ласки, не стесняясь летом ходить по саду в своем любимом халате. Сад-то ведь собственный!.. Покойное место старшего экипажного врача (лечить больных, слава богу, не придется — на то есть госпиталь!), не требующее никаких занятий, хозяйственные беседы по утрам за чаем с Марьей Пет-

ровной, прогулка по службе в казармы, в полдень рюмка-другая хорошей водки с домашними соленьями, в третьем часу сытный домашний обед в веселой компании вернувшихся из гимназии двух старших мальчиков и маленького, общего баловня, чудесные наливки и славное варенье к чаю, заготовленные в изобилии к приезду Лаврентия Васильевича, сладкая дремота после обеда в кресле и ласковый шепот жены: «Усни, Лаврик, на кровати», вечера в клубе или дома с несколькими хорошими игроками за вистом* по маленькой, эдак робберов* двенадцать, вкусная закуска с обильной, выпивкой привезенной марсалы и затем безмятежный сон счастливого человека на мягкой пуховой постели рядом со своей Машетой, необыкновенно авантажной в своем кокетливом ночном чепчике, из-под которого выбиваются черные косы, всегда нежной и ласковой (даже в случае проигрыша Лавриком за вистом), — не счастливая ли это в самом деле жизнь, за которую можно только благодарить судьбу?!

Такие мысли в последнее время все чаще и чаще приходили в голову благополучного

Лаврентия Васильевича, и он все более и более разгорался желанием скорее вкусить давно не испытанных тихих радостей семейной жизни и броситься в объятия своей верной Машеты. И сама эта тридцатипятилетняя, полная и рыхлая Машета с моложавым и румяным, но самым банальным лицом, которую мичмана, видевшие Марью Петровну на проводах, дерзко окрестили «холмогорской коровой», рисовалась теперь пылкому воображению соломенного вдовца в самом очаровательном, соблазнительном виде, далеко не соответствующем действительности.

— Через неделю придем, не правда ли? — обращался ко всем возбужденно Лаврентий Васильевич.

— Придем... придем!.. А небойсь много везете с собой денег, доктор? — спрашивали молодые люди.

— Так, кое-какие деньжонки есть! — с уклончивой скромностью отвечал доктор.

— У доктора, господа, в кубышке, наверное, тысяч десять лежит! — уверенно выпаливает «легкомысленный мичман», возвращавшийся, как и большая часть молодежи, без

гроша в кармане.

— Уж и десять! Не жирно ли будет?

— А сколько?

— Слава богу, если тыщонки три наберется! — скромно говорил он, уменьшая про всякий случай на две тысячи с хвостиком цифру своих сбережений.

— Не маловато ли, доктор?

— А вы, видно, лучше меня знаете? — недовольно замечает Лаврентий Васильевич, не особенно охотно посвящавший посторонних в свои денежные дела.

— Мы думали, гораздо более, и рассчитывали, что вы по случаю возвращения нас всех угостите шампанским!

— Ну, уж это шалите!.. У меня на шампанское, господа, денег нет... У меня не шальные деньги, как у вас, у легкомысленного мичмана! Однако что ж это не накрывают на стол? — круто обрывает доктор щекотливый разговор. — Уж время и обедать! — прибавляет он, взглядывая на часы.

И при мысли об обеде маленькие свиные глазки Лаврентия Васильевича загораются плотоядным огоньком. Он осведомляется, ка-

кие будут кушанья, и сладко подсасывает своими толстыми, мясистыми губами.

V

Среди всех этих радостных и веселых лиц моряков один лишь старший штурманский офицер, Никандр Миронович Пташкин, сохранял обычный свой сдержанный, холодный и сумрачный вид, не обнаруживая ничем, по крайней мере на людях, ни нетерпения, ни радости по случаю возвращения в Россию и никогда не заговаривая об этом, точно ему было все равно и точно его никто не ждал в Кронштадте.

Он был, как и всегда, молчалив и серьезен, этот непроницаемый и для многих загадочный человек, строгий педант по службе, аккуратный, как судовые хронометры, за которыми смотрел, точный, как его ежедневные вычисления, ни с кем не сближавшийся за время трехлетнего плавания и державшийся неизменно особняком, с амбициозным чувством собственного достоинства и подозрительной осторожностью непомерно мнительного и самолюбивого человека, не допускавшего никакой короткой фамиллярности, ни-

какой шутки в отношениях, особенно со стороны флотских офицеров — этих «аристократов службы», к которым в качестве «парии штурмана» он питал традиционную глухую. Ненависть, зависть и затаенное презрение.

А между тем навряд ли был на корвете человек, который бы ждал прихода в Кронштадт с таким страстным нетерпением, как этот самый «непроницаемый» Никандр Миронович, целомудренно-ревниво таивший от посторонних глаз свои чувства, словно бы боясь профанировать их и показаться смешным в образе влюбленного пожилого мужа.

Он, как школьник, считал у себя в каюте остающиеся дни и часы до предположенного им прихода, мучительно страдал при каждой задержке и безумно радовался при каждом лишнем узле, замирая, как влюбленный юноша, при мысли о свидании с молодой женой, которая была все в его жизни: ее счастье, радость, ее единственный смысл. Он успел с ней пробыть лишь два счастливые короткие года и любил, вернее — боготворил жену со всею глубиной и силой своей первой поздней страсти, полный благодарной признательности

пожилого, сознающего свою скромную внешность человека к молодому, расцветающему созданию, которое серенькие мрачные будни его прежней одинокой, никому не нужной жизни вечного труженика обратило во что-то светлое и радостное, хотя по временам и жутко мучительное, когда внезапно набегала мнительная мысль: «А что, как это счастье вдруг кончится и жена полюбит кого-нибудь молодого, красивого, изящного, как она сама?»

Ужас охватывал в такие минуты Никандра Мироновича...

VI

В день ухода из Кронштадта она приезжала на корвет проводить мужа, эта свежая, стройная, со вкусом одетая, красивая молодая брюнетка, с прелестными черными глазами, с родинкой на щеке и раздувающимися розовыми ноздрями задорно приподнятого носика над пунцовой, подернутой пушком губой. Она была задумчива, серьезна и слегка грустна, что, однако, не мешало ей по временам улыбаться, показывая маленькие, ослепительной белизны зубки, и украдкой от мужа

бросать на любующихся ею молодых моряков быстрые, как молния, полные жизни, блеска и огня, кокетливые взгляды и тотчас же скромно опускать их, прикрывая глаза, словно сеткой, длинными густыми ресницами и снова принимая прежний задумчивый и печальный вид жены, опечаленной разлукой.

Но каким жалким и несчастным рядом с этой высокой и эффектной, сиявшей красотой и молодостью женщиной казался бедный Никандр Миронович, маленький, худой, поджарый и сутуловатый, со своими врозь поставленными, по морской привычке, слегка изогнутыми короткими ножками!

Обычное суровое выражение, в котором чувствовалась энергия сильного характера, теперь исчезло с его умного, но крайне невзрачного лица, сухощавого, старообразного, точно сморщенного, с непропорционально большим, книзу опущенным носом, неуклюже торчащим между плоских желтых щек, испещренных бородавками.

Взволнованное, сконфуженное и словно еще более постаревшее, бледное, с нервно вздрагивающей губой лицо штурмана свети-

лось выражением беспредельной любви и глубокой скорби, когда он взглядывал на жену долгим, неотрывающимся взглядом своих серых, теперь необыкновенно кротких глаз. И напрасно Никандр Миронович, желая скрыть от посторонних волнение и печаль, старался принять свой обычный суровый вид или пробовал улыбаться. Улыбка, кривившая его губы, выходила неестественная, жалкая, и никакого «вида», кроме страдальчески беспомощного, у бедного Никандра Мироновича не было.

Появление этой красивой, как куколка одетой, молодой женщины произвело некоторую сенсацию среди офицеров и многочисленной публики провожавших. Мужчины любовались ею, а «флотские» дамы, кронштадтские «патрицианки», оглядывали и госпожу Пташкину и ее элегантный костюм завистливыми, удивленными глазами, словно бы изумлялись, что жена «какого-нибудь штурмана» может быть так хороша и изящна.

Проходивший мимо с озабоченным лицом старший офицер, увидав красивую брюнетку, невольно уменьшил шаг, неизвестно зачем

покрутил свой длинный ус и пошел далее, взглянув на Никандра Мироновича завистливо и сердито, точно хотел сказать: «И зачем это у тебя, у штурмана, такая красавица жена!»

В небольшой кучке молодежи между тем шел оживленный обмен впечатлений. Восхищались и глазами, и руками, и «вообще», и детально.

— И где это штурман мог подцепить такую красавицу, скажите на милость?

Оказалось, что никто этого не знал и никто раньше не видал ее в Кронштадте.

— Но она-то хороша!.. Выйти замуж за такое мурло, как Никандр Миронович! — с сердцем заметил легкомысленный мичман.

— Настоящий карла Черномор перед Людмилой!

— Не бойсь, уйдем — явится и Руслан!..*

— Тише... Еще, пожалуй, услышит!..

— И поделом! Не женись на такой хорошенькой!

Заметил ли Никандр Миронович все эти любопытные, нечистые взгляды, бросаемые на жену, или до него долетело какое-нибудь

из пошлых восклицаний, но только лицо его вдруг как-то болезненно перекосилось, и он прошептал:

— Пойдем ко мне в каюту, Юленька. Здесь столько народу...

— Как хочешь, мой друг... Только не душно ли там?

Голос Юленьки звучал мягко и нежно, словно гладил.

— Ты боишься духоты? Так останемся! — с грустной покорностью промолвил Никандр Миронович.

— Нет, нет, пойдем...

Они ушли вниз и не вышли к прощальному завтраку в кают-компани.

— Ишь Отелло какой! Даже полюбоваться не дает! — смеялись мичмана.

Уже гудели пары, выхаживали якорь, и провожавшие родные и друзья стали по сходне переходить на пароход, стоявший борт о борт с корветом, когда на палубе показался Никандр Миронович с женой.

Она имела расстроенный, печальный вид, утирала обильно льющиеся слезы и повторяла: «Смотри же, пиши чаще, береги себя!» Ни-

кандр Миронович ничего не говорил. Бледный как полотно, видимо осиливая душевную муку, он был безнадежно спокоен, как человек, мужественно идущий на казнь, к которой успел подготовиться. Он довел жену до сходни, крепко сжал ее руку, хотел что-то сказать, но судорога сжала горло, и он только махнул головой и торопливо вошел на мостик, на свое место.

Пароход с провожатыми отошел, и «Грозный» тихо тронулся вперед, плавно рассекая воду...

— Счастливого пути!.. Прощайте!.. Прощай!..

С парохода кричали, кланялись, махали фуражками, зонтиками, платками. С корвета отвечали тем же.

Никандр Миронович молча смотрел бессмысленным взглядом на корму парохода, где стояла его жена и махала голубым зонтиком. Корвет забрал ходу, и бесконечно дорогого лица не было видно. Только светло-яркое пятно женской фигуры пестрело на корме парохода, но и оно через несколько минут ушло от жадных глаз, слившись в темной кайме чело-

веческих голов. И самый пароход, уносивший от Никандра Мироновича единственно любимое им существо, становился все меньше и меньше.

Круто повернувшись от парохода, Никандр Миронович незаметно смахнул рукой катившиеся по щекам предательские слезы, глубоко и тяжело вздохнул и с большим морским биноклем в руке стал внимательно наблюдать за благополучным проходом корвета по фарватеру кронштадтского рейда, снова приняв свой обычный суровый вид «мрачного штурмана», каким все привыкли его видеть.

VII

Никандр Миронович Пташкин принадлежал к типу «ожесточенного», «непримиримого» штурмана.

Человек умный, таивший в глубине души немало честолюбия, натура вообще недюжинная, энергичная и богато одаренная, он признавал и чувствовал в себе, быть может, болезненно преувеличивая и мнительно питая это чувство, служебную безвыходность и приниженность.

Его возмущало это неравенство, развивше-

еся на почве сословных привилегий и пред-
рассудков[9], создавших в старинное время во
флоте деление на касты. Для привилегиро-
ванных патрициев, флотских офицеров, —
все отличия и почести, так сказать сливки
службы, а для плебея штурмана — вечное
подчиненное положение, труженическая от-
ветственная работа и — ничего впереди!..

А между тем служба штурмана была весь-
ма важная и требовала основательных зна-
ний. Штурман прокладывал на карте путь, де-
лал счисление, описи берегов и съемки, про-
изводил астрономические наблюдения для
определения места корабля, наблюдал за мор-
скими картами, за верностью компасов, за
хронометрами — одним словом, ведал глав-
ным образом кораблевождением и вслед за
капитаном первый подвергался строгой от-
ветственности по суду в случае постановки
судна на мель или другого какого-либо несча-
стия, бывшего следствием ошибки или незна-
ния штурмана.

Эта серьезная часть морского дела всецело
лежала на штурманах, особенно в старое вре-
мя, когда флотские офицеры гнушались «под-

лым», недворянским, цифирным делом (недаром и штурманов презрительно звали «цифирниками»), и большая часть капитанов плохо или даже совсем не знала штурманской части, ограничиваясь управлением судов и военным обучением команд. Без хорошего штурмана многие капитаны в старину не могли бы плавать, и по этому поводу прежде ходило немало анекдотов среди моряков.

Приниженное положение штурманов не ограничивалось их служебной карьерой. И вне службы штурман, как человек не «белой кости», был, так сказать, «отверженцем». Он не был принят в привилегированной касте флотских. Его чуждались. Ни один из моряков не подумал бы выдать дочь за штурманского офицера. Начальство третировало штурмана с презрительной грубостью; сослуживцы — с небрежным превосходством. Штурман считался человеком «низшей расы», «бурбоном». Над ним издевались. В старину про штурманов даже была сложена песенка, начинавшаяся словами:

Штурман! дальше от комода!

Штурман! чашку разобьешь!

Под влиянием такого отношения сложились типичные черты штурмана старого времени. Это был обыкновенно молчаливый, загнанный человек, зачастую выпивавший, с грубыми манерами, вечный труженик, педантичный морской служака, молча и, по-видимому, без ропота тянувший ляжку и переносивший грубости капитанов старого закала, но в глубине души оскорбленный и нередко ожесточенный, питавший глухую и непримиримую вражду ко всем флотским, только потому, что они флотские.

Веяния шестидесятых годов не прошли бесследно и для замкнутого морского мирка с его кастовыми предрассудками. Многие изменилось в нем под влиянием новых идей, охвативших общество и правительство. Обращение с матросом, отличавшееся особенной суровостью, доходившею до зверства, смягчилось. Изменились, конечно, и прежние безобразные отношения между «патрициями» и «плебеями» морской службы. Никто не осмелился бы запеть: «Штурман! дальше от комода!..» Но вкоренившиеся в сознание людей ка-

стовые предрассудки не могли исчезнуть сразу, и в самых, по-видимому, любезных и равноправных отношениях моряков к штурманам все-таки невольно проглядывало старое, годами унаследованное сознание своего привилегированного положения, что, разумеется, чувствовалось штурманами и не охлаждало традиционной вражды, тем более что и служебное положение штурманов не изменилось.

Реформы не коснулись этих «униженных и оскорбленных» тружеников морской службы.

— Всех нынче освобождают, только штурманов, видно, не хотят! Да и не стоит. Разве штурман в глазах многих человек?! Штурман — терпеливое и безропотное животное... Кто поднимет за него голос?

Так изредка говаривал с ядовитой, насмешливой иронией Никандр Миронович, обращаясь к своему помощнику, молодому штурманскому прапорщику, но, очевидно, говоря для всех сидевших в кают-компании моряков и словно бы вызывая на ответ.

И угрюмое лицо Пташкина, и его тихий, слегка скрипучий голос были полны злости.

Никто не подавал ответа, и Никандр Миронович снова упорно молчал.

VIII

Между «мрачным штурманом» (так звали за глаза Никандра Мироновича) и большинством сослуживцев установились холодные отношения, оставшиеся неизменными во все время долгого плавания. Штурмана недолюбливали.

Все признавали, что Никандр Миронович превосходный и образованный офицер; все соглашались, что Никандр Миронович человек безукоризненной честности; но его отчуждение, его, чувствуемая всеми, глухая неприязнь, тяжелый, угрюмый, озлобленный характер и, наконец, некоторые его взгляды, казавшиеся многим морякам чересчур либеральными, — все это невольно возбуждало и к нему, в свою очередь, не особенно дружелюбные чувства.

Несмотря, однако, на такое не особенно лестное мнение о характере Никандра Мироновича, составившееся в кают-компании, этот молчаливый и серьезный человек внушал к себе невольное уважение и некоторую

боязливость иметь с мрачным штурманом столкновение. Все были с ним особенно осторожны, избегая затевать с Никандром Мироновичем споры, особенно на некоторые щекотливые темы, и не позволяя себе со штурманом никакой шутки, никакой фамильярности, обычной в тесном кают-компанейском кружке. Каждый хорошо знал, что Никандр Миронович этого не любил, и что, несмотря на свою сдержанность и умение владеть собой, может серьезно рассердиться, а задевать его небезопасно.

И никто никогда не решался шутить с ним. Молодежь как-то невольно стеснялась при нем вести фривольные разговоры о женщинах, зная, что таких разговоров Никандр Миронович особенно не мог терпеть. Он ничего, по обыкновению, не говорил в таком случае, но сумрачное, серьезное лицо штурмана среди всеобщего веселого смеха, лицо, безмолвно не одобрявшее, казалось, пошлые разговоры, производило охлаждающее действие, и всем делалось легко, когда штурман при подобных разговорах уходил из кают-компании. Вдобавок, Никандра Мироно-

вича знали и по его репутации — за человека «беспокойного характера», который очень ревнив к собственному достоинству и не позволит никому наступить себе на ногу, даже и начальству, хотя бы при этом и пришлось рисковать многим.

На корвете слышали о разных прежних столкновениях мрачного штурмана с начальством и, между прочим, о столкновении, бывшем во время одного из прежних плаваний Никандра Мироновича между ним, тогда скромным младшим штурманом, и начальником эскадры, «свирепым» адмиралом, которого все офицеры боялись как огня, особенно в минуты адмиральского гнева, когда вспыльчивый адмирал утрачивал всякую сдержанность и «разносил», не разбирая выражений. На корвете рассказывали, как все присутствующие тогда на флагманском судне были изумлены, когда, в ответ на неприличную грубость забывшегося адмирала, этот маленький, невзрачный Никандр Миронович, побелевший, как рубашка, ответил на грубость еще более резкой грубостью, рискуя за такое нарушение беспощадной морской дисципли-

ны надеть матросскую куртку. Изумился едва ли не больше всех и адмирал, не ожидавший встретить такого отпора со стороны «ничтожного штурмана», и в изумлении спустился к себе в каюту. По счастью, этот «свирепый» адмирал был справедливым и честным человеком, способным сознать свою вину. Он понял, что дерзость оскорбленного штурмана была вызвана им же самим, и не дал никакого хода этой истории. Отважный штурман не пострадал. Напротив, по возвращении из плавания, адмирал дал о Пташкине самую лестную аттестацию, представляя его к ордену.

Командир «Грозного», лихой парусный моряк старой школы, но плохо знавший штурманскую часть, очень дорожил Никандром Мироновичем как превосходным штурманом, на которого можно было положиться, как на каменную гору, и который «не подведет». Человек раздражительный и резкий, не стеснявшийся иногда во время «разноса» кричать на господ офицеров, замеченных в неисправности по службе, капитан, однако, ничего подобного не позволял себе с Никандром Мироновичем и был с ним всегда вежлив и крайне

осторожен. Беспокойный характер мрачного штурмана был, конечно, известен и капитану.

Впрочем, надо и то сказать: Никандр Миронович был такой добросовестный и исправный служака, он с такою бдительностью сторожил корвет около опасных мест, до того был осторожен и пунктуален во всем, что касалось его обязанностей, что даже и при желании решительно невозможно было придраться к мрачному штурману.

С этой стороны он был неуязвим.

Таким образом, Никандр Миронович сумел себя поставить в независимое положение и находился со всеми в вежливо-холодных отношениях вооруженного нейтралитета.

Только с двумя членами кают-компании он не был сдержан, сух и подозрителен, и когда разрешал себя от молчания, то заговаривал всегда лишь с ними, оказывая им неизменно знаки своего благоволения. Такими фаворитами Никандра Мироновича были: механик, Иван Саввич Холодильников, милейший человек неиссякаемой доброты, глядевший вообще на жизнь с величайшим философ-

ским оптимизмом, и только что произведенный из гардемарин мичман Кривский.

Последнему Никандр Миронович прощал не только его принадлежность к «флотским», но даже и отца адмирала и вообще влиятельное во флоте родство, вероятно за то, что этот юный, пылкий идеалист исповедовал самые демократические взгляды, вел со всеми ожесточенные споры в защиту их, никогда не ругал матросов и всегда был ярим их защитником и предстателем, что вызывало со стороны некоторых «дантистов», считавших зуботычины несомненной обязанностью каждого «настоящего» моряка, немало насмешек и обвинений в «штатских» взглядах, несколько не пригодных на палубе военного судна. Кроме того, этот демократ мичман заслужил благоволение мрачного штурмана, кажется, еще и тем, что, не в пример своим товарищам, интересовался не одними только «морскими» вопросами, почитывал книжки и вдобавок превосходно делал астрономические наблюдения и никогда не принимал участия в скабрёзных разговорах про женщин, что было особенно ненавистно целомудренному Ни-

кандру Мироновичу.

И мрачный штурман, сперва было считавший юношу за «маменькина сынка», которому впоследствии будет «бабушка ворожить», присмотревшись к нему, стал иногда водить с ним разные серьезные разговоры, давал советы что читать и вообще относился к нему с сочувственным дружелюбием.

Рассказывая иногда в кают-компании свои, как он называл, «любопытные историйки», в которых представители флотских играли всегда несимпатичную роль, Никандр Миронович обращался к Кривскому, и мрачному штурману, по-видимому, доставляло своеобразное удовольствие видеть, как возмущался и негодовал юноша, слушая о разных темных проделках с углем капитанов и ревизоров, о злоупотреблениях в порту и госпитале, о зверском обращении с матросами. А Никандр Миронович знал много таких любопытных историйек и изредка рассказывал их своим тихим, ровным голосом, под наружным спокойствием которого чувствовалось ехидное злорадство, говорившее, казалось: «Смотри, как вы бывают флотские».

Мрачный штурман никогда не лгал, и подлинность его историек была более или менее известна морякам. Поэтому никто не мог ничего возразить штурману по существу, но и его спокойная манера рассказывать, и его скрипучий голос, и его ядовитая ирония производили всегда на присутствующих тягостное, неприятное впечатление. Старший офицер старался, бывало, замять подобный разговор, но это не всегда ему удавалось. Никандр Миронович не обращал, по-видимому, никакого внимания на производимое им впечатление и продолжал просвещать юношу насчет разных безобразий, а окончив рассказ, обыкновенно прибавлял:

— А какого-нибудь несчастного шкипера за украденный кусок парусины — под суд! Не обкрадывай, мол, казны, шкипер!.. Да-с...

Когда, наконец, Никандр Миронович окончательно умолкал, не обнаруживая намерения продолжать еще свои обличительные рассказы, все невольно испытывали чувство облегчения. И только что он уходил из кают-компании, как раздавались замечания:

— Слава богу, кончил! А то каркал, кар-

кал... всю душу вымотал!

— Давно уж не каркал. Верно, к шторму!

— У мрачного штурмана желчь разлилась.

Вы бы ему что-нибудь прописали, доктор.

— Он неизлечим! — с сердцем отвечал Лаврентий Васильевич, питавший к штурману, несмотря на свое благодушие, неприязненные чувства за то снисходительное презрение, которое проглядывало в отношениях к нему Никандра Мироновича.

— Поневоле разольется желчь, если такие мерзости на свете! — восклицал Кривский, готовый всегда заступиться за всеми нелюбимого штурмана. — Разве то, что сейчас рассказывал Никандр Мироныч, не возмутительно?.. Разве...

— Да пожалейте нас, голубчик! Уж мы наслушались вашего мрачного штурмана. Мало ли возмутительных вещей на свете!..

IX

Невыносимо долги и тяжелы для мрачного штурмана были эти три года плавания. Море, прежде столь любимое им за сильные и разнообразные ощущения, которыми оно часто дарит своих поклонников, теперь было ему

ненавистно. Океан, некогда возбуждавший возвышенные мысли, то и дело нашептывал ему о разлуке и наводил тоску. И мрачный штурман чаще, чем прежде, проклинал эту проклятую службу, безжалостно оторвавшую его, через два года после свадьбы, от страстно любимой жены.

Это назначение в кругосветное плавание было для Никандра Мироновича совершенной неожиданностью. Он так далек был от подобной мысли. Он два раза уже ходил кругом света и, разумеется, не мог ожидать, что его пошлют в третий... Прочитав приказ, написанный писарской рукою, он в первую минуту был ошеломлен.

«Расстаться с Юленькой!» — беспомощно повторял он, и тоска охватила его сердце.

Это казалось ему чудовищным, невозможным делом. Он именно мечтал никогда не расставаться с любимым созданием — ведь никто добровольно не бежит от счастья! — и собирался для этого совсем не ходить больше в море, а прочно основаться на береговом месте — сделаться преподавателем в штурманском училище, иметь еще частные уроки, —

одним словом, работать изо всех сил, чтоб жена могла жить беззаботно, чтобы он мог исполнять ее желания. Ведь она так молода, эта веселая, ласковая Юленька. Ее еще тешат наряды. Ей хочется блеска и света.

Никандр Миронович ни слова не сказал жене, надел мундир и отправился к начальству объясниться. Он шел полный надежды, что его объяснения будут уважены, а приказ — отменен. Желających идти в заграничное плавание ведь так много!

В приемную, где дожидалось несколько офицеров, вышел начальник штаба с серьезным и строгим видом озабоченности на лице; это был молодой еще адмирал, из «подававших большие надежды», очень недавно назначенный на видный пост начальника штаба, открывавший дальнейшие перспективы блестящей карьеры, и, вероятно, потому уже успевший в короткое время превратиться из прежнего Петра Петровича, доброго, обходительного человека и хорошего капитана, в недоступного и необыкновенно серьезного административного авгура*, поглощенного, казалось, в тайны высших соображений.

И этот вид недоступности вместе с боязнью не уронить своего достоинства, и эта преувеличенная, очевидно ненатуральная серьезность, и некоторая нервность еще неуверенных движений и жестов, и этот властный, громкий и отчетливый, видимо восхищавший самого адмирала тон, с каким он говорил, обращаясь к почтительно стоявшим офицерам: «Я посмотрю...», «Все, что от меня будет зависеть...», «Я сделаю распоряжение», — все, словом, свидетельствовало, что адмирал еще переживал медовые месяцы упоения властью и ему доставляло наслаждение сознавать свое значение и играть в начальника.

— Вам что угодно?

— Я, ваше превосходительство, назначен на корвет «Грозный», — начал было Никандр Миронович.

— Как же-с, знаю... знаю... Вас выбрали, как опытного и отличного офицера! — любезно подчеркнул, перебивая, адмирал, видимо довольный своим правом давать аттестации, и, подняв на Никандра Мироновича взгляд, ждал, что штурман немедленно просияет после такого комплимента.

Но — подите! Мрачный штурман не моргнул глазом и угрюмо сказал:

— Имею честь доложить вашему превосходительству, что я два раза ходил в дальнее плавание, и потому считаю себя вправе просить об отмене моего назначения.

Решительно, мрачный штурман не умел говорить с начальством. В его тоне не было чего-то «того», что располагает сердца многих высших лиц!

И дело его сразу было проиграно.

Не понравилось ли молодому адмиралу, что в выражении лица и в тоне штурмана не было сугубой почтительности, хотя и необязательной по уставу, однако вовсе не лишней в жизни, или ему показалось, что достоинство и значение начальника штаба, от которого многое зависит, несколько задеты тем, что этот невзрачный и угрюмый штурман не просиял от похвалы адмирала и, вместо того чтобы просто почтительно просить, «считал себя вправе» просить, — но только адмирал, за минуту перед тем готовый оказать внимание «исправному и отличному офицеру», — внешне почувствовал к нему неприязненное

чувство, причем и лицо, и нос, и бородавки Никандра Мироновича показались теперь адмиралу очень неприятными.

И он, сдвинув брови, стал еще серьезнее, заложил, вероятно для большей внушительности, большой палец за борт сюртука и, отступив шаг назад, спросил:

— По каким же причинам вы считаете себя вправе просить?

Он подчеркнул слова «считаете себя вправе».

— По домашним обстоятельствам, ваше превосходительство! — коротко отрезал штурман и опять без всякой нежной интонации в голосе.

— На службе нет-с домашних обстоятельств. Вы, как старый офицер, должны это знать-с! — строго заметил адмирал. — Кто разбирает назначения, тот должен оставить службу. Иначе у всех будут домашние обстоятельства... Я ничего не могу для вас сделать. Вы назначены по приказанию высшего морского начальства! — прибавил адмирал значительно смягченным тоном, заметив безмолвное отчаяние на лице мрачного штурма-

на. — Вы женатый?

В его голосе звучала теперь простая человеческая нотка участия. Быть может, при виде штурмана он вспомнил, как сам два года тому назад хлопотал, чтоб его не назначали в дальнее плавание.

— Женатый...

— Я вам могу посоветовать одно: поезжайте в Петербург и просите высшее начальство... Быть может, ваша просьба и будет уважена, а я не имею права отменять назначения.

Никандр Миронович вышел из приемной с слабой надеждой.

Разве уважат его просьбу без чьего-нибудь влиятельного ходатайства? Наверное, и там ему скажут, что на службе нет семейных обстоятельств, а тем более для штурмана...

Однако он решил испробовать последнюю попытку. На следующее утро он осторожно встал, чтоб не потревожить спавшую Юленьку, и с первым пароходом отправился в Петербург... Накануне он сказал жене, что едет по служебным делам, но о назначении своем не говорил.

«К чему огорчать ее прежде времени? — думал он, вполне уверенный, что это известие опечалит жену. — Быть может... все устроится!..»

Адмирал, в обширный кабинет которого вошел Никандр Миронович, известный в те давно прошедшие времена весельчак и остроумный циник, отличался, несмотря на свое важное положение министра, доступностью и щеголял в обращении с подчиненными, особенно с молодыми, фамильярной простотой и некоторою распущенностью властного лица, уверенного, что всякие его шутки могут только доставить удовольствие.

Он, по обыкновению, сидел за своим письменным столом в халате, с открытою голою грудью, с коротко остриженной головой, с красивым когда-то лицом, теперь желтым и оплывшим, и о чем-то весело болтал с несколькими лицами, почтительно стоявшими около стола.

— Что скажете, батюшка? — ласково проговорил адмирал, заметив вошедшего штурмана, скромно остановившегося у дверей. — Милости просим... Подходите ближе... Не бой-

тесь — не кусаюсь. Ваша фамилия?

— Штабс-капитан Пташкин.

— По какому делу изволили пожаловать, батюшка?

Никандр Миронович изложил свою просьбу, пояснив, что он женатый человек.

— С женой, значит, жаль расставаться, а? — заметил, смеясь, адмирал.

И, подмигнув глазом, прибавил:

— Молодая, что ли, у вас женка, господин Пташкин, что вам так не хочется уходить, а? Давно женаты?

Адмирал смотрел на штурмана с насмешливым добродушием. На его веселом лице светилась лукавая циничная усмешка.

Никандр Миронович смешался и потупил глаза. Этот фамильярно-игривый тон оскорблял его чувства. Он сделался еще угрюмее и, вместо того чтобы ответить в том же игривом тоне, проговорил глухим голосом:

— Два года, ваше превосходительство!

— Всего два года? — переспросил адмирал, словно бы удивляясь, что штурман так поздно женился, и снова смерил Никандра Мироновича своим зорким и умным взглядом, ко-

торый, казалось, говорил: «Однако ты, брат, очень неказист».

Он помолчал и сказал:

— Конечно, неприятно расставаться после такого короткого срока, что и говорить; а все-таки, любезнейший, мой дружеский совет вам — идти. Вас назначили как опытного и усердного офицера, и вы не артачьтесь и ступайте с богом! — прибавил адмирал тем же простоватым, фамильярным тоном, в котором, однако, слышалось приказание, не допускающее возражения. — Что делать?.. Потерпите три года... Зато после трех лет женушка еще милее покажется... это верно...

И адмирал снова засмеялся.

— Да что вы, батенька, таким бирюком глядите, а?.. — шутил адмирал, желая ободрить штурмана и объясняя себе угрюмый его вид робостью перед начальством. — Не вы один расстаетесь с женой. Вон Петровский, — указал, смеясь, адмирал на стоявшего в полной парадной форме лейтенанта, — плачет, а идет. И года еще нет, как сделал глупость — женился, а назначили — и оставляет неутешную красавицу. Так-то-с... А как вернетесь, ес-

ли, бог даст, будем с вами живы и здоровы, я обещаю устроить вам береговое место, коли уж вы такой домосед. А пока поплавайте... потрудитесь... Ну, с богом, родной... Не поминайте лихом... Да на японок не очень засматривайтесь! — крикнул шутливо адмирал вдогонку уходившему штурману.

Только что Никандр Миронович с отчаянием и бессильною злобою в сердце вышел за двери, как адмирал, обратившись к присутствующим, заметил с веселым смехом:

— И отчего это у наших штурманов такие отчаянные физиономии, а? Заметили, господа, что за физиономия у этого штурмана? И вид как у факельщика... Недоволен поди, а жена, я думаю, молебен отслужит за начальство... что освободило ее от такого красавчика. Разве уж сама — унеси ты мое горе!

— У Пташкина, ваше превосходительство, прехорошенькая жена! — почтительно заметил один капитан-лейтенант.

— Хорошенькая у такого мурлы? Ах он...

И адмирал весело dokonчил фразу весьма нескромным выражением.

— Так хорошенькая? — смеялся адми-

рал. — То-то ему так не хочется идти. Боится, видно, как бы в его отсутствие мичмана... того...

И, приставив к остриженной голове два пальца, адмирал залился хохотом.

Мысль об отставке закрадывалась в голову бедного Никандра Мироновича и занимала его всю дорогу от Петербурга до Кронштадта. О, с каким удовольствием бросил бы он теперь эту ненавистную службу!.. Отказ в его просьбе казался ему несправедливостью, возможною только со штурманом... Если бы просился флотский — ему бы не отказали. Он знал много примеров... Но подать в отставку был шаг чрезвычайно серьезный... Ему оставалось дослужить всего три года, чтобы при отставке иметь право на пенсион и эмеритур*... Неужели лишиться этого права?.. Ведь он не один! И скоро ли он найдет место?.. И где его искать человеку без связей, отставному штурману?.. Но главное, имеет ли он право подвергать Юленьку всем случайностям неверного существования?.. Еще если б у него были какие-нибудь деньги, которые бы позволили выждать места, но у него больше денег

нет. Все сбережения, скопленные им во время прежних дальних плаваний, пошли на устройство уютного гнездышка для любимой женщины, на подарки, на ее наряды, украшения, прихоти...

Но все эти благоразумные соображения теряли свою важность перед мучительной мыслью о долгой разлуке, и Никандр Миронович, всегда основательный и рассудительный, теперь не прочь был не только рискнуть отставкой, но и совершить какую угодно глупость, лишь бы не расставаться с женой.

«Что-то скажет бедная Юленька?»

Признаться, весть о назначении мужа в дальнейшее плавание не особенно опечалила «бедную Юленьку». Вероятно, поэтому-то она с большим искусством выразила безграничное сожаление при этом известии. Ее хорошенькое личико, полное «ангельской», по выражению Никандра Мироновича, кротости, так омрачилось, в глазах светилась такая печаль, что влюбленный штурман, прошедший молодость в плаваниях, не знавший совсем ни женщин, ни женского лицемерия и веривший в свою Юленьку, как в бога, спешил ее

успокоить. Счастливый и радостный, он объяснил, что еще можно избежать этого несчастья...

— Стоит только наплевать на них и подать в отставку. Что ты на это скажешь, Юленька? — проговорил он, заглядывая ей в лицо с веселой улыбкой.

— В отставку? — вырвалось у Юленьки восклицание, обнаружившее скорее удивление, чем радость. — О, конечно, это было бы отлично! — поспешила прибавить молодая женщина.

И тотчас же спросила с наивным видом балованного ребенка:

— У нас, значит, есть хорошее место, Никаша?

Этот прозаический вопрос несколько смутил Никандра Мироновича. Он добросовестно признался, что не только хорошего, но никакого места еще нет в виду, но что за беда! Он достанет себе место... Он будет хлопотать где возможно... Сегодня же он напишет приятелю, который служит в черноморском обществе...

— Конечно, Юленька, это делается не так

скоро... Придется, быть может, подождать... несколько стесниться, но ведь зато мы будем вместе, моя родная! — застенчиво и взволнованно прибавил Никандр Миронович.

Эта перспектива, по-видимому, не особенно улыбалась молодой женщине. Она, конечно, по-своему была расположена к мужу, но далеко не настолько, чтобы приносить на алтарь привязанности какие-нибудь жертвы. Не для того она вышла замуж. И практическая Юленька решила удержать своего благоверного от глупости, которую он готов был сделать из-за своей сумасшедшей любви.

Она с чувством пожала руку Никандра Мироновича, подарив его взглядом, полным благодарности, и снова повторила, что это самое лучшее, что он мог придумать... Она так рада не испытывать такой долгой разлуки...

— Одно только меня смущает, голубчик...

— Что, милая?

— Я боюсь за тебя... Удобно ли тебе бросать службу?.. Она все-таки дает верный кусок хлеба и обеспечение в будущем... Каково тебе будет, если ты не скоро получишь место?..

— Ты, значит, не советуешь, Юленька?

Юленька даже обиделась. Разве она не советует?! Разве она может решать такой серьезный вопрос?.. Пусть Никаша поступает, как найдет лучшим... Конечно, бросать службу, не имея ничего определенного впереди, страшно, но она с удовольствием готова жить в одной комнате, продать все свои вещи и платья, все, что он подарил ей; она сама будет готовить... Разумеется, во всем этом нет особенной прелести, но что делать?.. Она видела и прежде нужду... Она...

— Что ты, что ты, Юленька?.. Да разве я допущу тебя до этого, мое сокровище?.. — воскликнул Никандр Миронович, тронутый до глубины души словами жены и чувствуя себя перед нею бесконечно виноватым.

Как он мог серьезно подумать о такой глупости, как отставка! Он — отчаянный эгоист, думающий лишь о себе. Эта будущая картина нужды, нарисованная женой, наполнила сердце Никандра Мироновича ужасом. Эта великодушная, милая Юленька будет страдать только потому, что он не имеет силы вынести три года разлуки... Он готов был поставить на карту свое положение, свои долгие годы

службы, чтобы подвергнуть любимое существо случайностям неверного существования!.. О, как он гадок в сравнении с этим чистым созданием!..

И умиленный, растроганный Никандр Миронович решительно объявил, что он принимает назначение.

— Мало ли какие глупости не придут в голову!.. Какая отставка, Юленька! Отставка — безумный вздор... Как ни тяжело оставлять тебя, мою цыпочку, а необходимо! — говорил Никандр Миронович, глядя на жену с восхищением и любовью. — По крайней мере и делишки свои поправим: морское содержание хорошее, всего не истратим... Привезу тебе кое-что... да... И служба не будет потеряна... А вернусь — уж мы больше не расстанемся... Не правда ли, Юленька? — прибавил он, стараясь улыбнуться и скрыть свое отчаяние...

Эта беспредельная привязанность, это горе тронули молодую женщину. В душе ее шевельнулось что-то вроде упрека за то, что она недостаточно ценит эту любовь. Она заплакала. Уверенная, что он непременно пойдет в плавание, она стала теперь уговаривать его

не идти с тою искренностью наивного лицемерия, свойственного лживым натурам, которое заставляет иногда разыгрывать совершенно ненужные комедии.

— Я не хочу, чтобы ты уходил из-за меня... Я не хочу... Слышишь ли? не хочу! Мне будет так скучно одной! — шептала она, утирая слезы, и ей в самом деле казалось, что жаль расставаться, хотя в ту же самую минуту, как она говорила об этом и плакала, она подумала, как будет веселиться одна, ездить часто в Петербург, бывать в театрах и клубах, как заведет новые интересные знакомства, — словом, вполне насладится свободой, не стесняемая присутствием мужа.

Никандр Миронович, тронутый такой привязанностью своей Юленьки, был, однако, непоколебим. Едва сдерживаясь, чтобы не выдать своего горя, он же успокоивал Юленьку как только мог.

И она мало-помалу успокоилась и согласилась с ним, что надо покориться.

На следующий же день Никандр Миронович явился к командиру «Грозного» и объявил, что назначен старшим штурманским

офицером.

Х

Три месяца перед разлукой пролетели для Никандра Мироновича как чудный сон. Юленька удвоила свою заботливость. Она не оставляла теперь мужа и сидела дома. Предупредительная, нежная, простиравшая внимание до мелочей, она расточала в это время столько любви, столько горячей ласки, что Никандр Миронович в умилении повторял:

— Господи! За что такое счастье? Чем заслужил я такую любовь Юленьки?

Подобный вопрос он задавал себе и раньше, когда получил радостное согласие Юленьки быть его женой, вместе с первым застенчивым поцелуем уже потертых от поцелуев губ. Это было для Никандра Мироныча неожиданным, невероятным событием, от которого невольно мутится рассудок. Он уже несколько времени любил эту девушку, но скрывал свою любовь, считая ее безнадежною, так как не смел и мечтать, чтоб его, некрасивого, немолодого, угрюмого и застенчивого штурмана, могла когда-нибудь полюбить эта молодая, красивая девушка, с своими

бархатными глазами и «чудной» улыбкой «ангела», в которую он «врезался» при первой встрече и которую, разумеется, наделил всевозможными качествами, какие только мог придумать «морской волк», полюбивший впервые со всею силой запоздавшей страсти и, вдобавок, питавший к женщинам благоговейный культ строго целомудренной натуры. Сознавая свою скромную наружность, Никандр Миронович всегда дичился женщин и совсем не знал их. Мимолетные знакомства во время плавания — знакомства, оканчивавшиеся ужином и золотой монетой, — лишь оскорбляли его чувства и высокое понятие о том идеале воображаемого женского существа, который он бережно носил в душе и теперь воплотил в Юленьке.

Влюбленный штурман не решался, однако, ездить так часто, как бы хотелось, из Кронштадта в Петербург, в эту маленькую, скромную квартирку в одной из дальних улиц Коломны, где жил старый бедный чиновник кораблестроительного департамента, господин Морошкин, у которого была такая хорошенькая дочка. А между тем у Морошкиных всегда

бывали так рады посещениям Никандра Мироновича. Еще бы! Старый плутяга чиновник, едва перебивавшийся с большой семьей, и его супруга, молодившаяся еще, шустрая дама, гордившаяся тем, что у нее дядя полковник и богат (хотя от дяди она и не получала ни копейки), и игравшая запоем в мушку*, чуяли в Никандре Мироновиче подходящего жениха и советовали Юленьке не упустить случая. И то она засиделась — ей двадцать пять! Партия отличная — принца все равно не найдешь, а семье и без того жить трудно, она сама знает!..

Смышленная, с практической жилкой, девушка, рано узнавшая дома изнанку жизни, — с грязью и лишениями прилично скрываемой бедности, с попрошайством у дяди, вечными семейными ссорами, — получившая у матери первые уроки лжи и притворства, а у отца — первые наставления житейской морали заматорелого плута чиновника, — прошедшая потом полный курс петербургских клубов, — Юленька, и без родительских намеков, видела, что Никандр Миронович серьезно клюнул и что он представляет для такой

бедной девушки, как она, более или менее подходящую партию. У нее были и раньше женихи, но такие же полунищие, как и она сама, и девушка им отказывала. А Никандр Миронович был «серьезный» жених. Правда, он некрасив, немолод, но разбирать теперь в самом деле не приходится. К тому же она давно стремилась вырваться из дома, из этой полунищенской обстановки. Надоели ей и домашние сцены, и молчаливые упреки ее неумению выйти замуж, и амбициозная бедность, и ее подержанные платья с чужих плеч, в которых она отплясывала и кокетничала в благородном собрании и приказчищем клубе, пока мать азартно играла в мушкету, скрывая проигрыши от отца. Надоели ей и влюбленные ухаживатели, желавшие соблазнить девушку и предлагавшие катания на тройках и ужины в загородных ресторанах, но, разумеется, не думавшие жениться на дочери бедного мелкого чиновника. Юленька хоть и ездила на тройках, и ужинала в ресторанах, но всегда под покровительством маменьки. Не по летам практическая и понимающая, что «ошибка» уменьшит шансы на

приличную партию, она серьезной интриги ни с кем не завела, и даже после нескольких бокалов шампанского, оживленная и раскрасневшаяся, умела держать своих поклонников в строгих границах сдержанности. Обещающие взгляды и улыбки, нечаянные поцелуи, рассеянность при долгом пожатии руки — вот все, что позволяла себе расчетливая девушка, в надежде ускорить развязку и изловить не любовника, а мужа. Но желанная «развязка» не являлась, и Юленька, раздраженная, с головною болью и воспоминанием пьяного поцелуя, возвращалась в сопровождении маменьки домой, в убогую квартирку, вид которой теперь казался ей еще ненавистнее.

Влюбленный штурман явился как раз вовремя. Она, конечно, поняла, почему он так был застенчив и мрачен в ее присутствии и почему краснеет, когда она обращается к нему. Секрет его молчаливой любви не был ни для кого секретом у Морошкиных. Старик уже собрал точные сведения, что у Никандра Мироновича лежит в банке семь тысяч, и что он считается отличным офицером. Подростки

сестры и братья уже заблаговременно выпрашивали у Юленьки подачек и оказывали ей теперь предупредительное внимание. Мать ходила к Покрову и служила молебны, рассчитывая обновить свой гардероб и обшить младших детей на счет Никандра Мироновича. Все члены этой семьи, всегда ссорившиеся и попрекавшие друг друга, притихали, как пираты, в ожидании поживы, при появлении Никандра Мироновича и, словно охотники, обхаживающие зверя, встречали гостя необыкновенно радушно, устраивая перед ним трогательное зрелище необыкновенно дружного семейства, в котором Юленька играет роль трудолюбивой, добродетельной феи.

Юленька заставила влюбленного штурмана заговорить. Свадьбу скоро сыграли, и вся семья была обшита. При всей своей испорченности, Юленька была тронута и силою беззаветной страсти, и необыкновенною деликатностью чувства Никандра Мироновича. Счастливый и умиленный, он говорил ей, что он ее не стеснит, что она будет всегда свободна в своем чувстве, и если разлюбит, то ска-

жет.

— Конечно, потеря любви ужасна, но... обман еще ужаснее... Не так ли?..

И, не веря своему счастью, он часто спрашивал:

— За что ты меня любишь?

И Юленька, ласкаясь, как кошечка, смеясь отвечала:

— За что любят?.. За то, что ты умный, хороший, добрый...

Влюбленный муж верил и был счастлив. Юленька тоже была довольна. После жизни, полной лишений, — уютное свое гнездо, наряды, поездки в Петербург, театры... Муж ее баловал, лелеял и никогда не показывал ревности. Она это ценила и не раскаивалась, что вышла замуж. Он такой добрый и хороший и так любит ее. И она по-своему была расположена к мужу, чувствуя, что он ее раб. Жизнь они вели замкнутую; в Кронштадте знакомых было немного, и это несколько смущало Юленьку, но зато она часто ездила в Петербург, чтобы похвастать перед родными нарядами и вечером побывать в театре или в клубе. Муж ее сопровождал. Конечно, он бы охот-

нее проводил вечера с ней вдвоем за чтением интересной книги, чтобы после поговорить, поделиться впечатлениями, но «она так молода, ей еще веселиться хочется... книга потом займет!» — утешал он себя и первый предлагал ей ехать в Петербург или идти куда-нибудь в гости...

Да, тяжелы были эти три года разлуки для Никандра Мироновича. Все это долгое время он жил ожиданием ее конца. Он писал своей Юленьке длиннейшие письма, наполняя страницы описанием природы, думами, впечатлениями и изливаниями своей горячей любви. Раза два Никандр Миронович даже послал ей свои стихотворения и просил никому не показывать... Он для нее только их писал...

На берег Никандр Миронович съезжал только для того, чтобы купить что-нибудь для жены, и был страшно скуп для себя. Никандра Мироновича ни разу не видали на берегу обедающим в гостинице или сидящим в кафе за стаканом пива, и все на корвете считали мрачного штурмана скаредом. Зато его каюта,

необыкновенно чистая, всегда аккуратно убранная, с несколькими портретами Юленьки, украшавшими стену над койкой, была полна подарками для жены. Чего-чего только не было в огромном сундуке! И кроме подарков, он вез чек на несколько тысяч, чтобы отдать своей ненаглядной, милой хозяйке.

Письма от жены были для Никандра Миرونвича праздником. Он запирался в своей каюте и перечитывал по несколько раз эти маленькие листки, наполненные новостями о кронштадтской жизни, рассказами о родных и общих знакомых. Ее короткие, но нежные строки о том, что она скучает без мужа и нетерпеливо ждет его, чтобы обнять и горячо расцеловать, и постоянная ее подпись: «Твоя верная Юленька» — приводили его в восторг, и он целовал письма, стараясь найти в этих нежных строках жены отклик тому поэтическому настроению, которым были проникнуты его письма.

Если письма не было, мрачный штурман приходил в отчаяние и был молчаливее и угрюмее, чем обыкновенно. Беда было тогда чем-нибудь раздражить Никандра Миронови-

ча. Он запирался в каюте и часто ночью ходил по палубе, заложив за спину руки и опустив голову. И тогда-то седые волны океана рокотали ему самые мрачные думы. Ему представлялось, что его Юленька полюбила другого (этот другой рисовался ему в образе флотского офицера) и весело смеется в чужих объятиях. Он вздрагивал от боли и старался гнать от себя эти ужасные мысли... Мало ли какие бывают случайности! Письмо могло пропасть. И зачем же так вдруг она разлюбит?.. Разве она скрывает от него что-нибудь? Не он ли говорил ей, что чувство свободно!.. К чему же обман?

Рокотавший океан не успокоивал. Напротив, он, точно нарочно, все громче и громче говорил о несчастьи, о потере любимой женщины, и мрачный штурман, терзаясь ревностью и отчаянием, переживал тяжкие минуты.

Но в следующем же порте вместо одного письма его ждали два. И, жадно глотая эти милые строки аккуратной в переписке жены, строки, в которых снова была речь и о любви, и о нетерпеливом ожидании «верной Юлень-

ки», — Никандр Миронович, умиленный и растроганный, жестоко корил себя, что смел оскорбить это чистое, благородное создание подозрениями.

— Теперь конец... скоро конец всем этим мукам! — восторженно шептал Никандр Миронович, высчитывая остающиеся дни.

И слезы радости сверкали в глазах мрачного штурмана, когда, глядя на последний портрет жены, он представлял себе скорую близость свидания.

XI

— Кричите, господа, уру!.. Барон! Ставьте бутылку шампанского! — радостно воскликнул, входя в кают-компанию, легкомысленный мичман, только что сменившийся с вахты.

— Что такое? — лениво спросил барон Оскар Оскарович.

— Сию минуту входим в Финский залив, вот что! Завтра к вечеру в Кронштадте! Мрачный штурман сам сказал... И — вообразите, господа? — мрачный штурман улыбался. Ей-богу, собственными глазами видел! — говорил с веселым смехом мичман. — Ну, зато ж и

собака погода! — прибавил он, отряхивая фуражку. — Эй, вестовые, чаю! Живо!

Все бывшие в кают-компании бросились наверх взглянуть на Финский залив.

— Доктор, проснитесь!.. Эка, храпит как!.. Лаврентий Васильевич, вставайте! — кричал легкомысленный мичман сквозь жалюзи докторской каюты.

Храп вдруг смолк на низкой ноте, и недвольный голос спросил:

— Чего вы так орете?.. Разве уж подали чай?

— И чай и Финский залив... И то и другое...

— Ну? — радостно промычал доктор.

— То-то: «Ну!». Завтра, бог даст, дома пить чай будете... Выходите скорей!

Через минуту доктор вышел, протирая глаза и отдуваясь.

— А где же все?

— Пошли кланяться Финскому заливу, а я с вахты чайком буду греться... А знаете ли что, доктор?.. У меня мысль... поддержите.

— Коли добрая — поддержу.

— Добрая... Недурно бы сегодня за ужином вспрыснуть Финский залив, а?.. Разных бы за-

кусок, шампанского!.. Одним словом: ознаменовать!

Доктор нашел, что мысль добрая, обещал поддержать и пошел наверх.

Погода была в самом деле — «собака». Шел не то дождь, не то снег. Пронизывало нас сквозь сыростью и холодом. Свинцовые тучи повисли на небе и обложили со всех сторон горизонт.

Несмотря на такую погоду, палуба была полна народом. Все посматривали на мутно-свинцовые, неприветные воды Финского залива и вглядывались в серую мрачную даль в каком-то особенном радостном возбуждении.

— Запахло, братцы, Расеей... Вишь, и снежок... Давно его не видали! — весело говорят матросы, и многие снимают шапки и крестятся.

Мысль «вспрыснуть» вступление в Финский залив встретила общее одобрение, хотя барон Оскар Оскарович, бывший содержателем кают-компании[10], и досадовал, что поздно спохватились. До ужина оставалось всего два часа, и повар не успеет сделать пи-

рожного. Решено было пригласить на ужин и капитана, тем более что он в последнее время «вел себя хорошо», то есть не очень «разносил» офицеров[11].

Ужин был веселый. Все были необыкновенно оживлены. Теперь, перед окончанием долгого плавания, были забыты прежние ссоры, прежние маленькие недоразумения, и прожитое вместе время помянули добрым словом. Говорились спичи, и предлагались разные тосты — за капитана, за старшего офицера, за кают-компанию, за команду «Грозного». Кривский предложил тост за старшего штурманского офицера, и все, радостные, размякшие после выпитого шампанского, горячо поддержали тост.

— А где же Никандр Мироныч? Отчего его нет? — спрашивали со всех сторон.

— Он наверху, маяк сторожит!

— Попросить сюда Никандра Мироныча!

— Ну, Никандр Мироныч не спустится, пока не откроет маяка! — заметил капитан.

— И то правда... Так несите ему бокал, Сергей Петрович. Передайте наш общий тост!

Кривский одел кожан (ему кстати нужно

было подменить вахтенного офицера) и поднялся на мостик. За ним шел вестовой с подносом.

Сменив вахтенного, нетерпеливо ожидавшего смены, чтоб идти ужинать, Кривский приблизился к мрачному штурману, который стоял на краю мостика и смотрел в бинокль в направлении, где должен был открыться маяк. В темноте вечера низенькая фигура штурмана в дождевике с зюйдвесткой на голове казалась каким-то темным пятном.

— Никандр Мироныч! — окликнул его Кривский.

— А, это вы, Сергей Петрович... Маяк, баяшка, должен сейчас открыться... Уж глаза проглядел... Посмотрите-ка вы... Не увидите ли?..

Голос Никандра Мироновича звучал радостным возбуждением.

Кривский передал тост за его здоровье от кают-компаний, свои поздравления по случаю возвращения домой и предложил выпить бокал шампанского. Никандр Миронович чокнулся, выпил и, крепко стиснув руку Кривского, сказал взволнованным тоном:

— Спасибо, голубчик... спасибо... Завтра будем... завтра...

— Вы бы спустились поужинать, Никандр Мироныч... Я посторожу маяк...

— Да я есть не хочу... какой ужин! Что вы... ужинать!.. Завтра будем, голубчик!

Это радостное волнение, обнаруженное мрачным штурманом, удивило Кривского. Таким возбужденным он его никогда не видал.

— Ну что, видите что-нибудь?..

— Ничего не вижу...

— Сейчас откроется... Ну, вот и огонек... Вот и он... миленький! — весело воскликнул Никандр Миронович. — А вы все не видите?

— То-то нет.

— Глаз-то у вас не штурманский... Пошли-те-ка доложить капитану, что маяк открылся... Теперь надо следующего ждать.

— Да вы, Никандр Мироныч, хоть бы спустились вниз погреться. Погода дьявольская. Того и гляди простудитесь!

Но мрачный штурман наотрез отказался. Ему не холодно. Он всю ночь простоит наверху, будет смотреть за маяками.

— Да и не уснуть все равно... Слишком

взволнован... Ведь я три года ждал этого самого Финского залива. Легко сказать: три года!.. — повторил он в необыкновенном возбуждении.

И, помолчав, неожиданно прибавил:

— Вы и не знаете еще, милый Сергей Петрович, какая мука быть в долгой разлуке с любимым человеком!

Его обыкновенно недовольный, раздражительный голос звучал теперь таким глубоким, нежным чувством, какого Кривский и не подозревал в мрачном штурмане.

— Теперь шабаш!.. Больше в море не пойду! Уж мне обещали место в штурманском училище... Смотрите, навестите меня... Надеюсь, наше знакомство не кончится?.. Вы увидите, какая у меня славная хозяйшка! — с гордостью прибавил Никандр Мироныч.

Молодой человек был глубоко тронут этой неожиданной интимностью. Мрачный штурман показался ему теперь еще симпатичнее, и он горячо проговорил:

— Спасибо за приглашение... Разумеется, я им воспользуюсь и, конечно, никогда не забуду вашего расположения ко мне. Поверьте,

Никандр Мироныч!

— Верю, голубчик. Вы хоть и флотский, а милый человек! — задушевно промолвил Никандр Миронович. — Оттого-то я и хочу, чтоб вы познакомились с моей женой.

Он замолчал, видимо взволнованный, а Кривский, вспомнив эту хорошенькую брюнетку, приехавшую на корвет провожать мужа и вскидывавшую глазками, почему-то невольно теперь пожалел мрачного штурмана.

Погода становилась хуже. Хлопья снега падали сильнее. Ветер свежел, пронизывая ледяным холодом. Вокруг был мрак, среди которого по временам лишь ярко блистал то белый, то красный огонек маяка, предупреждавший об опасности приближаться к берегу.

Никандр Миронович не обращал внимания на погоду. Возбужденный и радостный, он зорко всматривался вперед, в мрак ночи, сторожа теперь появление маячного огня с другой стороны.

XII

На следующее утро, после веселого и шум-

ного чая, кают-компания обратилась в настоящий склад товаров. Большой стол был заставлен ящиками, ящичками и свертками. В отворенных настежь каютах шла деятельная уборка. Все пересматривали и разбирали свои многочисленные покупки трехлетнего плавания в различных странах, для подарков родным и близким, чтоб сегодня же увезти на берег кое-какие вещи.

Чего только тут не было! И шелковые тяжелые китайские материи, и целые женские костюмы, вазы, сервизы, шкатулочки, шахматы, страусовые перья, изделия из черепахи и слоновой кости, божки из нефрита*, чечунча* и крепоны*, стрелы и разное оружие диких, сигары с Гаваны и с Манилы, золотой песок из Калифорнии, индийские шали, купленные в Калькутте, попугаи в клетках, крошки обезьянки в вате...

Все, веселые и довольные, показывали свои вещи, хвастая друг перед другом и иногда совершая мены. Только Никандр Миронович никому ничего не показывал и не появлялся в кают-компании. Он давно уж уложил и приготовил несколько ящиков, которые се-

годня же свезет жене, и, слегка вздремнув после ночи, снова был наверху и посматривал на высокое серое пятно острова Гогланда*, прорезывающееся в окутанной туманом дали, к которому торопливо шел «Грозный» полным ходом, имея, кроме того, поставленные паруса.

Легкомысленный мичман, который проиграл большую часть своего жалованья в ландскнехт*, устраивавшийся часто во время стоянок на берегу, возвращался в Россию без подарков, с одной своей любимицей «Дунькой», уморительной обезьяной из породы мартышек, выдрессированной мичманом и проделывавшей всевозможные штуки. Он посматривал не без зависти на чужие вещи и упрашивал уступить ему что-нибудь.

— А то, господа, тетка рассердится, и кузины тоже! — смеялся он. — Нельзя с пустыми руками явиться, ей-богу! Не уступите, придется в Питере втридорога платить за «Японию». Пожалейте бедного мичмана.

Некоторые из товарищей кое-что уступали.

— Барон, а барон! Уступите три страусовых

перышка. У вас их чуть ли не сотня, а мне как раз бы подарить трем кузинам на шляпки. Деньги удержите из жалованья! — поспешил прибавить легкомысленный мичман, зная скупость ревизора Оскара Оскарыча.

— У меня у самого кузин много.

— Не сотня, надеюсь?

— И невесте надо.

— У вас на всех хватит.

— Не могу дать... все распределено... Впрочем, хотите меняться?

— На что?

— На вашу Дуньку!

Легкомысленный мичман обижается.

— Хотя бы вы, барон, все ваши вещи предложили, и то я Дуньку не отдам...

В конце концов легкомысленный мичман кое-что собрал для подарков и, обращаясь к доктору, не принимавшему никакого участия в общей суете и неподвижно сидевшему на диване, спросил:

— А ваша лавочка где, доктор? Разве никому не везете подарков?

— Как не везти? Везу подарки для себя: пять кругов честеру*, две бочки марсалы*, боч-

ку элю* да тысячу чируток! — весело говорит доктор.

— Я и забыл, вы ведь «пустячков» не любите.

— И не люблю, да и некому их возить! — заметил Лаврентий Васильич.

Пустячками он называл китайские и японские безделки и вообще всякие редкости. Он их никогда не покупал, находя, что непрактично тратить деньги на предметы, по его выражению, «несущественные», и по этому случаю нередко говаривал:

— Это вот разве молоденькой институточке или гимназисточке лестно получить от молодого мичмана китайский веерок, бразильскую мушку, перышко, — одним словом, извините за выражение, какое-нибудь «дерьмо-с», а моя Марья Петровна — женщина серьезная. Она любит существенное, а не то что бразильские мушки!.. Что в них?.. На руках хозяйство, дети... тут не до бразильских мушек и не до перышек!.. Вот штучку чечунчи купил на капот. Это, по крайности, полезная вещь!

Доктор позволил себе разориться только

на один пустячок, не представлявший, собственно говоря, «существенного предмета», — на покупку дорогого стереоскопа* и большой коллекции фотографических карточек, большая часть которой составляли фотографии полураздетых и совсем малоодетых дам всевозможных рас, национальностей и цветов кожи.

Лаврентий Васильевич потратился на подобную покупку в качестве большого любителя «неприкрашенной натуры». Запираясь в своей каюте, он иногда после обеда развлекался созерцанием соблазнительных картинок.

Разумеется, доктор, оберегая себя от мичманского зубоскальства, тщательно скрывал от всех свои развлечения. Только изредка он приглашал «взглянуть» пожилого артиллериста, штабс-капитана Федюлина, вполне уверенный, что Евграф Иванович, как человек скромный и вдобавок польщенный особым доверием, его не выдаст.

— Зайдите-ка ко мне, Евграф Иваныч, что я вам покажу! — таинственно говорил доктор, понижая голос, когда, после покупки стерео-

скопа, в первый раз приглашал артиллериста на «сеанс». — Только уж я на вас надеюсь, Евграф Иваныч, что вы никому ни слова! — прибавил Лаврентий Васильевич, когда оба они вошли в докторскую каюту и двери ее были заперты на ключ.

— Будьте спокойны, доктор... Одно слово — могила! — торжественным шепотом отвечал Евграф Иванович, несколько изумленный столь таинственным предисловием.

Вслед за тем доктор вынул стереоскоп и положил толстую пачку фотографий перед коренастым, колченогим, лысым артиллеристом, втайне считавшим себя, впрочем, весьма приятным мужчиной.

— Однако... все голые! — мог только проговорить Евграф Иваныч, перебирая фотографии, и неожиданно заржал.

— То-то голенькие!.. — ласково подтвердил доктор. — Признаюсь, люблю, знаете ли, натуру, не извращенную разными костюмами... Да вы в стереоскоп глядите, Евграф Иваныч! Вот так... Ну, что?

Но артиллерист, впившийся в стереоскоп плотоядным взором скрытного развратника,

в ответ только произносил какие-то неопределенные одобрителльные звуки.

Когда, наконец, вся коллекция была осмотрена и Евграф Иваныч, весь красный, с отвислой губой и масляными глазами, первую минуту пребывал в безмолвном восхищении, доктор спросил:

— Что, какова коллекция, Евграф Иваныч? Ведь тут, батюшка, представительницы всех наций...

— Да... Любопытная коллекция! — произнес артиллерист и снова заржал. — Дорого дали за эту покупочку?

— Не дешево... Но ведь зато вещь!..

— Занимательная вещица... это что и говорить!.. Но только как вы, Лаврентий Васильич, ее привезете домой, позволю себе спросить, если не сочтете мой вопрос нескромным?

— Да так и привезу... А что?.. Небось и вам хочется приобрести такую вещицу?

— Я бы не прочь, но только...

Евграф Иваныч замялся.

— В чем дело?

— Как бы супруга не обиделась, увидевши

такой щекотливый предмет. Дамы на этот счет довольно даже строги! — проговорил Евраф Иванович с искусственной улыбкой, зная по опыту, какую бы задала ему «взбучку» его супруга, если бы увидела у него такие картинки.

— Вот вздор... — отвечал доктор, не совсем, однако, уверенным тоном. — Да и зачем показывать жене все картинки?.. Для нее виды, а дамочек под замок... Их можно глядеть по секрету, а то и показать когда солидному приятелю... эдак после обеда у себя в кабинете... Вот оно, и волки сыты, и овцы целы! — прибавил, смеясь, Лаврентий Васильевич. — Многие держат такие коллекции. Один мой коллега так благодаря своим коллекциям и разным японским альбомам — видели их? — даже по службе ход получил, подаривши их в Петербурге высокопоставленному адмиралу-любителю, который прослышал про них и просил показать. Тот просто пришел в восторг, особенно от разнообразия японского альбома.

— Как же, слышал... слышал... Говорят, у адмирала целый шкаф подобных вещей.

— Ну, а коллега-то мой, Вадим Петрович Завитков, как человек ловкий и шустрый, не будь дурак, да и говорит: «Осчастливьте, мол, ваше высокопревосходительство, принять!» Тот благосклонно принял, а Завитков после того и в гору пошел... Ну, да и то сказать: умеет он, шельма, услужить... Я ведь его еще студентом знал. Того и гляди будет генерал-штаб-доктором! Вот вам и коллекция! — заключил сентенциозно доктор, хотя сам и не имел намерения поднести кому-нибудь свою собственную коллекцию.

Однако Евграф Иванович все-таки стереоскопа не купил, зная, что никакие ключи не спасут его от любопытства супруги, и лишь время от времени заглядывал к доктору в каюту и просил позволения полюбопытствовать, осведомляясь: нет ли чего новенького?

И Лаврентий Васильевич с удовольствием показывал, после чего оба эти почтенные отцы семейств пускались в оценку статей разных «штучек» и, наговорившись досыта, расходились, вполне довольные сеансом, как называл Лаврентий Васильевич эти секретные развлечения при помощи стереоскопа.

Разборка вещей окончена. Большая часть офицеров приготовилась к съезду на берег. В час подают обедать, но моряки едят лениво, и даже доктор, к удивлению, не обнаруживает обычного аппетита. После обеда никто не уходит отдыхать. То и дело кто-нибудь выбегает наверх посмотреть: «где мы» — и, возвращаясь, объявляет, сколько еще остается ходу. Возбуждение увеличивается до нервного состояния по мере приближения «Грозного» к Кронштадту. Этому последнему дню, казалось, нет конца. Время тянется чертовски долго, и все ворчат, что корвет еле ползет, а он между тем под парами и парусами, идет по девяти узлов.

Капитан часто выходит наверх и нервно ходит по мостику, нетерпеливо подергивая плечами. То и дело он спрашивает у Никандра Мироновича с нетерпением в голосе:

— К шести должны ведь прийти, а?

— Надо прийти-с! — отвечает штурман, сам охваченный волнением, которое он скрывает под видом обычной своей суровости.

— А вовремя возвращаемся... Опоздай день-другой... Кронштадт бы замерз. И то у бе-

регов льдины! Пришлось бы в Ревеле* зимовать!

Через несколько минут он спускается вниз и говорит на ходу вахтенному офицеру:

— Как покажется Толбухин маяк, пришлите сказать!

— Есть!

Но капитану не сидится и не дремлет на мягком диване его большой, роскошной каюты. Он словно на иголках, — этот коренастый, плотный, крепкий моряк лет под пятьдесят. Умевший владеть собой во время штормов, он решительно не может теперь справиться с нетерпением, которое отражается на его красном, обветрившемся лице с выкатившимися глазами и небольшим вздернутым носом, на его порывистых движениях. Он то встает, то садится и беспощадно теребит своими толстыми короткими пальцами седоватые подстриженные баки и рыжие усы. И у него вырываются отрывистые слова:

— Миша, пожалуй, и не узнает... Вырос... Катя... большая девица теперь... Володя... Милые мои!

Его лицо светится нежной отцовской

улыбкой, глаза слегка заволакиваются, и он теперь совсем не похож на того свирепого капитана, прозванного «бульдогом», которого так боялись, во время авралов и учений, офицеры и матросы.

Вал винта быстро вертится с обычным постукиванием под полом капитанской каюты. Капитан прислушивается, считает обороты винта, и ему кажется, что их будто бы меньше, чем было. Он надевает фуражку на свою круглую, коротко остриженную голову, действительно напоминающую бульдога, и снова поднимается на мостик.

— Лаг! — приказывает он.

Бросили лаг и докладывают, что девять узлов хода.

— Старшего механика попросить!

Через минуту является засаленный и черный Иван Саввич.

— Сколько фунтов пара держите?

Иван Саввич говорит.

— Нельзя ли еще поднять фунтиков десять?

— Можно-с.

— Так поднимайте и валяйте самым пол-

НЫМ ХОДОМ!

Когда механик ушел, капитан посмотрел вокруг, взглянул на голые брам-стенги и сказал вахтенному офицеру:

— Ставьте-ка брамсели!

Наконец, в пятом часу открылся Толбухин маяк, а через два часа «Грозный» показал свои позывные и, минуя брандвахту, входил на пустой кронштадтский рейд.

Город и мачты судов в гавани едва чернели в белой мгле падающего снега.

— Свистать всех наверх на якорь становиться! — раздалась веселая и радостная команда вахтенного офицера.

— Свистать всех наверх на якорь становиться! — проревел так же радостно боцман.

И эти крики отозвались невообразимую радостью в сердцах моряков.

— Из бухты вон, отдай якорь! — скомандовал старший офицер.

Якорь грохнул в воду. Якорная цепь с лязгом завизжала в клюзе, и «Грозный», вздрогнув, остановился на малом рейде, близ стенки купеческой гавани, почти на том же самом месте, с которого он ушел в дальнейшее пла-

вание три года и два месяца тому назад.

Офицеры радостно поздравляли друг друга с приходом. Матросы, обнажив головы, благоговейно крестились на Кронштадт. Бледный от волнения и усталости, Никандр Миронович в ответ на поздравления Кривского крепко пожимал ему руку, не находя слов.

А снег так и валил на счастливых моряков.

— На капитанский вельбот! На катер! Баркас к спуску!

Через несколько минут шлюпка с офицерами и баркас с женатыми матросами отвалили от борта на берег. На корвете остались лишь старший офицер да легкомысленный мичман, охотно ставший на вахту за товарища, спешившего обнять сегодня же старушку мать.

XIII

На следующее утро, радостное и счастливое для Никандра Мироновича, словно для узника, освобожденного после долгих лет неволи, — он все еще, казалось, не смел верить своему счастью, что он со вчерашнего вечера снова около своей Юленьки, необыкновенно кроткой, нежной, встретившей его внезапно-

ми слезами, и уж более с ней не расстанется, — он у себя дома, в веселом, уютном гнездышке, где все дышит любимой женщиной, счастливый и благодарный, под впечатлением ее порывистых, горячих ласк, которыми она точно хотела его вознаградить за долгую разлуку, — сидит теперь, как три года тому назад, в маленькой столовой, за круглым столом, на котором весело шумит блестящий пузатенький самовар. На подносе его большая чашка — давнишний подарок Юленьки в день его именин, — из которой он так любит пить чай.

Вот и Юленька. Она только что пришла из спальни — свежая, белая, с румянцем на круглых щеках, необыкновенно хорошенькая, в своем светло-синем фланелевом капоте, с надетым поверх груди белым пушистым платком, в маленьком кружевном чепце, из-под которого выбиваются подвитые прядки черных блестящих волос. Она села за самовар и стала разливать чай, слегка смущенная и притихшая.

Никандру Мироновичу чувствовалось необыкновенно хорошо и уютно. Чай, подан-

ный этой маленькой белой ручкой, украшенной кольцами, казался ему особенно вкусным, сливки, масло и хлеб — превосходными.

Чай отпит, самовар убран, а они все сидят за столом. Никандр Миронович все еще не может наговориться. Вчера Юленька была взволнованна и говорила мало. Что она делала в эти три года? Как проводила без него время? Есть ли новые знакомые? Какие?

Юленька удовлетворяет любопытство мужа, но не вдается в большие подробности. Жизнь шла однообразно, она скучала...

— Я, впрочем, обо всем тебе писала! — прибавляет она, и в голосе ее звучит какая-то беспокойная нотка.

Переполненный счастьем, умиленный Никандр Миронович не слышит этой тревожной нотки в нежном голосе своего «ангела». Он не замечает, как какое-то выражение не то беспокойства, не то страха внезапно мелькает на ее лице и снова исчезает в улыбке. Он не видит, что в нежном взгляде ее прекрасных глаз, когда она изредка их поднимает на мужа, есть что-то робкое и приниженное, словно виноватое. Он видит только свою нена-

глядную «цыпочку» и смотрит на нее влюбленными глазами, смотрит, словно не может еще налюбоваться ею, и говорит с веселой улыбкой:

— А вчера я и не заметил. Ведь ты пополнела, Юленька... Да еще как!

Внезапная краска заливает щеки молодой женщины.

— Тебе это идет, право, Юленька... Чего ты конфузишься?..

— Разве я в самом деле пополнела?..

— Есть-таки... Однако что ж это?.. Подарков ты так еще и не видала?.. Не знаю: понравятся ли тебе?

С этими словами Никандр Миронович вышел из столовой.

С хорошенького личика молодой женщины внезапно исчезла улыбка. Оно омрачилось и стало тревожным. Брови сдвинулись, и между ними залегла складка. Глаза сосредоточенно смотрели перед собой. Она тяжело вздохнула и, склонив голову, словно бы под тяжестью какой-то неотвязной мысли, сжимала свои белые руки.

В соседней комнате раздались шаги мужа.

Юленька встрепенулась и подняла голову. Лицо ее теперь было серьезно. Взгляд полон решимости. Слабая улыбка играла на устах.

— Ну-ка, посмотри, Юленька, что я тебе привез! — проговорил, входя с ящиками, Никандр Миронович. — Не думай: это не все... На корвете остался еще целый сундук для тебя! — весело прибавил он, открывая ящики.

И Никандр Миронович вынимал и выкладывал перед Юленькой прелестные вещи.

— Да что ты вдруг нахмурилась, Юленька?.. Или не угодил? — с беспокойством спросил Никандр Миронович, заглядывая в лицо жены.

Она, видимо, что-то хотела сказать и не решалась.

— Не нравится, а? — повторил он.

Она подняла на мужа робкий взгляд и, улыбаясь, промолвила:

— Твои подарки прелестны... Спасибо тебе, мой добрый!

И с какою-то нежною порывистостью поцеловала Никандра Мироновича.

— А я думал, что ты недовольна, моя цыпочка, и мне было неприятно... Так довольна?

Юленька стала рассматривать вещи и опять улыбалась. Но вдруг краска сошла с ее лица. Она побледнела, взор стал мутный.

— Что с тобою?.. Ты нездорова? — испуганно спросил Никандр Миронович.

— Ничего, ничего... Пройдет, — отвечала она и вышла из комнаты.

Через минуту Никандр Миронович испуганно заглянул в спальню. Юленька была бледна, как при морской болезни.

— Не послать ли за доктором, Юленька?

— К чему? Доктор не поможет...

— Как не поможет? Что ты? Я сейчас побегу за доктором.

— Не надо! — остановила его с досадою в голосе Юленька. — Разве ты не видишь, какая это болезнь? Я беременна, — неожиданно прибавила она.

Голос ее звучал серьезно и глухо.

В первую секунду мрачный штурман, казалось, не понял значения этих слов и глядел на жену растерянным, недоумевающим взором. Но затем он с укором воскликнул:

— Как тебе не стыдно так зло шутить, Юленька?

Юленька молчала.

— Ведь ты пошутила?! Юлочка! Голубушка! Цыпочка моя! Скажи же! Ведь это неправда? — повторил он глухим, упавшим голосом, чувствуя в то же время и надежду, и страх, и тоску.

Он заглянул ей в глаза, полные какого-то тупого выражения, и мгновенно понял истину. Лицо его покрылось мертвенною бледностью. Ужас исказил его черты. Губы нервно затряслись, и из груди вдруг вырвался жалобный, полный невыразимого страдания вопль!

— Юленька! Юленька!

Рыдания душили его. Он вышел, шатаясь, из комнаты.

XIV

«Гнездышко» сразу потеряло в его глазах прежнюю прелесть. Ему хотелось уйти куда-нибудь подальше, спрятаться от людей, остаться одному со своим тяжким горем. Он одел пальто и выбежал из дома.

Мрачный штурман шел по глухим улицам, направляясь за город, с опущенной головой, скрывая свое страдальческое, с помутившимся взором, лицо. Он шел по грязи, не замечая

ни ледяного ветра, ни снега с дождем, которые хлестали его со всех сторон. Обман любимого существа, которому он верил, ревность, оскорбление, позор причиняли ему невыносимые душевные муки. Несчастье казалось чудовищным. Жизнь представлялась каким-то мрачным гробом. Когда он вспоминал, что Юленька принадлежала другому, ярость охватывала штурмана. Черты его лица искажались злобой, из груди вырывались проклятия, и он вздрагивал всем телом, полный ненависти и желания убить человека, отнявшего у него счастье. Он представлял себе, что это непременно флотский, какой-нибудь подлый развратник, которого следует убить, как паршивую собаку...

Мысли путались в возбужденном мозгу Никандра Мироновича. Порыв злобного чувства сменялся ощущением горя и тяжелой обиды, и это ощущение смягчало взволнованную душу. И он чувствовал к себе жалость.

— За что? За что? — беззвучно шептали его губы, и слезы лились из его глаз.

Образ Юленьки, красивый, блестящий, с ее голосом, нежным и ласковым, не оставлял

его, наполняя сердце любовью и мучительной тоской...

Он чувствовал всем своим существом, что, несмотря на обиду, любит ее так же сильно и горячо, как и раньше. И это сознание причиняло ему еще большее страдание.

Он думал:

«Она полюбила другого... Чувство свободно... Я некрасив, я не возбуждал ее любви. Но разве она не знает меня? Зачем же обман? Эти письма... „Твоя верная Юленька“? Зачем вчера эти горячие ласки? Притворство, ложь?»

Он не мог ничего понять в этих противоречиях и напрасно хотел себе их объяснить. Это было не под силу цельной натуре влюбленного «морского волка», который большую часть своей жизни провел на палубе и, полюбив, лелеял в своей душе им самим созданный идеал любимой женщины, имеющий мало общего с действительностью.

И он жалел и разбитую, поруганную веру в «ангела», и самого падшего ангела, и приходил в отчаяние при мысли, что он теперь для Юленьки чужой... Он навсегда лишен любви-

мого существа.

«Все кончено... все кончено!» — тоскливо повторял он, и в его голове блеснула мысль, что жить не стоит!

«Зачем жить?»

Он между тем вышел за оборонительную стенку и очутился среди пустого поля. Ветер ревел на просторе, и море бушевало вблизи.

И мысли его были так же мрачны, как было мрачно кругом.

«К чему жить? Кому он теперь нужен?»

Перед ним пронеслась вся его жизнь. Ничего отрадного! Вечное одиночество, нелюбимая служебная лямка, озлобление и глухая ненависть неудовлетворенного честолюбия! Явилось было счастье, изменившее всю его жизнь, но и это счастье оказалось миражем. Вера в единственное близкое существо разбита. Его даже не пожалели! Впереди снова одиночество — еще более тоскливое и мучительное — приниженного ожесточенного человека, на которого будут смотреть с злорадством. «Глядите! Вот этот самый — влюбленный штурман, которого жена обманула и бросила!»

— Обманула... Изменила! — повторил он уже громко.

Он припоминал теперь вчерашнюю встречу: внезапные слезы, нервное состояние, переходы от слез к ласке. Дурак! Он принял и слезы и волнение за радость свидания. Глупец! Он в самом деле верил, что его любили, его ждали. А с каким страстным нетерпением он ждал свидания!.. И вот оно!.. Он бродит за городом!

Никандр Миронович смотрел на бушующее море сосредоточенным упорным взглядом маниака. Море точно звало его к себе, обещая полное успокоение.

«А что будет с ней? Что будет с Юленькой?»

Сердце его наполнилось жалостью при мысли о страдании, об угрызении совести любимого существа, о злорадстве людского осуждения. И ему стало бесконечно жаль Юленьку. И сердце мрачного штурмана смягчилось. Он глубоко задумался.

«Нет, не так надо поступить честному человеку. Совсем не так!» — подсказывала ему самоотверженная любовь.

И он, решительный и скорбный, тихо повернул назад. Решение было принято, и он больше не думал о смерти.

XV

В шестом часу, продрогший и усталый, Никандр Миронович вернулся домой и прошел в свой маленький кабинет. Когда, через несколько минут, он вошел в спальню, Юленька была поражена видом мужа — до того он постарел, осунулся и был мрачен.

Она глядела на него с выражением испуга, подавленная и беспокойная, ожидая, что скажет он. А он опустил глаза, точно виноватый, и, сдерживая волнение, заговорил тихим, слегка дрожащим голосом:

— Я не стану упрекать. Я не сумел заслужить доверия и потерял привязанность. И вот что я предлагаю: ты свободна... Я устрою развод, приму вину на себя, и ты можешь выйти замуж за человека, которого любишь, и будешь счастлива. А пока я уеду, чтобы не стеснять своим присутствием.

Юленька не ожидала такого решения. Оно ей вовсе не улыбалось, да и тот самый «человек», красивый лейтенант Скрынин, с кото-

рым она провела веселый год, разумеется, не связал бы себя женитьбой на разведенной жене штурмана. Он оказался большим негодяем — этот Скрынин! Он грубо бросил ее. И Юленька теперь ненавидела его!

Испуганная предложением мужа, испуганная перспективой жизни без средств, молодая женщина робко и виновато шепнула:

— Развод? Ты, значит, презираешь меня? Что ж, я этого стою, но мне не нужно развода, и ни за кого я не собираюсь замуж. Я никого, кроме тебя, не люблю!

Никандр Миронович поднял изумленные глаза на ее лицо, кроткое и покорное. Кажется, он не мог сразу сообразить то, что она сказала, до того это было неожиданно, и молчал.

Тогда Юленька вдруг опустилась на колени и, заливаясь слезами, проговорила:

— Прости, если можешь... Пожалей свою бедную Юленьку!

— Юленька! Что ты? Бог с тобой, родная! — воскликнул испуганный Никандр Миронович.

Он поднял ее, взволнованный и смягчен-

ный, усадил на маленький диванчик и, сядя рядом, промолвил дрожащим голосом:

— Так я тебе не чужой? Ты хочешь остаться со мною?

Юленька поняла, что дело ее выиграно и что муж ее любит по-прежнему. Вместо ответа она прижалась к нему, обняла Никандра Мироновича и спрятала голову у него на груди, всхлипывая, как малый ребенок.

И мрачный штурман молча прижимал одной рукой свою Юленьку, а другой тихо гладил ее голову. Слезы текли по его лицу.

Через минуту она говорила, прерывая слова слезами:

— Ты простишь ли меня? Забудешь ли?

— Милая!.. Разве ты не видишь?

— То было увлечение, слабость, безумный порыв. Я согласилась поехать ужинать. Я выпила шампанского и...

Юленька закрыла лицо руками.

Никандр Миронович вздрогнул, как ужасенный, ощущая мучительное чувство ревности.

— Не надо!.. Не говори!.. — прошептал он. — К чему!

— Нет, я хочу тебе все сказать, чтоб ты не так обвинял меня. После несчастного ужина мне стал гадок этот человек. Я его больше не видала.

— Кто это? — глухо вымолвил Никандр Миронович.

— Не спрашивай; мне стыдно, что я была знакома с таким человеком. Впрочем, изволь, но прежде дай слово, что ради меня ты не станешь его преследовать... Даешь?

Он дал, и Юленька сказала с чувством ненависти:

— Скрынин!

— Эта гадина? О Юленька!

— О, прости... прости... Если б ты знал, как я страдала! Я не смела написать тебе... Верь, что никогда...

И Юленька, рыдая, обнимала Никандра Мироновича.

Никандр Миронович поверил и этой лжи об единственном ужине, и глубине раскаяния, и уверениям в любви. Еще бы! Ему так хотелось верить. И он утешал свою «ненаглядную цыпочку» и, нежно целуя ее, сказал:

— Ни слова больше об этом, Юленька. За-

будем навсегда!

Юленька подарила мужа благодарным, нежным взглядом и чуть слышно проронила:

— Ребенка я отдам куда-нибудь, чтоб он не напоминал тебе моей вины.

— Что ты, Юленька! Зачем? Нет, он останется у нас. Пусть люди его считают нашим приемышем. И поверь, я его не обижу и буду любить... Ведь он твой, Юленька! И вот еще что: мы пока уедем из Кронштадта, чтоб не было лишних сплетен.

— Добрый, хороший! — шептала тронутая Юленька. — Так ты совсем простил? Ты вернул любовь своей Юленьке? Ты не напомнишь о моем проступке?

— Да разве ты не знаешь, как я люблю тебя. Юленька! — воскликнул Никандр Миронович. — И ни на минуту не переставал любить, хотя сегодня, когда ты сказала, мне было невыносимо больно. И разве я негодяй, чтоб когда-нибудь упрекнуть тебя, мое сокровище?

И «сокровище», улыбаясь сквозь слезы, прильнуло к мужу.

XVI

Прошло несколько лет. Мрачный штурман

сдержал свое слово.

Он не только не обижает маленькой Юлочкой, названной этим именем по настоянию Никандра Мироновича, но, напротив, не чаёт души в ребенке. И по мере того как растет девочка, привязанность Никандра Мироновича увеличивается. Ему все кажется, что жена недостаточно любит Юлочку и мало ею занимается. И он балует девочку. Во время поездок жены из Кронштадта в Петербург (Юленька часто-таки ездит «повидаться с родными») Никандр Миронович, возвращаясь с уроков из штурманского училища, проводит нередко долгие часы, пестуя и забавляя маленькую любимицу, и сам укладывает ее спать, рассказывая ей сказки. Случается иногда, Никандр Миронович мрачно задумывается, глядя на спящую девочку. Черты ее все более и более напоминают ненавистные ему черты Скрынина. Невольный вздох вырывается из его груди, и он шепчет:

— Чем же ты виновата, милая крошка?

И он крестит девочку и уходит в кабинет готовиться к лекциям.

Свою Юленьку он любит по-прежнему, ба-

лует и верит вполне ее преданности. И Юленька, все еще хорошенькая и пикантная, несколько пополневшая, всегда ласковая и нежная с Никандром Мироновичем, знает свою силу и держит под башмаком влюбленного мужа. Она в последнее время чаще ездит в Петербург, под предлогом повидать больную маму, и возвращается еще более ласковая и предупредительная. Но ее неверности сохраняются на этот раз в секрете, и Никандр Миронович, конечно, ни о чем не догадывается. Когда он замечает, что его цыпочка начинает скучать, он сам же предлагает ей развлечься и поехать в Петербург.

Зато флотских Никандр Миронович ненавидит еще более и отзывается о них с какою-то ожесточенною ненавистью. При встречах с прежними сослуживцами он еще суровее и угрюмее, чем прежде. И его все по-прежнему зовут мрачным штурманом, а за глаза, в обществе моряков, глумятся над ним:

— Жена-то ему чужого ребенка преподнесла, а он преспокойно это скушал: даже не вызвал на дуэль Скрынина и не прогнал жены. Впрочем, чего ж и ждать от штурмана! —

брезгливо прибавляли многие.

В шторм

Посвящается Наташе

I

— Барин, а барин! Лександра Иваныч! Ва-
ше благородие!

И с этими словами Кириллов, вестовой мичмана Опольева — маленький и приземистый, чернявый молодой матросик, с сережкой в ухе, расставив, для сохранения равновесия, ноги врозь и придерживаясь, чтобы не упасть, одной рукой за косяк двери, — другою слегка дергал ногу мичмана, который крепко и сладко спал в своей маленькой каюте, несмотря на стремительную качку, бросающую корвет «Сокол», словно мячик, на волнах расвирепевшего Атлантического океана.

В ответ ни звука.

Барин был соня и, по выражению вестового, «вставал трудно».

И Кириллов, хорошо знавший, что его же «заругают», если барин хоть на минуту опоздает на вахту, после паузы снова дергает мич-

манскую ногу, но уже сильнее и решительней.

— Ваше благородие! Вам на вахту! Александра Иваныч! Извольте вставать!

— К черту! — раздался сонный окрик из койки.

— Никак невозможно... Александра Иваныч!

— Я умер! — промычал мичман. — Брысь!

И, отдернув ногу, которую теребил вестовой, Опольев натянул на себя одеяло и повернулся на другой бок, готовый сладко поспать, как сильный продольный размах корвета ударил мичмана лбом о переборку и заставил очнуться.

Он высунул из-под одеяла заспанное, совсем молодое лицо, красивое, нежное и румяное, с пробивающейся светло-русой шелковистой бородкой, девственными усиками и кудрявыми белокурыми волосами, и, щуря свои большие карие глаза, улыбался сонной счастливой улыбкой, как улыбаются дети после хорошего сна, видимо находясь еще во власти чар сновидения, которые унесли его далеко-далеко от действительности.

Ярко-зеленая свежая листва деревенского сада, дышащего ароматом... Пахучие липы, маленькая покосившаяся скамейка под ними с вырезанными именами: «Елена», «Александр». Чудный профиль девушки в белой холстинке... Черные глаза, вдумчивые, нежные, добрые... Вьющиеся, славные волосы с веткой сирени в косе... Любящий, полный ласковой грусти взгляд этой милой, дорогой Леночки, которая слушает восторженно-умиленные речи своего жениха и, вся притихшая, точно боясь спугнуть полноту счастья, жмет своей мягкой и теплой рукой все крепче и крепче руку мичмана, и слезы дрожат на ее ресницах... «Навсегда!» — шепчет она. «Навсегда!» — чуть слышно отвечает он... Они так долго сидят, и вечер, обаятельный и тихий, застал их немыми от радости... Сад точно замер вместе с ними... Ни звука, ни шороха. И загоравшиеся в небе звезды кротко и любовно мигают сверху, словно любуясь молодыми людьми и слушая, как полно бьются их переполненные сердца.

«Леночка! Александр Иваныч! Идите пить чай!» — стоит еще в ушах ласковый голос Ле-

ночкиной матери.

Все это, напомнившее о себе чудным сном, представляется с ясною дразнящею реальностью. Мозг еще не освободился от впечатлений грез. И молодому моряку хочется, до страсти хочется подолее задержать эти грезы.

Но прошло мгновение, другое — и они исчезли, словно растаяли, как дымок в воздухе.

В полусвете каюты, иллюминатор которой, наглухо задраенный (закрытый), то погружался в пенистую воду океана, то выходил из нее, пропуская сквозь матовое стекло слабый свет утра, Опольев увидел маленькую фигурку своего смышленного, расторопного вестового, который, держась обеими руками, качался вместе с каютой и со всеми находящимися в ней предметами, услышал раздирающий душу скрип корвета, почувствовал отчаянную качку и окончательно пришел в себя.

Счастливая улыбка исчезла с его лица.

— Однако валяет! — промолвил он с серьезным видом, стараясь принять такое положение, чтобы опять не стукнуться.

— Страсть, как раскачал, ваше благородие.

— Скоро восемь?

— Склянка (полчаса) осталась!

— А наверху как?

— Не дай бог! Ревет!

— В ночь, видно, засвежело?

— Точно так, ваше благородие! Ночью фок убрали и четвертый риф взяли. Капитан всю ночь были наверху, — докладывает вестовой.

И, помолчав, молодой матрос, впервые бывший в дальнем плавании, прибавил боязливым и несколько таинственным тоном:

— Даве ребята сказывали на баке, ваше благородие, бытто похоже на то, что штурма настоящая начинается. Ветер так и гудет в снастях... Волна — и не приведи бог какая огромная, Александра Иваныч... Ровно горы катаются...

— Видно, боишься шторма, Кириллов, а?

— Боязно, Александра Иваныч! — просто-душно и застенчиво ответил матрос.

— Нечего, брат, бояться. Справимся и со штормом! — авторитетно и с напускной небрежностью заметил молодой офицер, сам еще никогда не испытывавший шторма и тайне начинавший уже ощущать некоторое

беспокойство от этой адской качки, дергавшей и бросавшей корвет во все стороны.

Внизу, в каюте, опасность казалась значительнее.

— Точно так, ваше благородие! — поспешил согласиться и Кириллов более по чувству деликатности перед «добрым барином» и по долгу дисциплины.

Но невольный страх, который он старался скрыть, все-таки не оставлял молодого матроса.

— Холодно наверху?

— Пронзительно, ваше благородие.

— Дождевик приготовил?

— Готов.

— Ладно. Ну, теперь и вставать пора!

Но прежде чем расстаться с теплой койкой, мичман, снова охваченный набежавшим воспоминанием и в эту минуту особенно сильно пожалевший, что только что бывший сон не действительность, — совсем неожиданно проговорил с невольным вздохом:

— На берегу-то небось лучше жить, Кириллов?

— Что и говорить, Александра Иваныч! —

возбужденно отвечал молодой матрос, и лицо его оживилось улыбкой. — На сухопутье не в пример свободней... Одно слово: твердь. А тут, ваше благородие, с души рвет. Будь воля, сейчас бы ушел в деревню...

— Ушел бы? — усмехнулся мичман.

— Точно так, ваше благородие!

«И я бы сейчас уехал туда... в Засижье!» — подумал мичман.

И с невеселой усмешкой сказал вслух:

— Некуда вот только отсюда уйти, Кириллов, а?

— Оно точно, что некуда, ваше благородие. Кругом вода!

— А ты пока, братец, насчет чаю схлопочи. Чтобы горячий был.

— Есть, ваше благородие! Чай готов. Старший офицер уже кушают. Неспособно только пить при такой качке! — прибавил Кириллов и вышел из каюты, чтобы «схлопотать» насчет горячего чая «доброму барину», который очень хорошо обращался с своим вестовым и часто с ним «лясничал» по душе.

Кириллов направился к камбузу, едва удерживаясь на ногах и выписывая мыслете.

Встретив там своего приятеля-вестового, такого же молодого матроса, как и он сам, Кириллов, словно подбадривая самого себя и не желая обнаружить своего страха перед приятелем и несколькими бывшими у камбуза матросами, проговорил с напускною шутливостью:

— Ровно, брат, на качелях качает. Совсем ходу ногам не дает!

И не без задора прибавил:

— А ты, Василей, уж и трусу, брат, празднуешь!

— То-то все думается... Как бы... Ишь, буря-то какая! — промолвил бледный от страха и тошноты матрос.

— А ты не думай, Вась!.. Чего бояться? Штурма так штурма. Небось справимся и со штурмой! — хвастливо говорил вестовой, повторяя слова мичмана.

И даже заставил себя засмеяться, хотя сам жестоко трусил.

II

Минут через десять, в течение которых молодому мичману пришлось принять самые невероятные, едва ли известные акробатам

позы, чтобы, при совершении туалета, применять законы равновесия тел к собственной своей особе, Опольев, умытый и одетый, вышел из каюты.

В палубе было сыро, душно и пахло скверным, промозглым запахом непроветренного матросского жилья. Все люки были наглухо закрыты, и свежий воздух не проникал. Подвахтенные матросы большей частью сидели или лежали на палубе молчаливые и серьезные, изредка обмениваясь словами насчет «анафемской» погоды. Нескольких укачало. Примостившись у машинного люка, старый матрос Щербаков (он же и «образной», то есть заведующий корветским образом и исполняющий во время треб обязанности дьячка) тихим, монотонным голосом читал евангелие, и около чтеца сидела небольшая кучка матросов, слушавших чтение с напряженным вниманием и не столько понимая смысл славянского текста, сколько восхищаясь певучим, умиленным голосом чтеца и его торжественно-приподнятым тоном.

Ступать по палубе было трудно. Она словно вырывалась из-под ног, и нужно было осо-

бое искусство и уметь выбирать моменты, чтобы пройти по ней.

Кают-компания, обыкновенно в этот час оживленная сбором офицеров к чаю, теперь почти пуста. Почти все отлеживаются по каютам. Висячая большая лампа над привинченным к палубе обеденным столом раскачивается во все стороны под однообразный скрип переборки. Крепко принайтвовленные (привязанные) библиотечный шкаф и фортепиано поскрипывают тоже. Сквозь закрытый стеклянный люк кают-компании доносится глухой гул ревущего ветра. Корвет вздрагивает кормой и всеми своими членами, и это вздрагивание ощущается внизу сильнее. Как-то мрачно и неприветливо в кают-компании, обыкновенно веселой и шумной!

Всегда резвая и забавная Лайка, неказистая на вид рыжая собачонка неизвестной породы, с кургузым хвостом, забежавшая случайно на корвет, когда он готовился к дальнему плаванию в кронштадтской гавани, и с тех пор оставшаяся на корвете под именем Лайки, данным ей матросами, — она теперь, забравшись в угол, по временам жалобно под-

вызывает, беспомощно озираясь мутными глазами и, видимо, недоумевая, как бедняге приспособиться, чтобы не кататься по скользкой клеенке, которой обтянут пол кают-компани. Отсутствует, против обыкновения, и Лайкин приятель Васька, белый жирный кот артиллерийского офицера. Видно, и Ваську укачало.

Одетый в толстое драповое короткое пальто, на диване сидел лишь старший офицер, плотный, здоровый брюнет лет тридцати пяти, загорелый, серьезный и, видимо, возбужденный. Он осторожно держал в своей широкой бронзовой руке, мускулистой и волосатой, стакан с чаем без блюдечка и подносил его к своим густым черным усам, улавливая моменты, когда можно было хлебнуть, не проливши жидкости.

— Доброго здоровья, Алексей Николаич!

— Мое почтение, Александр Иваныч!

Придерживаясь за привинченную к полу скамейку около стола, мичман подошел к старшему офицеру, чтобы поздороваться, и чуть было не навалился на него.

— Говорят, за ночь засвежело, Алексей Ни-

колаич? — спросил молодой человек, присаживаясь на скамейку около дивана.

— Свежо-с! — коротко отрезал старший офицер.

Он продолжал молча отхлебывать глотками чай, занятый какими-то мыслями, и через минуту проговорил:

— Главное, анафемское волнение! Того и гляди какую-нибудь шлюпку снесет или борт поломает! — озабоченно и сердито продолжал старший офицер и, допив стакан, вышел наверх.

— Эй, вестовые! Скоро ли чаю? — крикнул Опольев, оставшись один.

Но уже стриженная черная четырехугольная голова Кириллова показалась в дверях кают-компании, и вслед за тем он стремительно сделал шага два вперед, брошенный качкой, но, однако, успел удержаться и сохранить в руках стакан с чаем, обернутый салфеткой. Сзади его другой вестовой нес сахарницу и корзинку с сухарями. Все было донесено благополучно, и Опольев, жадно выпив один стакан, спросил другой.

В эту минуту в кают-компанию спустился

сверху, чтобы «начерно» выпить стаканчик горячего чая, старший штурман, старый низенький человечек в блестящем каплями кожане, одетом поверх пальто, с обмотанным вокруг шеи шарфом и с надвинутой на лоб фуражкой. Все на нем было старенькое, потасканное, обтрепанное, но все сидело как-то необыкновенно ловко, придавая всей его фигуре вид старого морского волка.

Несмотря на порывистую качку, он ступал по палубе своими привычными цепкими морскими ногами, не держась ни за что, то балансируя, то вдруг приседая, — словом, принимая самые разнообразные положения, соответственно направлению качающегося судна.

Заметив по выражению красного, морщинистого лица старика, что он не в дурном расположении духа, в каком он бывал, когда ему слишком надоедали расспросами или когда корвет плыл вблизи опасных мест, а старый штурман не был уверен в точности счисления, — молодой мичман, после обмена приветствий, спросил:

— Как дела наверху, Иван Иваныч?

— Сами увидите, батюшка, какие дела... Вы ведь, видно, на вахту, что такая ранняя птичка сегодня! — пошутил старик. — Дела-с обыкновенные на море! — прибавил он, аппетитно прихлебывая поданный ему чай, в который он влил несколько коньяку, «для вкуса», как обыкновенно говорил штурман.

— Где мы теперь находимся, Иван Иванович?

— А на параллели Бискайского залива, во ста милях от берега. Ну-ка еще стакашку! — крикнул старый штурман вестовому... — Да и коньяку не забудь! Приятный вкус чаю придает! — прибавил он, снова обращаясь к молодому человеку. — Попробовали бы... И от качки полезно... Что, вас не размотало?

— Нисколько! — похвастал мичман.

— Вначале всякого разматывает, пока не обтерпишься... А есть люди, что никогда не привыкают... Помню: служил я с одним таким лейтенантом... С пути должен был, бедняга, вернуться в Россию.

— К вечеру, я думаю, и стихнет? — спрашивал Опольев, стараясь придать своему голосу тон полнейшего равнодушия, точно ему было

все равно — стихнет или не стихнет.

Иван Иваныч в ответ усмехнулся.

— Стихнет-с? — переспросил он.

— А разве нет?

— К вечеру, я полагаю, настоящая штормяга будет. Барометр шибко падает.

Старый штурман, перенесший на своем долгом веку немало штормов и раз даже испытывавший крушение на парусной шкуне у берегов Камчатки, проговорил эти слова таким спокойным тоном, точно дело шло о самой обыкновенной вещи, и, отхлебнув несколько глотков чаю с коньяком, крякнул от удовольствия и прибавил:

— Теперь вот и кашель душить не будет... А то стоял наверху и все кашлял... Эй, Васильев! — крикнул он.

Явился вестовой.

— Плесни-ка еще чуть-чуть коньячку... Стоп — так! Мокроту разгоняет! — снова прибавил как бы в оправданье старый штурман, любивший таки лечить и свои и чужие болезни специально коньяком и в некоторых случаях хересом и марсалою.

Других вин старик не признавал и особен-

но презирал шампанское, называя его «дамским полосканьем».

— Так вы полагаете, Иван Иванович, что шторм? — небрежно переспросил Опольев и в то же время покраснел, чувствуя, что голос его дрогнул, и воображая, что штурман заметил его страх.

— Обязательно! Форменный, батюшка, штормяга! Уж такая это подлая Бискайка[12]. Сколько раз я ее ни проходил, всегда, шельма, угостит штормиком! Да-с.

Старик с видимым наслаждением допил стакан, нахлобучил фуражку и ушел.

Одольев взглянул на кают-компанейские часы: до восьми часов оставалось еще пять минут. Он допил чай, надел при помощи Кириллова дождевик и с первым ударом колокола, начинавшего отбивать восемь склянок, поднялся по трапу наверх, возбужденный и взволнованный в ожидании «первого шторма» в своей жизни, и снова на мгновение вспомнил о кудрявом деревенском саде, о Леночке с ее чернеющей родинкой на румяной щеке, с ее славными глазами...

«Как там хорошо, а здесь...» — пронеслось

в голове молодого моряка.

Он вышел на палубу и сразу очутился в иной атмосфере.

Его охватил резкий холодный ветер и обдало водяной пылью. Он услышал характерный вой ветра в снастях и рангоуте, увидел бушующий седой океан, и мысли его мгновенно приняли другое направление — морское.

И он принял равнодушный вид и молодцевато поднялся на мостик, точно сам черт ему не брат и штормы для него привычное дело.

III

Несмотря на жгучее чувство страха, охватившее в первый момент молодого мичмана, величественное зрелище бушующего океана невольно приковало его глаза, наполнив душу каким-то безотчетным благоговейным смирением и покорным сознанием слабости «царя природы» перед этим грозным величием стихийной силы.

Вокруг, на видимое глазом пространство, океан словно весь кипел в белой пене, представляя собой взрытую холмистую поверхность волн, несущихся, казалось, с бешеной

силой и с шумом разбивающихся одна о другую своими седыми гребнями. Но кажущиеся вдали небольшими холмами, эти валы вблизи преобразуются в высокие водяные горы, среди которых, то опускаясь в лощину, образуемую двумя валами, то поднимаясь на гребень, идет маленький черный корвет со своими почти оголенными мачтами, со спущенными стеньгами, встречая приближение шторма в бейдевинд, под марселями в четыре рифа.

Раскачиваясь и вперед и назад, и вправо и влево, корвет, поднимаясь на волну, разрывает ее и иногда зарывается в ней носом, и часть волны попадает на бак, а другая бешено разбивается о бока судна, рассыпаясь алмазными брызгами. Изредка корвет черпает бортом, и тогда верхушки волн вкатываются на палубу, выливаясь через противоположный борт в шпигаты.

Вот-вот настигает громадный вал... Вон он за опустившейся кормой, высоко над нею и, кажется, сейчас обрушится и зальет этот корвет, кажущийся теперь крохотной скорлупкой, зальет со всеми двумястами его обитате-

лями без всякого следа... Но в это мгновение нос корвета уже спускается с другого вала, корма поднялась высоко и страшный задний вал с гулом разбивается об нее и снова опускает корму.

Все небо заволкло темными кучевыми облаками, которые бешено несутся в одном направлении. Мгновенно покажется солнце, обдаст блеском седой океан и вновь скроется под тучами. Ветер ревет, срывая по пути верхушки волн, рассыпающихся серебристой пылью, и воет в рангоуте, в снастях, потрясает их, точно негодуя, что встретил препятствие...

Вахтенные матросы в своих просмоленных парусинных пальтишках, надетых поверх синих фланелевых рубаш, держатся за снасти. Все молчаливы и серьезны. Ни шутки, ни смеха. Когда волна обдает брызгами, они, словно утки, отряхиваются от воды и снова смотрят то на океан, то на мостик.

Там, словно прикованный, стоит, широко расставив ноги, пожилой капитан, держась руками за поручни. Он, по-видимому, спокоен и посматривает то на горизонт, то на пару-

са. Он не спал целую ночь. Его лицо, обветрившееся, утомленное и сосредоточенное, кажется старее от бессонной ночи. Он собирается отдохнуть часок-другой, но, прежде чем спуститься к себе в каюту, решил при себе убрать марсели, чтобы встретить шторм с меньшею площадью парусности, под штормовыми парусами.

И он приказал Опольеву резким, сильным голосом:

— Уберите марсели и поставьте зарифленые триселя, штормовую бизань и фор-стенги-стаксель!

— Есть! — отвечал мичман и, приставив ко рту рупор, крикнул:

— Марселя крепить! Марсовые к вантам!

И когда марсовые матросы подошли к вантам, продолжал:

— По марсам!

Крепко держась руками за вантины, матросы тихо и осторожно полезли по веревочной лестнице и, достигнув марсов, расползлись по стремительно качающимся реям. У молодого офицера замер дух при виде этих маленьких человеческих фигур на высоте,

раскачивающихся вместе с реями и крепивших паруса при таком адском ветре. Ему все казалось, что кто-нибудь да сорвется и упадет за борт. И он не спускал с рей испуганных глаз. И капитан и старший офицер тоже не спускали глаз. Видно, и их беспокоила та же мысль.

Но матросы цепко держались и ногами и руками. Держась одной рукой за рею, каждый другой убирал мякоть паруса, и, когда все было окончено, Опольев с облегченным сердцем командовал:

— Марсовые, вниз!

Затем были поставлены штормовые паруса, и капитан сказал Опольеву своим обычным повелительным тоном:

— Если что случится, дать знать... Да на руле не зевать! — крикнул он, чтобы слышали рулевые.

И ушел отдохнуть. Наверху, кроме вахтенного Опольева, остался старший офицер.

К концу вахты молодой мичман уже свыкся с положением, и буря уж не так пугала его. И когда в полдень он сменился и спустился в кают-компанию, то вошел туда с горделивым

видом человека, побывавшего в переделке. Но на его горделивый вид никто не обратил внимания.

По случаю погоды «варки» не было, и обед состоял из холодных блюд: ветчины и разных консервов. Обедали в кают-компании с деревянной сеткой, укрепленной поверх стола, в гнездах которой стояли приборы, лежали обернутые в салфетки бутылки и т. п. Вестовые с трудом обносили блюда, еле держась на ногах от качки. Обед прошел скоро и молчаливо. Обычных шумных разговоров и шуток не было, да и аппетит у многих был плохой. Один только старый штурман ел, по обыкновению, за двоих и выпил обычную свою порцию за обедом — бутылку марсалы.

После обеда все разошлись по каютам.

IV

К ночи ветер достиг степени шторма.

Опольев, совсем одетый, дремавший у себя в койке, внезапно проснулся от какого-то страшного грохота. Очнувшись, он увидел, что вся его каюта озарена светом молнии. Затем снова мрак и снова раскаты грома над головой.

Он ощупью нашел двери каюты и вышел в жилую палубу, едва держась на ногах. Корвет положительно метало во все стороны. В палубе никто не спал. Матросские койки висели пустые. Бледные и испуганные, сидели подвахтенные матросы кучками и жались друг к другу, словно бараны. Многие громко вздыхали, шептали молитвы и крестились. При слабом свете качающихся фонарей эта толпа испуганных людей производила тяжелое, угнетающее впечатление. Кто-то, громко охая, проговорил, что «пора, братцы, надевать чистые рубахи»[13].

Но в ту же минуту раздалась энергичная ругань боцмана, вслед за которой тот же сиплый басок боцмана проговорил:

— Ты у меня поговори!.. Смущай людей! Я тебе задам рубахи! А еще матросы!

И снова посыпалась звучная ругань, успокоившая испуганных людей.

Как и утром, образной, старик Щербаков, сидел на прежнем месте у машинного люка, окруженный кучкой матросов.

И его монотонный голос, торжественный и умиленный, громко и отчетливо читал под

раскаты грома:

— «В день же тот исшед Иисус из дому, сел даше при море. И собращася к нему народи мнози, якоже ему в корабль влезти и сести. И весь народ на бреге стояша...»

У самого трапа, держась за него руками, стоял Кириллов и чуть слышно всхлипывал.

— Кириллов, ты? — окликнул его Опольев.

— Я, ваше благородие!

— Что ты? Никак ревешь?

— Страшно, Лександра Иваныч, да и Щербаков жалостно читает.

— Стыдись... ведь ты матрос?

— Матрос, ваше благородие! — отвечал, стараясь глотать слезы, молодой матросик.

— То-то и есть! Ну полно, полно, брат... Никакой опасности нет! — ласково проговорил мичман и, сам бледный и взволнованный, потрепал по плечу своего вестового и, держась за перила трапа, отдернул люк и вышел на палубу.

Цепляясь за пушки, пробрался он на ют, под мостик и, взглянув кругом, в первую минуту оцепенел от ужаса.

Корвет метался во все стороны, и волны

свободно перекачивались через переднюю часть. Гром грохотал не переставая, и сверкала молния, прорезывая огненным зигзагом черные нависшие тучи и освещая беснующийся океан с его водяными горами и палубу корвета с вышибленными в нескольких местах бортами. Катера одного не было — его смыло. Казалось, шторм достиг своего апогея и трепал корвет, стараясь его уничтожить, но корвет не поддавался и вскакивал на волну и снова опускался, тяжело ударяясь и скрипя, словно бы от боли. Матросы толпились на шканцах и на юте, держась за протянутые леера[14]. По временам, при ослепительном блеске молнии, все молча крестились.

Капитан стоял у штурвала, рядом с шестью рулевыми, правившими рулем, и отрывисто указывал, как править. При свете фонаря видно было его истомленное, бледное и страшно серьезное лицо. Тут же стояли старший штурман Иван Иваныч и старший офицер.

В первые минуты молодого мичмана охватил жестокий страх, но потом страх постепенно сменился каким-то покорным оцепенением.

«Все равно, спасения нет в случае крушения!» — пронеслось у него в голове.

И он стоял, уцепившись за что-то, потрясенный и безмолвный.

— Господи помилуй! — раздался возле него голос сигнальщика. — Смотрите, ваше благородие!

Но Опольев уже видел. Он видел при свете блеснувшей молнии, в недалеком расстоянии, силуэт погибающего судна, видел фигуры людей с простертыми руками и невольно зажмурил глаза.

Снова сверкнула молния и озарила океан. Судна уже не было.

Опольев перекрестился. Скорбный вздох нескольких человек вырвался около него.

— Потопли! — произнес чей-то голос.

.....

Молодой мичман стоял на палубе, смотря на бушующий шторм, час, другой... сколько именно — он не помнил.

Наконец буря, казалось, стала чуть-чуть утихать, и Опольев спустился вниз.

В палубе по-прежнему царил страх, и Щербаков читал евангелие.

Молодой человек бросился в койку. Он долго не мог заснуть, потрясенный только что виденным. Наконец тяжелый сон охватил его.

V

Когда он проснулся, яркий дневной свет стоял в каюте. Он приподнялся и с радостным изумлением почувствовал, что качка теперь совсем другая — правильная и покойная. Он выглянул на палубу. Матросы весело разговаривали. Люки все были открыты, и в палубе не пахло скверным запахом.

— Кириллова послать! — крикнул он.

Явился Кириллов, веселый и радостный.

— Здорово, брат. Что, стихло?

— Стихло, ваше благородие!

— Ну, видишь, со штормом и справились! — говорил мичман.

— Точно так, ваше благородие.

В кают-компании было оживленно. Все были в сборе и говорили о шторме, о том, как лихо выдержал его «Сокол», отделавшись поломкой бортов да потерей катера. Но о погибшем вчера на глазах судне все почему-то избегали вспоминать.

— А штормяга изрядный был. Знатно трепало! — сказал старый штурман. — И теперь еще свежо!.. Ну, да барометр подымается! — прибавил он и после своих двух стаканов разбавленного коньяком чая пошел наверх «ловить солнышко», то есть делать наблюдения.

Хотя качало еще порядочно, но сегодня можно было напиться чаю по-человечески, и Опольев с аппетитом съел за чаем чуть ли не полкоробки английских печений, проголодавшись со вчерашнего дня, не забыв угостить и ласкавшуюся веселую Лайку и жирного кота Ваську.

Затем он пошел взглянуть на океан.

Океан, видимо, «отходил» и катил все еще большие свои волны далеко не с прежним бешенством, и корвет, под зарифленными марсеями, фоком и гротом, несся теперь при свежем ровном ветре узлов по одиннадцати в час, легко убегая от попутной волны.

Плотники чинили проломленный в нескольких местах борт, мурлыкая вполголоса какую-то песенку.

VI

Дня через два, в девятом часу утра, Кирил-

лов будил своего барина:

— Ваше благородие! Лександра Иваныч! Вставайте! К Мадере подходим!

После многих дерганий вестовой разбудил мичмана.

— Скоро на якорь становиться, ваше благородие! Погода — благодать! — весело говорил вестовой.

Опольев быстро оделся и выбежал наверх.

Чуть-чуть попыхивая дымком из трубы, корвет подходил под парами к подернутому легкой туманной дымкой высокому острову. Успевший починить свои аварии после шторма «Сокол» сиял чистотой и блеском под лучами ослепительного солнца, медленно плывшего в голубой безоблачной высоте. И океан, еще недавно наводивший трепет, теперь ласковый и спокойный, тихо шевелясь переливающейся зыбью, нежно лизал своей манящей, прозрачной синевой бока едва покачивающегося корвета.

Между своими

I

Вскоре после выхода корвета в кругосветное плавание, или, как говорят матросы, в дальнюю, Иван Артемьев, совсем молодой, цветущего здоровья матрос, краснощекий красивый брюнет, лихой брамсельный и за-гребной на капитанском вельботе, простудился поздней ненастной осенью и серьезно за-немог, схватив воспаление легких.

Болезнь затянулась. Молодой матрос видимо таял.

Когда, месяц спустя, корвет зашел на несколько дней в Брест, судовой врач, молодой человек, лет пять как окончивший курс в московском университете, снова долго и внимательно выслушивал и выстукивал еще недавно богатырскую, а теперь исхудалую, с резко выступающими ребрами, смуглую грудь Артемьева и, отправившись к капитану, доложил ему, что Артемьева следовало бы списать с корвета и оставить в Бресте, в морском госпитале.

— Разве он так плох, доктор?

— Очень плох... Скоротечная форма чахотки.

— Нет надежды спасти его?

— По моему мнению, никакой! — не без задорного апломба, присутщего очень молодым врачам, отвечал доктор и принял еще более серьезный вид.

— Жаль отправлять беднягу умирать к чужим людям... Ну, да что делать! Все-таки на берегу ему будет лучше, чем у нас в лазарете. Ведь у нас в лазарете для больных скверно, а?

— Для серьезно больных нехорошо. Каюта маленькая. Воздуха мало. Удобств никаких...

— Так, так... Вы говорили об этом Артемьеву?

— Нет еще. Сегодня скажу, а завтра, если разрешите, сам свезу в госпиталь и сдам французским врачам.

Через час после этого разговора доктор, несколько взволнованный, но старавшийся скрыть это волнение, вошел в лазарет — небольшую, сиявшую чистотой каюту, помещавшуюся на кубрике. Несмотря на пропущенный в двери виндзейль, в низенькой каюте отдавало сырым спертым воздухом и

сильно пахло лекарствами. В ней было четыре койки, по две у каждой переборки, расположенные в виде нар, одна над другой. Три были пусты, а в четвертой, внизу, головою к борту судна, лежал единственный больной на корвете, матрос 1-й статьи Иван Артемьев.

Он лежал с широко раскрытыми большими блестящими черными глазами, серьезными, с выражением какой-то сосредоточенной вдумчивости, какая часто бывает у безнадежно и долго больных. Его осунувшееся смутное лицо с заостренным носом, словно прозрачными ноздрями, с удлинившимся подбородком, черневшим щетиной небритой бороды, с характерными горевшими пятнами на впалых щеках, с выдавшимися скулами и сухими воспаленными губами — его лицо было спокойно, красиво и мертвенно-бледно. Сразу чувствовалось, что смерть уже сторожит это еще недавно крепкое, здоровое тело.

При входе доктора не в урочное время Артемьев приподнял с подушки голову с мокрыми у висков волосами, снова опустил ее и, перебирая край байкового белого одеяла своими восковыми пальцами, худыми и длинными

ми, с выросшими желтыми ногтями, вопросительно, испуганно и подозрительно повел взглядом на вошедшего.

— Ну что, братец, все знобит? — искусственно развязным и небрежным тоном проговорил врач, полагая, что он таким образом подбадривает больного, и в то же время чувствуя какую-то неловкость перед испуганным взглядом матроса.

— Знобит, ваше благородие! А то всем, кажется, здоров. Нутренне ничего не болит, ваше благородие! — с живостью отвечал Артемьев.

И, все еще глядя на врача с подозрительной пытливостью, торопливо прибавил:

— Вот если бы от этого самого ознобу ослобониться, и опять вошел бы в силу, ваше благородие... Озноб только... не пущает.

Глухой его голос звучал надеждой. Он, видимо, употреблял усилия, чтобы казаться при докторе бодрым и не столь слабым, точно в нем бродили какие-то смутные подозрения насчет недобрых намерений доктора и больной хотел обмануть его.

Доктор, добродушный и мягкий москвич,

еще не закаленный своей профессией настолько, чтобы равнодушно смотреть на людские страдания, опустив голову, чтобы скрыть невольное смущение, почему-то откашлялся и, избегая смотреть в эти пытливые черные глаза больного, проговорил все тем же искусственно небрежным тоном:

— В том-то и дело, братец, чтобы озноба не было... И ты, конечно, поправишься... Об этом нечего и говорить... Я не сомневаюсь...

Он на мгновение остановился, поднял голову и встретил радостный, уверенный взгляд больного.

И, несмотря на тяжелое чувство, охватившее его при этом взгляде, продолжал еще веселее и увереннее:

— Поправишься, конечно... Опять молодцом станешь, но только для этого тебе надо на берег... А на корвете, брат, плохая поправка. Понимаешь?

— Куда же это на берег? — испуганно и жалобно прошептал больной, словно бы в недоумении.

— А здесь в Брест, в госпиталь... Там отлично... Там живо поправка пойдет... А как по-

правишься, тебя оттуда в Кронштадт отправят, а из Кронштадта в деревню пойдешь, к себе домой... Я тебе и бумагу такую дам.

Выходило как будто очень хорошо. Но с первых же слов доктора в глазах и в лице молодого матроса появилось выражение такого страха, отчаяния и скорби, что доктор окончил свою речь далеко не с той развязной веселостью, с какой начал.

На мгновение больной замер, словно пораженный.

Но вслед за тем он проговорил с отчаянной мольбой:

— Ваше благородие! Отец родной! Не отсылайте меня с конверта. Дозвольте остаться. Явите божескую милость!

Доктор стал его уговаривать: на берегу он скоро выздоровеет, а здесь болезнь может затянуться...

— Ваше благородие! Будьте добры... Уж ежели бог не пошлет мне поправки, дозвольте хоть умереть между своими, а не на чужой стороне!

От волнения он закашлялся. Из груди его вырывался зловещий глухой шум и что-то

внутри клокотало. Его чудные большие глаза глядели на доктора с такой мольбой, что молодой доктор, видимо, колебался.

— Но послушай, Артемьев... ведь там тебе было бы лучше!.. — снова начал он.

— На чужой-то стороне лучше? Да я там с тоски, ваше благородие, помру. Здесь — свои ребята. Пожалуют, по крайности. Слово есть с кем перемолвить... а там?.. Не погубите, ваше благородие! Дозвольте остаться. Я скоро поправлюсь, вот только в теплые места придем, и опять буду исправным матросом, ваше благородие! — молил матрос, словно бы оправдываясь и за свою болезнь и за то, что не может быть исправным, лихим матросом.

Взволнованный этим отчаянием, доктор почувствовал жестокость своего решения и ласково проговорил:

— Ну, ну, не волнуйся, брат... Уж если ты так не хочешь, оставайся!

Радостная, благодарная улыбка озарила мертвенное лицо Артемьева, и он с чувством произнес:

— Век не забуду, ваше благородие!

Снова доктор пошел в капитанскую каюту

и, рассказав капитану об отчаянии молодого матроса, просил теперь разрешения оставить его на корвете.

Капитан охотно согласился и заметил:

— Вот скоро в тропиках будем... Воздух чудный... быть может, Артемьеву и лучше будет. Как вы думаете, доктор?

— К сожалению, ничто не спасет беднягу. Дни его сочтены! — с уверенностью отвечал молодой врач и даже несколько обиделся, что капитан как будто не вполне доверяет его авторитету.

— А какой славный матрос был! — пожалел капитан.

II

Когда на баке — этом матросском клубе, где обсуждаются все явления судовой жизни, — узнали, что Артемьева хотели отправить во французский госпиталь и что затем оставили на корвете, — все матросы искренне порадовались за товарища.

Со всех сторон сыпались замечания:

— Уж коли помирать, так, по крайности, между своими, а не по-собачьи, у чужого забора!

— Это что и говорить... Лучше прямо в море бросить!

— Тут хоть призор есть, а там пойми, что он лопочет!

— И без попа... Так без отпущения и отдашь душу...

— Ишь ведь, что было выдумал дохтур! К французам! А еще добрый!

— Добер, а поди ж...

— Молод очень! Дохтур, а того невдомек, что матросу никак не годится умирать в чужих людях. Может, господам все равно, а российский матрос на это охоткой не согласится, — авторитетно решил старый унтер-офицер Архипов, раскуривая у кадки с водой, вокруг которой собрался кружок, свою трубчонку, набитую махоркой.

И, раскурив ее, категорически и властно прибавил:

— То-то оно и есть. И умен и учен, а разуму мало. Нажить его, братец ты мой, надо. А то: к французам! И выходит, что дохтур сам вроде как быдто француз.

Все на минутку примолкли, точно нашедши разгадку поведения доктора. Приговор та-

кого авторитетного человека, как унтер-офицер Архипов, очень уважаемого матросами за справедливость, был, некоторым образом, разрешающим аккордом.

И с этой минуты наш милый судовой врач пошел у матросов под шуточной кличкой «француза».

— А что, милай человек, господин фершал, Игнат Степаныч! Разве Ванька Артемьев того... помрет?

С такими словами обратился к подошедшему фельдшеру немолодой коренастый чернявый матрос с добродушной физиономией, сизый нос которого свидетельствовал о главном недостатке Рябкина, известного весельчака, балагура и сказочника, бесшабашного марсового, ходившего на штык-болт, и отчаянного забулдыги и пьяницы, пропивавшего, когда попадал на берег, не только деньги, но и все собственные вещи.

Фельдшер, мужчина лет около сорока, с рыже-огненными волосами, весь в веснушках, рябой и некрасивый, но считавший себя неотразимым донжуаном для кронштадтских горничных, сделал серьезную мину, переня-

тую им от докторов, заложил палец за борт своего сюртука и не без апломба ответил:

— Туберкулез... Ничего с ним, братец, не поделаешь.

— Чихотка, значит?

— Пневмония — одна форма, туберкулез — другая. Тебе, впрочем, братец, этой мудрости не понять — не про тебя писано. Для этого тоже надо специалистом быть!.. — продолжал фельдшер, любивший-таки огорошивать матросов разными подобными словечками. — Могу тебе только сказать, что бедному Артемьеву не долго жить.

— Ну? — испуганно воскликнул Рябкин.

— То-то ну! С туберкулезом не шути, братец ты мой. Он и лошадь обрабатывает, а не то что человека.

— Ах, и жалко же, братцы, матроса! И парень-то какой душевный! — промолвил Рябкин, и обычная веселая улыбка сбежала с его лица.

И все, кто тут был, пожалели Артемьева.

— Рано, любезный, хоронишь! — строго и внушительно обратился старый унтер-офицер к фельдшеру. — Бог-то, может, не послу-

шает вас с дохтуром, а вызволит человека.

— Да я-то что? По мне, живи на здоровье. Тут не я, а наука!

— Наука! — презрительно протянул Архипов. — Господь и науку обернет, ежели на то его воля...

И Архипов, сунув трубку в карман, не спеша вышел из круга.

Фельдшер только безнадежно пожал плечами: дескать, нечего с вами разговаривать!

III

Недели через две корвет уже плыл в тропиках, направляясь к югу. Погода стояла восхитительная. На небе ни облачка. Тропическая жара умерялась ровным, вечно дующим в одном направлении, мягким пассатом и свежей влагой океана.

И корвет шел да шел узлов по семи, по восьми, имея на себе всю парусину. Недаром же моряки зовут плавание в тропиках, с пассатом, дачным плаванием. В самом деле, спокойное, благодатное плавание! Не надо и брасом шевелить, то есть менять положение парусов. И для матросов — это пора самой спокойной морской жизни. Стоят они на вахте

не повахтенно, а по отделениям, и вахты самые приятные. Не приходится ждать бурь и непогод, бежать рифы брать, то уменьшать, то прибавлять парусов, — словом, не приходится быть постоянно начеку. На этих вахтах почти никакой работы. И матросы коротают их, лясничая между собою, вспоминая в тропиках родную сторону, развлекаясь иногда зрелищем китов, пускающих фонтаны, любясь блестящими на солнце летучими рыбками, маленькими, далеко залетающими от берега петрелями, громадными белоснежными альбатросами и высоко реющими в прозрачном воздухе фрегатами. А в эти дивные тропические ночи с мириадами мигающих звезд — ночи, когда вся команда спит на палубе, — вахтенные, примостившись кучками, коротают время еще более интимными воспоминаниями или сказками, которые рассказывает кто-нибудь из умелых сказочников, к удовольствию слушателей.

Вахтенный, молодой офицер, весь в белом легком костюме, ходит взад и вперед по мостику, поглядывает вперед, нет ли где огоньков идущего судна, вдыхает полной грудью

прохладный воздух ночи, невольно мечтает, предаваясь воспоминаниям, и, усталый от долгой ходьбы, прислоняется к поручням, дремлет с открытыми глазами, как умеют дремать моряки, и снова начинает ходить, вновь вспоминая, быть может, кого-нибудь из близких, находящихся далеко-далеко, или пару милых глаз, кажущихся среди океана еще милее, или маленькую руку с тонкими длинными пальцами, с голубыми жилками, просвечивающими сквозь нежную белизну кожи, — руку, которую еще недавно он украдкой целовал в Кронштадте... В эти ласкающие ночи моряки, давно не бывшие на берегу, становятся несколько сентиментальны.

А корвет, плавно покачиваясь, идет себе вперед во мраке ночи, свободно и легко рассекая грудью океан с тихим гулом искрящейся брызгами воды, оставляя за собой широкую алмазную ленту, блестящую фосфорическим светом.

Иногда только эта безмолвная прелесть плавания в тропиках нарушается набегаящими шквалами с проливным дождем. Приближение такого шквала внимательно сторожит-

ся зорким глазом вахтенного офицера. Посматривая в бинокль, он вдруг замечает на далеком только что чистом горизонте маленькое серое пятно. Оно становится все больше и больше и быстро вырастает в темную грозовую тучу, соединенную с океаном серым косым дождевым столбом, освещенным лучами солнца. И эта туча и этот серый широкий столб стремительно несется к корвету. Солнце скрылось. Вода почернела. В воздухе душно. Туча все ближе и ближе... Корвет уже готов к встрече внезапного гостя: брамсели убраны; марсели, фок и грот взяты на гитовы... Шквал налетел, охватил со всех сторон судно серой мглой, накренил корвет, понес его на минуту со страшной быстротой, облил всех ливнем крупного тропического дождя, помчался далее, — и через минуту-другую и туча и дождевой столб становятся все меньше и меньше и кажутся на противоположном горизонте крошечным серым пятнышком.

И снова высокое голубое небо с веселой лаской смотрит сверху. Воздух полон чудной свежести. Снова корвет поставил все паруса, и тот же мягкий ровный пассатный ветерок

несет его. Матросские рубахи уже просохли, только в снастях еще блестят капли; и снова поставленный тент защищает головы моряков от ослепительных лучей тропического солнца.

Артемьеву, казалось, стало лучше. Лихорадка мучила его с более долгими промежутками, он чувствовал себя бодрей, с аппетитом ел кушанье с кают-компанейского стола и пил по две рюмки мадеры в день. По распоряжению доктора, больного с утра выводили наверх, и он проводил там целые дни, лежа большею частью в койке, подвешенной у шкафута — на средней части судна, смотрел на обычную утреннюю чистку, на обычные предобеденные работы и учения, слушал хорошо знакомую артистическую ругань боцмана и окрики офицеров, перекидывался словами с подходившими к нему матросами, — и все это его занимало, приобретая в его глазах какую-то прелесть новизны. Иногда он подолгу глядел своими большими серьезными глазами и на безбрежный сверкавший на солнце океан и на бирюзовую высь неба — глядел и задумывался, словно пытаясь разрешить ка-

кую-то загадку, неожиданно возникшую для него после долгого созерцания природы и каких-то новых, странных дум, являвшихся во время долгой болезни.

По временам мысли его витали в воспоминаниях о далекой бедной деревушке с черными избами, о мужичьей жизни, об этом темном лесе, куда он с отцом часто ездил по ночам рубить «божий лес», который почему-то считали казенным, — и тогда скорбное чувство подкрадывалось к сердцу. Он жалел своих, скорбел о тяжелой мужичьей доле; спрашивал себя, отчего бог не ко всем милостив, и снова задумывался, глядя на чудное небо, точно оно могло дать ответ...

Его часто охватывала дремота: он забывался на короткие промежутки, и ему снились сны. В этих сновидениях Артемьев был по-прежнему сильный, здоровый, ретивый матрос, летавший духом на марс, крепивший брамсель или наваливавшийся изо всех сил на весло, когда приходилось на щегольском вельботе отвозить капитана...

И, внезапно просыпаясь, он с грустью чувствовал свою беспомощность и часто с горе-

чью смотрел на свои исхудалые руки, ощупывал свои выдававшиеся ребра, винил доктора за то, что не входит в силу, и каждое утро с трогательной простотой молил бога, чтобы господь послал ему поправку.

Но и в теплых местах поправка не приходила, и больной становился все более нетерпеливым и раздражительным. Но о смерти он не думал, надеясь, что озноб отпустит, наконец, и он опять войдет в силу.

Его только удивляло особое внимание, какое ему теперь оказывали. К нему подходили офицеры и капитан и говорили добрые, обнадеживающие слова. Сам ругатель-боцман, прежде изредка «смазывавший» Артемьева по уху и часто ругавший его, теперь, напротив, нет-нет да и заглянет к нему в койку. И грубый, сильный голос боцмана звучит непривычной для уха молодого матроса нежностью, хотя боцман как-то сердито хмурит брови, глядя на исхудалое лицо больного. Он скажет два-три слова и, уходя, прибавит:

— Ну, брат, теперь скоро и на поправку. Не рука матросу долго валяться! Бог милостив... Поправишься.

И все — он это чувствовал — как-то особенно относились к нему.

«За что?» — иногда думал он, растроганный таким непривычным вниманием.

И вскоре бедняга узнал «за что», услышав неосторожный разговор двух матросов о том, что ему, по словам доктора, жить осталось уж немного: «Слава богу, коли ден десять протянет!»

Он обомлел и как-то вдруг весь почувствовал, что это правда и что он не жилец на белом свете.

И скорбные, жгучие слезы тихо скатились с его славных глаз.

IV

Ах, какие тяжелые были эти бесконечные, длинные последние ночи в маленькой душевной каюте! Сна почти не было. Больной изредка забывался, и снова приходил в себя, и лежал неподвижно, с открытыми глазами, в полутемной каюте, освещенной слабым светом фонаря. Кругом тишина. Слышно лишь бульканье воды у борта да легонькое поскрипывание корвета.

Тоска! Щемящая, безнадежная тоска!

Но забулдыга и пьяница Рябкин не забывал больного в его ночном одиночестве. Каждую ночь, перед вахтой или сменившись с вахты, Рябкин, лишая себя сна, осторожно входил в лазарет, присаживался на пол у койки Артемьева, успокаивал его, старался подбодрить и начинал рассказывать ему свои бесконечные сказки.

Он их рассказывал увлекательно, мастерски, с различными, им самим сочиненными вариантами, и деликатно изменял конец сказки, если он был печальный или оканчивался чьей-нибудь смертью.

И молодой матрос, несколько успокоенный, слушал их и иногда дремал, убаюканный этим тихим, ритмическим кадансом сказочной речи.

Случалось, Артемьев неожиданно прерывал рассказчика и спрашивал:

— Послушай, Рябкин, что я хочу спросить...

— Что, Ваня?

— Как ты думаешь, как будет — на том свете? Тяжело душе или нет?

Рябкин, никогда в жизни не думавший о таких деликатных предметах, на секунду за-

думывался, но со свойственной ему находчивостью быстро и уверенно отвечал:

— Надо, братец ты мой, полагать, что душе нашего брата будет хорошо... Господским душам будет хуже... это верно... потому им на этом свете очень даже вольготно... Ну, значит, и вали-валом, голубчики, в ад... Сделайте ваше одолжение... Пожалуйте!.. Однако и из нашего звания тоже, я думаю, не всякий в рай... Мне, примерно, голубчик мой, давно в пекле паек готов за то, что я жру это самое ви-нице. Небось, заставят растопленную медь глотать... А силушки нет, милый человек, бросить эту самую водку!.. Вот оно как будет на том свете! — заключил Рябкин, вполне уверенный, казалось, в правильности своих внезапных соображений насчет «того света».

Несколько секунд длилось молчание.

И молодой матрос вновь заговорил:

— Тоже иной раз думается: вот умер человек, а что там?

— Да брось ты глупые мысли. Вот тоже!.. Еще, брат, мы с тобой и на этом свете проживем. А как, братец ты мой, вечер боцман Ваську Скобликова звезданул! В кровь! В самую,

значит, носовую часть! — круто переменял Рябкин разговор, желая отвлечь внимание от грустных предметов.

Но Артемьев молчал, оставаясь равнодушен к этому сообщению. Его, казалось, уже не занимали все эти прежде интересовавшие его вещи. Все это представлялось теперь ему каким-то далеким прошлым.

— У вас на фор-брамсели вот тоже... Михайлов брам-горденя не отдал. Ну и костил же его, брат, старший офицер сегодня! Однако всего раз съездил.

Но вместо ответа Артемьев вдруг сказал:

— Не хотца помирать, голубчик, а надо. Так, видно, богу угодно, чтобы меня бросили в океан! — прибавил он с тоской.

— Ведь вот глупый! С чего ты зря мелешь? Да нешто я не понимаю матросского здоровья? Отлично, братец, понимаю: слава богу, двенадцать лет в матросах околачиваюсь... Тоже вот у нас на «Копчике» молодой матросик был и занемог, как ты. Так около году провалялся у нас на клипере, а после в такую поправку пошел, что страсть.

Но эти слова, по-видимому, мало утешали

Артемьева. Рябкин это чувствовал и снова начинал сказку.

— Ты бы спать шел, Рябкин.

— Спать? Да быдто неохота спать... Ужо утром высплюсь!

— Ишь ты, сердешный... Жалеешь... Добер... Бог тебе и вино простит!

V

Корвет подходил к экватору. Артемьев доживал последние дни. Однажды, рано утром, он попросил к себе в лазарет гардемарина Юшкова, который учил прежде Артемьева грамоте, часто разговаривал с ним, писал от него письма к родителям, и был очень расположен к молодому матросу.

— Простите, барин, что беспокоил... Исполните последнюю просьбу — напишите домой грамотку... Да вот вещи какие после меня останутся, так чтобы отослать, как вернетесь в Расею...

Гардемарин стал было успокаивать его, но матрос остановил его:

— Полно, голубчик барин! Я знаю, что умру.

И он передал завернутые в тряпочку два

золотых и, указывая на байковый платок, две рубахи, башмаки, вязаный шарф и еще кое-какие вещи, собранные на лазаретном столе, просил все это послать отцу с матерью.

— И отпишите им, барин, что я так и так... помер, и что завсегда был покорным их сыном, и буду на том свете молиться за них и за всех хрестьян... И сестрицам, и братцам, и всей деревне нижайший поклон... Напишете, барин?

— Напишу! — отвечал гардемарин, глотая слезы.

— А другую грамотку отпишите, барин, в Кронштадт, Авдотье Матвеевне Николаевой... А как вернетесь, — отдайте ей вот эти гостинцы.

И он указал глазами на шелковый красный платок и маленькое колечко с поддельным камнем, купленное им в Копенгагене.

— Адрец тут же лежит, на платочке... Маменька ихняя торгует на рынке... Так напишите ей, что она напрасно тогда не верила... Думала, что я так только... и все смеялась. Напишите ей, барин, что ежели я путался с друзьями, так от обидного моего сердца, а желан-

ная была она одна. И напишите, что я шлю ей свой нижайший поклон, целую в сахарные ее уста и дай ей бог всякого благополучия. Напишите, барин?

— Напишу.

— А затем спасибо вам за все, добрый барин. Простимся!

Сдерживая рыдания, гардемарин, поцеловал матроса и выбежал из лазарета.

VI

В ту же ночь молодой матрос умер.

Труп его одели в полный матросский костюм и ранним утром вынесли наверх, на шканцы, и положили на доске, лежавшей на козлах. Перед обедом, в присутствии капитана, офицеров и всей команды, была отслужена священником панихида. И эта служба и это печальное пение отличного хора певчих здесь, среди безбрежного сверкавшего океана, так далеко-далеко от родины, производили невыносимо тоскливое впечатление.

После панихиды все подходили прощаться с усопшим. Флаг с утра был приспущен в знак того, что на судне покойник.

К вечеру труп зашили в парусинный ме-

шок, плотно охватывавший мертвое тело, к ногам привязали ядро, и после отпевания и отдачи воинских почестей, при глубоком молчании команды, четыре матроса понесли усопшего на доске к борту корвета, наклонили доску, и труп молодого матроса с легким всплеском исчез в прозрачной синеве океана.

Все разошлись в суровом безмолвии. У некоторых на глазах блестели слезы. Рябкин плакал, как малый ребенок.

А справа величественно закатывалось солнце, заливая багровым блеском далекий горизонт.

Серж Птичкин

I

Когда, лет десять тому назад, этот чистенький, благообразный и румяный юноша с подстриженными белокурыми волосами и большими ясными голубыми глазами приехал в Петербург для поступления в университет, на юридический факультет, со ста рублями в кармане, скопленными уроками, — он не особенно торопился навестить свою родную сестру, немолодую уже девушку, жившую в гувернантках. Но зато он предусмотрительно скоро разыскал весьма отдаленную родственницу, богатую вдову, генеральшу Батищеву, известную спиритку и благотворительную даму, имевшую свой приют для призрения шести младенцев, и в первое же воскресенье, надев свой новенький сюртучок и причесавшись у парикмахера, отправился с визитом к генеральше, в ее собственный дом, на Сергиевской улице.

— Как прикажете доложить? — спросил молодого человека лакей во фраке, с таким представительным видом и с такими велико-

лепными бакенбардами, что и этой представительности и этим бакенбардам мог позавидовать любой директор департамента.

— Птичкин! — громко, с вызывающим, горделивым видом ответил молодой человек, но при этом почему-то вспыхнул.

Старуха Батищева приняла с неба свалившегося родственника, о степени родства которого имела крайне смутные представления, с той вежливо строгой холодностью, с какой обыкновенно принимают бедных дальних родственников, которых подозревают в недобром намерении — обратиться с какой-нибудь просьбой.

Молодой человек, однако, не смутился.

Он стоически перенес неприятность первых минут встречи и, как будто не замечая этого застланного, серьезного взгляда старой дамы в кружевной наколке, с седыми буклями, обрамлявшими маленькое сморщенное личико с вздернутым носиком и выцветшими глазками, не спеша объяснил, что, приехавши в Петербург, он счел своим священным долгом явиться к Анне Михайловне, как родственнице и когда-то знакомой его покой-

ной матери, с единственной целью засвидетельствовать свое глубочайшее почтение и постараться заслужить ее родственное расположение.

Он проговорил эту маленькую приветственную речь почтительно, но без заискивания, и при этом глядел на старуху своими ясными голубыми глазами так скромно и в то же время уверенно, что Батищева тотчас же изменила тон и сделалась проще. В ее лице и в глазах появилось обычное ласковое выражение, и она уже с родственной приветливостью протянула свою маленькую костлявую ручку, которую молодой человек, конечно, почтительно поцеловал, и стала расспрашивать о покойных родителях молодого человека, припоминая, что она в молодости действительно была дружна с его маман, которая доводилась ей, кажется, троюродной сестрой.

Молодой человек, являющийся лишь для засвидетельствования глубочайшего почтения, во всяком случае приятная неожиданность, и старая генеральша, видимо, была этим тронута, тем более что и манеры, и ко-

стюм, и тихая, приятная речь — все обличало благовоспитанного, скромного юношу в этом неожиданно объявившемся родственнике.

В течение получасового визита молодой человек так очаровал старушку, что она в тот же день позвала его обедать. Особенно ей понравилось внимание, с каким слушал Птичкин ее болтовню. Словоохотливая старуха, видимо не особенно избалованная терпеливыми слушателями, рассказала ему про несколько «спиритических» явлений с подробностями, отступлениями и повторениями, столь обычными у болтливых стариков и старушек, и молодой человек, казалось, был весь — внимание, точно спиритические рассказы генеральши были для него самой интересной вещью на свете. Он вовремя подавал реплики, вовремя серьезно покачивал своей гладко прилизанной головой, вовремя улыбался — словом, слушал так хорошо, что Батищева нашла, что молодой человек — умница.

Обед лишь довершил очарование.

Птичкин ел рыбу не с ножа, а вилкой, держал себя с тактом, недурно говорил по-французски и, при удобном случае, скромно, но не

без твердости, высказал взгляды, отличавшиеся таким редким в юноше благоразумием и столь трезвенной ясностью, что старушка пришла в восторг, в тот же вечер по-родственному назвала Птичкина «Сержем» и раз навсегда пригласила его приходить к ним обедать каждый день.

— А то в ресторанах вы, мой милый, только катар наживете! — любезно прибавила старуха, совсем очарованная своим «проблематическим» племянником и в то же время рассчитывавшая с старческим эгоизмом иметь в молодом человеке жертву ее послеобеденной болтовни.

И на остальных членов семьи — двух барышень и молодого офицера Батищева — наш юноша произвел хорошее впечатление. Они нашли, что он милый, неглупый малый и вообще «*comme il faut*»[15].

— И недурен собой! — прибавили обе барышни.

— Фамилия только его... Птичкин! Птичкин! — повторял со смехом Батищев. — Отзывается *mauvais genre*'ом![16]

— Но это, во всяком случае, дворянская фа-

миллия! Он дворянин, — заметили барышни, хотя тоже согласились, что фамилия действительно неблагозвучная.

Особенно участливо отнеслась к этому «одинокому сироте», принужденному с юных лет заботиться о своем существовании, старшая сестра Элен.

Это была девушка тех зрелых лет (между тридцатью и сорока), когда всякая надежда на замужество по любви уже потеряна и когда обеспеченные и не особенно озлобленные девицы этого «переходного» возраста чувствуют склонность к благотворительности или к спиритизму, восторгаются Мазини, Фигнером или Гитри, рисуют на фарфоре или делают искусственные цветы, зачитываются романами Поля Бурже и Золя, любят «теоретические» разговоры о чувствах и скептически относятся к мужской привязанности, хотя и волнуют свое воображение небывалыми романами с небывалыми героями и питают особенное пристрастие, полное участливой материнской заботливости, к свежим, румяным и приличным юнцам.

Высокая, стройная брюнетка с бледно-жел-

тым лицом, сохранившим еще следы увядающей красоты, с впалой грудью, с темными добрыми, немного грустными глазами и красивыми руками, с длинными, тонкими пальцами, с изумрудом на крошечном мизинце, — эта Элен с первого же дня прониклась жалостью к скромному бедному родственнику и, узнавши, что он рассчитывает найти уроки, на другой же день отправилась к знакомым и просила их рекомендовать в свою очередь вполне приличного молодого человека, нуждающегося в уроках.

И через неделю или две наш молодой человек уже имел два хорошие урока, обеспечивающие вполне его существование, и благодарил Элен с таким горячим чувством, что скромная, добрая девушка сконфузилась и, ласково глядя на Сержа, проговорила:

— Полно... полно... Стоит ли из-за таких пустяков благодарить.

Но Серж все-таки продолжал благодарить и несколько раз, в знак благодарности, принимался горячо целовать красивую руку своей «кузины», взглядывая на покрасневшую Элен своими ясными голубыми глазами, с ви-

дом наивного ребенка, переполненного чувствами.

II

Будущность, казалось, улыбалась молодому человеку, явившемуся в Петербург без денег, без связей, с одними мечтами добиться впоследствии и связей, и положения, и денег.

Первые шаги его были удачны. Он отыскал вполне приличных родственников, которые могли быть очень полезны и у которых можно было иметь даровой обед; благодаря этой сентиментальной старой деве Элен он скоро получил уроки; словом, все начиналось очень хорошо.

Думая об этом, молодой человек весело улыбался, и его постоянные мечты стать со временем вполне порядочным человеком, то есть сделать блестящую карьеру и быть богатым, окрылялись от первого успеха.

Одно только смущало его, являясь источником его тайных терзаний, это... его фамилия, неблагозвучная, какая-то мещанская фамилия, которая еще с отроческих лет отравляла спокойствие обыкновенно хладнокровного, рассудительного мальчика...

Бывало, когда кто-нибудь спрашивал этого скромного гимназистика, как его фамилия, он при ответе всегда краснел от стыда. И хотя покойный отец его, почтенный человек, бывший учителем русской словесности в гимназии, нередко внушал мальчику, что называться Птичкиным не стыдно, а быть мерзавцем стыдно, — эти поучения и однажды даже строгое наказание за то, что мальчик презрительно назвал одного товарища «паршивым мужиком», не излечили юного Птичкина. И старый учитель, идеалист шестидесятых годов, с тоскливым изумлением и ужасом спрашивал себя: «Откуда это у сына такие аристократические вождедения и такие эгоистические наклонности? Что это — атавизм или знамение новых времен?»

Он умер, не дождавшись полного расцвета своего юного отпрыска, уверенный, однако, что этот рассудительный, спокойный и практический мальчик, с красивыми голубыми глазами, не пропадет в битве жизни, как пропал другой, старший сын, увлекающийся, порывистый юноша, горячо любимый отцом.

Когда прежние неопределенные мечтания

отрока стали принимать более реальную форму, молодого человека еще более стала раздражать его фамилия.

И он нередко думал:

«Нужно же было отцу называться Птичкиным! И как это мать, девушка из старой дворянской семьи, решилась выйти замуж за человека, носящего фамилию Птичкина? Это черт знает что за фамилия! Ну хотя бы Коршунов, Ястребов, Сорокин, Воронов, Воробьев... даже Птицын, а то вдруг... Птичкин!» И когда он мечтал о будущей славной карьере, мечты эти отравлялись воспоминанием, что он... господин Птичкин.

Даже если бы он оказал отечеству какие-нибудь необыкновенные услуги... вроде Бисмарка... его ведь все-таки никогда не сделают графом или князем.

«Князь Птичкин... Это невозможно!» — со злобой на свою фамилию повторял молодой человек.

Правда, он любил при случае объяснять (что он и сделал скоро у Батищевых), что род Птичкиных — очень старый дворянский род и что один из предков, шведский рыцарь Маг-

нус, прозванный за необыкновенную езду на коне «Птичкой», еще в начале XV столетия выселился из Швеции в Россию и, женившись на татарской княжне Зюлейке, положил основание фамилии Птичкиных. Но все эти геральдические объяснения, сочиненные вдобавок еще в пятом классе гимназии, когда проходили русскую историю, мало утешали благородного потомка шведского рыцаря Птички.

III

Университетская пора пронеслась быстро и весело для Птичкина.

Способный и неглупый, он занимался хорошо и отлично знал то, что требовалось для экзаменов. Дальше этого он не шел и не находил нужным. Вообще, отвлеченные мысли как-то не занимали его практический ум и слишком себялюбивую натуру, и он с глубочайшим презрением относился к людям, которые пускались в отвлечения. И отец его из-за этого весь свой век прожил несчастным учителем и умер бедняком, и старший его брат где-то скитается по захолустьям. Брата он решительно презирал как дурака, не уме-

ющего понимать, казалось, самых простых вещей, и всегда боялся, что «этот болван» может его скомпрометировать. И когда однажды Серж Птичкин, уже студентом третьего курса, получил от старшего брата письмо, то он, не задумавшись, ответил ему таким посланием:

«Я полагаю, брат, ты согласишься со мной, что родственные связи, при известных обстоятельствах, ровно ничего не значат. Мы с тобой стоим совершенно на разных точках зрения. То, что ты считаешь хорошим, я считаю мерзким, то, что ты считаешь благом, я считаю несчастьем. Короче говоря, между нами решительно ничего нет общего, и, несмотря на то, что случай сделал нас братьями, я не нахожу нужным скрывать полного отвращения и к твоим идеям и к твоей жизни. Поэтому было бы, полагаю, удобнее прекратить всякие отношения».

Через несколько времени Серж Птичкин получил от брата следующий ответ:

«Извини, брат. Я решительно не думал, что ты такая современная скотина в столь молодые годы. Поздравляю».

Младший брат прочитал эти строки совершенно спокойно. Ни один мускул его красивого румяного, несколько женственного лица не дрогнул. И только в глазах сверкнуло презрение.

Он медленно разорвал письмо и произнес:
— Идиот!

От товарищей Птичкин держался в стороне. Водил он знакомство лишь с избранными студентами, такими же ранними молодыми людьми, как и он, да с несколькими приличными шалопаями.

В этом кружке он был божком. Он нередко проповедовал, слушая сам себя, свою собственную теорию государственного права и рисовался крайним консерватизмом. Это отвечало его аристократическим вожделениям и не мешало будущей карьере. Напротив!

Говорил он недурно: тихим, спокойным голосом, с апломбом человека, уверенного в своем превосходстве, и любил напускать на себя строгую солидность, особенно когда толковал о задачах трезвого молодого поколения. Выходило недурно.

У Батищевых молодым человеком все вос-

хищались, кроме младшей сестры Ниты, хорошенькой, неглупой барышни, не особенно доверявшей молодому человеку. Птичкин пробовал очаровать эту изящную молоденькую кузину с насмешливыми глазами, но это ему никак не удавалось. Он чувствовал подчас ее тонкую иронию, и ему с ней было как-то не по себе.

Зато Элен восторгалась своим любимцем. Хотя его крайние взгляды и казались ей уж слишком непреклонными и возмущали ее доброе сердце, но она считала, что этот пыл со временем пройдет, и все прощала «бедному сироте». И он зато оказывал ей, особенно вначале, почтительно-нежное внимание, уверял в своем расположении и часто и горячо целовал ее маленькую белую руку, думая в то же время, что эта старая дева может еще пригодиться и что рука у нее все-таки аппетитная.

IV

И Элен все более и более привязывалась к «милому юноше», как она его называла.

Это чувство было довольно сложное. В нем соединялось: несколько восторженная влюб-

ленность старой девы с чистой привязанностью доброй души к бедному молодому человеку, пробивавшему себе жизненный путь без посторонней помощи, и с поклонением перед умом, энергией и другими достоинствами, которыми обильно наделяла молодого человека девушка, не привыкшая хорошо всматриваться в людей. Она, разумеется, тщательно скрывала свои чувства под видом обыкновенного дружеского расположения, но втайне радовалась всяким успехам Птичкина и была уверена, что из него со временем выйдет замечательный человек. Ее трогало его внимание, его благодарность за ее пустые услуги, и она как порядочный человек искренно верила в его расположение... верила и считала своего протеже безусловно честным молодым человеком.

Ей точно чего-то недоставало, когда он несколько дней не приходил. Она любила говорить с ним и с участием доброй сестры относилась ко всем его нуждам. Однажды даже она, вся краснея, со слезами на глазах, предложила ему взять займы денег, но Птичкин так холодно и резко отказался, видимо оби-

женный этим предложением, что Элен должна была извиняться и уверять Сержа, что в ее предложении не было и мысли сделать обиду.

На спиритических сеансах, бывавших попеременно у каждого из членов небольшого спиритического кружка, как-то случилось, что Элен и Птичкин всегда сидели рядом. И эта близость, это прикосновение рук всегда наполняло Элен каким-то сладким томлением. И она еще более верила в спиритическое сродство душ. А Серж, как нарочно, иногда слегка надавливал ее крошечный мизинец своим пальцем, приводя бедную девушку в большее спиритическое воодушевление. Разумеется, это не он давит. Он не посмел бы этого сделать. Это дело духов.

В спиритическом кружке, кроме старухи Батищевой и Элен, участвовали еще три дамы и два почтенных старика — всё люди более или менее состоятельные и со связями, и Птичкин, особенно первое время своего студенчества, охотно посещал сеансы и был, казалось, ревностным спиритом. С самым серьезным видом выслушивал он, когда одна из

«спиритических дур», как мысленно он окрестил своих соучастниц по опытам, начинала рассказывать о своей беседе с каким-нибудь из жильцов загробного мира или объяснять теорию переселения душ.

Но эти сеансы сослужили добрую службу. Благодаря им завязывались полезные знакомства и связи, и наш молодой человек во все время своего студенчества имел много уроков, и таких хороших, что мог не только прилично жить, но и скопить небольшую сумму, чтобы по выходе из университета одеться, как приличествует благородному потомку рыцаря Птички.

Его охотно приглашали, и года через два по приезде в Петербург молодой студент имел возможность обедать в разных домах, не подвергаясь, таким образом, опасности ежедневно слушать утомительные послеобеденные рассказы — нередко в пятом издании — старухи Батищевой, в обществе одной Элен, так как хорошенькая Нита и брат ее обыкновенно исчезали из комнаты, как только старуха открывала рот, ибо знали все эти рассказы с тех пор, как помнили себя.

Он нравился вообще дамам, этот свежий, румяный белокурый студент, с ясными голубыми глазами, маленькой шелковистой бородкой, с отличными манерами и с таким непреклонным образом мыслей. Под его наружным спокойствием чувствовался огонек. Его звали на балы и вечера и им любовались, — так он мило танцевал.

И в том обществе, где он вращался, почти все находили, что monsieur Serge[17] — редкий молодой человек, и иногда жалели, что у него такая «малоговорящая» фамилия. Наш молодой человек знал, что он производит впечатление на дам, особенно «бальзаковских» лет и любящих пылкость чувств. Это льстило его самолюбию. Он втайне гордился своими победами, но, казалось, не замечал их, не позволял себе ни за кем ухаживать и напускал на себя серьезную солидность слишком занятого и скромного человека, которого не занимает ухаживанье. Он хорошо разыгрывал роль Иосифа Прекрасного и не забывал, что он — Птичкин, чтобы серьезно ухаживать за светской барышней, пока не оперится. Влюбленный лишь в самого себя,

сухой и самолюбивый, он и не увлекался никем, мечтая впоследствии жениться на девушке с основательным приданым. Плодить бедных он не хотел и с цинизмом подсмеивался над дураками, которые «женятся, не подумавши».

А пока наш молодой человек пользовался расположением своей квартирной хозяйки, молодой, смазливой жены мелкого старого чиновника. Эта связь была по крайней мере удобна. Она гарантировала его здоровье и ни к чему не обязывала. Так предусмотрительно обсудил Птичкин этот вопрос, заметив, что пышная брюнетка к нему равнодушна. И он третировал ее, относясь к ней с высокомерным снисхождением высшего существа, и дарил ей маленькие подарки, которыми оплачивал свои чувственные удовольствия. Полюбившая его чиновница вздумала было отказываться от этих подарков, но молодой человек прикрикнул на нее, и она покорно согласилась, не смея ему противоречить.

V

Когда в отлично сшитом фраке Серж Птичкин, уже заручившийся благодаря хлопотам

Батищевой недурным местом в провинции, явился на Сергиевскую с первым визитом по окончании курса, он застал в гостинной одну Ниту. Старушки и Элен не было дома. Они уехали в свой приют.

Фрак очень шел к Птичкину, и вообще этот двадцатипятилетний молодой человек глядел совершеннейшим джентльменом того особенного стиля, которым щеголяют молодые чиновники ведомства иностранных дел и вообще светская золотая молодежь. И если бы не знать, что это Серж Птичкин, мифический потомок рыцаря Птички, его по виду можно было бы принять хоть за маркиза, — так он был великолепен.

Уж он умел ходить с небрежным развальцем, щурить глаза, растягивать слова, не узнавать на улице плохо одетых знакомых, зевать, с видом скуки, в театре и смотреть собеседнику, если он простой смертный, не в глаза, а пониже или повыше: не то в подбородок, не то в макушку... Одним словом, Серж Птичкин уже принял облик «горохового шута», — облик, считаемый за настоящий «cachet»[18] порядочного тона.

— Да вы великолепны! Просто-таки великолепны в своем фраке, Сергей Николаевич! — воскликнула Нита при виде Птичкина на пороге гостиной.

И ироническая улыбка мелькнула в ее серых глазах и скользнула по алым тонким губам.

И тотчас же прибавила:

— Поздравляю вас и...

Она на секунду остановилась и глядела на великолепного молодого человека с веселой, чуть-чуть насмешливой улыбкой, эта блондинка с гладко зачесанными назад пепельными волосами, бойкая и живая, с выразительным лицом, хорошеньким и необыкновенно привлекательным со своим задорно приподнятым носиком. В ее чуть-чуть вздернутой кверху головке было что-то надменное и капризное. В живых, смеющихся глазах точно играл бесенок, и выражение в них быстро менялось. Она была среднего роста и хорошо сложена. Серое шерстяное платье обливало ее изящную, полную грации фигурку.

— И что же дальше? По обыкновению, какая-нибудь колкость, Анна Александровна?

Что ж, говорите... Я к этому привык! — проговорил на ходу Птичкин умышленно веселым тоном, стараясь скрыть досаду на эту насмешливую барышню, не разделявшую к нему общего поклонения.

И, приблизившись к девушке, он почтительно поднес к губам ее крошечную, точно выточенную, розовую ручку.

— Они, я думаю, не особенно чувствительны, мои колкости... для такого умного человека! Не правда ли? — лукаво прибавила Нита. — Я просто не решаюсь вам ничего желать.

— Это почему?

— Да потому, что и без моих желаний... успехи не заставят вас ждать...

— Остается поблагодарить за такое лестное мнение обо мне! — промолвил молодой человек, наклоняя голову.

— Да ведь вы и сами уверены в этом? Вы ведь вообще влюблены в себя!

— Вы думаете? — промолвил, краснея, молодой человек.

— Думаю...

— Напрасно так думаете...

— Ну уж что делать...

— А мне это обидно...

Молодая девушка усмехнулась.

— И этому не верите?

— Досадно — это я еще пойму, но чтобы обидно...

Эта «девчонка», как про себя ее звал Птичкин, положительно его раздражала своим ироническим тоном и разными неприятными откровенностями, а между тем она ему нравилась, настолько нравилась, что он порой мечтал, что жениться на ней было бы очень недурно. Она невеста богатая — сто тысяч приданого. Но она, видимо, ему не доверяла и не оказывала ему особенного расположения, и это раздражало его самолюбие. То ли дело Элен... Та охотно пошла бы за него замуж, но ей тридцать три, а ему двадцать пять... Уж слишком она зрела, эта отцветшая красавица! — думал Птичкин.

Он принял строго-оскорбленный вид и мягко, мягко заговорил о том, что Нита глубоко заблуждается и совсем не понимает его. Он вовсе не так дурен, как она его считает, и ему обидно, что именно она так относится к нему.

— Мне всегда было искренно жаль, что я не заслужил вашего расположения, Анна Александровна... а я всегда был и буду глубоко вам предан...

Он проговорил эту фразу не без огонька, сделал паузу и бросил взгляд на девушку. Она, казалось, слушала внимательно.

«Ключуно!» — подумал молодой человек и, понизив голос до нежного минора, продолжал:

— Теперь, когда, быть может, нам долго не придется увидеться, я не скрою от вас, что меня всегда мучило ваше недоверие... Чем я его вызвал? За что оно? А между тем... я больше чем предан вам... я...

В эту минуту из залы донеслись голоса Батищевой и Элен.

Птичкин остановился.

— Что ж вы, мосье Серж?.. Allez, allez toujours![19] — с громким смехом проговорила Нита, и презрительная улыбка светилась в ее глазах.

Птичкин позеленел от злости.

— Здравствуйте, Серж! Поздравляю вас!

И Батищева и Элен радостно пожимали

ему руку, высказали много самых искренних и добрых пожеланий и находили, что он прелестен во фраке.

— А ты, Нита, отчего так хохотала? — спросила мать.

— Сергей Николаевич рассмешил...

— Чем?

— Он великолепно прочитал комический монолог из... «Тартюфа».

VI

Года через четыре Серж Птичкин показался на петербургском горизонте в качестве видного товарища прокурора, уже успевшего зарекомендовать себя. Карьера его обеспечена. Его считают дельным, солидным юристом, но только чересчур непреклонным. Но это не смущает Птичкина, так как он мнит себя носителем идеи самого чистого консерватизма и аристократических тенденций. Он стал еще солиднее и принял вид государственного человека. Он одевается с изысканно строгой простотой, «по-английски», и по праздникам посещает аристократические церкви, сделавшись религиозным человеком настолько, насколько требует хороший тон

последнего времени. «Для увенчания здания» оставалось сделаться богатым человеком. И это не заставило его ждать. Год тому назад он женился на хорошенькой купеческой дочке с миллионом. Он снисходительно позволяет себя любить, считает жену дурой и строго дрессирует ее. В год он выдрессировал жену настолько, что она уже тянет слова, щурит презрительно глаза и боится своего благоверного как огня.

Сам Серж Птичкин, получив миллион, еще более влюбился в собственную особу и стал говорить еще медленнее, точно произносить звуки ему в тягость. Ходит он с большим развальцем, словно бы ноги у него развинчены, зеваает артистически и совсем не узнает на улице многих прежних знакомых и в том числе Элен. У Батищевых он бывает раз-два в год. Чаще бывать ему некогда. Он так занят!

Недавно я имел счастье видеть Сержа Птичкина у одного из его подчиненных, которого он осчастливил своим посещением. За картами он обратил внимание на какой-то портрет, висящий на стене, и, немного гнуса-

вя, процедил:

— Что это? Фо-то-ти-пия или фо-то-графия?

И вдруг так зевнул, что смутившиеся хозяева поспешили объяснить, что это фотография.

— А я по-ла-га-л, фо-то-ти-пия! Не-дур-но. Очень недурно!

Вообще, Серж Птичкин счастлив. У него прелестная квартира, экипажи на резиновых шинах, лошади превосходные, влюбленная дура-жена, впереди очень видная карьера...

Одно только по-прежнему терзает его, это — его фамилия.

— Птичкин... Птичкин! — повторяет он иногда со злобой в своем роскошном кабинете. — И надобно же было родиться с такой глупой фамилией!

Истинно русский человек*

I

Я знавал Аркадия Николаевича Орешникова еще в те времена (в конце шестидесятых годов), когда он и не думал с азартом бить кулаком по своей здоровой, выпяченной груди, называя себя истинно русским человеком, — не находил еще, что «наша матушка Россия всему свету голова» и имеет исторически провиденциальную миссию ничем не походить на изолгавшийся, развращенный «говорильнями», прогнивший Запад, — не выражал желаний подтянуть «зазнавшуюся чухну» и на веки вечные изгнать «низкого жида» из пределов империи, — просвещения не отрицал и, с чужих слов, не повторял о настоящей необходимости восстановить телесные наказания для подъема нравственности и вообще добрых начал, заметно оскудевающих.

В те отдаленные времена, когда я познакомился с Аркадием Николаевичем, он, разумеется, ни о чем подобном не мог бы и подумать, а не то что громогласно говорить, да

еще с ноздревской развязностью, глядя вам прямо и нагло в глаза и словно бы думая про себя:

«Я и не то еще могу выпалить!»

Тогда столь же откровенно повторял иные речи и перепевал иные песни этот «просто русский», в ту пору молодой человек, окончивший курс со степенью действительного студента, благополучно служивший помощником столоначальника в каком-то департаменте и пописывавший по временам резвые, либеральные статейки в газетах, отчасти для славы среди сослуживцев и среди знакомых барышень, отчасти для покупки в более изобильном количестве перчаток и галстуков и для более частого посещения опереток и трактира Палкина*.

II

Аркадий Орешников в то время был довольно видный, среднего роста, плотный, широкоплечий блондин с маленькими, разбегающимися по сторонам, карими глазками, редкими рыжеватыми волосами, крикливым тенорком и толстыми алыми губами, которыми он имел привычку, сохраненную и поныне,

быстро поводить, выражая этим свое удовольствие. Лицо у него было довольно ординарное и без особой «печати мысли» на начинавшем лысеть челе: кругловатое, с мясистыми щеками и толстым носом, но зато свежее, румяное и беззаботно веселое.

Сам Орешников, по-видимому, был более чем лестного мнения насчет своей физиономии, любил заниматься собой, не жалея одеколona, считал себя пленительным мужчиной и действительно пользовался успехом у горничных и у швеек...

Хвастая своими любовными успехами и рассказывая об интриге, героиней которой бывала какая-нибудь простодушная Даша или Матреша, Аркадий Орешников значительно давал понять, что героиня романа — дама из общества, без памяти в него влюбленная, назвать которую он, как порядочный человек, разумеется, не может.

Он был не глуп, но и не особенно умен, что называется, без царя в голове, но достаточно переимчив и сметлив в житейских делах. Недостаток основательных знаний он и в молодости с успехом заменял чисто славянской

отвагой трактовать о каких вам угодно предметах, не моргнувши глазом. Впрочем, он и не очень обижался, когда его останавливали, замечая, что он несет околесную. Он только как-то меланхолически глядел куда-то в пространство, но через четверть часа уже снова готов был говорить с прежней развязностью и о коннозаводстве, и о философии Канта*.

Всегда поклонявшийся какому-нибудь доморощенному божку, при котором играл роль адъютанта, Орешников так же быстро развенчивал своего божка, находя нового, как быстро и создавал себе идола, перед которым обыкновенно раболепствовал.

Юркий, не без лукавства и в то же время легкомысленный поклонник всякого успеха, тщеславный и бесхарактерный, никогда серьезно ни во что не вдумывавшийся и не имевший правил, а одни лишь инстинкты, мягкий и добродушный, когда дело не касалось собственной шкуры, прирожденный, так сказать, оппортюнист, Орешников был одним из тех людей, гибких, податливых и не имеющих никакого определенного идеала, — людей без резко выраженной индивидуальности.

сти, которые повсюду составляют так называемую «улицу».

III

Само собой разумеется, что в ту пору двадцатипятилетний Орешников называл себя либералом. Правда, он и тогда не одобрял крайностей, тем более, что за них можно было иметь неприятности по службе, и повторял вслед за другими, что наше время — не время широких задач. Хотя он и не отдавал себе отчета, почему это так, но чувствовал, что так надо говорить, и говорил.

Тем не менее он горячо порицал некоторые явления русской жизни того времени, восхищался, даже через меру, Западом, умеренно желал продолжения реформ и страстно — увеличения окладов чиновникам, почитывал журналы и бывшие в моде книжки, восторгался новыми судами и земством, проповедовал о женских правах на высшее образование и изредка даже, после веселого ужина в интимном кружке, таинственно намекал, озираясь вокруг, на своевременность «правового порядка», одним словом, повторял все то, о чем в то время говорили.

Орешников, кроме того, любил щегольнуть не только либеральным образом мыслей, но и цивическими* добродетелями и нередко в курительной комнате хвастал перед департаментскими товарищами, что он, при случае, даже не спустит самому начальнику отделения, но в действительности он был жесточайший трус, боявшийся всякого начальства даже более, чем требовалось по времени. Он, конечно, с негодованием отрицал свою трусость, когда кто-нибудь уличал его, и объяснял ее благоразумной осторожностью. Но однажды, в минуту полупьяной откровенности, он сознался, что в нем храбрости мало, тут же залился слезами, называя себя почему-то свиньей, и прибавил, что это у него качество, верно, унаследованное. Пожалуй, он до известной степени был прав. Все его предки, многочисленные Орешниковы, из захудалых, малоземельных дворян, служили чиновниками, и каждый из них всю свою жизнь более или менее провел в страхе и перед начальством, и перед возможностью, того и гляди, попасть под суд за лихоимство, впрочем, довольно умеренное, ибо Орешниковы

были осторожны, да и особенно теплых мест не занимали.

Перед барышнями Аркадий Орешников драпировался в мантию гражданского героя и врал, что называется, несосветимо. На журфиксах* у матери своей, вдовы статского советника, Феозы Андреевны, он, бывало, так либеральничал, рисовал такие перспективы отдаленного будущего, главнейшим образом о формах свободного брака, что почтенная старушка Феоза Андреевна, всю свою жизнь проведшая в чистке квартиры с метелкой в руках и в заботах жить, как «люди живут», — покачивала в ужасе головой и укоризненно замечала:

— Аркаша... Аркаша! Опомнись!

Но Аркаша и в ус не дул, продолжая открывать широкие горизонты будущего человеческого устройства и невозможно перевирая вскользь прочитанные им статьи.

Свою маменьку он считал отсталой женщиной.

И старушка, жившая с зрелой дочерью Аглаей на маленький пенсioen и проценты с скромного капиталъца, составленного покой-

ным мужем при помощи разных негласных оборотцев с казенными деньгами, во время его долгого служения эзекутором департамента, не раз в то время говорила сыну:

— Ой, Аркадий... С такими понятиями можно и место потерять.

— А наплевать! — хорохорился Аркадий.

— Это как же?

— А так же...

Феоза Андреевна в страхе, бывало, только крестилась, воображая, что Аркаша и в самом деле удерет какую-нибудь штуку, лишится должности и очутится у нее на шее.

Но давнишний ее знакомый и приятель покойного мужа, старый матерый департаментский «юс»*, Иван Иванович Затыкин, бесменный архивариус, переменявший пятнадцать господ директоров, выдавший виды и понимавший людей, обыкновенно успокаивал огорчавшуюся старушку. Со спокойствием чиновника-философа, давно бросившего мечты о повышении и черпавшего свою философию из департаментского архива и из наблюдений над сослуживцами, он говорил ей:

— Не сокрушайтесь, почтеннейшая Феоза

Андреевна, за своего Аркашу. Право, не сокрушайтесь.

— Как же не сокрушаться, Иван Иванович: он иногда такое говорит.

— А пусть себе говорит! Нонче, сударыня, все такое говорят. Сами его превосходительство, господин директор департамента, и тот курьера на «вы» называет... Мода такая-с... Ваш Аркаша выболтается и, по времени, по-иному заговорит... А времена, Феоза Андреевна, переменчивы! — многозначительно прибавлял старик, лукаво подмигивая своим выцветшим, но все еще зорким глазом.

— А пока что, как вдруг да Аркаша места лишится?

— Места? За место-то ваш Аркаша зубами держится, будьте покойны, Феоза Андреевна. Недаром Аркадий Николаич из Орешниковской породы... Начальство им довольно, а это, сударыня, как вам известно, главное дело на службе... Ну, и чиновник он ничего себе, исправный... И перо есть... Умеет всякую бумажку, как следует, изобразить. Того и гляди, при вакансии, сделают вашего Аркашу столоначальником, в добрый час будь сказано!

Статская советница успокаивалась за свой капиталец, предназначенный в наследство безнадежной девице Аглае, оставшейся непристроенной, и, в свою очередь, начинала расхваливать Аркашины способности и ум.

IV

Господин Затыкин не ошибался. Орешников действительно держался за место зубами и умел отлично ладить с начальством, хотя за глаза слегка и прохаживался на его счет, фанфаронства ради. И писание статей, даже и резвых, не только не вредило тогда по службе (особенно, если статейки не касались ведомства, где служил автор), а, напротив, обращало на автора иногда лестное внимание.

Таким образом Аркадию Николаевичу литература даже помогала на первых порах его житейской карьеры, а он, неблагодарный, впоследствии так бранил эту самую литературу!

Благодаря его же собственной хвастливой болтливости, весь департамент скоро узнал, что помощник столоначальника Орешников «пишет в газетах». Это придало некоторый престиж молодому чиновнику в глазах сослу-

живцев. Прочли, что он пишет, и одобрили. Довольно бойко и в то же время без резкостей и в умеренном тоне. Начальник отделения, добрый служака из дореформенных чиновников, стал подавать Орешникову руку. Молва об авторстве помощника столоначальника дошла и до самого директора, который, благодаря этому обстоятельству, впервые узнал о существовании такого чиновника и однажды потребовал его к себе.

Появление курьера с известием, что генерал просит господина Орешникова, произвело в отделении большую сенсацию. Все завистливо недоумевали. Мнительный и болезненный столоначальник, во всем подозревавший интригу против себя, бросил испытующе злой взгляд на своего помощника. Начальник отделения обиженно нахмурился и за то, что помимо его требуют чиновника его отделения, и за то, что он не знал причины этого приглашения. Сам Орешников жестоко струсил и вспомнил, как вчера позволил себе пройтись насчет господина директора. Он старался скрыть свой испуг под видом напускного равнодушия, однако заметно по-

бледнел, ощутил внезапную боль в пояснице и дрожащей рукой оправлял прическу и галстук перед входом в кабинет директора.

За большим столом, прямо против двери, сидел сухощавый брюнет, лет сорока, в вицмундире со звездой. При появлении Орешникова, остановившегося у двери, он поднял голову и попросил молодого человека подойти.

Брюнет со звездой мягко и приветливо взглянул на видимо испуганного Орешникова, подал ему руку и проговорил с изысканной вежливостью:

— Вы — господин Орешников?

— Я, ваше превосходительство! — отвечал Орешников слегка дрогнувшим голосом, необыкновенно польщенный, что генерал подал ему руку.

— Кончили университет?

— Да-с.

— Это ваша статья сегодня в «Ласточке»*?

— Моя-с.

— Я прочел ее с удовольствием. Очень недурно и бойко написано.

Орешников просто замер от восторга. Мог ли он ожидать такого внимания от директора

департамента? Он весь вспыхнул до корней волос и взволнованно прошептал:

— Я несказанно счастлив, ваше превосходительство!

— Отчего это? — несколько удивленно спросил сухощавый брюнет со звездой.

— Оттого... оттого, что удостоился похвалы такого читателя, как ваше превосходительство!

По лицу его превосходительства пробежала тень. Он остановил пристальный и серьезный взгляд на молодом человеке. Но лицо Орешникова сияло так искренно и дышало таким неподдельным выражением восторга, умиления и преданности, что сухощавый брюнет снисходительно улыбнулся, протянул руку и сказал, что Орешников может идти.

В тот же день директор департамента осведомился у начальника отделения, хороший ли чиновник Орешников, и, получив утвердительный ответ, промолвил:

— Имейте его в виду, когда откроется вакансия столоначальника.

От директора Орешников пришел в отделение с самым равнодушным видом. Он рас-

сказал обступившим его сослуживцам о своей беседе с генералом, в значительной степени преувеличив сказанные ему комплименты, и когда кто-то его поздравил, он небрежно ответил:

— Есть с чем!

А вечером, в одном литературном кружке, Орешников рассказывал, что «его генерал» сделал ему замечание за статью, но что ему «плевать» на это.

V

На Орешникове, как на чувствительном барометре, отражались все разнообразные оттенки веяний времени. Он был вернейшим указателем того, что думает, о чем говорит и что читает «улица» в данный момент.

Я встречался с Аркадием Николаевичем в те времена довольно часто — он доводился мне родственником — и не без любопытства наблюдал, с какою легкостью он менял свои мнения. Плохо знавшие Орешникова люди звали его «переметной сумой» и в этих быстрых переменах усматривали рассчитанную преднамеренность, но я всегда защищал своего родственника от этих нападок. Если бы бы-

ла преднамеренность! Ее-то именно и не было. Он и сам не замечал, как с одинаковою стремительностью сегодня порицал то, что еще вчера хвалил, как-то инстинктивно, в силу стадности, приспособляясь к господствовавшим течениям. Вполне уверенный, что выражает собственные мнения, он повторял мнения газеты, которую читал. И — характерная черта русского человека! — повторяя с чужих слов иногда жестокие вещи и поступая подчас далеко не безупречно даже с точки зрения примитивной этики, Аркадий Николаевич во все фазисы своей жизни оставался все тем же добродушным, легкомысленным и веселым человеком, каким я знал его в молодости.

Года через три после нашего знакомства Орешников, сделавшийся столоначальником, отпустивший себе бакенбарды котлетами и переменивший фетр на цилиндр, все еще называл себя либералом, но о дальнейших реформах выражался уклончиво (нужно-де и с настоящими-то разобраться и их упорядочить!). Общество дам и барышень Аркадий Николаевич по-прежнему очень любил —

недаром у него были такие пышные алые губы, — но уже не огорашивал слушательниц широкими горизонтами будущего, а больше напирал на эстетические идеалы, любил по весне декламировать «Шепот, робкое дыханье, трели соловья»* и выражал боязнь, как бы занятия медициною (хотя он, по существу, ничего против них не имеет) не лишили женщину лучшего украшения — женственности. Статейки Орешников продолжал пописывать, но уже не столь резвые и с более ограниченным выбором тем: более о гессейнской мухе*, о колорадском жучке или о попавшемся в растрате коллежском секретаре, на котором можно было излить гражданскую скорбь об «этих прискорбных случаях лихоимства». Насчет худощавого брюнета со звездой Аркадий Николаевич даже и за глаза не позволял себе отзываться непочтительно, а, напротив, говоря о директоре департамента, вдруг становился серьезным и солидным, словно бы отчасти и сам он нес тяготу и ответственность его положения.

Во время «сербского возбуждения»* Орешников возбудился до того, что все свободное

от службы время носился, как бешеный, по городу, собирал в конках вместе с зрелыми девами жертвоприношения, плакал и умилялся, заказывал хоругви, провожал добровольцев яезде так трещал о «славянской идее»*, что охрип. Но скоро пыл его прошел, и Орешников стал поругивать и «братушек», и добровольцев. Затем он с таким же азартом распилился за «братушек-болгар» и, когда объявлена была война*, воспламенился таким воинственным духом, что хотел было поступить в юнкера, если бы только можно было не рисковать жизнью. Он требовал Константинополя и проливов, найдя внезапно, что без них жить никак невозможно, проливал слезы над героем русским солдатиком, возмущался недобросовестными интендантами и в то же время втайне завидовал непопавшимся счастливым, нажившим на войне сумасшедшие деньги. Плевна заставила его приуныть*, но не надолго. Успехи нашего оружия вновь окрылили Орешникова. Он снова носился с Константинополем к проливами, умилялся «братушками» и просился было к ним вице-губернатором, чтобы осчастливить их хо-

рошим управлением, а себя хорошим содержанием. Однако это не удалось, и Орешников остался дома столоначальником.

Сан-стефанский договор не вполне удовлетворил расходившегося в ту пору Аркадия Николаевича. Он досадовал, что Константинополь не сделался губернским городом и что там не будет (в этаким-то прелестном климате!) ни русского театра, ни русских чиновников. Собственно говоря, он и сам не знал, зачем ему Константинополь, но храбро говорил и об «естественном выходе в море» я об «обмене продуктов» и «вообще» о «задачах России».

Несмотря на лишение Константинополя, он однако ликовал, надеясь, что, при «целкупной» Болгарии* да с нашими в ней начальниками, Царьград* от нас не уйдет, — ликовал и вместе с тем бранил Биконсфильда, что называется, на все корки, без малейшего стеснения, даже и у себя в отделении. Он награждал первого английского министра такими ругательными эпитетами, критикуя его внешнюю и внутреннюю политику с такой свободной развязностью, что однажды почтенная Феоза

Андреевна, не разобравшая, в чем дело, и тугая на одно ухо, просто-таки обомлела и смотрела на сына испуганно во все глаза, словно на только что вырвавшегося из сумасшедшего дома. Добрая старушка пришла в себя лишь тогда, когда сын объяснил ей, что дело идет об английском министре и притом гадившей нам державы.

Тем не менее Феоза Андреевна все-таки настаивательно заметила:

— А все, Аркаша, ты бы полегче. Чужой, чужой, а все же министр!

— Да вы, маменька, прочтите, как этого «проходимца» газеты чествуют. Так, маменька, продергивают, что любо! — со смехом отвечал Орешников.

Сан-стефанский «восторг» довольно скоро сменился берлинским «унынием»*. Во время конгресса Аркадий Николаевич только и повторял: «мы не позволим!» и раз даже, подкутивши у Палкина, пристал к какому-то посетителю с вопросом «позволит ли он или нет?» По счастью, и посетитель, оказавшийся интендантским чиновником, самым категорическим образом «не позволял», в надежде

вновь заведовать каким-нибудь складом, и дело кончилось благополучно. Оба не позволявшие выпить шампанского и завершили вечер в танцклассе.

Когда действительность показала, что следует позволить, Аркадий Николаевич тотчас же и сам «позволил», и с обычной стремительностью везде доказывал, что соображения высшего порядка заставляют нас быть благоразумными, и из яркого шовиниста обратился в миролюбца, по временам не забывая однако посылать шпильки по адресу Бисмарка.

Не прошло и месяца по окончании войны, как уже Орешников забыл и о войне, и о Царьграде, и о братушках, и занялся спиритизмом, проводя три вечера в неделю на сеансах в обществе спириток. Затем бросил спиритизм и восхищался какой-то приезжей дивой, а после — сведущими людьми. Затем одно время он вновь вдруг заговорил о каком-то «упорядочении», снова стал декламировать: «Вперед, друзья, без страха и сомненья*», но внезапно смолк и, решительно не зная, что ему теперь говорить, завинтил без удержки.

Тем временем он уже исправлял должность начальника отделения и, за многочисленностью занятий, статей не писал. Маменька все советовала ему жениться — слава богу, уж Аркаше тридцать семь лет, — но Орешников отклонял этот разговор, находя, что «так» лучше и что семья требует больших расходов.

VI

Вскоре Орешников получил предложение ехать в провинцию. Он согласился; место было довольно приличное. Но прежде, чем ехать в Оренбургский край, Орешников совершенно неожиданно женился и притом на девице совсем не в его вкусе. Аркадий Николаевич любил барышень свежих и молоденьких, не худощавых, а скорее даже полных, а между тем его молодая жена была особа уже второй молодости, лет тридцати, худощавая, малокровная, поблеклая брюнетка, далеко не красивая, но, разумеется, «симпатичная», как отзывались о ней ее более милovidные подруги. Она была генеральская дочь, умна и с характером, кое-чему училась и читала, в молодости штудировала Гёте, недурно играла на

фортепиано, знала два языка, отличалась большим тактом и щеголяла манерами и комильфотностью*. Она едва ли бы пошла за Орешникова, фамилия которого звучала в ее ушах не особенно красиво, если бы не ее критический возраст и не пышные румяные щеки Аркадия Николаевича вместе с его ослепительными белыми зубами и мягким характером.

Родственники Орешникова и, главнейшим образом, Феоза Андреевна говорили тогда, что «бедный Аркаша» попался как кур во щи, женившись на этой перезревшей девице. Он, видите ли, легкомысленно поверил намекам будущей тещи, бойкой вдовы генерала Буеракина, насчет значительного обеспечения за Наденькой. И как было не поверить! Буеракины жили хорошо: квартира, обстановка... мать и дочь одевались щегольски... и вдруг, после венца, вместо значительного обеспечения, Аркаше преподнесли всего три тысячных билета...

— Просто надули Аркашу, — говорила Феоза Андреевна.

И добродушно прибавляла:

— Сам и виноват!.. Зачем перед венцом не оформил дела!

Хотя и Аркадий Николаевич понял, что поступил опрометчиво, однако скоро примирился с положением. Наденька, постоянно говорившая в девичестве, что терпеть не может мужчин, любит одну психологию и никогда не выйдет замуж, — оказалась такой влюбленной, заботливой и нежной женой, что Орешников скоро забыл, что его «надули» с приданым, и привязался к этой по виду холодной, но необычайно пылкой сухощавой брюнетке, дарившей его такой горячей любовью. Нечего и говорить, что Наденька, как дама умная, скоро понявшая супруга, не замедлила прибрать своего «Аркадия» к рукам, не давая ему этого заметить и умно играя роль послушной жены, готовой исполнять малейшие желания мужа. Это очень льстило самолюбию Аркадия Николаевича.

В губернском городе, где поселились супруги, Наденька скоро сделалась одной из первых дам. Ее называли большой умницей. Она умела поговорить и о литературе, и об истории, и особенно любила психологические раз-

говоры. Она отлично поддерживала связи, была дружна с губернаторшей, со всеми ладила, ни с кем не ссорясь, не сплетничала и вообще держала себя с большим тактом, одеваюсь к тому же с изяществом.

Дом свой она вела в образцовом порядке. Квартира у них была уютная, хорошо обставленная, убранная со вкусом. Ели они отлично и, при умелой экономии Наденьки, жили без долгов. Горничных она всегда выбирала некрасивых, но умела отлично их школить.

Под боком у такой жены Орешников чувствовал себя счастливым, тем более, что с первого же года замужества Наденька, к удовольствию мужа, стала заметно добреть. В ее смуглых, прежде бледных щеках появился румянец. Взгляд черных глаз стал спокойнее и добрее, и прежняя девичья нервность исчезла. Когда Наденька бывала в белом капоте, с распущенными черными волосами и, томно щуря глаза, глядела на Аркадия, — муж находил свою супругу даже обворожительной и нежно уверял ее в своей любви.

В течение двух лет об Орешниковых доносили хорошие вести. Сама Феоза Андреевна,

недолюбливавшая невестку и чувствовавшая, что Наденька считает ее очень «мовежанрной»* дамой, стала отзываться о невестке благосклоннее, получив от нее в подарок оренбургский платок вместе с нежным письмом. Когда же Наденька сообщила, что они необыкновенно дешево купили две тысячи десятин, за которые теперь же дают хорошие деньги, Феоза Андреевна была совсем побеждена и вскоре, по случаю появления на свет внука Николая, послала ему на зубок, несмотря на свою скупость, триста рублей.

Между тем, благодаря нескромности какого-то корреспондента, поднялась так называемая «уфимская история», обратившая на себя внимание правительства на расхищение земель в Оренбургском крае. В числе многих, прикосновенных к этой истории, оказался и Орешников. Вышли неприятности. Хотя Аркадий Николаевич и избежал серьезной ответственности, однако должен был выйти в отставку, успев, впрочем, благополучно продать свой с неба упавший участок за тридцать тысяч.

Справедливость требует заметить, что в

деле покупки главной виновницей была Наденька. Сам Аркадий Николаевич сперва находил не совсем благовидным, пользуясь своим положением, покупать за баснословно дешевую цену землю, да еще заведомо принадлежащую башкирам. Но Наденька так умно вела по этому поводу беседы с мужем, указывая, что таким образом приобретают земли «все», причем так горячо говорила о будущности детей (она в это время была беременна и ждала второго ребенка), что Аркадий Николаевич скоро уступил и сделал, как «все». Приобретая землю, он почувствовал себя вскоре вполне довольным и ничего неблаговидного в этом уже не видал, не предвидя будущих неприятностей. Напротив, он находил, что переход пустующих земель в культурные руки есть в некотором роде полезное для государства дело.

После отставки Орешниковы приехали в Петербург.

В это время Аркадий Николаевич называл себя умеренным консерватором. Он начинал поговаривать о падении основ и бранить ту самую «Ласточку», в которой когда-то поме-

щал резвые статейки и мнения которой, бывало, повторял. Но особенно в ту пору Аркадий Николаевич ругал «негодяев корреспондентов» и говорил, что пора обуздать «этих разбойников пера» и запретить печати касаться лиц, находящихся на службе, чтобы не подрывать престижа власти. Он был по-прежнему добродушен, легкомыслен и решителен в суждениях, но на нем лежала печать некоторой меланхолии, которую кто-то из его знакомых назвал «уфимской меланхолией», и искал места.

Несколько лет я не видал Аркадия Николаевича, но имел известия, что он, благодаря хлопотам Наденьки и отчасти своим собственным, устроился очень хорошо: член какой-то временной комиссии, директор в двух правлениях и получает тысяч двенадцать в год. Вместе с тем сообщали, что Аркадий Николаевич очень весел, совсем забыл об уфимской истории, считая ее просто тенденциозной выдумкой либеральной печати, называет себя истинно русским человеком, шьет платье из русского сукна, пьет русские вина, ругательски ругает Европу и жалуется на снис-

ходительность правительства, терпящего гласный суд и разные другие учреждения, во все не отвечающие, по его мнению, нашему национальному характеру. Прибавляли, что Орешников по-прежнему счастлив с Наденькой, имеет трех человек детей и почти ежедневно винтит.

VII

Нынешним летом, когда я однажды сидел после завтрака перед кафе на бульваре С.-Мишель, пробегая газеты, кто-то громко, крикливым тенорком, окликнул меня по-русски. Смотрю и не верю глазам: передо мной стоял Орешников с супругой.

Аркадий Николаевич, значительно потолстевший, с солидным брюшком, круглый, крепкий и румяный, мало постаревший, весело поводил своими сочными толстыми губами и добродушно улыбался. В петлице краснела орденская ленточка.

— Не узнаете?

— Как не узнать!

Он радостно облобызался со мной троекратно, засуслив мне губы, а Надежда Павловна, изящно, по последней моде одетая, глад-

кая и раздобревшая, глядевшая из-под белой вуалетки с мушками еще довольно молодожавой для своих сорока лет, приветливо, по-родственному пожала мне руку.

— Наконец-то встретили русского человека, да еще родственника! — радостно отдуваясь, проговорил Орешников, присаживаясь с Надеждой Павловной к моему столику. — А то пять дней путаемся в Париже и ни одной русской души.

В эту минуту спешно подошел гарсон, вопросительно глядя, в ожидании заказа.

— Чего, Наденька, хочешь? Ведь здесь, в свободной стране, нельзя так просто посидеть. Непремененно ешь или пей! — иронически прибавил Аркадий Николаевич.

— Все равно... какого-нибудь питья.

— Вы что это пьете? — обратился Орешников ко мне.

— Гренадин.

— Ну и мы, Наденька, спросим гренадину. Только не фальсификация ли это какая-нибудь, а? Ведь тут держи ухо востро... всякую дрянь дадут...

Аркадий Николаевич говорил так громко,

что на него взглянули.

— Говори тише, Аркадий! — остановила его Наденька.

И почему-то особенно приветливо, даже заискивающе улыбаясь гарсону, как делают многие русские дамы, первый раз бывающие за границей и желающие перед всеми показать, что они не «варварки», — Надежда Павловна, видимо рассчитывая щегольнуть своим французским выговором, произнесла, слегка грассируя:

— Deux grenadines, s'il vous plait![20]

После нескольких расспросов о родных и общих знакомых, я осведомился, давно ли Орешниковы за границей.

— Месяца уже полтора... Доктора послали Наденьку в Франценсбад*, а я кстати в Мариенбаде{156} свой жир спускал... Вот сюда на десять дней приехали, да, кажется, послезавтра уедем...

— Что так?

— И по деткам соскучились, и по России... Не нравится нам вся эта прогнившая цивилизация... Ну и французы тоже... Нечего сказать, хваленый любезный народ! Просто, я вам ска-

жу, дрянь! — со своей обычной развязной решительностью прибавил Аркадий Николаевич, возвышая голос и видимо начиная закипать.

— Аркадий! Потише... На нас обращают внимание! — снова остановила его Надежда Павловна.

В ее тихом, мягком голосе слышалось почти приказание.

— А пусть обращают. Плевать мне на них! — продолжал Орешников, значительно понижая однако свой крикливый голос. — Пора уже нам перестать раболепствовать перед иностранцами и стыдиться, что мы русские...

И, проговорив эту тираду, Орешников хлебнул питья и продолжал:

— Да, прожужжали нам уши: Европа, парламент, удивительные порядки, а как посмотришь, никакого здесь настоящего порядка нет. Один лишь показной лоск, фальшь, обман, болтовня и обирательство. Еще называется свободная страна... Хваленая французская республика. Везде: «Liberte, Fraternite, Egalite»[21], а с меня, подлецы, на таможене слупили шестьдесят франков за папиросы!

Как вам это понравится? — прибавил Орешников, видимо раздражаясь при этом воспоминании.

— Вы, верно, не объявили, что у вас есть папиросы? — заметил я, сдерживая улыбку.

— Положим, не объявил. Так что за беда, если у путешественника папиросы... не курить же здешнюю дрянь! Кажется, можно понять, что я их везу не для продажи... Ну, я и рассовал две тысячи папирос, знаете ли, в белье и в рукава пальто... С какой стати я буду еще этим прохвостам за свои же папиросы платить пошлину, — и без того с нас, иностранцев, везде дерут... Думаю: дам таможенному французу, как давал немцу в Эйдукунене*, франк и прав! Хорошо. Приезжаем в Париж... Идем к осмотру... Подходит к нам плюгавый какой-то французишка и спрашивает: «нет ли чего?» Я по-французски не очень-то боек, так Наденька любезно так говорит, что ничего нет, объясняет, что мы русские и что я Conseillier d'Etat[22] в отставке... Француз улыбается... А я тем временем показываю ему два франка — отпусти, мол, с богом! А он, шельма, машет с улыбкой головой и велит открыть

сундуки... Стал шарить... Вытащил одну коробку, другую, третью, четвертую... Скандал! Да еще, подлец, иронизирует: «Как же вы говорили, что ничего нет? У вас, говорит, целое bureau de tabac![23]». Ну хорошо, жри деньги! А то водили нас по разным мытарствам, записывали в десять книг, пока не отпустили, продержавши целые полчаса. Нечего сказать, порядки! — с торжествующей иронией заключил Аркадий Николаевич, желавший, по обычаю многих россиян, надуть таможду.

Я, разумеется, не стал объяснять ему всей наивности этих специально русских жалоб и дипломатически молчал, не без интереса ожидая, как еще Аркадий Николаевич будет бранить европейские порядки. Поначалу, характер его брани обещал быть любопытным.

— Или, например, здешние извозчики... Я ему заплати по таксе да еще, кроме того, обязан давать на водку... Так и в гидах сказано. А если не дашь, он тебя обругает... Это, видите ли, цивилизация!.. Да тут везде обман, наглый обман... Слава богу, мы до такой цивилизации не дошли... У нас, у русских, еще совесть есть. Вчера, например, идем мы с На-

денькой по Севастопольскому бульвару, видим вывеска: Cafe-Concert, entree libre...[24] Думаю: зайдём, взглянем. Входим, садимся, а уж гарсон подлетает: «Что, говорит, угодно?» — «А ничего не угодно!» — «Так, говорит, monsieur et madame[25], нельзя!» Это, видите ли, entree libre... Да ты лучше за вход бери, а не обманывай... А европейское скаредство!.. В Австрии, например, считают, сколько ты булочек съел... Просто мерзость!

— А в Берлине с нас взяли по 50 пфеннигов за то, что мы за обедом в гостинице вина не пили! — пожаловалась Надежда Павловна. — Конечно, не в 50 пфеннигах дело (хотя для экономной Наденьки именно в них-то и было дело), а в наглom обирательстве...

— А хваленая французская вежливость, про которую протрубили на весь мир! — заговорил снова Аркадий Николаевич. — Едем мы вчера утром в конке. Я, признаться, несколько свободно уселся — у них такие крошечные места! Так кондуктор-каналья, вместо того, чтобы подойти и вежливо попросить, крикнул на весь вагон, чтобы я дал другим место, да еще, обращаясь к кому-то, прошелся на

мой счет и назвал меня «grov monsieur»[26]. Скотина этакая! А на железной дороге тоже! Один француз вошел в вагон первого класса, приложился к шляпе, без церемонии снял мои вещи, положил их на сетку и уселся на свободное место, да еще ехидно объясняет, что места в вагоне не для вещей, а для сиденья, точно я этого и без него не понимаю! Нечего сказать, любезность! Вот, спросите Наденьку, какая у них и любезность-то пакостная, как с ней приказчики в магазинах говорили!

— Не стоит об этом рассказывать! — заметила Надежда Павловна с видом оскорбленной скромности.

— Нет, ты расскажи, Наденька, какие двусмысленные комплименты отпускали тебе эти бесстыдники в Лувре.

Признаться, я удивился, ибо никогда не слыхал подобных нареканий на французских приказчиков, и еще в таких магазинах, как Лувр; да, по совести говоря, никак не мог даже и предположить, чтобы у них явилось особенное желание говорить Надежде Павловне, несмотря на ее молодость, комплименты,

да еще «двусмысленные».

— Что же они говорили вам? — спросил я Орешникову.

— По-видимому, как будто ничего особенного... Обыкновенная приказчиья любезность... французская манера говорить комплименты, но они при этом смотрели так нагло в глаза, улыбались так двусмысленно, что я, кажется, уже не молодая женщина, а краснела, как девочка... Может быть, француженкам это и нравится, а порядочные русские женщины к этому не привыкли! — с чувством благородного негодования сказала Надежда Павловна и прибавила тоном горделивого превосходства: — Мы ведь не француженки, слава богу!

Я опять промолчал. Надежда Павловна так уверенно говорила, что возражать было и напрасно, и нелюбезно. Мало ли есть дам — и преимущественно не из особенно красивых — умеющих в самых обыкновенных взглядах видеть покушение на роман.

— А едят-то как! — заговорил Аркадий Николаевич, — одна слава, что подают много кушаний, а их обед не стоит наших двух блюд. У

нас встал из-за стола — и вполне доволен, даже пуговицу штанов хочется расстегнуть, а здесь? Отобедал и хоть снова садись за стол! Супы — вода... Мясо — не знаешь сам, какое... может быть, и настоящее, а может быть, ты собаку или кошку ешь... Еще бы! Мясо-то у них полтора франка фунт... и приходится изворачиваться.

— А эти неприличные сцены на улицах?... Эти бесстыдные продажные женщины на бульварах... Их костюмы!? — вставила Надежда Павловна.

— Открытый разврат! — подтвердил и Орешников.

— И хоть бы красивые! Говорили: француженки привлекательны... Быть может, мужчины и находят в них привлекательность, но я не нахожу... Я и хорошеньких здесь почти не видала...

— А квартиры здешние?.. Комнаты крошечные... Темнота... Зимой холод... Какой-то «Chouberski»*, вместо нашей православной печки... А эти ночные крики на улицах!..

— Какие крики? — спросил я.

— Да как же! Горланят себе ночью марсе-

льезу или другое что-нибудь, и горя мало... Идет компания и орет... Или студентов орава с гамом, криком на днях неслась по улице... У нас давно бы в участок взяли за беспорядок, а здесь ори себе, ходи скопом, сделай одолжение! Мешай спать добрым людям, мешай прохожим... Это называется свободой... Благодарю покорно!

Я слушал Орешникова, слушал, с каким развязным апломбом он обобщал свои пятидневные наблюдения и критиковал то, о чем имел смутные понятия, и невольно припомнил те времена, когда он с такою же развязностью восхищался французами, стремился «поцеловать камни Парижа», открывал перед барышнями широкие горизонты будущего или энергично требовал Царьграда и проливов.

И, глядя на это добродушное, пышущее здоровьем лицо, я задал себе вопрос: «Что будет повторять этот типичный представитель „улицы“ еще лет через пять?»

А Аркадий Николаевич между тем спешил сообщить свои впечатления и продолжал:

— А газеты здешние каковы! Так-таки и называют своих министров мошенниками и

без церемонии изображают их в невозможных карикатурах. Самого президента Карно* честят чуть ли не идиотом... И все это они называют свободой прессы... Да скажите на милость, как после этого власть может иметь необходимый престиж?.. Оттого-то они и не уважают правительства и меняют министров, как перчатки... Да что и говорить... Просто прогнившая нация...

В тот же день мы обедали вместе. За обедом Орешниковы не переставали фыркать на «заграницу». Особенно досталось палате депутатов. Несколько дней тому назад они попали на заседание (хозяин гостиницы достал им билет), и Аркадий Николаевич так передавал свои впечатления:

— Одеты все, я вам скажу, как сапожники... Такое место — палата, а они в пиджаках, да вестончиках*, точно у себя дома... У нас и на службе надень вицмундир, а здесь приходи, в чем тебе угодно... Шум, гам, точно в кабаке... Говорит оратор, и, если он не нравится, никто его и не слушает... Ходят, разговаривают, смеются... Кричат потом: «Voter, voter!» [27], а о чем «voter» и сами, я думаю, не зна-

ют... Безобразное зрелище! Да у нас в любом департаменте, ей-богу, больше порядка и смысла, чем здесь в парламенте. Тихо, мирно, благородно все, как следует, по порядку... Написал доклад, вовремя рассмотрят, утвердят и делу конец... Да, батюшка, эти «говорильни» отживают свой век... Все начинают понимать — даже и лучшие умы в Европе, — что при одном короле больше и счастья, и порядка, чем при пятистах королях-депутатах! Недалеко время, когда Европа придет к этому, и парламенты побоку. Обязательно! И без того повсюду безбожие, сомнение, отсутствие устоев... Одни только мы, русские, еще не забыли бога и совести... Да, не забыли! Как истинно русский человек говорю! — прибавил Аркадий Николаевич и, прослезившись, хлопнул кулаком себе в грудь.

Он выпил почти один две бутылки хорошего «помара» и был несколько возбужден. Покончив с «Европой», он заговорил о великой будущности России и размяк... Он расхваливал и добрый, способный русский народ, оговорившись однако, что его все-таки надо отечески пороть (мужичок сам этого желает),

хвалил чудную русскую жену и мать, хвалил теперешнюю трезвую молодежь, нашу широкую натуру, выносливость, гостеприимство, говорил, что мы, слава богу, теперь на настоящей дороге, что всякому порядочному человеку легко дышать, и, заключив свою речь уверением, что нам отнюдь не надо походить на подлый Запад с его развратом, — совсем неожиданно предложил ехать в «Bouffes Parisiennes».

— Хочешь, Наденька? — заискивающе-умильно спросил он жену.

Но Надежда Павловна, все время слушавшая мужа с сочувствием и даже с некоторой гордостью, ответила, что устала. «У нее и голова болит, да и вообще она не охотница до таких представлений!» — прибавила Надежда Павловна, чуть-чуть кривя свои тонкие губы и чуть-чуть подчеркивая слово: «такие».

— Не пойти ли нам вдвоем? — нерешительно обратился ко мне Орешников, взглядывая искоса на жену.

— Да ведь и ты, Аркадий, устал. Лучше пораньше ляжем спать, да хорошо выспимся... А, впрочем, как тебе угодно. Мною, пожалуй-

ста, не стесняйся!

Аркадий Николаевич тотчас же согласился, что оно, пожалуй, и лучше лечь пораньше спать, и скоро мы распростились. Орешниковы просили не забывать их в Петербурге. Они собирались уезжать в Россию через два-три дня.

На другой же день мне пришлось еще раз встретиться в Париже с Аркадием Николаевичем.

Это было поздно вечером. Я возвращался из театра по большим бульварам и столкнулся нос к носу с Орешниковым, выходящим из ресторана с отдельными кабинетами под руку с молодой, подмалеванной кокеткой. Он был весел, игрив и громко смеялся. Вертлявая француженка ласково назвала его «mon petit cochon»[28] и хлопала по животу.

В этот самый момент Аркадий Николаевич и увидал меня.

Он немного смутился и, пожав мне руку, конфиденциально проговорил:

— Нельзя, знаете ли, быть в Париже и... того... Вы смотрите, как-нибудь не проговоритесь в Петербурге Наденьке. Я ведь сказал ей,

что мы с вами обедаем.

— Будьте покойны! — отвечал я, смеясь, и прибавил: — Ну, по крайней мере понравились ли вам хоть парижанки?

Он добродушно залился веселым смехом и сказал:

— Хоть французы и дрянь народ, а женщины здесь и в Вене...

Он не закончил фразы, сделал выразительный жест, причмокнул своими толстыми губами и, послав мне воздушный поцелуй, скрылся со своей дамой в карете.

Танечка

I

Профессор математики, Алексей Сергеевич Вощинин, высокий худощавый старик, с гривой волнистых седых волос, выбивавшихся из-под широкополой соломенной шляпы, окончил копаться в саду и, поднявшись на террасу своей маленькой, спрятанной в зелени дачи, уселся в плетеное кресло у большого стола, собираясь читать только что принесенные почтальоном газеты.

День стоял превосходный. Июльский зной

умерялся близостью моря, с которого тянуло приятной свежестью. На небе ни облачка. Солнце ярко и весело глядело сверху, заливая блеском небольшой сад с липами, березами и рябинами, окруженный со всех сторон густым сочным кустарником, — чистый, посыпанный песком, пестревший массой цветов в красиво разделанных клумбах. Над ними заботливо жужжали пчелы и весело порхали бабочки, присаживаясь на цветы. В золотистой дымке воздуха кружилась мошка. Воробьи задорно чирикали, храбро подпрыгивая на ступени террасы за хлебными крошками. Кругом царила тишина.

Прежде чем приняться за газеты, старый профессор поглядел и на даль тихого моря, и на чернеющие пятна фортов кронштадтского рейда, и на дымок виднеющегося на горизонте парохода, и на белую ленту дороги внизу, вдоль берега, и весь этот давно знакомый ему пейзаж, видимо, производил на старика тихое, радостное впечатление, словно при встрече с испытанным старым другом.

Воцинин любил эту местность, эти три, четыре десятка домиков немецкой крон-

штадтской колонии, ютившихся в садах, на небольшой возвышенности, над берегом Финского залива, в пяти верстах от Ораниенбаума. Эта окрестность Петербурга, относительно довольно глухая, не оравленнанная еще железной дорогой, музыкой, театром, многолюдством, разряженными дачницами и тщеславной суемой модных дачных мест, нравилась Воцинину своей тишиной и близостью моря, и он, вот уж пятое лето, проводил в этом месте вакации вместе с Танечкой, своей единственной дочерью, от недолгого и не особенно счастливого брака с ее покойной красавицей матерью.

Здесь профессор отдыхал от Петербурга: копался в саду, с любовью ухаживал за цветами, бродил в ближнем лесу, сиживал на берегу моря, писал, не торопясь, давно начатый мемуар о бесконечно малых величинах, читал журналы и удил окуней на ряжах, забывая на все лето столичную сутолоку, университетские дразги и свой профессорский, подчас тесный хомут.

— А ведь хорошо! — невольнo сорвалось с губ старого профессора.

И на его хорошо сохранившемся лице, вдумчивом и добром, опущенном большой седой бородою, придававшей профессору вид патриарха, засветилась тихая довольная улыбка, полная чарующей прелести кроткого, детски-наивного выражения.

Он повернул голову к открытому окну, выходящему на террасу, и громко проговорил:

— Не правда ли, чудный сегодня день, Танечка?

— Да, папа. Отличный день! — отвечал из глубины комнаты твердый молодой серебристый голосок.

— Что ж ты сидишь в комнате?

— Платье оканчиваю, папочка. Ведь ты обещал в воскресенье идти со мной в Ораниенбаум на музыку. Мы пойдем, не правда ли? — прибавила Танечка с нежной, ласкающей интонацией.

— Конечно, конечно, если тебе хочется! — ласково отвечал старик и в то же время подумал: «Что интересного находит Танечка на этой глупейшей музыке?»

«А впрочем, ей ведь скучно без развлечений... Молодость!» — тотчас же оправдал он

Танечку.

— А ты что делаешь, папа?

— Сейчас буду газеты читать.

— Смотри, только не возмущайся!

— Постараюсь, Танечка! — весело сказал старик и прибавил: — Да что это Петра Александровича нет, Танечка?

— А не знаю.

— Уж не поссорились ли вы вчера?

— Я вообще не ссорюсь. Да и не из-за чего с ним ссориться!

— Обещал быть к часу и не приехал. Пожалуй, и совсем не приедет.

— Приедет! — произнесла Танечка с небрежной уверенностью.

Наступило молчание. Старик стал было читать телеграммы, но, не дочитав их, снова заметил:

— А славный человек этот Петр Александрович! Не правда ли, Танечка?

— Отличный, папочка. Такая же Эолова арфа, как и ты.

В молодом веселом голоске прозвучала едва заметная ироническая нотка.

Но старый профессор этой нотки не уло-

вил и оживленно продолжал:

— И главное, Танечка, с сердцем человек. Нет в нем этого противного нынешнего индифферентизма... Искорка божия горит в Петре Александровиче, и чуткая совесть есть. Небось из него самодовольный ученый болван не вышел... Самомнением он не грешит и своего бога не продаст... Это, Танечка, дорогая черта.

— Влюблен ты в своего доцента! — со смехом проговорила Танечка... — Послушать тебя, так он совершенство...

— Совершенства нет, девочка, а что человек он хороший — это вне сомнения. И голова светлая!.. Работал-то он как, если бы ты знала!.. И всем обязан себе одному... Перед нашим братом профессором не юлил... Ни к кому не забегал... За все это я его и люблю. И он нас любит.

— Тебя в особенности, папа, — вставила Танечка.

— И тебя не меньше, я думаю. Пожалуй, и больше... Как ты думаешь, Танечка?

— Думаю, что ты ошибаешься. Со мной он больше бранится, папочка, и постоянно спо-

рит.

— Горячий он, потому и спорит. А он привязан к тебе... А ты? — неожиданно спросил старый профессор шутливым тоном.

— К чему ты спрашиваешь? Точно не знаешь, что и очень расположена к Петру Александровичу! — спокойно ответила Танечка.

Старик профессор сконфузился и торопливо проговорил:

— К чему спрашиваю? Так, к слову пришлось, ну... ну и спросил.

И он решительно принялся за газеты.

Но читал он их сегодня рассеянно и, не докончив чтения, задумался.

II

— Ну, что нового в газетах, папочка?

С этими словами Танечка вошла на террасу и, приблизившись твердой, уверенной походкой к отцу, поцеловала его в лоб.

При виде своей Танечки старик весь просветлел. Во взгляде его светилось столько любви, восторга и умиления, что сразу было видно, что отец боготворил свою дочь.

Она вся сияла блеском молодости, свежести и красоты, эта невысокого роста, отлично

сложенная, с пышными формами блондинка, лет двадцати двух, с красиво посаженной головкой на молочной, словно выточенной шее, с большими серо-зелеными глазами и роскошными золотистыми, зачесанными назад волосами, вившимися на висках. На ней было летнее голубое платье с прошивками на груди и рукавах, сквозь которые виднелось ослепительной белизны тело. На мизинцах маленьких холеных рук блестели кольца.

Наружностью своей она несколько не походила на отца.

У профессора было сухощавое, продолговатое, смугловатое лицо с высоким лбом, из-под которого кротко и вдумчиво глядели темные, еще сохранившие блеск глаза, и вся его интеллигентная физиономия дышала выражением той одухотворенности, которая бывает у людей мысли.

Чем-то слишком трезвым и житейским, законченным и определенным веяло, напротив, от всей крепкой, грациозной фигурки Танечки, от ее круглого хорошенького личика с родимыми пятнышками на пышных щеках, с задорно приподнятым носом и алыми тонки-

ми губами, — от ее больших глаз, ясных и уверенных, во взгляде которых светился ум практической натуры.

Она стояла перед отцом свежая, блестящая, спокойно улыбающаяся, показывая ряд красивых мелких белых зубов, видимо привыкшая, что ею любуются, и сознающая свою власть над любящим сердцем старика. Что-то грациозно-кошачье было и в ее позе и в ее улыбке.

— Так что же нового в газетах, папа? — повторила она свой вопрос.

— Да ничего нового... Все одно и то же...

Присев к столу, Танечка взяла газету и с видимым удовольствием стала читать фельетон. По временам на ее лице появлялась улыбка.

— Нравится? — спросил профессор, не спускавший глаз с Танечки.

— Ничего себе... забавно!.. — ответила Танечка.

— Однако я тебе мешаю... Читай, а я пойду к себе... позаймись немного и сосну часок перед обедом...

И старик удалился, ласково погладив свою

любимицу по ее золотистым волосам.

Оставшись одна, Танечка впилась в фельетон. Веселая, довольная улыбка не сходила с ее личика.

В саду раздались торопливые шаги. Танечка их услышала и отлично знала, чьи это шаги, но головы не повернула и еще более углубилась в газету.

— Здравствуйте, Татьяна Алексеевна, — раздался около нее радостный, несколько взволнованный мужской голос.

— Ах, это вы, Петр Александрович? — как будто удивилась она. — Здравствуйте! — любезно промолвила Танечка и, отложив газету, протянула свою маленькую белую ручку Поморцеву. Тот крепко сжал ее в своей широкой мясистой руке.

Поморцев был молодой, недурной собою брюнет лет тридцати. Свежее, румяное лицо его, с мягкими чертами, было опущено вьющейся черной бородкой. Он выпустил руку хорошенькой Танечки и смотрел на нее через очки своими черными, бархатными глазами, словно очарованный. Восторг влюбленного сиял у него на лбу.

— Что так поздно?

— Задержали меня в городе, Татьяна Алексеевна! А то бы я, разумеется, поспешил надоесть вам! — говорил он мягким приятным тенорком, благоговейно любуясь Санечкой и нервно пощипывая дрожащими пальцами свою шелковистую бородку.

И, присаживаясь около Танечки, прибавил пониженным тоном:

— Если б вы знали, как вам идет это платье, Татьяна Алексеевна!

А его лицо как будто договаривало: «И как я вас люблю, милая девушка!»

— А вы думаете, я не знаю, что идет? Отлично знаю! — засмеялась Танечка.

— Не сомневаюсь.

— А папа вас ждал к завтраку — и уж думал, что вы не приедете.

— А вы, конечно, не ждали? — шутливо промолвил Поморцев.

— Конечно, нет! — ответила она, вздергивая кверху капризно головку. Этот надменный жест очень шел к ней.

На лицо Поморцева набежала тень. Он внезапно сделался мрачен и как-то весь съе-

жился. Еще вчера ему сказали, что будут ждать его, а сегодня... «Нет, это невозможно... надо выяснить!» — подумал он и вдруг почувствовал себя глубоко несчастным.

А Танечка через минуту уже говорила:

— К чему мне было ждать? Я и так была уверена, что вы приедете... навестить папу! — лукаво прибавила она.

И, словно пробуя свою власть менять состояние духа Поморцева по своему желанию, — власть, которую Танечка пользовалась широко, — она так ласково, так нежно взглянула на Поморцева, чуть-чуть щуря свои глаза, что Петр Александрович снова просиял, и снова надежда согрела его сердце.

Он помолчал и спросил:

— А вы не сердитесь на меня?

— Я? За что?

— За вчерашний спор... Я всегда наговорю лишнего.

— И не думала. Я в эти два года нашего знакомства привыкла к вашим обвинениям и знаю, что вам во мне все не нравится.

— Что вы, что вы, Татьяна Алексеевна!

И голос и лицо Поморцева протестовали

против этих слов.

Но Танечка, как будто не замечая этого, продолжала:

— Я и слишком трезвая, холодная натура, я и кокетка... одним словом, я...

— Побойтесь бога!.. — воскликнул Поморцев, перебивая. — Ничего подобного я никогда не думал... Иногда, в минуту раздражения, срывались едкие слова, но разве их можно ставить в упрек?.. Я говорил и повторяю опять, что вы часто клеветеете на себя, представляясь не той, какая вы на самом деле...

— А какая я на самом деле? — спросила Танечка, поднимая на Поморцева свои ясные большие улыбающиеся глаза.

В качестве влюбленного Поморцев по отношению к Танечке совсем не пользовался высшим анализом и был слеп, как все влюбленные идеалисты, а потому восторженно прошептал, словно изрекая неоспоримую математическую формулу:

— Вы?.. Вы прелестное существо, лучше которого я не видал, Татьяна Алексеевна!

Танечка усмехнулась.

— Вот и пойми вас: то — прелестное суще-

ство, то... бессердечная кокетка!

— А, кажется, понять не трудно. Как вы думаете, Татьяна Алексеевна? — чуть слышно проронил Поморцев.

Ответа не было. Поморцев заволновался и совсем затеребил свою бородку.

«Необходимо теперь же все выяснить!» — думал он. Эта мысль не давала ему покоя и страшно пугала его. Как ответит Танечка? По временам ему казалось, что она более чем расположена к нему; по временам он думал, что она к нему равнодушна и только кокетничает с ним. Целый год он испытывает подобную каторгу: то верит, то сомневается. Надо покончить.

И он решительно сказал:

— Пойдемте гулять, Татьяна Алексеевна!

— Жарко! — лениво протянула Танечка.

— Недалеко, к морю... Там не жарко.

В голосе его звучала мольба. Лицо было серьезно.

— Пожалуй, пойдемте.

Танечка сходила за зонтиком, и молодые люди спустились к дороге, пересекли ее и пошли по густой, прохладной аллее к морю.

Сперва оба молчали. Поморцев шел, низко опустив голову, как человек, подавленный думами, или подсудимый в ожидании приговора. Танечка шла своей твердой, ровной походкой, чуть-чуть покачиваясь, и временами взглядывала из-под зонтика на Поморцева. Сегодня он был какой-то странный, не такой, как всегда. Танечка чувствовала по всему, что он позвал ее гулять для объяснения, и ждала его с любопытством. Ее интересовало, как он объяснится.

Это ожидание слегка взволновало и Танечку. Она стала напряженнее. Ясные и спокойные глаза ее оживились.

Поморцев поднял голову и взглянул на девушку. Ее сияющая красота словно ослепила его. Он отвернулся, стараясь пересилить овладевшее им волнение.

— Так вы не понимаете, Татьяна Алексеевна? А ведь, кажется, понять так легко! — вдруг заговорил он и стал как-то особенно внимательно смотреть себе под ноги. Голос его слегка дрожал.

— Чего не понимаю?

— Что я безумно вас люблю! — медленно, с трудом выговаривая слова, произнес Поморцев, не поднимая головы.

Прошло несколько мгновений, показавшихся молодому доценту бесконечными.

И наконец, точно поддразнивая его, Танечка сказала:

— Вы слишком впечатлительны, Петр Александрович, и любите страшные слова. А я им не верю.

Поморцев поднял голову и, недоумевая, смотрел на профиль Танечки. Казалось, он не понимал смысла ее слов.

А она, поникнув головкой, продолжала спокойно-ироническим тоном:

— Вы немножко увлеклись мною... Это я знаю и этому верю... А вам кажется, будто уж вы безумно любите... Это мираж или, как вы выражаетесь, аффект, возведенный в куб... Лучше останетесь по-прежнему добрыми приятелями.

— К чему вы так говорите? К чему? — воскликнул, точно ужаленный, весь закипая, Поморцев. — Зачем вы рисуетесь напускным скептицизмом? Вы, в двадцать два года, не ве-

рите в любовь и называете ее аффектом? Вы просто издеваетесь надо мной. Как вам не стыдно, Татьяна Алексеевна!

Поморцев вдруг остановился, взял Танечкину руку и, придерживая ее, продолжал страстным шепотом, порывисто и торопливо бросая слова, словно боясь, что не успеет сказать всего, чем было переполнено его сердце:

— Слушайте, милая девушка... Это не увлечение, не аффект... Я не юноша... Я проверял себя, и у меня не легкомысленный характер... Я люблю вас второй год... За что? Почему? Я не знаю, но чувствую, что люблю, что без вас жизнь теряет свою прелесть, и других женщин для меня не существует... Вы, одна вы, всегда и везде... О вас все думы... Люблю вас, какая вы есть... И ваш характер, и ваше дьявольское спокойствие, и ваши глаза, и ваши крошки руки, и ваш голос... Люблю и за то, что вы мучаете меня, вечно оставляя в сомнении... Люблю вас всю, всю люблю с макушки до пяток и не верю вашему безотрадному скептицизму, вашим взглядам на жизнь... Понимаете ли, не верю... Вы клеветеете на себя... Вы добрая, чудная, и я не могу вас не лю-

бить!.. — говорил он, и слезы стояли у него в глазах.

Нет такой женщины, которая не слушала бы с радостным чувством удовлетворенного самолюбия любовного признания даже от человека, к которому равнодушна, если только он не очень стар, не очень безобразен и не слишком глуп.

И Танечка, вся торжествующая и тронутая, с удовольствием внимала этой искренней и горячей песне любви. Каждое слово Поморцева ласкало ее, пробираясь к сердцу и волнуя молодую кровь. Глаза ее блестели. Она вся притихла, словно очарованная.

— Теперь вы верите? Верите, что я вас безумно люблю? — допрашивал Поморцев, заглядывая Танечке в глаза.

— Верю! — проронила Танечка и пожала Поморцеву руку.

— А вы? Вы любите ли меня? Хотите ли быть моей женой?

Танечка тихо высвободила свою руку из горячей руки Поморцева и сказала:

— Я очень расположена к вам... Вы мне нравитесь, Петр Александрович, но я отказы-

ваюсь от чести быть вашей женой.

Поморцев безнадежно опустил голову.

— Решительно? — глухо промолвил он.

— Решительно! — твердо ответила Танечка.

Они повернули назад к дому.

— Вы не сердитесь на меня, Петр Александрович, — заговорила Танечка через минуту, увидав убитое лицо Поморцева.

— За что сердиться? — угрюмо вставил он.

— Надо быть благоразумным...

— Еще бы!

— Подумайте: у меня ничего нет и у вас ничего нет.

Молодой человек с изумлением взглянул на Танечку и, весь вспыхивая, проговорил:

— Как ничего?.. У меня уроки... Сколько угодно будет уроков, и наконец, не вечно же я буду доцентом...

— Меня не удовлетворит эта серенькая, полубедная жизнь, эти вечные заботы о завтрашнем дне... Довольно их... Я хочу спокойной, обеспеченной жизни... Я люблю блеск и роскошь... Вот какая я...

— Вы опять лжете на себя, Татьяна Алексе-

евна.

— Как видите, не лгу! Я выйду замуж только за богатого человека!

— Даже не любя его?

— Любовь понятие относительное... Я не такая идеалистка, как папа и вы! — прибавила Танечка. — Любовь проходит, а жизнь вся впереди...

— Да понимаете ли вы, что говорите! — воскликнул Поморцев, задыхаясь. — Вы собираетесь продать себя?

— Опять страшные слова?! — усмехнулась Танечка. — Я не собираюсь продавать себя, я просто благоразумно выйду замуж.

Поморцев все еще не верил. Он думал, что «прелестное существо» нарочно лжет, чтобы поскорее излечить его от любви. Он пристально посмотрел в ее хорошенькое личико. Ни признака волнения. Ни черточки стыда. Оно было ясно, спокойно и уверенно. Казалось, Танечка даже не понимала, что говорит безнравственные вещи.

Поморцев ужаснулся от этого открытия. Тоска и злоба овладели им. Он ненавидел и в то же время страшно любил эту хорошенькую

блондинку, так жестоко разрушившую его иллюзию.

Когда они подходили к дому, Танечка мягко промолвила:

— Надеюсь, Петр Александрович, мы останемся друзьями? Вы не перестанете хоть изредка навещать нас?

— Я на днях уезжаю.

— Уезжаете?.. — удивилась Танечка.

— Да, к своим старикам, на юг.

Старый профессор ждал молодых людей на террасе и встретил их веселый и радостный. Тотчас же сели обедать. И только за столом старик заметил, что его молодой друг был мрачен, хотя и старался скрыть это, с каким-то ненатуральным увлечением рассказывая профессору о новых работах какого-то математика... Вощинин взглянул на Танечку. Та, по обыкновению, спокойно и приветливо исполняла обязанности хозяйки...

Вскоре после обеда Поморцев собрался уезжать.

— Куда вы? — удивился Вощинин.

— Нужно, Алексей Сергеич!

— Нужно, так не стану удерживать!

Поморцев угрюмо простился с Танечкой и стал было прощаться с профессором, но старик сказал, что проводит его до дороги.

Когда они вышли за калитку сада и отошли от дачи, старый профессор спросил:

— Говорили с ней?

— Говорил.

— И что же?

— Отказала!

— Отказала? — с горячим участием переспросил профессор. — Ах как жаль, голубчик мой, как мне жаль... А я лелеял эту мысль... Думал: будем все вместе жить... Но почему она отказала?

— Почему?.. Пусть Татьяна Алексеевна вам сама лучше объяснит почему! — с сердцем воскликнул Поморцев.

И, вдруг спохватившись и жалея старика, прибавил:

— Впрочем, нет... Лучше не спрашивайте ее, Алексей Сергеич... Право, лучше не спрашивайте... К чему волновать Татьяну Алексеевну расспросами?.. Известно, отчего барышни отказывают нашему брату. Не любит!

— А мне казалось, что Танечка очень рас-

положена к вам...

— Расположение не любовь... И мне казалось... Ну прощайте, дорогой Алексей Сергеевич... Спасибо вам за вашу привязанность... Месяца два мы не увидимся.

— Это что значит?

— Завтра еду к своим старикам.

Старый профессор горячо пожал руку своего молодого друга и сказал:

— А вы, голубчик, все-таки не унывайте... Еще, быть может, не все потеряно... Она переживает.

— Нет, все! — безнадежно ответил Поморцев.

«И для тебя она потеряна, бедный, славный старик!» — подумал Поморцев и пошел, не оглядываясь, по той самой дороге, по которой он еще недавно ходил радостный и полный надежд.

IV

Старый профессор все ждал, что Танечка скажет ему о предложении Поморцева и объяснит причину отказа. Ему казалось, что она была равнодушна к молодому человеку и подавала ему надежды. На основании этих за-

ключений он и лелеял мысль о браке Танечки с Поморцевым, считая Поморцева прелестным человеком.

Но Танечка, по обыкновению приветливая, ласковая и внимательная с отцом, молчала, видимо избегая объяснения. Когда приходилось упоминать имя Поморцева, она говорила сочувственно, оставаясь совершенно спокойной. Крайне деликатный в таких делах, старик не только не спрашивал Танечку, но даже не позволял себе намека и делал вид, что считает внезапный отъезд Поморцева самым естественным делом.

Тем не менее молчание Танечки сперва очень обидело старика. Ему было больно, что Танечка таится от него. Могла же она открыться ему, своему верному пестуну и другу? Знает же она, как горячо и беспредельно любит он свою Танечку, и уверена, что никогда он не станет насиловать выбора ее сердца. Боже сохрани!

Но любящий старик, всегда как-то умевший оправдывать свою любимицу, и теперь старался объяснить ее молчание женской скромностью и вообще сдержанным, мало

экспансивным характером Танечки.

«Это ее интимное дело, о котором ей, вероятно, неловко говорить и с отцом. Бог их знает, этих женщин. Они совсем особенные существа!» — думал старый профессор, очень мало знавший женщин, кроме одной, своей покойной жены, и, как добросовестный человек, не обобщавший по одному факту своих понятий о женщинах.

Объяснить себе как-нибудь иначе молчание Танечки он не умел. Не мог же он, в самом деле, подумать, что Танечка, его ненаглядная Танечка, которую он один пестовал и лелеял с десятилетнего возраста, не имеет доверия к отцу? Он не заслужил этого. Танечка, кажется, знает, что душа его открыта для нее. Он всегда, бывало, делился с нею впечатлениями, высказывал перед ней свою веру в людей, свои задушевные мнения, поверял свои неприятности, искал ее сочувствия и одобрения и даже пускался перед ней в философские отвлечения. Старик любил их и был уверен, что и Танечке должно нравиться все возвышенное, хорошее и честное.

Не желая огорчать отца, Танечка внима-

тельно иногда выслушивала старика и не всегда понимала его. Она не охотница была до отвлечений и до серьезных бесед. Окружавшая ее с детства атмосфера, споры и разговоры мало влияли на Танечку, и она не полюбила ни серьезных занятий, ни серьезного чтения. Жизнь со всеми ее прелестями более занимала ее. Она окончила курс в гимназии и дальше не пошла. Отец, завзятый идеалист, в свое время пострадавший за свой образ мыслей, считал дочь умницей и вообще образцом совершенства и, раз составивши себе такое мнение с давних пор, продолжал смотреть на свою «девочку» глазами очарованного отца. Он страстно любил ее, никогда не анализируя, и не замечал, что то, что волнует его самого, оставляет ее равнодушной и безучастной. Увлеченный, он часто не замечал, что Танечка подавляет зевоту, слушая отцовские теории, стараясь свести разговор на более низменную почву. Это было какое-то ослепленное непонимание. Иногда его удивляло ее равнодушие к жгучим вопросам, ее скептическое отношение к людям, но он приписывал все это особому свойству ее ума, а страсть ее к

удовольствиям и нарядам — молодости. Придет время, и все это пройдет.

Сам дитя в практических делах, простодушный и доверчивый, недаром прозванный Танечкой Эоловой арфой, старый профессор тем более удивлялся и приходил в восторг от трезвого, практического ума молодой девушки. Она редко ошибалась в людях и довольно тонко умела определять отношения. Наблюдательная и не особенно словоохотливая, Танечка отлично подмечала слабости и смешные стороны людей и, когда отец, бывало, принимался кого-нибудь хвалить, она подчеркивала недостатки. Отец горячо спорил. Дочь никогда не спорила, — она только констатировала, как она выражалась, слегка подтрунивая над увлечением отца. Это были диаметрально противоположные натуры.

Весь дом был у нее на руках. Танечка распорядилась всем, вела хозяйство в образцовом порядке, сама заказывала платье отцу, оплачивала счета его сапожника и выдавала профессору карманные деньги. Прежде, бывало, ему не хватало жалованья, — он как-то ухитрялся раздавать деньги; но с тех пор как

Танечка, по окончании курса, взяла бразды правления в свои умелые ручки, все пошло иначе. Им хватало на все, и Танечка всегда хорошо одевалась. Она постепенно отучила старика от раздачи денег.

— Нельзя же помогать всем бедным студентам, когда самим едва хватает. Мы совсем не богаты, папочка!

Так говорила Танечка, ласково улыбаясь своими ясными глазами, и отец невольно подчинялся ее неотразимым доводам.

Она пользовалась полной самостоятельностью и имела своих знакомых. Знакомые отца не удовлетворяли ее. Эти старые профессора и увлекающиеся студенты ей были скучны, как и их беседы. Ее тянуло к другим людям, и дома ей не сиделось. Когда профессор бывал на лекциях, она бывала в гостях или бегала по магазинам, возвращаясь к обеду домой, чтоб отцу не было скучно обедать одному. Раз в неделю они вместе с отцом ходили в оперу. Остальные вечера Танечка бывала или в театре, или у своих знакомых. Сам отец всегда предлагал ей развлечься.

«Она молода! — думал старик. — Со мною

вдвоем коротать вечера ей скучно!»

Но, случилось, он сожалел, что ему придется по вечерам одному наслаждаться чтением многих прекрасных вещей и что Танечки нет тут подле. Оживленная и нарядная, Танечка возвращалась из гостей, целовала отца и, присаживаясь, передавала свои впечатления, и старик забывал все, слушая остроумную, спокойно насмешливую болтовню Танечки о разных лицах, и весело смеялся, с восторгом любуясь своей умной «девочкой».

V

Лето кончилось. Стоял конец августа, ненастный и дождливый. Воцинины собирались переезжать в город.

Старик сидел как-то вечером в кабинете за книгой. Танечки не было дома. Она после обеда ушла в гости к одним дачникам, с которыми познакомилась летом. Не нравились профессору эти новые знакомые — Искерские, совсем не их круга, совсем других взглядов и привычек, праздные, богатые люди, жившие в недалеком соседстве, в собственной роскошной даче-особняке. Особенно не нравился Алексею Сергеевичу брат Искерского, госпо-

дин лет за сорок, помятый, стареющий франт, изрекавший с необыкновенным апломбом разные пошлости в современном вкусе. Он, видимо, щеголял и своими взглядами, и своими изысканными манерами, и своим фатовством и произвел на старого профессора отвратительное впечатление.

Вощинин отдал Искерским визит и больше не бывал у них, но Танечка в последнее время часто навещала Искерских; гуляла с ними, каталась в их экипаже, бывала вместе на музыке в Ораниенбауме.

Старику это казалось странным, но он, по обыкновению, ничего Танечке не говорил.

Он взглянул на часы. Скоро восемь часов.

— Верно, Танечка к чаю вернется! — проговорил старый профессор.

И действительно, через несколько минут внизу раздался голос Танечки, и вслед за тем на лестнице слышались ее шаги.

Она вошла в кабинет. Старик отложил книгу и радостно взглянул на дочь.

— Папочка! Я пришла тебе сообщить очень важную вещь! — проговорила она необыкновенно серьезным тоном.

— Что такое, моя родная?.. Какая такая важная вещь?

— Сейчас Николай Николаич Искерский сделал мне предложение.

— И ты, конечно, отказала этому шуту гороховому, моя девочка? — смеясь, ответил старик.

— Нет, папа. Я приняла его предложение! — чуть слышно, но твердо произнесла Танечка.

Старик, казалось, не расслышал. Он во все глаза смотрел на Танечку. Лицо его выражало испуг и изумление.

— Что ты сказала, Танечка? — переспросил он.

— Я сказала, что приняла предложение.

— Тебе понравился Искерский... этот...

Он не досказал фразы.

— Неужели это правда, Танечка? Неужели ты предпочла его Петру Александровичу?

— У Поморцева ничего нет. Чем бы мы жили?

Старик слушал, пораженный и подавленный. Слова ее точно молотом ударяли его по голове и разрывали бедное любящее сердце.

— А этот... господин Искерский очень богат? — глухо, с видимым страданием, произнес старик. — Ты, следовательно, собираешься выйти замуж по расчету. Ведь не могла же ты полюбить такого человека... Или любила? — ядовито прибавил он.

— Я его не люблю, но... но он не хуже других. Он вовсе не такой дурной человек, как ты думаешь, папа... Не всем же иметь одинаковые взгляды с тобой.

Старик все ниже и ниже опускал свою седую львиную голову, словно под бременем позора.

— Танечка, Танечка! — вдруг воскликнул он, и в старческом его голосе стояли рыдания, — ведь ты пошутила, моя голубка... Да? Ведь ты шутишь, не правда ли?.. Ведь ты не сделаешь такой гадости... Ты ведь не такая испорченная, моя девочка...

Танечка хранила молчание.

Отец взглянул на ее красивое личико, взглянул в ее ясные слишком ясные глаза и вдруг вспомнил свою покойную красавицу жену.

«Такая же! Такая же!» — пронеслось у него

в голове и словно озарило ее неожиданным открытием. Гнетущая скорбь охватила его всего. Скорбь и презрение. Ему вдруг показалось, что перед ним не его любимая, взлелеянная девочка, не его славная, честная Танечка, а какая-то другая, чужая, злая девушка, которая пришла оскорбить его самые лучшие верования, осквернить самую чистую любовь.

И он совсем опустил свою голову. Ему было стыдно и больно взглянуть на дочь.

Несколько мгновений царило молчание. Старик точно окаменел в своем кресле.

— Так что же, папа, ты согласен? Может Николай Николаевич просить твоего согласия? — спросила Танечка.

— Делайте как знаете! — прошептал он.

Танечка ушла. Старик еще долго сидел в кресле, неподвижный, переживая свое горе. стакан с чаем стоял нетронутый на его столе. Уж стало светать, а старик все сидел, стараясь понять, как это Танечка могла такую вырасти у него на глазах. Не он ли сам виноват в этом? Или это знамение времени?

По временам он прислушивался к шороху,

словно ждал: не придет ли Танечка, и не скажет ли она, что пошутила, что хотела только испытать отца. Но Танечка не приходила. Старик чувствовал, что отныне он совсем одинок, и скорбные слезы незаметно текли из глаз профессора.

Испорченный день

I

В этот ясный и солнечный декабрьский морозный день Дмитрий Александрович Черенин, главный контролер крупного петербургского банка и член нескольких деловых обществ, в пятом часу подъехал к подъезду большого дома на Кирочной, необыкновенно веселый и возбужденный. Неудержимая улыбка счастья и довольства светилась на его красивом, моложавом и умном лице. Черные быстрые глаза искрились.

Он дал извозчику двугривенный на чай, как-то особенно приветливо улыбнулся рыжему швейцару Егору, которого еще вчера за что-то распек, и, взбежав, не переводя духа, в четвертый этаж, нервно и сильно надавил пуговку электрического звонка у дверей своей

квартиры.

— Барыня дома? — весело спросил он, тяжело дыша, молодую горничную Пашу, сбрасывая на ее руки шубу с заиндевевшим воротником.

— Дома-с.

— Никого нет?

— Никого.

— Отлично!

И, бросив на стол мерлушечью шапку и перчатки, Черенин, не заходя в кабинет, что обыкновенно делал, возвращаясь со службы, быстрыми и легкими шагами, слегка раскачиваясь своим крепким, плотным корпусом, направился через гостиную и столовую в комнату жены.

В этом гнездышке, видимо свитом заботливой и умелой женской рукой, светлом, уютном и теплом, где весело потрескивали сухие дрова в камине, — на мягком низеньком диванчике сидела, с книжкой журнала в руках, маленькая хорошенькая блондинка, лет около тридцати, с пепельными волосами, гладко зачесанными назад и собранными в пышные косы. Мягкая шерстяная ткань темно-синего

платья обливала красивые формы молодой женщины.

При появлении из-за портьеры мужа, веселого и радостного, и эта маленькая женщина вдруг вся засветилась радостной улыбкой, полной любви и сочувствия. Улыбалось ее милостивое личико, нежное и кроткое, отливавшее розоватым цветом легкого румянца, улыбалось ее крупные, сочные алые губы, между которыми сверкал ослепительной белизной ряд красивых зубов, улыбалось ее большие, карие ясные глаза, глядевшие из-под густых ресниц с ласковой мягкостью любящей и любимой женщины.

— Ну, поздравь, Катя, с большой новостью! — еще на ходу проговорил Черенин, спеша сообщить жене радостную весть. — Я назначен директором нашего банка.

— Ты, Митя? Директором! — взволнованно, словно не смея верить этому известию, проронила молодая женщина, и щечки ее залились яркой краской.

— Пятнадцать тысяч в год и два процента с чистой прибыли! — продолжал Черенин слегка приподнятым торжественным тоном. —

Это, Катя, значит еще по меньшей мере десять тысяч!.. Контракт на три года...

И, присевши на диван, Черенин обнял жену и, целуя ее пухлую атласную щеку, на которой чернело маленькое родимое пятнышко, весело промолвил своим мягким, несколько певучим голосом:

— Ну, что, довольна, Катя, а?

Праздный вопрос!

Она в первую минуту совсем обомлела от радости, эта миниатюрная женщина с большими кроткими глазами, и смотрела на мужа с выражением гордости и любви. Она страстно его любила, но успех его, казалось, еще усиливал ее чувство уважения и благоговейного восторга к этому красивому, статному брюнету в темном кургузом вестоне, с кудрявой головой и большой черной бородой, — свежему, румяному и веселому, казавшемуся совсем молодым, несмотря на свои сорок лет.

Вместо ответа, она обвила маленькими белыми ручками шею мужа, крепко-крепко поцеловала его и горячо промолвила:

— Я рада и за тебя и за детей, голубчик...

— Не ожидала такого сюрприза, Катя?

— Не ожидала, Митя. Ведь у тебя нет связей в финансовом мире... Нет протекции... Одна светлая голова, мой милый!

— Да, у меня бабушек нет! — горделиво подтвердил Черенин. — Пять тысяч, что они мне платили четыре года, как пригласили контролером, я получал недаром. Работать я умею и дело понимаю... Это все в банке знают... Признаться, и я не ожидал, что мне предложат такое место... Мало ли на него охотников среди родственников финансовых тузов! Однако наши банковые патриции поняли, что я дело поведу хорошо. Этот миллионер Ковригин, председатель правления, даром что мужик, а умен и умеет оценивать людей... Он, кажется, меня и предложил...

— А Крафта куда?

— Крафт уходит. Не ладил он последнее время с нашими директорами. Рутинер был этот старик немец. Рутинер и упрям. И обленился под конец. Опочил на лаврах... Да ему что? У него двести тысяч состояния... Он да старуха жена... Уедут в свой Мекленбург и будут благоденствовать.

Черенин, веселый и возбужденный, пере-

давал жене подробности сегодняшнего дня: как утром у Крафта было бурное объяснение с Ковригиным, после которого Крафт объявил, что больше служить не намерен. Но эта угроза не подействовала, как бывало в прежние времена, и ему сказали, что его не удерживают... Вскоре после этого позвали в правление его, Черенина, и предложили место Крафта... Он им поставил свои условия. Все было окончено в полчаса, и он вышел оттуда директором одного из крупных банков. Скоро новость эта облетела банк, и все его поздравляли... А помощник директора Линский позеленел, бедный, от злости.

— Он ждал, что его назначат?

— Вероятно... Протекция у него большая: зять одного из членов правления, племянник бывшего министра...

— Теперь он, конечно, уйдет из банка? — предусмотрительно спросила жена, у которой сейчас же явилась мысль, что Ленский будет вредить мужу.

— А не знаю... Я его выживать не стану. Во всяком случае, ему придется очень долго ждать моего места, — усмехнулся Дмитрий

Александрович... Я своего места из рук не выпущу, будь покойна, Катя... С директорами ладить сумею, а главное, дело понимаю лучше их всех. Они это знают... Да, Катя, не выпущу, пока мы не отложим себе состояние!.. — решительно прибавил он.

И, словно бы желая мотивировать законность такого намерения, Черенин с одушевлением произнес:

— Как там ни рассуждай теоретически о вреде капитала, а пока деньги, к сожалению, великая сила. Они дают человеку независимость. Мы и завоюем ее для себя и для наших деток... Жизнь не книжная теория, и бедность в наши дни порок! Не правда ли, моя родная?..

Маленькая женщина лишь сочувственно улыбалась в ответ на эти здравые речи, вся переполненная счастьем за мужа и за детей. Разумеется, она ни разу не вспомнила теперь об иных, совсем иных, горячих и восторженных речах своего мужа, которые когда-то заставляли биться ее сердце и волновали все ее существо...

Они заговорили о том, как устроят жизнь при новом материальном положении, и входили в разные подробности с радостным чувством людей, впервые располагающих большими средствами. Этот разговор, видимо, доставлял им наслаждение, как детям, получившим необыкновенную игрушку.

Они решили проживать не более десяти — двенадцати тысяч в год. Этого за глаза достаточно, чтобы жить хорошо, конечно, не особенно роскошествуя, но и не отказывая себе ни в чем. Остальные деньги они будут откладывать, помещая их в солидные бумаги. Лет через десять у них будет не менее полутора ста тысяч, т. е. тысяч девять годового дохода. А будут дела банка хороши, и процентное вознаграждение увеличится, следовательно, и отложить можно более. Он надеется, что так и случится.

Квартиру они с осени переменяют, возьмут побольше, эдак комнат в восемь, чтобы у детей была большая, светлая детская с гимнастикой и отдельная классная комната с рациональными столами и скамейками. Нужна тоже комната для гувернантки. Останови-

лись на англичанке рублей в шестьсот, а француженка по-прежнему будет приходить три раза в неделю для практики. Вообще на образование детей они обратят особенное внимание и будут приглашать лучших учителей.

— На это не следует жалеть расходов. Ты ведь согласна, Катя?

— Конечно...

— Можно и лошадь свою держать, — продолжал Черенин. — Обойдемся пока одной. Купим фаэтон и сани... Ты с детьми будешь кататься, а я ездить на биржу... А лошадь куплю, конечно, серую в яблоках! — прибавил, улыбаясь, Дмитрий Александрович.

Жена его действительно когда-то мечтала о серой собственной лошади и говорила об этом мужу. А он вот теперь вспомнил!

— Милый ты мой! — шепнула Катерина Михайловна. — Надеюсь, Митя, ты только купишь смирную?

— Еще бы! самую смирную, чтоб ты не трусила за детей... Ну, а с мебелью как? Подновить, что ли, или купить для гостиной новую?

Катерина Михайловна почему-то вспомнила, как еще на днях ее приятельница-кузина, жена прокурора, хвастала своей гостиной, и нашла, что новую мебель в гостиную не мешает.

— А будуар твой, Катя, мы сделаем весь голубой... Хорошо?

— Еще бы не хорошо... Теперь есть отличные крепоны... Спасибо тебе, голубчик...

— Надеюсь, ты теперь не будешь скупиться на свои туалеты, Катя?

— Бог с ними!..

— Нет, все-таки...

— Разве я худо одеваюсь?

— Напротив, всегда мило, но тебе надо сделать несколько шикарных платьев. Я люблю, когда ты изящно одета... Ведь ты у меня такая хорошенькая маленькая женщина! — нежно прибавил Черенин, целуя руку жены.

Оба продолжали весело болтать, перескакивая с предмета на предмет и чувствуя себя какими-то именинниками. Эти двадцать пять тысяч содержания словно окрасили весь мир в розовый цвет и словно увенчивали их редкое семейное счастье и взаимную любовь.

Несмотря на десятилетнее супружество, эта маленькая, хорошо сложенная блондинка с ослепительно белым телом продолжала быть обаятельным созданием в глазах мужа.

И Катерина Михайловна, конечно, отлично знала это и с тонким кокетством любящей женщины, понимавшей обаяние своих чар, заботилась о том, чтобы продолжать нравиться мужу и быть для него не только любящей и преданной женой-другом, но и желанной любовницей. Всегда к лицу одетая, свежая и миловидная, предусмотрительно заботившаяся и о своей красоте, и о своих капотах и щегольских рубашках, — она старалась быть привлекательной как женщина, никогда не показываясь мужу в неряшливом виде. При этом она не отравляла его жизни ни ревностью, ни тиранической притязательностью, вполне доверяя мужу. И эта пара представляла собой редкое олицетворение супружеской идиллии, под тихой сенью которой свило себе гнездо мирное эгоистическое благополучие.

— Воображаю, как удивятся твои родные, Катя? — весело промолвил Черенин.

Катерина Михайловна усмехнулась, утвер-

дительно кивнув головкой.

— Теперь они залебезят... а помнишь, когда мы женились и жили в двух комнатах на Песках, получая семьдесят пять рублей в месяц? Как тогда каркали твои братцы и сестрицы? Как жалели тебя?.. Теперь не то будет... Да, успех покоряет людей! Теперь и твой старший братец найдет, что я очень умный человек! — с ироническим смехом заключил Черенин.

— А ты все-таки пристроишь брата Колю? Ты это сделаешь для меня, Митя?

— Пристрою, но пусть подождет... Нельзя сразу... Неловко... Надо осмотреться.

— И своего брата перевел бы к себе. Анатолий — умница... Вот бы на твое прежнее место контролером...

— Я уж думал об этом, Катя, но решил подождать... Со временем все сделаем: и Толю переведем, и твоего брата пристроим... Но пусть только твои родные не рассчитывают на места. Нельзя же насажать их всех в банк и сделать из него родственную обитель. Это было бы совсем не умно!

Сообразительная маленькая женщина со-

гласилась с мужем.

В эту минуту в комнату вбежали мальчик и девочка, оба красивые, свежие и веселые, в щеголеватых костюмчиках. Они радостно бросились к отцу и стали шумно его целовать, объясняя, что madame Durand[29] только что ушла, и они прибежали сюда.

Дмитрий Александрович посадил обоих к себе на колени и, с особенной нежностью глядя на них, сказал не без радостного умиления:

— Да, Катя... Вот вырастут наши голубчики, получат хорошее образование и не будут нищими... Им легко будет вступать в жизнь.

Катерина Михайловна в безмолвном восторге тихо гладила руку мужа.

А девятилетний первенец Костя, бойкий, видимо избалованный мальчуган с умными черными глазенками, похожий на отца, спросил:

— Мы разве могли быть нищими, папа?.. Я не хочу быть нищим, — прибавил он с решительным видом.

— И я не хочу!.. Ни за что не хочу! — повторила младшая сестренка, похожая на херувима. — Нищие так скверно одеты. И им так хо-

лодно!

— И не будете, мои голубенькие! Не будете, мои ненаглядные! — проговорила мать, и радостные слезы показались у нее на глазах.

Паша доложила, что кушать подано. Все перешли в столовую. Обед прошел весело. Болтали и взрослые и дети. За жарким Черенин приказал подать шампанского и чокался с женой и детьми, и всех перецеловал.

— Разве сегодня именины, мама, что у нас шампанское? — спросил Костя.

— Нет, не именины... Но сегодня папа получил новое место, на котором будет получать много-много денег! — весело отвечала Катерина Михайловна.

И дети, казалось, тоже прониклись важностью того, что папа будет получать «много-много денег».

III

Вскоре после обеда Катерина Михайловна уехала. Ей ужасно хотелось поскорей сообщить новость матери и сестрам и похвастать перед ними успехами мужа.

— Я скоро вернусь, а ты, верно, подремлешь часок, Митя? — весело говорила она, це-

луя мужа.

— Попробую.

Но сегодня Черенин решительно не мог «подремать часок», что делал обыкновенно, примостившись на кушетке в комнате жены. Сон не приходил. Он побыл несколько времени с детьми, поиграл с ними и, сдав их на попечение няни, прошел в кабинет.

Сперва он присел к письменному столу, уставленному разными безделками, среди которых стояли фотографии жены и детей, и взял было только что полученный номер «Revue scientifique»[30], но Дмитрию Александровичу не читалось и не сиделось на месте. Он встал и быстрыми, нервными шагами заходил по комнате, волнуемый роем радужных мыслей.

«Отлично все устроилось. Отлично!» — мысленно повторял он, улыбаясь. Теперь счастье в руках, надо только уметь воспользоваться положением. Он должен сделаться незаменимым человеком в банке и ближе сойтись с этим умным миллионером Ковригиным! Это не трудно сделать с его умом и тактом. И он это сделает. Он будет главным

воротилою.

— Отлично... Отлично! — громко проговорил он, увлеченный мечтами.

И в голове Черенина уже носились проекты новых операций и мелькали грандиозные цифры ежегодной прибыли, два процента которой представляли собой внушительную цифру гораздо более предполагаемых десяти тысяч. А через несколько лет — целое состояние и независимость!

Перспектива вполне обеспеченной жизни без мелочных забот и без стеснений из-за какой-нибудь сотни рублей, — жизни с разумным комфортом, с удовлетворением духовных потребностей развитого интеллигентного человека, вкусившего от науки, — возбуждала в Черенине какое-то особенное чувство удовлетворения, впервые им испытываемое. Слишком взволнованный от радости, он не мог сосредоточиться, и приятные мысли беспорядочно носились в его голове. Он то присаживался, то снова ходил, то думал, как расширит дело и привлечет к банку массу клиентов, как заберет постепенно в руки своих «патрициев» и подтянет служащих, то поку-

пал мысленно дачу, хорошенькую, уютную дачу в Петергофе или в Ораниенбауме, или дарил жене изящный браслет, роскошную шубу из черно-бурых лисиц и заказывал ей сам тончайшие рубашки с кружевными кокетками, то вдруг припоминал, что ему повезло в жизни именно с тех пор, как он женился на своей хорошенькой и доброй Кате и, бросив глупую мысль существовать одной литературой и быть человеком без определенных занятий, хотя и с званием кандидата математических наук, поступил на службу в государственный банк, — как он скоро выдвинулся, благодаря своим способностям, труду и такту и через два года был уже инспектором; как перешел оттуда в частный банк, и вот теперь — директор с большим содержанием и член нескольких обществ, в которых внимательно слушают, когда он там говорит своим мягким, убедительным баритоном красноречиво-деловитые речи о торговле и промышленности, о коммерческом флоте и тарифе.

— Да, ему повезло в жизни!

И снова радужные мечты и надежды, чередуясь с воспоминаниями, продолжают прият-

но волновать счастливого Черенина.

Не вспоминает он только о прежнем Черенине, точно его и не было, когда, полный благородных стремлений, молодой, смелый и влюбленный, он звал свою маленькую хорошенькую Катю, только что окончившую гимназию, на служение ближнему, на борьбу с невежеством, говорил искренние, горячие речи об обязанности порядочного человека быть полезным «младшим братьям» и рисовал картину их будущей трудовой, скромной жизни, не похожей на жизнь «довольных буржуа», живущих на счет народа.

И молодая девушка трепетала от восторга, готовая идти за этим дьявольски красивым брюнетом куда угодно, и добросовестно читала его политико-экономические статьи, радовавшие за новые начала, громившие современный строй и банкократов — этих «общественных паразитов», хотя и не всегда понимала эти статьи.

Он женился и скоро взял место, чтобы не писать, как он говорил, «из-под палки». Первое время он писал какое-то исследование, жаловался на служебный «хомут», но ма-

ло-помалу втягивался в него и тем более, чем более он приносил жалованья, забывая в заботах о собственном благополучии «служение ближнему» и значительно понижая тон своих речей. Как-то незаметно он стал солиднее и менее восприимчив, все реже и реже говорил об «обязанностях порядочного человека» и, занятый настоящим, понемногу забывал прошедшее.

Жизнь засасывала его без всяких душевных драм, а напротив, мягко и ласково, в счастье семейной жизни. Прежние друзья и приятели разбрелись. Одни, как и Черенин, успокоились, других он потерял из вида и забыл о них. Литературные знакомства давно порвались.

Шли годы, и Черенин, по-прежнему мягкий и добрый, стал уже скептически относиться к возможности «служения ближнему» и называл многое, чему прежде поклонялся, «симпатичными, но ребяческими иллюзиями, не имевшими никаких научных оснований». И он сожалел «неуравновешенных людей», оставшихся на всю жизнь «младенцами», и, почитывая в часы досуга разные се-

рьезные книги, старался находить в них подтверждение своего скептицизма.

Но если б и тогда ему сказали, что он, прежний поклонник Маркса, автор горячих статей против капитализма, станет сам банкократом и дельцом, мечтающим о банковых операциях, и будет водить дружбу с Ковригинными, — Черенин первый рассмеялся бы, до того подобная будущность казалась ему невероятной, оскорбляющей его нравственное чувство.

Все это как-то исчезло из памяти. Прежние «заблуждения» не портили счастливого дня своим напоминанием.

Но судьбе, как нарочно, угодно было напомнить прошлое, напомнить совершенно неожиданно и именно в этот вечер, когда Дмитрий Александрович, ничем не смущаемый, переживал первые радости своего нового положения.

Черенин уже видел себя и семью на вершине благополучия, как в кабинет вошла Паша с докладом, что какой-то господин желает видеть Дмитрия Александровича.

— Кто такой?

— Извините, запамятовала фамилию! — отвечала, краснея, Паша.

— Бывал у нас?

— Нет, кажется...

— Просите сюда! — приказал Черенин и в то же время подумал, что нужно нанять лакея, а то Паша довольно-таки бестолкова: или забывает, или перевирает фамилии.

IV

При виде этого приземистого, сухощавого господина пожилых лет, с большой рыжей бородой, начинавшей седеть, одетого в черную пару, видимо сшитую неважным портным, — Черенин в первое мгновение подумал, что перед ним искатель места, проведавший уже о новом его назначении, и глядел на него, не двигаясь к нему навстречу, вопросительно серьезным взглядом, каким обыкновенно глядят на незнакомых людей.

Но господин с рыжей бородой, несколько не смущенный этим взглядом, подошел к Черенину и, весело улыбаясь, протянул руку.

— Не узнаете, Дмитрий Александрыч? — проговорил он все с тою же улыбкой. — Видно, очень-таки постарел, а?..

То, что казалось давно уплывшим, забытым и словно чужим, — целая полоса жизни: молодость с ее горячей верой в свои силы и смелыми решениями труднейших вопросов жизни; шумные споры в маленькой меблированной комнате, на Васильевском острове, у этой добрейшей квартирной хозяйки, старушки Матрены Васильевны, всегда широко открывавшей кредит студентам и молодым людям без определенных занятий; жидкий чай с ситником и дешевая колбаса; табачный дым, возбужденные лица приятелей, собравшихся вместе прочесть хорошую книжку или статью интересного писателя; толки о народе и обещания послужить ему, — все это пронеслось в памяти Черенина с быстротой молнии в те мгновения, когда он всматривался в худощавое, некрасивое, но привлекательное лицо господина с рыжей бородой...

И этот высокий открытый лоб, и длинный нос, и непокорные вихры волнистых волос, и особенно эти лучистые голубые глаза, большие и добрые, точно глядевшие изнутри, из самой души, ясным правдивым взором, — теперь казались Черенину хорошо знакомыми;

но он все-таки не мог припомнить и назвать фамилию того, кто так горячо пожимал его руку, и сконфуженно недоумевал, стараясь припомнить.

— Чернопольский! Иван Чернопольский!.. Вспомнили теперь старого приятеля? — произнес гость с веселым смехом и, потянувшись первым, троекратно облобызался с Дмитрием Александровичем.

Иван Чернопольский?!

Это имя тотчас же напредило Черенину бывшего товарища и приятеля, этого редкого добряка, всегда за кого-нибудь хлопотавшего, всегда готового уступить свой урок более нуждавшемуся, хотя более нуждаться, чем всегда нуждался бедный, как Ир. Чернопольский, казалось, было трудно.

— Вот никак не ожидал встретить! Откуда? Какими судьбами? — восклицал Черенин, радостно пожимая снова руки Чернопольского.

Он искренне обрадовался и в то же время чувствовал какую-то неловкость при виде приятеля, наминавшего ему молодость.

— Но как же вы изменились! Я ни за что бы вас не у жал.

— Еще бы! Целых двенадцать лет не видались... Воды-то утекло много!

— Да... много! — задумчиво повторил Черенин.

— А вы так мало постарели. Такой же молодец... Вот только брюшко как будто собираетесь завести! — прибавил, добродушно улыбаясь, Чернопольский.

Они уселись и первую минуту молча оглядывали друг друга, словно бы каждый вспоминал в другом прошедшее и пытался угадать, что с каждым из них сделала жизнь и настоящим.

— Ну, рассказывайте, как вы живете, что делаете, Дмитрий Александрович? Ведь я в своей глуши ничего о вас не знаю. Слышал давно еще, что вы женились...

— Как же, женат, двое детей... Тяну хомут, как и все... Служу...

— Служите?

— Да, в частном банке! — отвечал Черенин и почему-то умолчал о своем новом назначении.

— А литература? Разве не пишете? Я и то удивлялся, что уж давно не встречаю вашего

имени в журналах... У вас такие славные были статьи! — горячо прибавил Чернопольский.

— Некогда... Да и не пишется...

— Вот это жаль... У вас ведь и талант был, и знания были... Право, жаль.

— Таких талантов и без меня много...

— А все-таки... Искреннее и убежденное слово всегда полезно, а по нынешним временам и подавно... Люди как-то забывчивее за последнее время стали... и напоминать им об идеалах — доброе дело! — прибавил горячо, застенчиво краснея, Чернопольский.

«Такой же „младенец“, как и был!» — подумал Черенин и, видимо не расположенный продолжать разговор на эту тему, спросил:

— Ну, а вы как живете?.. Какой хомут носите?..

— Прежде учительствовал, но принужден был оставить педагогию... Затем был бухгалтером в N-ской думе, а теперь вот уже пять лет, как живу в деревне.

— Помещиком?

— Ну, куда помещиком! — усмехнулся Чернопольский. — Так, знаете ли, вроде фермера

скорее... После смерти отца мне досталось шесть тысяч, я и бросил бухгалтерию — скука одна с ней, так, из-за жалованья служил — и купил клочок земли. Самое любезное дело... И как-то на совести покойно... Живем себе, очень скромно, конечно, но ведь я и не привык к роскоши... Жена у меня — врач: мужиков и баб лечит; ну, а я, некоторым образом, вроде адвоката у крестьян. Кругом беднота, народ темный... ну и рады, что человек совет дает... Мы с мужиками ладим. В гласные меня выбрали... Трое детей, ребята славные... Старшему уж девять лет... Соседи есть: порядочные люди... И духовную пищу вкушаем... Да, вот так и живем себе и судьбой довольны, поскольку может быть доволен наш брат, когда-то мечтавший горы сдвинуть! — прибавил с грустной усмешкой Чернопольский.

И Черенин на минуту задумался.

— Надолго сюда? — спросил он.

— Недельки на две, я думаю. Я ведь сюда по делу.

— По делу? Какое же у вас дело, Иван Андреич?

— Не у меня, а у наших соседей-крестьян...

И Чернопольский рассказал о процессе, который уже тянется несколько лет у мужиков с бывшим их помещиком из-за земли. Дело теперь в сенате.

— Я приехал узнать о нем и посоветоваться тут с одним адвокатом...

— И вам заплатят за хлопоты?

— Что вы? Где им платить? — промолвил Чернопольский и совсем сконфузился. — Да и как с бедноты-то брать!..

Он примолк и продолжал, словно бы оправдываясь:

— Зимой-то в деревне работы меньше. Я и прикатил сюда... Кстати и Петербург хотелось повидать, и на старых приятелей поглядеть.

Чернопольский стал было расспрашивать о них, но оказалось, что ни о ком Черенин не мог дать сведений.

— А Потресова выдаете? — спрашивал Чернопольский. — Вот редкий писатель, который сохранился...

— Нет, не выдаю! — отвечал Черенин.

Оба несколько времени молчали. Оба почувствовали какую-то неловкость, какую испытывают долго не выдавшиеся люди, кото-

рые расстались в молодых годах.

Чернопольский пробовал было расспрашивать о петербургских веяниях, о литературных новостях, о молодежи, но Черенин на все это отвечал как-то скупо и неопределенно, причем в словах его звучала скептическая нотка; его, по-видимому, так мало интересовали вопросы, казавшиеся его гостю важными, что Чернопольский под конец весь будто съезжился, молчал и конфузился.

После получасового визита он стал прощаться.

— Куда же вы? Сейчас приедет жена. Будем чай пить! — вдруг воскликнул Черенин с необыкновенной ласковостью. — Я ведь очень рад вас видеть. Вы мне напомнили молодость! — прибавил он.

Но Чернопольский не мог остаться. Сегодня в девять часов у него назначено свидание с адвокатом.

— Вы все тот же... вечно хлопчете за других, как, помните, в старину, когда мы вас звали общим дядей...

— Ну, что вы, что вы?.. А хорошее время то было... Не правда ли?

Но Черенин промолчал и, горячо пожимая гостью руку, звал непременно Чернопольского обедать: завтра, послезавтра, когда он хочет, в шесть часов.

— Смотрите, приходите... Во всяком случае приходите... Я рад вас видеть! Очень, очень рад! — говорил возбужденно Черенин в передней.

V

«Милейший... младенец!» — думал Черенин, возвращаясь в кабинет. И он стал вспоминать о нем, вспоминал о себе и невольно сравнивал прежнего Черенина с нынешним.

Эти воспоминания несколько омрачили его благополучие. Что-то грустное подымалось откуда-то, со дна души, и говорило о бывших мечтах, о прежних идеалах... Где они?

Да, он изменился. Этот «младенец в сорок лет» напомнил ему прошлое и словно бы обезоруживал его скептицизм, прикрывающий индифферентных людей. Ну, так что же? Он иначе теперь смотрит на вещи и поступает по убеждению. Не делает же он ничего бесчестного, что берет хорошее место и собирается заработать себе состояние. Тысячи людей

поступили бы точно так же, и совесть их так же была бы спокойна, как спокойна и его.

Так здраво рассуждал Черенин и все-таки чувствовал какую-то неловкость, нечто вроде стыда перед прежним Черениным, и, сознавая, что прежнего Черенина никогда не будет, словно бы сожалел о нем...

Он пробовал было думать о счастливом настоящем, но снова молодость проносилась перед ним. И раздумье охватило Черенина, отравляя счастливый день...

Грозный адмирал

Лишь только кукушка на старинных часах в столовой, выскочив из дверки, прокуковала шесть раз, давая знать о наступлении сумрачного сентябрьского утра 1860 года, как из спальни его высокопревосходительства, адмирала Алексея Петровича Ветлугина, занимавшего с женой и двумя дочерьми обширный деревянный особняк на Васильевском острове, раздался громкий, продолжительный кашель, свидетельствовавший, что адмирал изволил проснуться и что в доме, следовательно, должен начаться тот боязли-

вый трепет, какой, еще в большей степени, царил, бывало, и на кораблях, которыми в старину командовал суровый моряк.

Услыхав первые приступы обычного утреннего кашля, пожилой камердинер Никандр, только что приготовивший все для утреннего кофе адмирала и стороживший в столовой его пробуждение, стремглав бросился бегом вниз, на кухню, сиявшую умопомрачительной чистотой и блеском медных кастрюль, в порядке расставленных на полках, — и крикнул повару Лариону:

— Встает!

— Есть! — по-матросски отвечал Ларион, внезапно засуетясь у плиты, на которой варились кофе и сливки, и уже облеченный в белый поварской костюм, с колпаком на голове.

— Хлеб, смотри, не подожги, как вчера! — озабоченно наставлял Никандр. — А то сам знаешь, что будет.

Круглолицый молодой повар Ларион, крепостной, как и Никандр, накануне воли, отлично знал, что будет. Еще не далее как вчера он обомлел от страха, когда его позвали наверх к адмиралу. Однако дело ограничилось

лишь тем, что адмирал молча ткнул ему под нос ломтем подгоревшего хлеба.

— Не подожгу... Вчера, точно ошибся малечко, Никандра Иваныч... Передержал.

— То-то, не передержи! Да чтобы сливки с пылу! Через десять минут надо подавать. Не опоздай, смотри!

Он неизменно просыпался в пять часов утра, всегда с тревожной мыслью: не проспал ли? Торопливо одевшись, Никандр в своем затертом гороховом сюртуке и в мягких войлочных башмаках начинал мести комнаты и что-нибудь убирал или чистил вплоть до полудня. С полудня он неизменно облакался в черную пару и снова находил себе работу до обеда, когда вместе с другим слугой подавал к столу. Затем он убирал серебро и посуду (все было у него на руках и под его ответственностью), подавал чай и успокаивался только в одиннадцать часов, когда адмирал обыкновенно ложился спать, и все в доме облегченно вздыхали. Тогда Никандр уходил в свою каморку (на половине адмиральши служил другой лакей) и, прочитав «Отче наш», укладывался на своей койке и засыпал, как и про-

сыпался, опять-таки с тревожными мыслями, на этот раз о завтрашнем дне: о том, например, что надо завтра приготовить мундир, надеть ордена и звезды, сходить к портному, взять из починки старый адмиральский сюртук и доложить адмиралу, что запас сахара на исходе.

Прочие слуги в доме уважали и любили Никандра, и все звали его по имени и отчеству. Он был добрый и справедливый человек, несколько не гордился своим званием камердинера и старшего слуги и хотя был требователен и, случалось, ругал за лодырство, но никогда не ябедничал и не подводил своего брата. Напротив! Бывало, что он являлся заступником и принимал на себя чужие вины.

Из ванной доносилось фырканье моющегося адмирала. Затем слышно было, как он крикнул, погрузившись в холодную, прямо из-под крана, воду. Тогда Никандр, физиономия которого выражала сосредоточенное и напряженное внимание, подо двинулся поближе к двери в ванную. Мипуты через три оттуда раздался отрывистый, повелительный

окрик: «Эй!» — и в ту же секунду Никандр уже был за дверями и, накинув простыню на мускулистое, покрасневшее мокрое тело вздрагивавшего высокого адмирала, стал сильно растирать ему спину, поясницу и грудь. Адмирал лишь от удовольствия покрывал и временами говорил:

— Крепче!

И Никандр тер во всю мочь.

Когда адмирал произнес наконец: «Стоп!» — Никандр быстро сдернул простыню, подал сорочку и вышел вон. Адмирал всегда одевался сам.

Через десять минут его высокопревосходительство, заглянув в кабинете, по морской привычке, на барометр и термометр, вышел в столовую в своем легком халате из цветной китайки и в сафьянных туфлях, направляясь быстрой и легкой походкой к столу. Как большая часть моряков, адмирал слегка горбил спину.

Одновременно с его появлением в столовой Никандр подал на стол кофейник, сливки, ветчину и тарелку с ломтями белого хлеба, поджаренными в сливочном масле. Под-

ставив адмиралу стул, камердинер отошел к дверям, и адмирал стал пить из большой чашки кофе, заедая его горячими «тостами» и холодной ветчиной. Пил и ел он с большим аппетитом и необыкновенно скоро, точно торопился, боясь куда-нибудь опоздать.

II

Несмотря на то что адмиралу стукнуло уже семьдесят четыре года, никто не дал бы ему этих преклонных лет — так еще он был полон жизни, крепок и моложав. Высокий, плотный, но не полный, широкоплечий и мускулистый, он никогда в жизни серьезно не болел и пользовался неизменно могучим здоровьем. Он еще и теперь, несмотря на свои годы, взбегал без передышки на лестницы верхних этажей, исхаживал, не чувствуя усталости, десятки верст и летом в деревне скакал на коне, травя лисиц и зайцев.

Его продолговатое, сухощавое лицо, отливавшее резким румянцем, с загрубелой от долгих плаваний кожей, имело суровый, повелительный вид. В нем было что-то жесткое, непреклонное и властное. Сразу чувствовался в адмирале человек железной воли, привык-

ший повелевать на палубе своего корабля. Его небольшие серые глаза, с резким и холодным, как сталь, блеском, глядели из-под нависших, чуть-чуть заседевших бровей с выражением какого-то презрительного спокойствия старого человека, выдавшего на своем веку всякие виды и знающего себе цену. Высокий его лоб был прорезан морщинами, и две глубокие борозды шли по обеим сторонам прямого, с небольшой горбиной, носа; но тщательно выбритые щеки, казалось, не поддавались влиянию времени: они были свежи, гладки и румяны. Густые светло-каштановые волосы на голове, подстриженные, как требовала форма, едва серебрились, и только короткие колючие усы были совсем седы. Прическу адмирал носил старинную: небольшой подфабранный кок возвышался над серединой лба, как петуший гребень, а виски прикрывались широкими, вперед зачесанными, гладкими прядками.

В свое время Ветлугин был лихим капитаном, и суда, которыми он командовал, всегда считались образцовыми по порядку, чистоте, железной дисциплине и «дрессировке» мат-

росов. У него, как любовно говорили старые моряки, были не матросы, а «черти», делавшие чудеса по быстроте и лихости работ. Но даже и в давно прошедшее жестокое время, когда во флоте царили линьки и зверская кулачная расправа считалась обязательным элементом морского обучения, Ветлугин выделялся своею жестокостью, так что матросы называли его между собою не иначе, как «генерал-арестантом» или «палачом-мордобоем». За малейшую оплошность он наказывал беспощадно. Офицеры боялись, а матросы положительно трепетали грозного капитана, когда он, бывало, стоя на юте и опершись на поручни, зорко наблюдал, весь внимание, за парусным учением.

И матросы действительно работали как «черти», восхищая старых парусных моряков своим, в сущности ни к чему не нужным, проворством, доведенным до последнего предела человеческой возможности. Еще бы не работать подобно «чертям»! Матросы знали своего командира, знали, что если марсели на учении будут закреплены не в две минуты, а в две с четвертью, то капитан, наблюдавший

за продолжительностью работ с минутной склянкой в руках, отдаст приказание «спустить шкуру» всем марсовым опоздавшего марса. А это значило, по тем временам, получить от озверевших боцманов, под наблюдением не менее озверевшего старшего офицера, ударов по сту линьком — короткой веревкой, в палец толщины, с узлом на конце.

Почти после каждого ученья на баке корабля производилась экзекуция десятков матросов. Виноватый спускал рубаху и, заложив за голову руки, становился между двумя боцманами; те по очереди, с расстановкой, били несчастного линьками между лопатками. Матрос, с бледным от страдания лицом, при каждом ударе беспомощно изгибая спину, вскрикивал и стонал. Синева выступала на теле, и затем кровь струилась по истерзанной обнаженной спине.

Разумеется, не всем бесследно проходили подобные наказания. Многие после трехмесячного плавания под командой «генерал-арестанта» заболели, чахли, делались, по выражению того времени, «негодными» и, случалось, провалявшись в госпитале, умирали.

Никто об этом не задумывался и менее всего Ветлугин. Он поступал согласно понятиям времени, и совесть его была спокойна. Служба требовала суровой муштровки, «лихих» матросов и беззаветного повиновения, а жестокость была в моде.

Этот же самый Ветлугин, спокойно, с сознанием чувства долга «спускавший шкуры» с людей, в то же время неустанно заботился о матросах: об их пище, обмундировании, частных работах, об их отдыхе и досуге. Боже сохрани было у него на корабле потревожить без крайней необходимости команду во время обеда или ужина или в то время, когда она, по судовому расписанию, отдыхает. Он запарывал шкиперов, баталеров и каптенармусов, если замечал злоупотребления. Отдача под суд грозила ревизору, если бы Ветлугин заметил, что матроса обкрадывают. Он презирал казнокрадов и, сам до щепетильности честный, никогда не пользовался никакими, даже и считавшимися в те времена «безгрешными», доходами в виде разных «экономий» и «остатков». Все эти экономии и остатки шли на улучшение пищи и одежды матросов.

У него в экипаже[31] матросы всегда были щегольски одеты, ели отлично, имели и на берегу по чарке водки и получали на руки незначительные деньги в добавление к своему скудному жалованью. В этом отношении Ветлугин был безупречен.

Точно так же он не терпел nepотизма и никогда ни о чем не просил даже за своих сыновей. Старшего своего сына, моряка офицера, служившего на эскадре, которой, уже адмиралом, командовал Ветлугин, он так допекал, был до того к нему строг и придирчив, что сын просил о переводе в другую флотскую дивизию, чтобы только не быть под начальством грозного адмирала-отца. Если он и просил за сыновей, то для того только, чтобы им не мирволили и держали в ежовых рукавицах.

Прокомандовав в течение многих лет эскадрами, Ветлугин был, наконец, произведен в полные адмиралы и получил почетное береговое место в Петербурге.

В описываемое время адмирал Ветлугин давно был на покое и не плавал, перестав быть грозой во флоте. Ему уж не приходилось

следить зорким напряженным глазом с подзорной трубою в руках, со своего флагманского стопушечного корабля, за любимой своей эскадрой, шедшей в бейдевинд, под марселями и брамселями, двумя стройными колоннами, в составе нескольких кораблей и фрегатов, с легкими посылочными судами — шкунами и тендерами, плывущими, словно маленькие птички, по бокам гордых кораблей-лебедей, — не приходилось, говорю, следить за эскадрой, которой он только что приказал сделать сигнал: «Прибавить парусов и гнать к ветру!» Уж он не любит быстрого исполнением сигнала и не видит перед собою этих моментально окрылившихся всеми парусами кораблей, которые быстро понеслись по морю. Не видит он и этого совсем накренившегося тендера, под командою его сына, молодого лихого лейтенанта, — тендера, под всеми парусами несущегося к адмиральскому кораблю. Он проносится под самой кормой адмирала и, получив на ходу приказание идти в Севастополь, мастерски делает крутой поворот и, чертя бортом воду, мчится, словно чайка, скрываясь от глаз по обыкновению на

вид сурового, но в душе довольного адмирала-отца.

Да, ничего он этого не видит, да и не на что теперь смотреть! Парусным судам подписан смертный приговор, и уже паровые корабли плавают в море, попыхивая из труб черным густым дымом, оскорбляющим мысленный взор старого «парусника», презрительно называющего новые суда «самоварами», благодаря которым исчезнут будто бы настоящие лихие моряки и «школа».

Теперь адмиралу приходилось лишь вспоминать прошлое в тиши своего кабинета или с такими же представителями старой эпохи, как он сам, стариками адмиралами, слегка фрондируя и презрительно подсмеиваясь над новыми порядками и реформами, введившимися во флоте в то время общего преобразовательного движения, охватившего Россию вслед за Крымской войной.

Старый адмирал чувствовал, что песня его спета бесповоротно и что на свете свершается нечто для него неожиданное и не совсем понятное. Все незыблемые, казалось, устои колебались. Освобождение крестьян было на

носу. Отовсюду веяло чем-то новым, каким-то духом свободы и обновления. Во флоте собирались отменить телесные наказания. В «Морском сборнике», которого адмирал был подписчиком, печатались диковинные статьи: о свободе воспитания, о необходимости реформ, причем осмеивались старые морские порядки и выражалось негодование на жестокое обращение с людьми. Мичмана, казалось адмиралу, уже не с прежней почтительностью отдают ему честь при встрече. Адмирал был несколько ошеломлен, но не смирился перед требованиями времени.

Его особняка на Васильевском острове, по-видимому, нисколько не коснулась новая жизнь. Там он по-прежнему оставался грозным адмиралом, считая свою квартиру чем-то вроде корабля. Он сделался еще суровее, по-прежнему не удостоивал никого из семьи разговором, предпочитая подчас лучше жестоко скучать в одиночестве, чем потерять тот престиж страха и трепета, который внушал он всем своим домочадцам. И все они по-прежнему продолжали трепетать перед грозным адмиралом.

Один лишь младший сын Сережа, семнадцатилетний юноша, кончавший курс в морском корпусе, вселял в адмирале по временам некоторые подозрения. Старику казалось, что этот «щенок» в последнее время не так испуганно и поспешно опускает свои быстрые черные глаза под суровым взглядом адмирала и что будто бы в глазах «мальчишки» скользит какая-то неуловимая улыбка.

Перед суровым взором адмирала до сих пор смиренно опускают глаза, чувствуя невольный страх, и жена и все дети, начиная с первенца, почтенного женатого капитан-лейтенанта, украшенного орденами, и вдруг этот «щенок» с черными глазами как будто оказывает строптивость!

И грозный адмирал делал вид, что не замечает «щенка», когда тот приходил по праздникам из корпуса, хотя и зорко следил за ним во время обеда, сурово хмуря брови и готовый придраться к чему-нибудь, чтобы «разнести» своего Вениамина, олицетворявшего в глазах адмирала ненавистный ему «новый дух».

III

Адмирал выпил свои две большие чашки

кофе, поднялся и, заложив за спину руки, стал ходить по столовой своей обычной быстрой, живой походкой. Убиравший со стола Никандр заметил, что адмирал часто вздергивает плечами и по временам издает отрывистые звуки, точно прочищает горло, — значит, он не в духе, — и Никандр спрашивал себя: отчего это? Уж не узнал ли он, сохрани бог, что Леонид Алексеич (третий сын адмирала, кавалерийский офицер) кутит и играет в азартные игры? Об этом Никандр прослышал от лакея Леонида Алексеича и сокрушался за молодого барина, зная, что добра не будет, если адмирал как-нибудь узнает про это. Или не заметил ли барин вчера, что на половине барыни гости оставались после одиннадцати часов? Или уж не из-за Варвары ли дело? Не встретил ли он кого-нибудь у новой своей сударки?

Не разрешив, однако, причины дурного настроения адмирала, Никандр пошел убирать кабинет и спальню. «Ужо будет гроза!» — подумал старый камердинер, мрачно вздыхая.

К семи часам повар Ларион уже стоял у дверей, выжидая, когда барин обратит на

него внимание. Он, наконец, обратил и, приблизившись к повару, который низко поклонился и затем замер, вытянув руки по швам, быстро, точно и ясно заказал обед (адмирал распоряжался всем в доме сам) и крикнул:

— Понял?

— Понял, ваше высокопревосходительство!

Затем адмирал, по обыкновению, осведомлялся: что сегодня готовят для людей? (Для людского обеда было недельное расписание на каждый день.) Ларион доложил, что кислые щи с говядиной и пшенная каша с маслом. Тогда адмирал шел в кабинет, доставал из письменного стола деньги и, возвратившись, неизменно говорил суровым тоном, подавая повару деньги:

— Не транжирь... смотри!

— Слушаю, ваше высокопревосходительство! — так же неизменно отвечал Ларион и стоял как вкопанный, пока адмирал не говорил ему: «Пошел!» — или не делал соответствующего знака рукой.

Ровно в восемь часов, когда на военных судах поднимается флаг и гюйс и начинается

день, адмирал уже был в сюртуке, застегнутый на все пуговицы. Маленькие остроконечные воротнички в виде треугольников торчали, из-за черного шелкового шейного платка, обмотанного по-старинному, поверх другого платка — белого. Одет он был всегда не без щегольства и любил душиться.

Через четверть часа он неизменно шел гулять, несмотря ни на какую погоду, и, проходя в прихожую, обыкновенно спрашивал у Никандра, махнув головой по направлению к половине адмиральши:

— Спят?

— Точно так!

Адмирал недовольно крякал, надевал пальто и фуражку и выходил на улицу. Гулял он час или полтора, и всегда по Васильевскому острову. На набережной он иногда останавливался и смотрел, как грузятся иностранные пароходы, и, видимо, сердился, если работали тихо, сердился и уходил. При встречах хорошеньких женских лиц адмирал молодежато приосанивался, и с лица его сходило обычное суровое выражение. К женщинам адмирал чувствовал слабость и, несмотря на

свой преклонный возраст, был порядочным таки ловеласом. Когда он разговаривал с дамами, особенно молодыми и красивыми, глядя на него, нельзя было подумать, что это грозный адмирал. Он словно весь преобразился: был необыкновенно галантен, весел и разговорчив и очаровывал вниманием и любовью. Недаром в свое время он пользовался большим успехом среди дам и смущал адмиральшу своими неверностями. Крайне воздержный вообще в жизни, — он почти не пил вина, не курил и ел умеренно, — адмирал имел лишь одну слабость: не мог равнодушно видеть хорошенькую женщину, особенно если у нее был, как он выражался, «красивый товар».

Возвратившись домой, адмирал спрашивал у Никандра: «Встали?» — и, получив ответ, что «изволили встать и кушают чай», проходил прямо в кабинет и проводил там все время до обеда, если не выезжал на службу или с визитами. Сперва он читал газеты «Times» и «С.-Петербургские ведомости», и читал их от доски до доски, хмурясь по временам, когда какая-нибудь статья возбуждала

его неодобрение, что в последнее время случалось-таки часто. Покончив с газетами, он присаживался к письменному столу и в календаре делал краткие отметки и замечания, преимущественно критического характера, о новейших событиях и мероприятиях. Затем он просматривал «Морской сборник» или читал какую-нибудь историческую книгу, ходил по своему обширному, скромно убранному кабинету, по стенам которого висели превосходные английские портреты-гравюры Екатерины, Николая, Нельсона, Суворова и Румянцева, и таким образом коротал свое время. На половину адмиральши и двух дочерей-девиц, бывших институток Смольного монастыря, он заходил в каких-нибудь редких, исключительных случаях и с женой и с дочерьми встречался лишь за обедом или в гостиной, если приезжали гости, к которым адмирал выходил. Дочери никогда не осмеливались переступить порога его кабинета без зова, да и сама адмиральша входила туда, когда нужно было спросить денег, всегда со страхом.

Иногда к адмиралу заходил кто-нибудь из товарищей-адмиралов. Таких он принимал у

себя в кабинете, приказывал подать марсалы и английских галетов, и угрюмый кабинет оживлялся. Старики выхваляли прошлые времена, бранили нынешний флот и удивлялись тому, «что нынче творится».

— Резерв какой-то сочинили... Многих вон... Слышал, Алексей Петрович?

— Слышал... А мальчишку назначают морским министром.

«Мальчишка» этот был пятидесятипятилетний вице-адмирал.

— Дожили! — иронически восклицал гость, сухенький, низенький старичок адмирал, известный во флоте своим обычным восклицанием перед товарищескими обедами: «Кто хочет быть пьян — садись подле меня, кто хочет быть сыт — садись подле брата!»

— Не до того доживем! Пропадет наш флот!

Отведя свои души, адмиралы услаивались насчет преферанса завтра вечером, гость уходил, и старик снова оставался один.

В половине двенадцатого Никандр обязательно входил в кабинет и докладывал, что «проба» готова. Вслед за тем появлялся повар

Ларион в белом костюме, в безукоризненно чистом колпаке на голове, с подносом, на котором в двух маленьких деревянных чашках была «проба» людского обеда. Этот обычай, существующий на военных судах, строго соблюдался и в доме адмирала.

Адмирал обыкновенно съедал полчашки щей, хлебая их деревянной ложкой, и отведывал кашу. Если — что случалось редко — проба была нехороша, щи недостаточно жирны и мясо жилистое, адмирал несколько раз тыкал кулаком в лицо Лариона. Бледный, с подносом в руках, он только жмурился при виде адмиральского кулака и уходил иногда с разбитым в кровь лицом.

Сегодня щи были отличные. Адмирал, стоя, выхлебал почти всю чашку, отведал каши и, махнув рукой, сказал: «Обедать!»

В это время вся прислуга, как мужская, так и женская, должна была собраться в кухне: в комнатах оставался дежурный мальчик-казачок. На обед полагалось полчаса.

После завтрака адмирал присел было в кресло у окна и принялся за книгу, но ему не читалось. Он нервно поднялся и заходил по

кабинету, поводя плечами и сжимая кулаки.
Видимо, старик был не в духе.

IV

В это самое время в спальне у адмиральши
шло совещание.

Адмиральша, высокая, полная, белокурая
женщина, за пятьдесят лет, с кротким неж-
ным лицом, сохранившим еще остатки заме-
чательной красоты, советовалась с дочерьми:
Анной, немолодой уже девицей около трид-
цати лет, и молоденькой и хорошенькой Ве-
рой, насчет покупки разных вещей к осени,
необходимых для нее и для дочерей. Сумма
выходила довольно крупная, и это пугало ад-
миральшу. У нее на руках не бывало денег; за
каждым рублем приходилось обращаться к
мужу, и надо было улавливать хорошее его
настроение, чтобы получение денег обошлось
без неприятных сцен.

Эта женщина, выданная по шестнадцато-
му году замуж за Ветлугина, которого до заму-
жества она видела всего два раза, представля-
ла собой редкий пример кротости, терпения и
привязанности. Своей воли у нее не было —
муж давно обезличил жену. И несмотря на

всегдашнее его полупрезрительное отношение, несмотря на суровый его гнет, она продолжала боготворить мужа, как какое-то высшее существо, боялась и в то же время любила его с какой-то собачьей преданностью. Давно уже лишенная его супружеского внимания, она втайне ревновала, оскорблялась его частыми неверностями и посторонними связями, не смея, разумеется, заикнуться об этом.

После долгого совещания дамы решили пока ограничиться двумястами рублями. Адмиральша сейчас же пойдет в кабинет.

Подойдя к дверям кабинета, она заглянула в замочную щелку. Адмирал, только что переставший ходить, сидел за письменным столом. Адмиральша перекрестилась и тихо стукнула в двери. Ответа не было. Она постучала сильнее.

— Можно! — раздался резкий, недовольный голос.

— Здравствуй, Алексей Петрович! Прости, что беспокою! — проговорила адмиральша своим тихим, певучим, несколько дрожащим от волнения голосом, приближаясь к столу.

— Здравствуй!..

Адмирал протянул жене руку (они уж давно не целовались при встречах) и, не поднимая головы, резко спросил:

— Что нужно?

Адмиральша, говорившая всегда медленно, заторопилась:

— Анюте и Вере необходимы платья и башмаки. И у меня тальма совсем старая, ей уж шесть лет. Кроме того...

— Сколько? — перебил ее адмирал.

— Надо бы по крайней мере двести рублей, но если ты находишь, что это много, я могу и не делать тальмы.

На лице адмирала выразалось нетерпение. Он не выносил многословия, а адмиральша не умела говорить с морской краткостью.

— Короче, Анна Николаевна! Я спрашиваю: сколько?

— Двести рублей.

Адмирал вынул из стола пачку и, подавая жене, сказал:

— Очень-то франтить не на что. Скажи им. Слышишь?

— Самое необходимое.

И спросила:

— Можно нам взять карету?

— Возьмите!

Адмиральша повернулась было, чтоб уходить, как адмирал вдруг сердито проговорил:

— Вчера... письмо... (Адмирал презрительно кивнул на лежавшее на столе письмо.) Вперед жалованье, а? Пишет: «Необходимо?!» Мотыга! Видно, на кутежи... на шампанское?!

Адмирал зашевелил усами и продолжал после паузы:

— Предупреди этого болвана, чтобы не смел писать, и скажи, что я ни копейки не буду ему давать, коль скоро он не перестанет мотать... Тоже принц... Кутить!

Адмиральша сразу догадалась, о ком идет речь, и, пробуя заступиться за своего любимца, робко и тихо промолвила:

— Я ничего не слыхала... Кажется, Леня...

— Не слыхала?! — перебил адмирал, передразнивая жену. — Не слыхала?! — повторил он, поднимая на адмиральшу злые глаза. — Ты ведь ничего не слышишь, а я не слыхал, а знаю?! Так скажи ему, когда он покажется, что на кутежи денег у меня нет... Слышишь?

— Я скажу, — совсем тихо проронила адмиральша.

— Не то я с ним поговорю... Необходимо?! Кую я, что ли, деньги? Скотина! — вдруг крикнул адмирал и стукнул кулаком по столу так громко, что адмиральша вздрогнула. — Я ему покажу форсить! На Кавказ в армию упрячу подлеца. Так и скажи... Ступай! — резко оборвал адмирал, отворачиваясь.

Адмиральша вышла испуганная, с тревогой в сердце. Этот Леонид в самом деле безумный. Вздумал писать отцу! Не один уж раз давала она потихоньку своему любимцу свои брильянтовые вещи, умоляя его не кутить, а он...

«Надо серьезно с ним поговорить. Отец исполнит угрозу?» — подумала адмиральша, не подозревая, какой страшный сюрприз готовит всей семье беспутный красавец Леня и какую штуку удерет сегодня Сережа — этот «непокорный Адольф», как шутя звали младшего сына мать и сестры за его речи, совсем диковинные в ветлугинском доме.

V

Перед самым обедом семья адмирала

должна была собираться в гостиной.

Боже сохрани, если в это время Ветлутин заставлял там какого-нибудь гостя, приехавшего с визитом и не догадавшегося уйти до появления адмирала в гостиной, то есть за пять минут до четырех часов. В таких случаях адмиральша сидела как на иголках, а дочери в страхе волновались, особенно если гость был мало знаком адмиралу, молод и из статских, к которым старый моряк не очень-то благоволил, называя их презрительно «болтливыми сороками».

Увидав в гостиной постороннего, адмирал хмурил брови и недовольно крякал, еле кивая головой в ответ на поклон гостя. Он выжидал минуту-другую, затем вынимал из-за борта сюртука свою английскую, старинного фасона, золотую луковицу-полухронометр (хотя отлично знал время) и, взглянув на часы, говорил:

— Мы, кажется, обедаем в четыре!

Адмиральша и дочери краснели, не смея взглянуть на гостя. Тот, сконфуженный, вскакивал, рассыпаясь в извинениях, и, откланявшись, поспешно исчезал, порядочно-таки на-

пуганный суровым моряком, и, случилось, слышал из залы резкий голос адмирала, спрашивающего у жены:

— Это еще что за нахал?

Адмиральша робко объясняла, что это камер-юнкер Подковин... Приезжал с визитом... Он очень хорошо принят у адмирала Дубасова и вообще...

— Женихов ловите? — перебивал старик, поводя на дам презрительным взглядом. — Этот ваш Подковкин — или как там его?.. хам! Засиживается до обеда. Чтоб я его больше никогда не видал! — резко обрывал Ветлугин.

И бедной адмиральше, очень любившей общество и большой охотнице поболтать всласть, особенно на романические темы, приходилось иногда отказывать знакомым, которые не нравились мужу, или же звать их в те вечера, когда адмирал бывал в английском клубе.

В этот день в гостиной, по счастью, чужих не было. К обеду явились сыновья Николай и Григорий, молодые офицеры, и Сережа, отпущенный из корпуса по случаю завтрашнего праздника.

В ожидании адмирала разговаривали тихо и остерегались громко смеяться. На всех лицах была какая-то напряженность. Один лишь Сережа, стройный, гладко остриженный юноша в кадетской форме, с живой, подвижной физиономией и бойкими черными глазами, похожий своей наружностью на мать, а живостью манер и темпераментом — на отца, о чем-то с жаром шептал любимой сестре Анне, которой он поверял все свои тайны и заветные идеи, юные и свежие, как и сам этот юноша, выраставший в эпоху обновления.

Анна слушала своего фаворита с выражением изумления и испуга на своем серьезном и добром лице и, когда Сережа остановился, тихо воскликнула:

— Ты с ума сошел, Сережа?

Юноша усмехнулся. Он с ума не сходил... Напротив, он за ум взялся... Он обдумал свое намерение и решил поговорить с отцом.

— Да разве он тебе позволит?

— Я постараюсь убедить его.

— Ты?! Папеньку?!

— Да, я! — задорно отвечал Сережа. — Он

тронется горячей просьбой... Не каменный же он... Помнишь, Нюта, маркиза Позу? Подействовал же он на короля Филиппа?.. Ведь подействовал?

Но сестра, не разделявшая иллюзий юного маркиза Позы, с видом сомнения покачала головой.

— Ах, Нюта, как жаль, что ты не читала «Темного царства»! — снова заговорил вполголоса Сережа. — Прелесть! Восторг! Ты должна прочитать... Я тебе принесу «Современник»... Ты увидишь, Нюта, к чему ведет родительский деспотизм... У нас здесь то же темное царство, и вы все...

Сережа вдруг смолк, оборвавши речь. Смолкли и другие разговаривавшие. В гостиную вошел адмирал, по обыкновению ровно за пять минут до четырех часов.

Все, кроме адмиральши, поднялись и поклонились. Адмирал кивнул головой, ни на кого не глядя, и заходил взад и вперед, поводя плечами и хмуря брови. Все снова уселись и заговорили шепотом. Эта атмосфера боязливого трепета, по-видимому, нравилась старому адмиралу, и он в присутствии семьи обык-

новенно напускал на себя самый суровый вид и редко, очень редко удостоивал обращением к кому-нибудь из членов семейства.

— Ты видишь? Папенька сегодня не в духе! — шепнула Анна на ухо Сереже.

— Не в духе? Он у вас всегда не в духе... Самодур! А вы трепещете, как рабы, хоть и считаете себя людьми! — отвечал вполголоса Сережа, и его возбужденное лицо дышало презрением.

Анна громко кашлянула, чтобы отец не услышал Сережиных слов, и, умоляюще взглядывая на брата, сжала ему руку.

Адмирал покосился на Сережу, но, очевидно, не слышал, что он говорил. Он продолжал ходить по гостиной и, не обращая, казалось, ни на кого внимания, достал из кармана красный фуляровый носовой платок, высморкался и обронил его.

Гриша первый со всех ног бросился подымать платок и подал его отцу с самой почтительной улыбкой, сиявшей на его красивом лице. Казалось, он весь был необыкновенно от этого счастлив. Голубые его глаза светились восторгом. Адмирал даже не поблагода-

рил молодого офицера, а как-то сердито вырвал у него платок и спрятал в карман.

Этот Гриша, или, как все его звали, «тихоня Гриша», был самый почтительный и, казалось, самый преданный сын, к которому адмирал ни за что и никогда не мог придраться. Тихий и рассудительный, исполнявший свои сыновние обязанности с каким-то особенным усердием, глядевший в глаза отцу и матери, сдержанный и скромный не по летам, он, несмотря на все свое добронравие и старание всем понравиться, не пользовался, однако, большой любовью в семье. И сам грозный адмирал, казалось, нисколько не ценил ни его всегдашней угодливости, ни его почтительно-радостного вида и был с ним резок и сух, как и с другими детьми, исключая первенца Василия, командира корвета, и двух старших замужних дочерей-генеральш.

— Наш-то «лукавый царедворец»! — шепнул сестре Сережа, указывая смеющимися глазами на брата, которого Сережа недолюбливал, считая его отчаянным карьеристом и угадывая в нем, несмотря на его смиренную скромность, хитрого и пронырливого эгоиста.

Анна строго покачала головой: «Молчи, де-скать!»

— Далеко пойдет Гришенька. Спинка у него гибкая! — продолжал шептать Сережа.

Адмирал вдруг сделал крутой поворот и остановился перед Сережей.

Кроткая Анна в страхе побледнела.

— Ты почему не в корпусе? — грозно спросил адмирал.

— Завтра праздник! — отвечал чуть дрогнувшим от волнения, но громким голосом Сережа, вставая перед отцом.

Адмирал с секунду глядел на «щенка», и в стальных глазах его, казалось, готовы были вспыхнуть молнии. Анна замерла в ожидании отцовского гнева. Но адмирал внезапно повернулся и снова заходил по гостиной, грозный, как неразряженная туча.

Через минуту появился Никандр, весь в черном, в нитяных перчатках, с салфеткой в руке, и мрачно-торжественным тоном провозгласил:

— Кушать подано!

Адмирал быстрыми шагами направился в столовую, и все, с адмиральшей во главе, дви-

нулись вслед за ним.

— Прикуси ты свой язык, Сережа! — заметила Анна, шедшая с братом позади.

— Нет, ты лучше посмотри, Нюточка, на Лукавого царедворца! Идет-то он как!

— Как и все, думаю...

— Нет, особенно... Приглядишься: в его походке и смирение, и в то же время скрываемое до поры величие будущего военного министра... Гриша хоть и прапорщик, а втайне уж мечтает о министерстве... Он, наверное, будет министром.

— А ты всегда останешься невоспитанным болваном! — чуть слышно и мягко проговорил, оборачиваясь, Гриша.

— Слушаю-с, мой высокопоставленный и благовоспитанный братец! Не забудьте и нашу малость, когда будете сановником! — отвечал, улыбаясь, Сережа, отвечивая брату почтительно церемонный поклон.

— Осел! — шепнул Гриша, бледнея от злости.

— Тем лучше, чтобы иметь честь служить под вашим начальством! — отпарировал Сережа, умевший доводить сдержанного брата

до белого каления.

— Сережа, перестань! — остановила его Анна, не переносившая никаких ссор и бывшая общей миротворицей в семье.

— Я молчу... А то господин военный министр, пожалуй, прикажет своим нежным голоском расстрелять Сергея Ветлугина! — произнес с комическим страхом Сережа.

— Ах, Сергей, Сергей! — попеняла, улыбаясь кроткой улыбкой, Анна и значительно прибавила:

— Надеюсь, ты отложишь свое намерение и не будешь говорить с отцом?

— Не надейся, ангелоподобная Анна... Ты пойми, голубушка: я обязан говорить...

— Безумный, упрямый мальчишка! — прошептала с сокрушением Анна, пожимая потцовски плечами, и вошла вместе с юным маркизом Позой в обширную, несколько мрачную столовую.

VI

Выпив крошечную рюмку полынной водки и закусив куском селедки, адмирал, выждав минуту-другую, пока закусят жена и дети, сел за стол и заложил за воротник салфет-

ку. По бокам его сели дочери, а около адмиральши, на противоположном конце, — сыновья. Два лакея быстро разнесли тарелки дьявольски горячего супа и подали пирожки. Адмирал подавил в суп лимона, круто посыпал перцем и стал стремительно глотать горячую жидкость деревянной ложкой из какого-то редкого дерева. Три такие ложки, вывезенные Ветлугиным из кругосветного плавания, совершенного в двадцатых годах, всегда им употреблялись дома.

Остальным членам семейства, разумеется, было не особенно удобно есть горячий суп серебряными ложками и поспевать за грозным адмиралом, обнаруживавшим гневное нетерпение при виде медленной еды, — и почти все домочадцы, не доедая супа, делали знаки лакеям, чтобы они убрали тарелки, пока адмирал кончал. Если же, на беду, старик замечал убранную нетронутую тарелку, то с неудовольствием замечал:

— Мы, видно, одни фрикасе да пирожные кушаем, а? Тоже испанские гранды! — язвительно прибавлял Ветлугин.

Почему именно испанские гранды должны

были есть исключительно фрикасе и пирожные — это была тайна адмирала.

Все молодые Ветлугины, впрочем, довольно искусно надували его высокопревосходительство на супе, и старику редко приходилось ловить неосторожных, то есть не умевших вовремя мигнуть Никандру или Ефрему.

Обыкновенно обед проходил в гробовом молчании, если не было посторонних, и длился недолго. Обычные четыре блюда подавались одно за другим скоро, и вышколенные лакеи отличались проворством. Среди этой томительной тишины лишь слышалось тикание маятника да чавкание грозного адмирала. Если кто и обращался к соседу, то шепотом, и сама адмиральша избегала говорить громко, отвечая только на вопросы мужа, когда он, в редких случаях, удостоивал ими жену.

Зато сам адмирал иногда говорил краткие, отрывистые монологи, ни к кому собственно не обращаясь, но, очевидно, говоря для общего сведения и руководства. Такие монологи разнообразили обед, когда адмирал бывал не в духе. Все в доме звали их «бенефисами».

Такой «бенефис» был дан и сегодня. Туча, не разразившаяся грозой, разразилась дождем сердитых и язвительных сентенций.

Как только адмирал скушал, со своей обычной быстротой, второе блюдо и запил его стаканом имбирного пива, выписываемого им из Англии, он кинул быстрый взгляд на своих подданных, поспешно уплетавших рыбу, с опасностью, ради адмирала, подавиться костями, — и вдруг заговорил, продолжая вслух выражать то, что бродило у него в голове, и не особенно заботясь о красоте и отделке своих импровизаций:

— Мальчишка какой-нибудь... офицеришка... Шиш в кармане, а кричит: «Человек, шампанского!» Вместо службы, как следует порядочному офицеру, на лихачах... «Пошел! Рубль на чай!» Подлец эдакой! По трактирам да по театрам... Папироски, вино, карты, бильярды... По уши в долгу... А кто будет платить за такого негодяя? Никто не заплатит! Разве какая-нибудь дура мать! Такому негодяю место в тюрьме, коль скоро честь потерял... Да! В тюрьме! — энергично подчеркнул адмирал, возвышая свой и без того громкий

голос, точно кто-нибудь осмеливался выражать сомнение. — А поди ты... Пришел этот брандахлыст в трактир, гроша нет, а он: «Шампанского!» — снова повторил адмирал, передразнивая голос этого воображаемого «негодяя», без гроша в кармане требующего, по мнению адмирала, шампанского.

Все отлично понимали, что грозный адмирал главным образом имел в виду отсутствующего беспутного Леонида. Но и Николай, добродушный и веселый поручик, не без некоторого права мог наматывать на свои шелковистые темные усы адмиральскую речь, ибо тоже был повинен и в лихачах, и в ресторанах, и в долгах, хотя и не походил, разумеется, в полной мере на того «брандахлыста», которого рисовала фантазия грозного адмирала.

И Николай, как и все сидевшие за столом, слушал грозного адмирала, опустивши глаза в тарелку и со страхом думая: как бы отец не проведал об его долгах и не лишил сорока рублей, которые давал ежемесячно. Сережа слушал без особенного внимания, занятый думами о речи, которую он, по примеру мар-

киза Позы, скажет адмиралу после обеда. Эти думы, однако, не помешали ему переглянуться с сестрой Анной взглядом, говорящим, что «бенефис» к нему не относится.

Гриша не опустил очей своих долу. Напротив, он впился в адмирала своими большими и красивыми голубыми глазами и весь почти-тельно замер, боясь, казалось, пропустить одно слово и внимая, как очарованный. И его нежное румяное лицо женственной красоты светилось выражением безмолвного одобрения доброго, преданного сына, сознающего, что он чист, как горлица, и что отцовские угрозы его не касаются.

Но напрасно он тщился обратить на себя внимание адмирала. Ветлугин не видал его, а смотрел через головы, куда-то в угол столовой, и, после небольшой паузы, снова заговорил:

— ...В тысяча семьсот девяносто шестом году, когда меня с братом Гавриилом привезли в морской корпус, покойный батюшка дал нашему дядьке пять рублей ассигнациями для нас... И с тех пор ничего не давал... Я офицером на свое жалованье жил... Каждая копей-

ка в счету... И никогда не должен... А теперь?..
Всякий: «Пожалуйте, папенька, денег!» Шалы-
ганы!.. Государственного казначейства мало
мотыгам!

Гриша одобрительно хихикнул, правда, очень тихо, но адмирал услышал и, взглянув на сына, совершенно неожиданно крикнул со злостью:

— А ты чего вылупил на меня свои буркалы, а? Думаешь: совершенство!.. Образцовый молодой щеголь?! Тихоня?! Очень уж ты тих... Из молодых да ранний... Просвирки старым генеральшам подносишь? Через баб думаешь в адъютанты попасть, а? У генеральш на посылках быть!.. Просвирки?! Это разве служба?.. Мерзость!.. Вздумай у меня только в адъютанты... Я тебя научу, как служить... А то просвирки!.. Что выдумал, молодчик?.. Я с заднего крыльца не забегал. Помни это, тихоня! А еще Ветлугин! В кого ты? — презрительно закончил адмирал.

Гриша слушал, бледный, давно опустив свои прелестные глаза. Все испытывали тяжелое чувство, и Анна, казалось, страдала более всех за брата, которому отец бросал в глаза

такие обвинения.

Между тем Никандр, бесстрастный и мрачный, уже целую минуту стоял около адмирала с блюдом жаркого. Адмирал наконец повернул голову и взял кусок телятины. Он ел и по временам раздражался отрывистыми фразами:

— Шиш в кармане, а тоже: «шампанского»!.. Брандахлысты!.. Просвирку?! Лакейство... Нечего сказать: служаки...

Наконец он смолк, и все вздохнули свободнее. Остальным не попало. Туча иссякла.

— А ты что, Анна?.. Нездорова? — вдруг обратился адмирал к дочери, заметив ее бледное лицо.

Тон его был, по обыкновению, сух и резок, но в нем звучала нежная нотка.

Это внимание, необыкновенно редкое со стороны адмирала, смутило Анну своею неожиданностью, и она первое мгновение молчала.

— Глуха ты, что ли? Я спрашиваю: нездорова?

— Нет, я здорова, папенька...

— Бледна... Выпей марсалы! — резко при-

казал адмирал.

Анна послушно выпила полрюмки марсалы.

— Дохлые вы все какие-то! — кинул адмирал с презрительным сожалением, покосясь на обеих дочерей, и поднялся с места.

Все встали и начали креститься, за исключением адмирала. Затем дети поклонились отцу и стали подходить к ручке адмиральши.

Адмирал прошел к себе, а остальные направились на половину адмиральши пить кофе. Адмиралу кофе подавали в кабинет.

Один лишь Сережа, несмотря на просьбы Анны, оставался в столовой, решительный, взволнованный, готовый исполнить свое намерение. Уж в голове его готова была горячая речь, которой он надеялся тронуть грозного адмирала.

VII

И, несмотря на решимость, Сережа все-таки испытывал жестокий страх при мысли, что вот сейчас он пойдет к грозному адмиралу. Этот страх пред отцом оставался еще с детства, когда, бывало, после каждого утреннего посещения отцовского кабинета для пожела-

ния папеньке доброго утра, няня Аксинья обязательно должна была менять ребенку панталончики, — такой панический трепет навел один вид грозного адмирала на впечатлительного ребенка.

Детство пролетело быстро, и Сережу с юга отправили в морской корпус. Оттуда он ходил по праздникам к доброй и умной тетке, сестре матери, у которой было совсем не так, как дома. У тетки чувствовалось свободно и легко. Дядя был старый профессор, мягкий и ласковый. К ним ходили учителя и студенты, и слышались совсем иные речи. Под влиянием этой обстановки и этих речей и выросал Сережа, пока адмирал не переехал в Петербург, и Сереже опять приходилось проводить праздники в отчем доме.

Но семя уже было заброшено в душу юноши, да и время было горячее, увлекавшее не одних юношей. И Сережа в корпусе упивался журналами, читал Белинского, обожал Добролюбова и, посещая иногда тетку, слушал восторженные речи людей, приветствовавших зарю обновления, жаждавших света знания...

Сережа все еще стоял у окна в столовой и

не решался идти. Двери кабинета были открыты. Адмирал еще не ушел спать, а сидел за письменным столом и отхлебывал маленькими глотками кофе.

«Уж не поговорить ли завтра утром?» — промелькнуло в голове юноши.

Но в это мгновение Анна появилась в дверях столовой, и Сереже вдруг стало стыдно за свое малодушие. Он сделал ей знак рукой и с отвагой охотника, идущего в берлогу медведя, несмотря на умоляющий шепот Анны, храбро вошел в кабинет и в ту же секунду совсем забыл свою давно приготовленную речь.

Грозный адмирал поднял голову и, казалось, глядел не особенно сурово.

— Папенька, — начал Сережа нетвердым, дрожащим голосом, — я пришел к вам с большой, большой просьбой, от которой зависит вся моя будущая жизнь...

Этот горячий, взволнованный тон, это возбужденное открытое лицо юноши, с дрожавшими на глазах слезами, в первую минуту изумили адмирала.

— Какая там будущая жизнь?.. Что нужно? — удивленно спросил он.

И глаза адмирала зажглись огоньком. Ключие его усы заходили. Он, видимо, еще сдерживался и даже иронически улыбался, намереваясь сперва поиграть с этим смелым «щенком».

— Я говорю: разрешите мне поступить в университет! — повторил Сережа уже более твердым голосом.

Это было уж слишком! Адмирал, казалось, не верил своим ушам.

— В университет!! Бунтовать?! И ты, щенок, осмелился просить! Ты смел, негодяй?.. Я тебе дам университет, пащенку эдакому!

Сережа вспыхнул, и ноздри его задрожали, как у степного коника. Какая-то волна подхватила его. Он смело взглянул в лицо адмирала и сказал:

— Я вас серьезно прошу об этом, но если вы не позволите, я все равно...

Бледный и грозный вскочил адмирал, как ужаленный, с кресла. С секунду он уставил свои стальные глаза на сына. Скулы его ходили. Он весь вздрагивал.

— Мерзавец! Ты смел?..

И с поднятым кулаком и с искаженным от

гнева лицом он двинулся к сыну.

Сережа стал белей рубашки, и его черные глаза заблестели, как у волчонка. Он отступил шага два назад и, инстинктивно сжимая кулаки, крикнул каким-то отчаянным голосом, в котором были и угроза и мольба:

— Убейте, если хотите, меня, но бить я себя не позволю! Слышите... Я не боюсь вас!

Глаза обоих встретились, как две молнии. Должно быть, в глазах Сережи было что-то такое страшное и решительное, что грозный адмирал вдруг остановился, опустил кулак и каким-то подавленным, хриплым голосом произнес:

— Вон отсюда, мерзавец!

Сережа вышел, весь дрожа от волнения, чувствуя какой-то жгучий трепет и в то же время радостное ощущение одержанной победы над грозным адмиралом. Теперь уж он его физически не боялся, и ему вдруг стало жаль отца.

Анна, видевшая сцепу в кабинете, трепещущая и скорбная, встретила брата в коридоре, увела в свою комнату и, усадив на кушетку, крепко обняла его и залилась слезами. Се-

режа улыбался и плакал, утешая сестру.

А грозный адмирал как сел в кресло, так и закаменел в нем. Неподвижно просидел он весь вечер и все, казалось, не мог сообразить происшедшего. До того все это было невозможно, до того непонятно адмиралу, привыкшему к безусловному повиновению и не знавшему никогда никакой препоны своей воле. И вдруг этот щенок! Эти решительные, смелые глаза! Уж не перевернулся ли свет?..

Он переживал едва ли не впервые горечь стыда и унижения и невольно чувствовал, что побежден щенком, — чувствовал, и злоба охватывала старика.

Но, несмотря на эту злобу, когда он пережил ее остроту, там, где-то в глубине его души, пробивалось невольное чувство уважения к этому смелому, энергичному щенку. И отцовская кровь говорила, что этот щенок — его сын по характеру.

Все домашние, кроме Анны; были поражены и возмущены поступком Сережи. Адмиральша всплакнула, говорила, что дети ее в гроб сведут (хотя трудно было ожидать этого, судя по ее наружности), и бранила Сережу. Те-

перь он не может показаться на глаза отцу, пока отец его не простит... И как он смел противоречить отцу? Гадкий мальчишка! Сережа слушал упреки матери самым покорным образом и, когда адмиральша кончила, поцеловал ее так детски-горячо, что адмиральша опять всплакнула, послала Анну в спальню за флаконом со спиртом и внезапно объявила, что она совсем больна. И, в подтверждение этого факта, она приняла томный вид, легла на диван, велела покрыть себя шалью и принести французский роман.

Вера прямо объявила, что Сережа помещался, а Гриша прошипел, что Сереже несдобровать...

— Попадет он куда-нибудь! — многозначительно прибавил Гриша...

— Будь уверен, что только не в адъютанты, — поддразнил Сережа.

Весь вечер он провел у Анны в комнате. Чай туда ему подал сам Никандр и так сочувственно глядел на «барчука» и подал ему таких вкусных кренделей, что Сережа особенно горячо поблагодарил его и сказал:

— Скоро волю объявят, Никандр Ивано-

вич...

— То-то... скоро, говорят, Сергей Алексеич... А вы не отчаивайтесь, — неожиданно прибавил Никандр, — потерпите, и вам воля будет!..

На следующее утро адмирал надел мундир и поехал к морскому министру просить о немедленном назначении Сережи на корвет, отправляющийся через две недели в кругосветное плавание на три года.

Министр с удовольствием обещал исполнить желание адмирала, хоть и несколько удивился такому желанию...

— Сын ваш кончает курс... Осталось всего полгода... Будущим летом и отправили бы молодца, ваше высокопревосходительство... Или очень уж хочется ему в море?

— Он-то не хочет, да я этого хочу, ваше превосходительство.

— А что, разве пошаливает?

— Сын мой, ваше превосходительство, не пошаливает! — внушительно ответил адмирал. — Он честный и смелый молодой человек, но... захотел вдруг в студенты... Так пусть проветрится в море... Дурь-то эта и выйдет-с.

— Пусть проветрится!.. Это вы отличное средство придумали, Алексей Петрович!.. — засмеялся министр. — А то в студенты!! С чем это сообразно?!

Такого сюрприза со стороны адмирала юный маркиз Поза не ожидал, сидя в корпусе и мечтая после производства выйти в отставку и поступить в университет.

Вместо университета пришлось торопливо собираться и во что бы то ни стало примириться с грозным адмиралом перед долгой разлукой.

VIII

До ухода корвета в море оставалось лишь три дня, а Сережа все еще не получал разрешения показаться на глаза адмирала. Адмирал словно забыл о сыне и ни единым словом не упоминал о нем при домашних. Те, в свою очередь, остерегались при отце говорить о Сереже.

Бедная адмиральша не знала, как и быть. Неужели Сережа так-таки и уйдет на целые три года в кругосветное плавание, не прощенный отцом и не простившись с ним перед долгой разлукой? Это обстоятельство крайне

сокрушало добрую женщину; она немало пролила слез и немало фантазировала о том, как бы потрогательнее примирить отца с сыном и самой принять в этом примирении деятельное участие, — но, разумеется, все только ограничилось одними чувствительными мечтами несколько сентиментальной адмиральши. Заговорить с мужем о Сереже она не осмеливалась, очень хорошо зная, что это ни к чему не поведет и что муж на нее же раскричится. В подобных случаях адмирал обыкновенно сам объявлял через нее помилование опальному члену семьи, и лишь после такого объявления подвергшийся отцовской опале мог являться на глаза отцу без риска быть выгнанным.

Случалось, что такие опалы длились долго, и адмиральша помнила, как несколько лет тому назад старший сын Василий целых два месяца не допускался к отцу, вызвав его гнев каким-то неосторожно сказанным словом противоречия. А этот отчаянный мальчишка, этот безумный Сережа совершил поступок, неслыханный в преданиях ветлугинского дома. Мало того, что он дерзнул перечить отцу,

он еще осмелился угрожать и сказать, что не боится его?!

«И ведь действительно не испугался!» — с изумлением думала адмиральша, не понимая, как это можно не бояться Алексея Петровича. А главное, после всего, что позволил себе дерзкий сын, — он вышел целым и невредимым из отцовского кабинета. Эта безнаказанность особенно поражала и ставила в тупик Анну Николаевну, помнившую былые расправы сурового отца с детьми. Она решительно не могла сообразить, как могло случиться подобное чудо.

При таких обстоятельствах страшно было и приступить к адмиралу, тем более, что последнее время он был неприступно суров. Он придирался ко всем домашним, кричал за обедом на сыновей, особенно на Гришу, один покорно-почтительный вид которого приводил, казалось, адмирала в раздражение, распекал дочерей и жену. Не далее как на днях она просила у мужа позволения сходить дочерям к тетке, и когда адмирал сказал, что «нельзя», адмиральша имела неосторожность осведомиться: «Отчего нельзя?»

— Оттого, что земля кругла! Понимаешь, сударыня? — крикнул на нее адмирал, сверкнув очами.

Доставалось за это время и слугам. Никандр был несколько раз обруган, а Ефрем и повар Ларион жестоко избиты за какую-то неисправность. Одним словом, грозный адмирал бушевал, словно бы желая удостовериться после сцены с Сережей, что все остальные его подданные по-прежнему трепещут перед ним, покорные его воле.

Убедившись в этом, адмирал понемногу стал «отходить».

Не решаясь говорить с мужем о Сереже прямо, адмиральша, сокрушавшаяся все более и более по мере приближения дня ухода корвета, отважилась, наконец, напомнить о сыне стороной и, войдя в кабинет адмирала, спросила уныло-жалобным тоном:

— Ты позволишь нам, Алексей Петрович, проводить Сережу?.. Через три дня корвет уходит... Можно тогда поехать в Кронштадт?

Адмирал бросил на жену презрительно-удивленный взгляд и ответил:

— Дурацкий вопрос! Конечно, проводите...

И пусть все братья проводят. Дай знать своему балбесу Леониду!

И с этими словами Ветлугин опустил глаза на книгу, делая вид, что занят и разговаривать не желает.

Адмиральша ушла из кабинета грустная.

«Он, очевидно, не хочет простить Сережу!» — думала она, не получив объявления о помиловании строптивного сына.

А «строптивный сын» все это время приходил в отчий дом и уходил из него с заднего крыльца. Большую часть времени он проводил в комнате Анны, куда никогда не заглядывал отец. Там же он и ночевал, а сестра перебиралась к матери. Туда же ему потихоньку Никандр приносил обед и подавал чай. Все были уверены, что адмирал, отдавший приказание не пускать Сережу в дом, не знает о присутствии сына, но адмирал отлично знал об этом, хотя и делал вид, что ничего не знает.

Мать и Анна заботливо снарядили Сережу: они сделали ему статское платье и дюжину голландских рубашек, чтобы ему было в чем съезжать на берег в заграничных портах, и

снабдили на дорогу деньгами — ведь до производства в офицеры Сережа никакого жалования получать не будет! На снаряжение сына мать принуждена была заложить брильянтовую брошь, да Анна великодушно отдала своему любимцу весь свой капитал, сто рублей, подаренные ей отцом на именины. Не забыла Сережу и тетка.

IX

Потерпев неудачу в своей дипломатической миссии, адмиральша вошла к Анне и, увидев, что Сережа и сестра весело и оживленно беседуют, приняла обиженно-страдальческий вид и рассказала о своей бесплодной попытке перед адмиралом в самом мрачном тоне.

— Послушай, Сережа! — обратилась она вслед за тем к сыну, — отец тебя не простит... Ты так и уйдешь без отцовского благословения! — продолжала адмиральша, забывшая, вероятно, что адмирал никогда не благословлял детей и вообще не мог терпеть всяких чувствительных сцен. — Ведь это ужасно! Ты в самом деле страшно виноват перед отцом... Страшно виноват! — повторяла она. — А меж-

ду тем ты и ухом не ведешь. Сидишь тут и весело разговариваешь в то время, когда я хлопочу о твоём прощении.

— Но позвольте, маменька... — начал было Сережа.

— Ах, не спорь, пожалуйста. Не огорчай меня ещё больше. И без того я из-за тебя не сплю ночей. Вы меня все, кажется, в гроб сведете! — прибавила свою обычную фразу адмиральша, готовая и любившая поплакать при каждом удобном случае и необыкновенно скоро переходившая от слез к смеху и обратно.

— Чего же вы хотите от Сережи? — вступилась Анна. — Вы только и говорите ему каждый день, что он виноват. Пожалейте и его...

Сережа ответил сестре благодарным взглядом и мягко сказал матери:

— Допустим, что я виноват, маменька, но дела уж не поправишь. Отец не хочет даже проститься со мной... Что же мне делать?

Адмиральша несколько секунд молчала и затем, словно бы осененная счастливой мыслью, значительно и торжественно произнесла:

— Знаешь, что я тебе посоветую, Сережа?

— Что, маменька?

— Иди сейчас к отцу (он не очень сердитый! — вставила адмиральша) и пади ему в ноги... Скажи, что ты сознаешь свою вину и вообще что-нибудь в этом роде. Чувство подскажет слова. Это его тронет. Он, наверное, простит и даст тебе денег! — совсем неожиданно прибавила адмиральша такой прозаический финал к своим чувствительным словам.

Но это предложение, видимо, не понравилось Сереже, и он ответил:

— Как же я буду говорить то, чего не чувствую? Я люблю отца, но не стану бросаться ему в ноги.

— Ну и дурак... и болван... и осел! — вдруг вспыхнула адмиральша. — И уходи без отцовского прощения!.. Нет, решительно, этот мальчишка сведет меня в могилу! — закончила она и, всхлипывая, ушла к себе в спальню.

Но не прошло и четверти часа, как она вернулась уже без слез на глазах, с двумя червонцами в руке.

— Вот тебе, Сережа! Неожиданные! — про-

говорила она со своей обычной нежностью, улыбаясь кроткою, чарующею улыбкой, и подала червонцы сыну. — Сейчас, совсем случайно, я их нашла у себя в комодке. Вообрази, Анюта, они завалились в щель, а я-то их месяц тому назад искала, помнишь? Еще бедную Настю подозревала... Теперь нашлись как раз кстати!..

Сережа с горячностью целовал нежную, пухлую руку матери.

— Пойдемте-ка, дети, ко мне чай пить... Твое любимое варенье будет, непокорный Адольф! — продолжала адмиральша с ласковою шуткой, обнимая Сережу... — В плавании таким вареньем не полакомишься. Идем! *О н* не заглянет к нам... *О н* сейчас куда-то уехал! — прибавила адмиральша успокоительным и веселым тоном.

И, когда они пили чай в ее маленькой гостиной, она так ласково и нежно глядела на Сережу и все подкладывала ему черной смородины щедрой рукой.

— *О н*, наверное, простится с тобой! Не может быть, чтобы не простился!.. Ведь ты на три года уходишь, мой милый! — говорила

адмиральша, видимо желая утешить и себя и Сережу.

— И я так думаю! — заметила Анна.

— Ну... еще бог весть, простит ли папенька! — вставила красивая Вера.

— Ты глупости говоришь, Вера!.. — с сердцем произнесла адмиральша.

— Да вы же сами говорили, что папенька не простит... Я повторяю ваши же слова! — язвительно прибавила Вера.

— Так что же, что я говорила?.. Ну, говорила, а теперь думаю иначе... А ты не каркай, как ворона! «Говорила»! Мало ли что скажешь! Отец вот позволил всем нам ехать в Кронштадт провожать Сережу! — прибавила адмиральша в виде веского аргумента в пользу прощения и с укоризной взглянула на дочь.

Х

Но прошел день, прошел другой, а грозный адмирал ни слова не проронил о Сереже, и адмиральша совсем упала духом, потеряв всякую надежду на прощение сына. Она — всегда благоговевшая перед мужем и признававшая его своим повелителем — теперь даже

позволила себе мысленно обвинять его, находя, что слишком жестоко так карать бедного мальчика, хотя бы и виноватого. И эти последние дни она с какой-то особенной страстной порывистостью ласкала своего Вениамина, проливая над ним слезы и кстати вспоминая, с болью в сердце, о своей грустной доле отверженной жены после рождения именно этого самого Сережи.

И все неверности мужа, все эти его связи с гувернантками, с боннами, няньками и горничными, почти на глазах, без всякой пощады ее женского самолюбия и достоинства жены, — всплывали с ядовитой горечью в воспоминаниях адмиральши, оскорбляя ее чувство затаенной ревности. И теперь он — адмиральша хорошо это знала, умея узнавать любовные шашни мужа с каким-то особенным искусством, — имеет любовницу, эту «подлую» Варвару, бывшую ее же горничной, и, конечно, тратит на нее деньги, а вот несчастный мальчик, сын его, уходит в плавание на три года, а отец не подумал даже об его нуждах.

«Он просто ненавидит Сережу!» — решила адмиральша и сквозь слезы глядела на румя-

ного и здорового юношу с сожалением и скорбью.

— И пусть не прощается... Пусть злится! — говорила теперь адмиральша сыну. — Ты не сокрушайся об этом, мой мальчик... Он потом одумается и простит тебя. Не преступник же ты в самом деле?

В этот канун ухода Сережи в плавание семья адмирала сидела за обедом грустная и подавленная. Отсутствие за столом опального младшего Ветлугина накануне долгой разлуки легло на всех мрачной тенью. Все сидели молча, потупив глаза. Адмиральша то и дело вздыхала и подносила надушенный платок к своим раскрасневшимся от слез глазам. Даже Никандр был суровее обыкновенного и своим отчаянно-мрачным видом напоминал добросовестного участника похоронной процессии.

Грозный адмирал не удостоивал обратить внимание на это всеобщее уныние и, словно в пику всем, был в отличном расположении духа. Он не поводил плечами, не крякал и, к общему удивлению, не обругал явившегося к обеду блестящего Леонида за его письмо с просьбой вперед жалованья. Он только при

виде Леонида заметил:

— Пожаловал наконец?

Как и всегда, адмирал ел с большим аппетитом, во время обеда не проронил ни слова и, казалось, ни на кого не глядел. Но Анна, хорошо изучившая отца и наблюдавшая за ним с тревогой в сердце за брата, совсем неожиданно перехватила добрый взгляд отца, брошенный на нее и тотчас же хмуро отведенный, и в ту же минуту почему-то решила (хотя и не могла бы объяснить: почему?), что отец простил Сережу и непременно позовет к себе.

И вся она внезапно просветлела. В ее больших добрых серых глазах лучилась радостная улыбка.

Словно бы понимая ее мысли и причину этой перемены настроения, грозный адмирал кинул ей, вставая из-за стола:

— Зайди ко мне!

Анна поняла, зачем он ее зовет, и, радостная и счастливая, без обычной робости, вошла в кабинет вслед за адмиралом.

Адмирал подошел к письменному столу и, выдвигая ящик, спросил:

— Деньги нужны?

— Вы, папенька, недавно подарили мне сто рублей.

— А их нет? Отдала своему любимцу?

Смущенная Анна отвечала, что отдала.

— То-то. Вот возьми! — продолжал своим обычным резким тоном адмирал, подавая сторублевую бумажку. — Не транжирь... пригодятся! Не благодари... не люблю! — остановил он Анну, открывшую было рот. — И без того понимаю людей! — прибавил грозный адмирал и совершенно неожиданно для Анны потрепал ее по щеке своей сухой морщинистой рукой. — Пстой! Отдай матери!

С этими словами Ветлугин достал из ящика толстую пачку и вручил ее Анне.

— Небось намотали на этого сумасброда? Глаза выплакали? Распустили нюни? Глупо! Ему же в пользу... Ну, ступай, да пошли сюда Сергея. Он там у вас прячется... знаю!

У адмиральши на половине все были в тревожном ожидании и, когда увидели на пороге радостное лицо Анны, все облегченно вздохнули, предчувствуя добрые вести.

— Иди, Сережа, к папеньке. Он зовет те-

бя! — проговорила Анна, бросаясь на шею к брату.

— Только умоляю тебя, Сережа... будь благодарен! — взволнованно промолвила адмиральша, готовая всплакнуть, на этот раз от радости. — Не забывай, что ты виноват, и проси прощения...

— Смотри, не надури, Сережа! — напутствовали его братья. — Из-за тебя всем нам попадет!

Слегка побледневший от волнения, Сережа быстро направился к отцовскому кабинету и постучал в затворенные двери.

— Входи! — раздался голос адмирала.

XI

Войдя в кабинет, Сережа остановился у порога.

— Здравствуй, Сергей! — произнес адмирал, поднимая голову и пристально взглядывая на взволнованного юношу.

Он в первый раз вместо «Сережи» называл сына «Сергеем» и этой новой кличкой как бы производил его в чин взрослого.

— Здравствуйте, папенька! — ответил, кланяясь, Сережа и не двигался с места, ожидая

отцовского зова.

— Двери! — возвысил голос старик.

И когда Сережа торопливо запер за собой двери, адмирал проговорил:

— Подойди-ка поближе, смельчак!

— Простите меня, папенька, — начал было Сережа чуть-чуть дрогнувшим голосом, приближаясь к отцу.

Но адмирал сердито крикнул и повелительным жестом руки остановил Сережу. Этот жест красноречиво говорил, что адмирал не желает никаких объяснений.

— Смел очень! — кинул он, когда Сережа приблизился. — Помни: не всегда смелость города берет, особенно на службе. Можно и головы не сносить!

И вслед за этими словами адмирал протянул свою костлявую руку.

Сережа нагнулся, чтобы поцеловать, но адмирал быстро ее отдернул, затем снова протянул и крепко пожал Сережину руку.

Этим пожатием адмирал, казалось, не только прощал сына, но и выражал, как справедливый человек, невольное уважение к юному «смельчаку», не побоявшемуся защи-

тить свое человеческое достоинство. И Сережа, тронутый безмолвным прощением, без упреков и угроз, которых ожидал, почувствовал, что с этой минуты между отцом и ним устанавливаются новые отношения и что он, в глазах грозного старика, уже не прежний «щенок». Он понял, как трудно было такому человеку, как Ветлугин, перенести и простить его смелую и дерзкую выходку. А между тем в неприветном, по-видимому, взгляде этих серых, холодных глаз Сережа, никогда не знавший никакой ласки вечно сурового отца, инстинктивно угадывал отцовское, тщательно скрываемое чувство. И это еще более умилило Сережу.

— Когда снимаетесь? — спрашивал адмирал, взглядывая на своего Вениамина и втайне любуясь его открытым и смелым лицом.

— Завтра, в три часа дня.

— Конечно, под парами уйдете? — с прерзительной гримасой продолжал Ветлугин. — А я так на стопушечном корабле в ворота Купеческой гавани в Кронштадте под парусами входил... И ничего... не били судов... А тебе «самоварником» придется быть... По крайней

мере спокойно! — язвительно прибавил адмирал.

— Мы большую часть плавания будем под парусами ходить! — обиженно заметил Сережа, заступаясь за честь своего корвета.

— А чуть опасные места или в порт входить... дымить будете? Ну, что делать... Дымите себе, дымите!.. Ночуешь на корвете?

— На корвете. С шестичасовым пароходом уезжаю в Кронштадт!

Адмирал, никогда в жизни никуда не опаздывавший и всегда торопивший своих домашних, имевших несчастье куда-нибудь с ним отправляться, взглянул на часы.

— Еще час с четвертью времени! — заметил он. — Ничего с собой не берешь?

— Все на корвете.

— А часов у тебя нет?

— Нет.

— Вот возьми... верные. Сам выверял! Пять секунд ухода в сутки, знай! — говорил адмирал, подавая Сереже серебряные глухие часы с такой же цепочкой, купленные им для сына еще неделю тому назад. — Смотри, заводи в определенное время! — прибавил он строго.

Сережа поблагодарил и надел часы.

После минутного молчания адмирал значительно произнес:

— Слушай, Сергей! Мое желание, чтобы ты служил во флоте. Твои отец, дед и прадед — моряки. Пусть же старший и младший из моих сыновей сохраняют во флоте имя Ветлугиных! Из тебя может выйти бравый моряк... Ты смел и находчив... Поплавай... приучись... Увидишь, что морская служба хорошая. Ты полюбишь ее и не бросишь, чтобы сделаться статской сорокой или каким-нибудь пустым шаркуном... Для того я и просил министра назначить тебя в плавание.

Сережа молчал, но решимость его исполнить свой «план» не поколебалась после слов адмирала. Он все-таки будет «сорокой», не сделавшись, конечно, «пустым шаркуном». Но грозный адмирал, моряк до мозга костей, был уверен, что Сережа полюбит море и службу и пойдет по стопам отца, и, разумеется, не предвидел в эти минуты своих будущих разочарований и бессильного старческого гнева, когда сын настоит на отставке и, к изумлению отца, откажется от всякой слу-

жебной карьеры.

— Уверен, Сергей, — продолжал Ветлугин, и голос его звучал торжественно строго, — что ты будешь честно служить отечеству и престолу. Твой отец ни у кого не искал, ни перед кем не кланялся, а тянул лямку по совести, исполняя свой долг. Ни казны, ни матроса не обкрадывал. Есть такие негодяи... У меня, кроме жалованья да деревушки от покойного батюшки, ничего нет! — гордо прибавил адмирал.

Сережа жадно ловил эти слова, и радостное, горделивое чувство за отца сияло на лице сына.

— Будь справедлив... Не лицеприятствуй... Не вреди товарищам. Будь строг, но без вины матросов не наказывай, заботься о них... не позволяй их обкрадывать. Я был в свое время строг, очень даже строг по службе... тогда пощады не давали. Но, во всяком случае, не будь жесток с матросами, чтобы тебе не пришлось потом прибегать к беспощадным мерам, к каким однажды пришлось прибегнуть мне... Избави тебя бог от этого!

Сережа смутно слышал о чем-то ужасном,

бывшем в жизни отца, но что именно было, никто из домашних не знал, и Ветлугин никогда об этом не говорил. И юноша замер в страхе ожидания чего-то страшного. Он и хотел знать истину, и боялся ее.

Грозный адмирал смолк и задумался. Точно какая-то тень внезапно пронеслась над ним и омрачила его суровое, непреклонное лицо. И он, опустив голову, несколько времени пребывал в безмолвии, словно бы переживал в эту минуту давно забытый эпизод из далекого прошлого, воспоминание о котором даже и в таком железном человеке, как Ветлугин, по-видимому, вызывало тяжелое впечатление.

Наконец он поднял голову и сказал:

— Все равно, ты впоследствии услышишь. Так лучше узнай от меня.

Грозный адмирал сердито крякнул и начал:

— В двадцать третьем году я был послан в дальний вояж[32] на шлюпе[33] «Отважном» как один из лучших капитанов... Тогда ведь в дальний вояж ходили очень редко, и попасть в такое плавание было большой честью... Ко-

гда я имел стоянку в Гавр-де-Грасе, ночью на шлюпе вдруг вспыхнул бунт... Меня чуть не убили интрипелем[34]...Я положил на месте злодея и пригрозил стрелять картечью из орудия... Бунт был подавлен в самом начале... Затем...

Старик на секунду остановился и еще мрачнее и суровее, словно то, что он станет рассказывать, было самое худшее, — продолжал, понижая голос:

— ...Затем я немедленно снялся с якоря, вышел в океан и повесил двух главных зачинщиков на ноках грот-марса-реи[35]. К рассвету я вернулся в Гавр принимать провизию...

Ветлугин смолк. Сережа был бледней рубашки. Он понял, почему у отца был бунт, и с невольным ужасом глядел на старика.

— Необходимо было! — прибавил, словно бы оправдывая этот поступок мести, грозный адмирал, поднимая на бледного потрясенного юношу глаза и тотчас же отводя их.

У Сережи подступали к горлу слезы. Его возмущенное сердце отказывалось приискать оправдание. Он не мог понять, что «необходи-

мо было» повесить двух человек за свою же вину и после того, как уж бунт был прекращен. Разнородные чувства наполняли его потрясенную душу: негодование и ужас, любовь и жалость к отцу, на совести которого лежит ужасное воспоминание.

— Теперь другие времена, другие порядки! — заговорил после молчания грозный адмирал. — Хотят без телесных наказаний выучить матроса, сохранить дисциплину и морской дух. Что ж? Попробуйте. Быть может, и удастся, хотя сомневаюсь.

— Наш капитан не сомневается, папенька! — взволнованно и горячо возразил Сережа. — У нас на корвете совсем не будет линьков.

— Не будет? Но распоряжения еще нет? Телесные наказания еще не отменены!

— Все равно... капитан не хочет их... И он отдал приказ, чтобы никто не смел бить матросов, и просил офицеров, чтобы они не ругались...

— И не ругались? — усмехнулся адмирал.

— Да, папенька... Наш капитан превосходный человек.

— Ну и поздравляю твоего капитана! — иронически воскликнул старик и нахмурил брови.

Вслед за тем адмирал поднялся с кресла и, подавая Сереже двадцать пять рублей, проговорил с обычной суровостью:

— Вот тебе на дорогу... Не мотай... Помни: я не кую денег. Рассчитывай на себя и бойся долгов... В портах, смотри, будь осторожнее... Всякие дамы там есть... Остерегайся... Ну, прощай... Служи хорошо... Раз в месяц пиши, как это вы, умники, без наказаний будете плавать с вашим капитаном и содержать в должном порядке военное судно! — язвительно прибавил старик. — Мать, братья и сестры тебя завтра проводят, а я в Кронштадт не поеду... Нечего мне смотреть на ваш корвет. Я привык видеть суда в щегольском порядке, а у вас, воображаю, порядок?! От одного угля сколько пыли?! Чай, чухонская лайба, а не военное судно?!

Сережа хотел было возразить, что их корвет в отличном порядке и нисколько не похож на лайбу, но адмирал, видимо, не желал слушать и сказал, протягивая руку:

— Ну, будь здоров. Ступай! Не опоздай, смотри, на корвет!

И, крепко пожав Сережину руку, он направился в спальню, чтобы, по обыкновению, отдохнуть час после обеда.

Таково было прощание грозного адмирала с сыном перед трехлетней разлукой.

XII

— Ну, что? Как он тебя простил, Сережа? Как все было? Рассказывай, рассказывай по порядку. Ну, ты вошел к нему в кабинет... А он что?

Таковыми словами встретила Сережу адмиральша, горевшая любопытством и очень любившая, чтобы ей все рассказывали с мелочными подробностями и с чувством.

Но Сережа, грустный и задумчивый, еще не освободившийся от первого впечатления, вызванного отцовским признанием, должен был разочаровать адмиральшу. Прощение произошло почти без слов. Никаких трогательных сцен не было.

— И отец не бранил тебя? Не упрекал? — удивлялась мать.

— Нет, маменька.

— О чем же вы так долго говорили?

— Отец давал советы насчет службы!..

— А денег дал?

— Дал и подарил часы.

— Ну и слава богу, что все так кончилось!..

Я, впрочем, предвидела...

— Напротив, маменька, вы говорили, что папенька не простит! — снова съязвила красивая Вера.

— Вера! Выведешь ты меня из терпения, гадкая девчонка! — вспылила адмиральша.

— Вера! Как можно раздражать маман? — вступился Гриша.

— Ну, ты... просвирки... Пожалуйста, без замечаний! — огрызнулась Вера и ушла.

Об отцовском признании Сережа матери не сказал ни слова, но, оставшись наедине с Анной, в ее комнате, он все рассказал сестре и, окончив рассказ, воскликнул:

— Ах, Ньюта, голубчик... Ведь это ужасно... И как тяжело за отца!

— Ему, верно, еще тяжелее! — ответила потрясенная рассказом Анна. — Но не нам судить папеньку, Сережа. Пусть его судят другие! — внушительно и серьезно прибавила

кроткая девушка.

В тот же вечер Сережа уехал в Кронштадт. На следующее утро вся семья адмирала приехала провожать Сережу на корвет. При прощании адмиральша дала волю слезам и возвратилась домой совсем расстроенная.

В тот же вечер адмирал спрашивал Анну:

— С кем Сергей помещен в каюте?

— С мичманом Лопатиным.

— Ну, что, молодцом он?.. Не раскисал?..

— Нет, папенька...

— То-то!.. — одобрительно заметил адмирал.

Когда на следующий день Ветлугин увидал за обедом, что жена его вытирает слезы, он сурово заметил:

— Все еще нюнишь?.. О Сергее нечего нюнить... Лучше поплачь о своем балбесе Леониде...

Адмиральша вопросительно взглянула на мужа.

— Да, о нем лучше пореви! Этот негодяй в долгу как в шелку. Утром ко мне приходили на него жаловаться... Не платит долгов... Я ни копейки не заплачу. Слышишь? — грозно

крикнул старик. — Пусть лучше этот подлец пулю в лоб себе пустит! Так и скажи ему!

XIII

По субботам адмирал неизменно обедал в английском клубе и оставался там часу до двенадцатого, играя в вист или в преферанс. Он любил игру и играл превосходно, не прижимисто, а, напротив, рискованно, но по большей не садился. «Шальных денег для этого у меня нет!» — замечал адмирал. Азартных игр Ветлугин не мог терпеть и строго наказывал сыновьям никогда в них не играть.

— В банк играют только дураки или негодяи, — часто говаривал он.

По вечерам в эти субботы, когда адмирал отсутствовал и в доме все чувствовали облегчение, к общительной и гостеприимной адмиральше приходили гости, преимущественно товарищи сыновей, молодые люди, которых притягивала красивая Вера, блондинка с пепельными волосами и черными насмешливыми глазами. Она умела очаровывать и играть людьми, эта холодная и эгоистическая девушка, но сама не увлекалась. Кокетничая со своими поклонниками, она втайне мечта-

ла о приличной партии, по рассудку, и возмущала старшую свою сестру Анну и своим бессердечным кокетством, и своими слишком практическими взглядами на брак.

И адмиральша с дочерьми и их гости бывали до крайности смущены и испуганы, когда адмирал совсем неожиданно появлялся на половине адмиральши, в ее маленькой красной гостиной, после одиннадцати часов, возвратившись из клуба. Не обращая никакого внимания на гостей и еле кивая головой на их усиленно почтительные поклоны, адмирал начинал тушить лампы, и засидевшиеся гости торопливо и смущенно прощались и уходили при общем тяжелом молчании.

— Довольно, наболтались. Спать пора! — сердито говорил адмирал и удалялся, пожимая гневно плечами.

Адмиральша благоразумно молчала в таких случаях.

Иногда, заметив покрасневшее и оживленное лицо красивой Веры, он останавливал на мгновение взгляд на дочери и презрительно кидал ей:

— Не очень-то виляй хвостом с мужчина-

ми, принцесса! Замочишь! Ишь расфуфырилась, фуфыра!.. Неприлично!..

Подобные внезапные посещения бывали, впрочем, весьма редки и всегда лишь после проигрыша в клубе. Проигрыш свыше десяти рублей приводил адмирала в дурное расположение духа, и Никандр, знавший уже по неистовому звонку, что адмирал возвращается с проигрышем, стремглав бежал отворять двери и становился мрачней, в ожидании какой-нибудь гневной придирки. Обыкновенно же адмирал делал вид, что не знает о гостях адмиральши, и, возвратившись из клуба, прямо шел к себе, раздевался и тотчас же засыпал, как убитый.

С своей стороны и адмиральша, любившая посидеть с гостями, принимала меры против неожиданных появлений адмирала, разгневшего так грубо ее знакомых. Приезда адмирала из клуба стерегли, и, как только раздавался его звонок, в гостиной адмиральши уменьшали огонь в лампе и все затихали, пока Никандр не сообщал кому-нибудь из молодых Ветлугиных, что адмирал разделся и лег почивать.

В одну из суббот Ветлугин возвратился из клуба мрачнее ночи. Против обыкновения, он не тотчас же лег спать. Облачившись в свой китайчатый халат, адмирал несколько времени ходил по кабинету, опустив голову, вздрагивая по временам точно от жестокой боли и судорожно сжимая кулаки. Губы его что-то шептали. Он присел затем к столу, написал своим крупным стариковским почерком телеграмму, сделав в десяти словах три грамматические ошибки, и, кликнув Никандра, стоявшего в страхе за дверями, велел немедленно ее отнести.

Когда, минут через двадцать, Никандр вернулся, в кабинете еще был огонь. Старый камердинер осторожно приотворил двери и застал адмирала сидящим в кресле перед письменным столом. Лицо его было неподвижно-сурово, и взгляд серых стальных глаз спокойно-жесток. Таким Никандр давно уже не видал своего барина и понял, что случилось что-то особенное с Леонидом Алексеичем. Телеграмма была адресована к нему в Царское село.

Никандр положил на стол телеграфную

квитанцию и сдачу.

— Барыня не спит? — спросил адмирал.

— Изволят ложиться.

— Меня не жди... Ступай!

Но Никандр, заперев двери, не ушел спать, а оставался в столовой, в глубокой темноте. Удалился он лишь тогда, когда огонь в каминете исчез и из спальни донесся кашель.

Гости адмиральши разошлись, как только Никандр доложил Анне, что барин очень сердит и посылает телеграмму Леониду Алексеичу. Анна прочла телеграмму. В ней адмирал вызывал сына с первым поездом.

Эта телеграмма встревожила Анну. Отец почти никогда не посылал телеграмм и вообще не любил их, находя, что депеши большею частью сообщают такие глупости, которые можно сообщить и в письме.

«Значит, случилось что-нибудь важное!» — решила Анна.

И страх за брата омрачил ее лицо и сделал ее лучистые глаза грустными.

«Каких натворил еще глупостей этот беспутный, легкомысленный Леонид? Опять приходил какой-нибудь кредитор, или отец

узнал, что брат кутит и играет в банк? Тогда отец, наверное, исполнит свою угрозу — переведет Леонида в армию, на Кавказ, и там, в глуши, бедный бесхарактерный брат может совсем пропасть... Это было бы ужасно! И сколько раз его предупреждали: и мать и она! И сколько раз он, весело смеясь, давал им слово, что перестанет кутить. Вот теперь и будет история!»

Так раздумывала Анна, всегда близко к сердцу принимавшая всякие домашние неурядицы и горячо любившая всех членов семьи. Она жалела беспутного брата, возбудившего, как видно, серьезный гнев отца, представляла себе ужасную сцену в кабинете и придумывала, чем бы ей помочь Леониду и как бы предотвратить грозу. Но ничего она придумать не могла, и решила только завтра же, как приедет брат, отдать ему свои сто рублей.

Не желая огорчать теперь же мать, Анна не сказала ей о телеграмме к ее любимцу, и адмиральша, после ухода гостей, раздевалась при помощи молодой и миловидной горничной Насти, веселая и довольная после прият-

но проведенного вечера. Еще бы! Сегодня один из гостей, известный молодой юрист и немножко литератор, рассказал ей две необыкновенные романические истории и притом рассказал превосходно: со всеми подробностями и драматическими перипетиями и трагической развязкой одной истории, заставившей адмиральшу несколько раз подносить батистовый платок к глазам.

Даже сообщенное известие, что адмирал вернулся из клуба сердитый, не испортило отличного расположения духа адмиральши.

«Верно, проиграл, потому и сердитый!» — заключила она, продолжая вспоминать романические истории и рассчитывая завтра же рассказать их своей приятельнице, адмиральше Дубасовой, такой же охотнице до них, как и сама адмиральша.

Когда Анна зашла к матери в спальню проститься, адмиральша спросила ее по-французски:

— Ты как думаешь, Анята... Ивин рассказывал действительные происшествия или сочинил их?

— А бог его знает!

— Во всяком случае, необыкновенно интересно, если даже и сочинил... Ведь все это могло быть... И он уверяет, что было...

— Значит, было...

— Но он не хотел назвать фамилий героев и героинь... И, наконец, я слышала бы об этой истории... Сдается мне, что Ивин сочинил все... Но как прелестно он говорит, Анюта!.. И вообще он очень интересен... А бедный Чернов, заметила, Анюта?

— Что, маменька?

— У него на лице что-то фатальное... страдальческое... Совсем влюблен в Веру... Вот увидишь, на днях он придет делать предложение.

— И сделает глупость! — с живостью промолвила, невольно краснея, Анна.

— Глупость?

— Еще бы! Ведь Вера не пойдет за него.

— Это почему? Чернов такой милый и порядочный молодой человек... И из хорошей семьи. И Вера сегодня была с ним особенно любезна.

— Она любит со всеми кокетничать, наша Вера, но ее сердце спокойно, и едва ли она

считает Чернова достойным быть ее супругом! — промолвила, по-видимому спокойно, Анна.

Но голос ее дрогнул. Этот разговор задел больную струну ее горячего сердца. Она сама давно уже втайне питала любовь к Чернову, влюбленному в ее сестру.

— Ну и дура эта Вера! Принца ей, что ли, надо, чтобы влюбиться? — воскликнула адмиральша.

Анна не сочла нужным объяснить, что холодной и практической Вере нужна «блестящая партия», то есть муж с положением и большими средствами, и что сильно любить она не способна. Анна промолчала и, простившись с матерью, медленно вышла из комнаты, оставив адмиральшу в неприятном недоумении, точно перед совершенно неожиданной развязкой романа. Дело в том, что с некоторого времени адмиральша задалась мыслью соединить два любящие сердца, уверенная, что Вере Чернов очень нравится. Что Чернов влюблен, в этом не было сомнения. Оставалось только сделать предложение. Отец, наверное, согласился бы на этот брак.

Он, видимо, благоволил к молодому капитан-лейтенанту, пользовавшемуся репутацией образованного и блестящего моряка и уже назначенному, несмотря на свои двадцать шесть лет, командиром клипера. И вдруг все эти ее планы должны были рушиться. Анна, кажется, права.

«Глупая, холодная девчонка!» — подумала адмиральша и отпустила спать свою милую, с вздернутым задорно носом, Настю, на которую уж адмирал в последнее время начинал пристально заглядываться и раз даже, встретив Настю в коридоре и любуясь ее «товаром» с видом опытного знатока, взял ее за подбородок и как-то особенно крякнул.

XIV

Никандр только что помолился и собирался лечь спать в своей тесной каморке, рядом с кухней, как вдруг среди тишины, нарушаемой лишь по временам храпом повара Лариона, на кухне звякнул чей-то нетерпеливый звонок.

Никандр, со свечой в руке, пошел отворять двери и был изумлен, увидав перед собой Леонида Ветлугина. Он был, видимо, смущен и

расстроен, этот блестящий красавец, высокий и статный блондин с большими черными, несколько наглыми, глазами, сводивший с ума немало женщин своею ослепительною красотой. Всегда веселый и смеющийся, он был теперь подавлен.

— Отец спит? — спросил он, входя на кухню.

— Недавно легли. Теперь, верно, почивают, Леонид Алексеич! — отвечал Никандр с какою-то особенной почтительной нежностью.

— А маменька?

— Барыня, верно, еще не спят...

— Ну, и отлично... Мне надо маменьку видеть.

— Пожалуйте... Я вам посвечу... Только дозвольте сюртук надеть...

Через минуту Никандр вернулся из каморки и сказал:

— А вам, Леонид Алексеич, барин час тому назад телеграмму послали.

— Телеграмму?

— Точно так-с... Просят завтра с первым поездом пожаловать.

Леонид как-то весь съежился и прошептал:

— Узнал уж?.. Ну, да все равно... Что, он очень сердит?

— Сердитые вернулись из клуба... и не сразу легли... В очень угрюмой задумчивости сидели... Да что такое случилось, Леонид Алексеич?

— Скверные, брат Никандр, дела!

— Бог даст, лучше будут, Леонид Алексеич!.. А я вот к вам с покорнейшей просьбой... Не откажите, Леонид Алексеич!.. — прибавил Никандр с почтительным поклоном.

— Какая просьба, Никандр?.. — удивился молодой Ветлугин.

— Быть может, вы временно в денежном затруднении-с, Леонид Алексеич... Так удостоите принять от слуги... Разживетесь, отдадите... У меня есть четыреста рублей... Скопил-с за время службы в вашем доме...

Леонид был обрадован.

— Спасибо, голубчик Никандр. Деньги мне до зарезу нужны... И завтра непременно, иначе беда... Я затем и к маменьке приехал... Мне много денег нужно... Попрошу ее где-нибудь достать... И у тебя возьму... Скоро возвращу...

— Об этом не извольте беспокоиться... Как будете от маменьки возвращаться, я вам их приготовлю... Искренне признателен, что приняли... и дай вам бог из беды выпутаться, Леонид Алексеич! — горячо проговорил Никандр.

— Беды-то много, Никандр... Много, братец!

Когда адмиральша увидела в этот поздний час своего любимца Леню, бледного и убитого, сердце матери екнуло от страха.

— Спасите, маменька! — проговорил Леонид.

И он стал объяснять, что ему нужно завтра же тысячу двести рублей: иначе он может попасть под суд.

— Ах, Леня, — произнесла только адмиральша и залилась слезами.

— Маменька! Слезы не помогут. Можете ли вы меня спасти? И без того мне плохо... Я должен выйти из полка и уже подал в отставку.

— В отставку?.. За что?..

— За что?.. За долги... На меня жаловались!.. — как-то неопределенно отвечал Леонид.

— Но что скажет отец?

— Что скажет? Он уже знает и завтра приказал явиться. Будет ругаться, как матрос, я знаю, и прикажет не являться на глаза. Так разве можно служить в нашем полку на жалованье да с теми несчастными сорока рублями в месяц, которые он мне давал?.. Посудите сами... К чему же отец разрешил мне служить в кавалерии?.. Ну, я и наделал долгов, думал попытать счастья в игре, не повезло, и у меня на шее пятнадцать тысяч долга.

Адмиральша ахнула при этой цифре.

— Кто ж их заплатит?..

— Разумеется, не отец... Он ведь предпочтет видеть меня скорей в гробу, чем заплатить за сына. Скарעד он... Но у меня есть выход... Я женюсь на богатой.

— На ком?

— На одной вдове... купчихе... И старше меня.

— Фи, Леня! Купчиха! Какой mauvais genre...[36] Ветлугин — на купчихе! Отец не позволит!

— Разбирать нечего, маменька. Или пулю в лоб, или женитьба. Я предпочитаю послед-

нее... Позволит ли отец, или нет, мне теперь все равно... Мне надо выпутаться... Но пока я еще не богат, выручите меня. Понимаете ли, мне нужно тысячу двести рублей не позже завтрашнего дня... Я бросался повсюду и наконец приехал к вам. На вас, маменька, последняя надежда... Дайте ваш фермуар[37], я его заложу... После свадьбы выкуплю.

— Леня, голубчик. А если отец узнает?

— Отец узнает? Что ж, вам лучше видеть меня под судом за растрату?

— Что ты, что ты, Леня?.. Как тебе не стыдно так говорить? Бери фермуар, если он может спасти тебя от позора, мой мальчик!

Сын бросился целовать руки матери и через четверть часа ушел, оставив мать в смятении и горе.

Никандр проводил молодого Ветлугина и почтительно вручил ему все свои сбережения.

— Завтра буду в одиннадцать часов! — проговорил Леонид, уходя.

— Слушаю-с, Леонид Алексеич... Быть может, папенька за ночь и «отойдут»! — прибавил Никандр, желая подбодрить молодого

Ветлугина.

Но эти ободряющие слова не утешили Леонида. Он с каким-то тупым страхом виноватого животного думал о завтрашнем объяснении с грозным адмиралом.

XV

За ночь адмирал «не отошел» и вышел к кофе мрачный и суровый. Выражение какой-то спокойной жестокости не сходило с его лица.

Отправляясь на обычную прогулку, адмирал сказал Никандру:

— Если без меня придет Леонид Алексич — пусть подождет.

Он вернулся ранее обыкновенного и тотчас же спросил:

— Он здесь?

— Никак нет. Еще не приезжали!

Все в доме уже знали, что с Леонидом случилась большая беда и что он выходит из полка. Адмиральша с трепетом ожидала свидания Леонида с отцом. Анна не смыкала всю ночь глаз и теперь сидела у себя в комнате, печальная, предчувствуя нечто страшное. Она знала непомерное самолюбие отца и по-

нимала, как должен быть он оскорблен и отставкой сына и, главное, этой невозможной, позорной женитьбой. Одна только Вера, по-видимому, довольно равнодушно относилась ко всей этой истории и думала, что жениться на богатой купчихе далеко не преступление.

Наконец, в одиннадцать часов приехал Леонид. Он был в своем блестящем мундире очень красив. Лицо его, бледное и взволнованное, выражало испуг. Глаза глядели растерянно.

— Ну, докладывай, Никандр, — проговорил он и хотел было улыбнуться, но вместо улыбки лицо его как-то болезненно искривилось.

Через минуту он входил в кабинет. Адмиральша в слезах послала ему из столовой благословение. Мрачный Никандр перекрестился.

При виде этого красавца сына адмирал вздрогнул и побледнел. Ненавистью и презрением дышало его жестокое лицо.

Он не обратил внимания на поклон сына и сказал:

— Затвори двери на ключ!

Когда Леонид затворил, адмирал глухим

голосом, точно что-то перехватывало ему горло, продолжал:

— Подойди ближе.

Леонид приблизился.

— Остановись и отвечай на вопросы.

Он примолк на минуту и спросил:

— Правда, что тебя выгоняют из полка за долги?

— Правда, папенька.

— Только за это?

— За это.

— Лжешь, подлец! Вчера мне все рассказал твой полковой командир.

Леонид в ужасе замер.

Адмирал продолжал допрос.

— Правда ли, что ты, носящий фамилию Ветлугина, взял деньги у бедной швеи, с которой был в связи, и не отдал ей денег, так что она принуждена была жаловаться командиру полка?

— Правда, — чуть слышно прошептал Леонид.

— Правда ли, что ты дал подложный вексель, подписанный чужим именем?

— Правда! — прошептал Леонид. — Но я

уплатил по этому векселю.

— Правда ли, наконец, что ты собираешься жениться на богатой вдове купца Поликарпова, бывшей содержанке князя Андросова?

— Да! — отвечал бледный как смерть Леонид.

— И после всего этого ты еще живешь на свете, — ты, опозоривший честное имя Ветлугиных? — продолжал адмирал хриплым шепотом.

Леонид молчал в тупом отчаянии.

— Послушай... Мертвые срама не имут. Если ты боишься, я тебе помогу... Хочешь? Пиши записку, что ты застрелился... Смерть лучше позорной жизни... Пистолет у меня есть...

Адмирал проговорил эти слова с ужасающим спокойствием, и в тоне его голоса как будто даже звучала примирительная нота.

Панический страх обуял Леонида при этом жестоком предложении. Он бросился к ногам отца и стал молить о пощаде.

Тогда произошла ужасная сцена. Адмирал моментально превратился в бешеного зверя.

— Так ты не хочешь, подлец?! — заревел он и, вскочив с кресла, стал топтать ногами

распростертого сына.

И когда тот, наконец, поднялся, адмирал начал бить кулаками красивое, когда-то счастливое, смеющееся лицо Леонида. Его тупая, безответная покорность, казалось, усиливала ярость адмирала. Он был невыразимо отвратителен в эти минуты, этот деспот-зверь, не знавший пощады.

Отчаянный стук Анны в двери несколько отрезвил бешеного адмирала.

— Гадина!! Ты мне больше не сын! — крикнул он, задыхаясь.

— А вы мне больше не отец! — в каком-то отчаянии позора отвечал Леонид и выбежал из комнаты, избитый и окровавленный.

Анна рыдала, а бедная мать была в истерике.

* * *

С тех пор имя Леонида Ветлугина никогда не упоминалось при адмирале. Его как будто не существовало.

Он женился на бывшей содержанке, уехал с ней за границу, года в два промотал женино состояние и, вернувшись один в Россию, жил где-то в глуши. Мать и Анна тайком от отца

помогали ему. Вскоре Леонид заболел чахоткой и, почти умирающий, написал отцу письмо с просьбой о прощении, но адмирал не ответил на письмо сына.

Месяцев шесть спустя, адмиральша однажды пришла к мужу и, рыдая, сказала, что Леонид скончался.

— И слава богу! — сурово промолвил отец.

XVI

Старый адмирал, недовольно и скептически относившийся к освободительному движению шестидесятых годов, грозившему, по его мнению, разными бедами, в то же время, по какому-то странному противоречию, не смотрел неприязненно, по примеру большинства помещиков, на крестьянскую реформу. Твердо веровавший в дворянские традиции, считавший «благородство происхождения» необходимым качеством порядочного человека, гордившийся древностью дворянского рода, Ветлугин никогда не был завзятым крепостником и, как помещик, был довольно милостивый и, по тем временам, даже представлял исключение.

Он отдал в пользование всю помещичью

землю крестьянам и брал с них самый незначительный оброк, причем часто прощал недоимки, если староста, выбранный самими же крестьянами, представлял резонные к тому доводы, так что крестьянам Ветлугина, знавшим о грозном барине только по наслышке, — от тех односельцев, которые служили у адмирала в доме, — жилось спокойно и хорошо. Барина своего они почти не видали — усадьбы господской не было в имении — и только в последнее время, когда адмирал перешел из Черного моря на службу в Петербург и приезжал иногда по летам гостить к младшему своему брату в Смоленскую губернию, он заглядывал в свои Починки на час, на два, встречаемый торжественно всей деревней.

Отношения между барином и его вотчиной обыкновенно ограничивались лишь тем, что раз в год, в ноябре месяце, староста Аким, умный и степенный старик, уважаемый своими односельцами и крепко преданный интересам деревни, отсылал «сиятельному адмиралу и кавалеру», как значилось на конверте, изрядную пачку засаленных бумажек при

письме, писанном каким-нибудь грамотеем под диктовку Акима. В этих письмах подробно сообщалось о всех событиях и выдающихся случаях, бывших в течение года: о рождениях и смерти, браках, очередных рекрутах, об урожае или недороде, о пожарах, падежах и т. п. Письма всегда были строго деловые, без всяких изъявлений чувств, ибо адмирал раз навсегда приказал «подобных пустяков» не писать. Адмирал немедленно же отвечал старосте о получении денег в самой лаконической форме. Иногда только в его ответных письмах прибавлялось приказание: выслать к такому-то времени на подводе с надежным человеком «расторопного мальчишку» или «девку» лет пятнадцати для службы в адмиральском доме. Относительно «девки» адмирал всегда давал некоторые пояснения, выраженные в кратких словах, а именно, чтобы выслали «почище лицом, здорового сложения, не рябую и не корявую». Приметы эти заканчивались строгим наказом своеобразного эстетика адмирала: «Тощей, безобразной и придурковатой девки отнюдь не высылать».

Надо, впрочем, сказать, что приказания о

высылке «расторопных» мальчишек и «девок почище лицом» посылались не очень часто, так как штат крепостной прислуги в адмиральском доме был, для крепостного времени, не особенно велик. Во время службы адмирала в Черном море из мужской прислуги крепостными были камердинер Никандр, кучер да казачок. Обязанности лакея адмиральши и повара исполняли обыкновенно денщики из матросов. Долгое время в поварах у адмирала жил один поляк Франц из арестантских рот, особенно любимый адмиралом за его мастерское знание своего дела. И, несмотря на то, что этот Франц был отчаянный картежник и пьяница и притом буйный во хмелю, часто пугавший адмиральшу своим видом, — адмирал все-таки держал Франца, хотя и нередко приказывал «спустить ему шкуру». Бесшабашный повар всегда, бывало, грозил большим кухонным ножом тому, кто подступится к нему для исполнения адмиральского повеления, и когда, наконец, несколько человек матросов связывали его и приводили на конюшню, он и под жестокими ударами розог кричал, что не боится «пана-адмирала», что

покажет ему себя, и при этом костил адмирала всякими ругательствами. Но когда Франц вытрезвлялся, он снова становился тихим и покорным человеком и проводил свободное время за чтением книг, держась особняком от прочей прислуги и взирая на нее даже с некоторым высокомерием шляхтича, каким он себя называл. Во время больших званных обедов Франц всегда отличался на славу. Он в такие дни остерегался напиваться и не пускал никого к себе на кухню, работая один, без помощников в течение ночи, так что прочая прислуга пресерьезно говорила, что «поляку помогают черти». Так Франц прожил в адмиральском доме лет шесть, почти все время своего пребывания в арестантских ротах, и затем, отбыв наказание, уехал на родину, в Польшу, о которой говорил всегда с любовью и восторгом.

Женской прислуги из крепостных бывало больше. Кроме старой Аксины Петровны, вынянчившей чуть ли не все поколение молодых Ветлугиных и обязательно не любившей ни одной бонны и гувернантки, которым Аксиныя Петровна устраивала всякие каверзы, и

прачки, в доме находилось несколько молодых горничных. У адмиральши было две (одна для шитья), и по одной у каждой из дочерей, как только последние приезжали из института. По выходе адмиральских дочерей замуж горничные эти поступали в их владение в числе приданого.

При каждом прибытии из деревни подростка девушки ее приводили на смотр адмиралу и адмиральше. Если привезенная была недурна собой, он как-то особенно выпячивал нижнюю губу и милостиво трепал по щеке оторопевшую и смущенную девушку.

— Ну, девчонка, смотри, служи хорошо! — говорил не особенно строгим тоном адмирал, приказывая Никандру отвести ее к барыне.

В таких случаях мужик, привезший девушку, получал серебряный рублевик и наказ передать старосте барское спасибо.

Но когда вновь прибывшая не отвечала почему-либо вкусам адмирала, он без всякого милостивого слова приказывал отвести ее к супруге и сердито выговаривал мужику:

— Лучше у вас в деревне девки, что ли, не было, что прислали такого одра?

— Не было, барин, не было, ваше светлейшее присходительство! Самую чистую тебе предоставили... Была у Корнея дочка, ничего, гожа, да в рябовинках малость...

— Ступай! — резко обрывал адмирал и недовольно крякал.

Адмиральша, напротив, бывала в последнем случае довольна. Зато, чем пригожее была привезенная девушка, тем более сжималось сердце ревнивой адмиральши, предвидевшей в очень близком будущем новое испытание для своей ревности и новое оскорбление своему самолюбию.

И, надо сказать правду, адмиральша редко ошибалась в своих предчувствиях.

Весьма часто, если не всегда, все эти молоденькие девушки делались жертвами похотливого адмирала. Если они готовились быть матерями, их выдавали замуж или отправляли обратно в деревню с приказом старосте: пристроить девку и прислать новую.

Таким образом адмирал женил и Никандра и кучера Якова. Никандр именно с тех пор, говорят, и сделался мрачным, и когда года через четыре овдовел, потеряв перед тем двух

детей, адмиральских крестников, то не обнаружил особенного горя от этих потерь и, как огня, боялся новой женитьбы по распоряжению барина. По счастью для Никандра, адмирал более не сватал своего камердинера.

Одна из таких жертв адмиральского каприза сделалась даже настоящей фавориткой влюбившегося в нее адмирала. Он нанял для нее квартиру в отдаленной Матросской слободке, отделал квартиру не без роскоши и, купив для своей фаворитки белья и платьев, переселил ее в устроенный им «приют любви», приставив к ней старую женщину, исполнявшую обязанности прислуги и в то же время аргуса. Нечего и говорить, что фаворитке строго запрещалось выходить куда-нибудь одной и принимать кого-нибудь. Эта связь была, конечно, известна всем, и многие молодые мичмана частенько прогуливались в слободке, пытаясь обратить на себя внимание красивой чернобровой Макриды с роскошной косой и ослепительными зубами. Но Макрида только лукаво играла глазами и держала себя неприступно, так что подозрительность адмирала была усыплена настолько, что он поз-

волил Макриде, вместо приставленной им старухи, нанять прислугу по своему выбору.

Так продолжалось года три. Связь эта, к ужасу адмиральши, не прекращалась, и адмирал все более и более привязывался к своей Макриде, как вдруг совершенно неожиданно фавор Макриды окончился и притом весьма для нее трагически.

XVII

Однажды адмирал, вернувшийся с эскадрой на рейд поздно вечером, съехал на берег и отправился пешком в слободку.

Был двенадцатый час на исходе теплой, душистой южной ночи. Полная луна лила свой мягкий свет на маленькие белые домики тихой спящей слободки, но в «приюте любви» адмирала из-за густой листвы садика весело мигал огонек. Этот огонек возбудил в адмирале подозрительное удивление, и он тихими шагами подошел к домику. Подозрение его усилилось, когда калитка оказалась незапертой. Сердито ерзая плечами, он вошел во двор и тихо постучал в двери. За дверями послышалась беготня, и испуганный голос кухарки звал «Макриду Ивановну».

Тогда адмирал, легко гнувший подковы, рванул дверь и, грозный, с побледневшим лицом и сверкающими глазами, очутился в прихожей. Кухарка, увидевши барина, только ахнула и уронила в страхе свечку. Адмирал шагнул в комнаты и в ту же минуту услышал стук отворенного в спальне окна и чей-то скачок в сад. В ту же секунду адмирал разбил окно в передней комнате и, заглянув вниз, увидел при нежном свете предательницы луны стройную фигуру поспешно удаляющегося знакомого молодого мичмана, на ходу натягивающего сюртук.

Адмирал молча заскрежетал зубами в бесильной ярости, видя, как молодой мичман перелез через ограду садика и был таков.

Повернув голову, он увидел в дверях Макриду в одной рубашке, с обнаженной грудью и распущенными роскошными волосами, спускавшимися до колен. Со свечой в руках, освещавшей ее красивое, бледное как смерть лицо, она глядела с безмолвным ужасом на грозного адмирала. Адмирал отвел от нее взгляд, и плечи его вздрагивали. Он молчал, и это молчание обдавало смертельным холо-

дом несчастную девушку. И она в каком-то отчаянии опустилась на колени, с мольбой сложив свои обнаженные белые руки.

Адмирал молча вышел, через четверть часа был уже на пристани и отвалил на дождавшейся его гичке на свой флагманский корабль.

Вахтенный офицер, встретивший его, заметил, что адмирал был чем-то очень расстроен и имел самый «освирепелый вид».

На следующий же день весь город и вся эскадра знали о вчерашнем скандале, и между молодежью было много смеха. Адмирал с утра съехал на берег, приказав двум боцманам явиться к нему с линьками к одиннадцати часам вечера.

Целый день адмирал был мрачен. Адмиральша уже узнала о вчерашнем скандале и была очень довольна, что приводило адмирала в большее бешенство. Все в доме с трепетом ждали расправы... Уже с утра Макрида была заперта в сарае, одетая в затрапезное платье. Чудные волосы ее были, по приказанию адмирала, острижены.

В одиннадцать часов вечера адмирал вместе с двумя боцманами удалился в конюшню, куда привели и Макриду. Двери были наглухо затворены, но, несмотря на это, оттуда раздавались раздирающие душу крики и стоны. Потом все затихло. Адмиральша, потрясенная, теперь жалела несчастную Макриду. Полумертвую, ее ночью отнесли в слободку и через две недели отправили, еще не совсем оправившуюся, в деревню, где она впоследствии спилась и через несколько лет умерла.

Дочь Макриды, слишком похожая на адмирала, была помещена на воспитание и затем отдана в пансион в Петербурге. Адмирал любил свою, как он называл, «воспитанницу», часто навещал ее, и она изредка, по воскресеньям, приходила в ветлугинский дом на короткое время. И добрая адмиральша ласкала эту девочку, наделяла ее лакомствами и нередко плакала, вспоминая свои обиды и жалея бедную «батардку», как адмиральша про себя называла девочку. Когда эта девочка шестнадцати лет умерла, — адмиральша искренне ее оплакивала и была вместе с мужем на ее похоронах.

XVIII

Вскоре после обнародования манифеста об освобождении крестьян адмирал однажды призвал сыновей в кабинет и сказал им:

— Наше родовое имение не велико... После надела останется всего пятьсот десятин... Делить его между вами не стоит... Как ты полагаешь, Василий? — прибавил он, обращаясь к старшему сыну, высокому, плотному моряку, лет тридцати пяти, очень похожему на адмирала лицом.

— Полагаю, что не стоит.

Не спрашивая мнения других сыновей, Николая и Гриши, адмирал продолжал:

— Мое намерение — отдать всю землю крестьянам и не брать с них ничего за надел... Им это на пользу, и они помянут добром Ветлугиных. Не правда ли?

На лице Гриши при этих словах промелькнуло невольное грустное выражение, хотя он и первый поторопился сказать:

— Конечно, папенька... Такой акт милосердия...

— Тебя пока не спрашивают! — резко перебил адмирал, заметивший печальную мину

почтительного Гриши. — Как ты полагаешь, Василий?

— Доброе сделаете дело, папенька! — отвечал моряк.

— И я так думаю... Надеюсь, что и отсутствующий Сергей так же думает... А ты, Николай?

— И я нахожу, что это справедливо.

— Ну, а ты, Григорий, уже поспешил апробовать «акт милосердия», — иронически подчеркнул адмирал. — Значит, и делу конец.

Наступила короткая пауза, во время которой адмирал достал из письменного стола какой-то исписанный цифрами клочок бумаги и затем сказал:

— Взамен имения, которое должно бы быть разделено на четыре части, ибо сестер ваших я уже выделил деньгами, по три тысячи на каждую...

— На пять частей, папенька? — перебил отца старший сын. — Вы, верно, забыли, что всех нас пять братьев, — прибавил моряк, вспоминая об опальном Леониде.

— Я помню, что говорю! — крикнул, вспыхивая, адмирал и продолжал: — так вместо

родового имени я выдам каждому из моих четырех сыновей (адмирал подчеркнул «четырёх») деньгами, какие причитаются за выкупную ссуду и за пятьсот десятин... На каждого из вас придется по четыре тысячи... вот здесь на бумажке и расчет...

И адмирал кинул на стол бумажку, испи-санную цифрами.

— Хочешь посмотреть, Григорий? — на-смешливо заметил адмирал повеселевшему сыну.

Гриша покраснел как рак и не двинулся с места.

— Деньги эти предназначены из аренды, которую мне недавно пожаловал государь император на двенадцать лет по две тысячи и которые мне выдадут сразу. Других денег у меня нет... Из этой же аренды Анна и Вера получают свои приданные деньги... Согласны?

Все, конечно, согласились, после чего адмирал их отпустил, объяснив, что Василий получит деньги через месяц, а Николай, Григорий и Сергей — по достижении тридцати-летнего возраста.

— А затем ни на что не рассчитывайте! —

крикнул им вдогонку адмирал.

Когда мужики через старосту Акима узнали о милости барины, они сперва не поверили, — до того это было неожиданно. Но бумага, присланная адмиралом старосте, окончательно убедила мужиков, и они благословляли барины, простив все его тяжкие вины относительно многих своих дочерей. Староста Аким приезжал потом в Петербург благодарить адмирала, и грозный адмирал, видимо, был тронут искренней и горячей благодарностью деревни в лице ветхого старика Акима, которого он не допустил к руке, а милостиво пожал ему руку и несколько минут с ним беседовал.

На другой день после разговора с сыновьями адмирал сказал рано утром Никандру:

— Люди, конечно, знают о воле, которую даровал им государь император. Объяви им, что кто не хочет у меня оставаться, может через неделю уходить.

— Слушаю, ваше высокопревосходительство!

— Иди и сейчас же принеси ответ!

Никандр и без того знал, что решительно

все, за исключением Алены, горничной Анны, да Настасьи, горничной адмиральши, собирались уходить. Уже давно на кухне шли об этом разговоры, и после манифеста радости не было конца. Все осеняли себя крестными знамениями и облегченно вздыхали при мысли, что они свободны и могут избавиться от вечного трепета, который наводил на всех грозный адмирал.

Через пять минут Никандр вошел в кабинет.

— Ну, что? Кто уходит?

— Ефрем, ваше высокопревосходительство.

— И пусть. Лодырь. А Ларион?

— Тоже просится...

— А Артемий кучер?

— Хочет побывать в деревне, повидать детей.

— Гм... И Федька, пожалуй, тоже уходит? — осведомился, хмурясь все более и более, адмирал о пятнадцатилетнем казачке.

— Хочет в ученье в портные поступить, ваше высокопревосходительство! — докладывал Никандр с какою-то особенною почти-

тельностью.

Адмирал помолчал и, сурово поводя бровями, продолжал:

— А девки?

— Олена да Настасья хотят остаться, если будет ваше желание.

Адмирал недовольно крякнул и снова помолчал.

— Нанять повара, кучера и лакея для барыни! — приказал он. — Да смотри, людей порасторопнее... Насчет жалованья сам переговорю.

— Слушаю-с, ваше высокопревосходительство! — отвечал Никандр, видимо, сам чем-то озабоченный.

— Двух девок довольно, — продолжал адмирал. — Алена может ходить за двумя барышнями, а если Настасья передумает и не останется, барыня сама найдет себе горничную... А прачки не нужно... Можно отдавать стирать белье...

— Слушаю-с!

Адмирал снова смолк и вдруг спросил:

— Ну, а ты как, Никандр? Останешься при мне или нет?

В голосе адмирала звучала беспокойная нотка.

Никандр смутился.

— Я положу десять рублей жалованья, а если тебе мало — прибавлю...

— Я, ваше высокопревосходительство, не гонюсь за жалованьем. И так, слава богу, одет и обут...

— Так остаешься?

— Я бы просил уволить меня...

Адмирал насупился и стал мрачен. Этот Никандр, к которому он так привык, и тот собирается уходить. Этого он не ожидал.

А Никандр между тем продолжал робко, точно виноватый:

— Я, ваше высокопревосходительство, имею намерение сходить на богомолье, в Иерусалим.

— В Иерусалим? — переспросил озадаченный адмирал.

— Точно так-с.

— Зачем тебе туда?

— Сподобиться видеть святые места и помолиться искупителю грехов наших... Уже давно о сем было мое мечтание, ваше высоко-

превосходительство.

Адмирал удивленно взглянул на Никандра, лицо которого теперь было торжественно и серьезно и не имело обычного мрачного вида.

— Ну, что ж, если ты такой дурак, ступай себе в Иерусалим! — сердито воскликнул адмирал. — Скоро собираешься? — прибавил он.

— Как разрешите, ваше высокопревосходительство!

— Мне что разрешать? Ты теперь свободный... Подыщи мне человека и уходи! — раздраженно заметил старик.

— Покорно благодарю, ваше высокопревосходительство.

Никандр удалился, а адмирал долго еще сидел в кабинете, угрюмый и озадаченный.

Тяжело было вначале адмиралу привыкать к новым лицам и, главное, не видеть вокруг себя того трепета, к которому он так привык. Приходилось сдерживаться и не давать воли рукам, которые так и чесались при виде какого-нибудь беспорядка. А угодить такому ревнителю чистоты и порядка, как адмирал,

было трудно. И он иногда не сдерживался и дрался... Прислуга уходила, нередко жаловалась, и адмиралу приходилось отплачиваться деньгами... Вдобавок уже ходили слухи о мировых судьях. Все эти новые порядки все более и более раздражали адмирала, и он срывал свое сердце на жене и на детях, для которых оставался прежним грозным повелителем.

Жизнь в доме становилась адом. Адмирал все делался угрюмее и злее. Обеды, когда собиралась семья, бывали мучением для всех домашних. Вдобавок адмиральша не смела уже более принимать у себя, даже и по субботам, никого из гостей, почему-либо неприятных адмиралу. По-прежнему адмирал целые дни сидел запершись у себя в кабинете, и одно сознание его присутствия нагоняло на всех испуг... Только по вечерам все вздыхали свободнее.

Адмирал почти каждый вечер уходил к новой своей фаворитке, бывшей горничной жены, Насте.

XIX

— Обдумала, папенька!

— И он тебе больше Чернова нравится?

— Он мне нравится!

— Что ж, я согласен, коли ты так хочешь...

Ступай замуж... Тебе, фуфыре, давно пора...

И, взглядывая на красавицу Веру с презрением, заметил:

— Расчетлива, сударыня. Из молодых да ранняя. Ты с Григорием в масть... Пожалуй, и он на старушке женится, коли у старушки будет состояние... Поздравляю!.. Только смотри, будь верной женой, а то и такой дохлый, как твой будущий супруг, выгонит тебя из дому как шлюху! А уж я тебя потом не приму! — сурово прибавил адмирал.

Вера расплакалась.

— Ступай к себе нюнить! — прикрикнул адмирал. — Тоже нюня! Сама выходит за ослабленного, а туда же, обижается!..

Анна не отходила от матери, которая лишилась языка и только мычала, грустно поводя своими добрыми глазами на всех скоро собравшихся у постели детей. Адмирала не было дома. Хотя все знали, что он проводит вечер у своей новой фаворитки, но не решались за ним послать туда. Наконец, в двенадцатом

часу, адмирал вернулся, вошел в спальную и, увидавши жену уже в агонии, наклонился над умирающей и крепко поцеловал ее. Адмиральша, казалось, узнала мужа, как-то жалобно и грустно замычала, и крупные капли слез скатились из ее глаз. Рукой, не пораженной ударом, она взяла руку адмирала и приложила к своим запекшимся губам.

Через полчаса ее не стало, и грозный адмирал ушел из ее комнаты со слезами на глазах. Почти всю ночь он пробыл около трупа в глубокой задумчивости. О чем вспоминал он, часто взглядывая на спокойное и доброе лицо покойницы? Это было его тайной, но видно было, что совесть его переживала тяжкие испытания, потому что под утро он вышел из спальни жены совсем осунувшийся и, казалось, сразу постаревший.

Похороны были блестящие, и к весне над могилой адмиральши стоял великолепный памятник.

* * *

Первое время после смерти жены адмирал как-то притих. Он был по временам необычно ласков с Анной и за обедом не бранил сыно-

вей и не глумился над Гришей. И со слугами был терпимее.

Но прошло полгода, и все это изменилось. Жизнь Анны стала настоящим испытанием. Адмирал точно находил удовольствие ее мучить, пользуясь ее кротостью, которая, казалось, его по временам приводила в бешенство. В минуты раздражения он корил, что она старая девка и не умела вовремя выйти замуж.

— Теперь небось никто не возьмет! — язвительно прибавлял адмирал.

Анна со слезами на глазах уходила к себе в комнату и горько раздумывала о своей судьбе... Она видела ясно, что ее присутствие почему-то стесняет отца.

«Уж не задумал ли он жениться на Насте?» — думала иногда Анна со страхом и отращением, оскорбляясь за память матери.

Доставалось от адмирала и сыновьям, и они стали реже приходить обедать к адмиралу, так что часто адмирал обедал вдвоем с Анной и в это время давал волю своему раздражению.

За кроткую Анну пробовал вступить од-

нажды старший брат Василий. Приехавши как-то раз из Кронштадта, он пришел к отцу и стал говорить ему о тяжелой жизни Анны.

— Она тебе жаловалась на меня? — крикнул адмирал.

— Нет, не жаловалась, но я сам вижу.

— Видишь? Ты видишь? Ты за собой смотри... Яйца курицу не учат! Ступай вон! — вдруг загремел голос адмирала.

Моряк пожал плечами и пошел к Анне. Та пришла в ужас, когда узнала, что брат из-за нее поссорился с отцом, и сказала, что она не бросит отца, если только он сам не предложит ей оставить дом.

На другой же день за обедом адмирал сказал Анне:

— Ты жаловалась на меня, а?

— И не думала, папенька.

— Думаешь, братец заступится... а наплевать мне на твоего братца и на всех вас... Тоже хороши дети! Я поступаю, как хочу. Никто мне не указ. Слышишь ли, дура?

— Слышу, папенька.

— То-то же... И захочу, так и женюсь, если вздумается! — вдруг неожиданно крикнул ад-

мирал, точно желая подразнить свою дочь. — Да... И женюсь, коли вздумаю... И женюсь!

Анна молчала и со страхом думала: «Неужели это отец серьезно говорит?»

Месяца через два после этого адмирал однажды объявил ей, что хочет совсем уехать из Петербурга и поселиться где-нибудь в маленьком городке на юге.

— Стар стал и хочу отдохнуть... Да и климат там лучше... А ты оставайся здесь... Живи с Василием или с сестрой. Я тебе буду давать сто рублей в месяц... А то мы только друг друга раздражаем. Захочешь навестить меня, буду рад!.. Не бойсь, не женюсь, — шутливо прибавил он.

И скоро после этого разговора адмирал получил бессрочный отпуск и переехал в маленький глухой городок в Крыму вместе с Настей, а Анна перебралась к старшему брату Василию.

XX

Прошло более десяти лет с тех пор, как адмирал уехал из Петербурга.

Четыре первые года он прожил в маленьком глухом городке на юге, под конец соску-

чился в захоlustье, где нельзя было иметь приличную для него партию в преферанс, и переехал в губернский город N.

Там, в небольшом одноэтажном домике, окруженном густым садом, адмирал доживал свой век, вдали от детей, вдвоем с неразлучной Настасьей, жившей у него под названием экономки.

Старый адмирал так привязался и привык к своей раздобревшей, цветущей здоровьем, пышной и румяной экономке, что страшился мысли расстаться с ней. Умная и ловкая, умевшая нравиться сластолюбивому старику и угождать ему, никогда не возбуждая его ревнивых подозрений, Настасья хорошо сознавала силу своей власти и была, кажется, первой и последней женщиной, которая могла сказать, что держит грозного адмирала в руках.

Обыкновенно расчетливый даже и в любовных своих похождениях, не любивший зря бросать деньги, он, на закате своей жизни, стал проявлять щедрость и, задобривая «Настеньку» (так адмирал называл свою экономку), часто одаривал ее деньгами, вещами

и платьями, требуя, чтобы она всегда одета была хорошо и к лицу. Однажды даже старик намекнул, что за верную службу и преданность он осчастливит Настеньку после своей смерти.

— Я и так осыпана вашими милостями, благодетель барин! — воскликнула молодая женщина. — Живите себе на здоровье... Вы еще совсем молодец! — прибавила Настя, зная, что подобный комплимент был приятнее всего старику.

— Да, осчастливлю... Все, что у меня есть, тебе оставлю...

Настасья, уже скопившая кое-что, никак не рассчитывала на подобное благополучие и не смела верить такому счастью. Она знала, что бережливый старик далеко не проживал в последние годы всего получаемого содержания и что у него образовался изрядный капитал, который обеспечил бы ее на всю жизнь... Неужели старик не шутит и оставит все ей?

Она бросилась целовать адмиралу руки и с хорошо разыгранной искренностью ответила:

— Что вы, голубчик барин? Зачем мне, ва-

шей слуге? У вас есть дети наследники.

— Дети?! — воскликнул адмирал, хмуря брови. — А черт с ними! Они фыркают... я знаю... Недовольны, что я тебя приблизил... Говорят: «Старик из ума выжил»... Ну и я ими недоволен... Что следует, отдал им, а больше ни гроша!..

Ввиду такой перспективы, тем с большим терпением несла молодая женщина иго старческой привязанности и с большим старанием угождала старику и исполняла все его похотливые капризы, тщательно скрывая свое отвращение. Адмирал верил ее преданности и не замечал, что ловкая и хитрая фаворитка, несмотря на уверения в верности, его обманывает и разделяет свои ласки между старым адмиралом и его кучером Иваном, красивым, совсем молодым парнем, смутившим холодную натуру дебелой Настасьи. Нечего и говорить, что она умела хранить эту связь в строгой тайне, ожидая смерти адмирала, чтобы выйти замуж за Ивана и пожить, наконец, для себя, а не для прихоти «старого греховодника».

Адмиралу уже стукнуло восемьдесят де-

вать дет. Сильно постарел он таки за последнее время! Он побелел как лунь и больше сторбился. Его лицо, по-прежнему суровое, с старческим румянцем на щеках, было изрыто морщинами и высохло, имея вид мумии. Стальные глаза потеряли свой острый блеск и выцвели, но зубы его все были целы, голос звучал сильно, память была отличная, никаких недугов он не знал — только иногда чувствовалась слабость и позыв к дремоте — и по временам, в минуты гнева, напоминал былого, полного мощи, грозного адмирала. В такие минуты и сама Настасья испытывала невольный трепет и вспоминала старые рассказы дворни ветлугинского дома о расправе с Макридой, уличенной в неверности.

В его маленьком домике, почти за городом, по-прежнему царил образцовый порядок и все сияло безукоризненной чистотой, напоминавшей чистоту военных кораблей. Нигде ни пылинки. Нигде стула не на месте! Медные ручки и замки у дверей блестели, и полы (особенная слабость адмирала) были так же великолепны, как и корабельная палуба. В саду господствовал такой же порядок, как и во

всем доме; и там, в маленькой пристройке, хранились под замком гроб и памятник, приобретенные адмиралом для себя несколько лет тому назад, когда ему пошел восемьдесят пятый год. Гроб был дубовый, без обивки и без всяких украшений, прочно сделанный, по заказу адмирала, кромка на кромку, и принятый им от гробовщика после нескольких исправлений и тщательного и всестороннего осмотра.

— Ты что же, каналья, гвоздей мало положил? — сердито говорил адмирал гробовщику, когда тот принес в первый раз свою работу. — И гвозди железные, а не медные, как я приказывал!.. Переделать! Да ручки чтобы покрепче, а то гляди, подлец!..

И с этими словами адмирал рванул ручку и поднес ее к самому носу ошалевшего мастера.

Памятник из темно-серого мрамора представлял собою небольшой обелиск с якорем, обвитым канатом, с другими морскими атрибутами внизу, утвержденный на гранитной глыбе. Сделан он был по рисунку, сочиненному адмиралом и, надо сознаться, не обличав-

шему большой художественности в авторе. При заказе памятника адмирал сильно торговался и заставил-таки монументщика сбавить цену на целых пятьдесят рублей.

— Куда прикажете ставить памятник? — полюбопытствовал мастер и осведомился насчет надписи.

— Прислать ко мне... Надпись после дам! — резко ответил адмирал, не входя в объяснения.

На памятнике была вырезана золотыми буквами следующая надпись, составленная адмиралом после многих переделок:

**АДМИРАЛ
АЛЕКСЕЙ ПЕТРОВИЧ ВЕТЛУГИН.
РОДИЛСЯ 10-ГО ГЕНВАРЯ 1786 ГОДА.
В ОФИЦЕРСКИХ ЧИНАХ БЫЛ 30 ЛЕТ.
В АДМИРАЛЬСКИХ ЧИНАХ БЫЛ...
СОВЕРШИЛ КРУГОСВЕТНЫЙ ВОЯЖ И
СДЕЛАЛ
50 МОРСКИХ КАМПАНИЙ.
СКОНЧАЛСЯ... 18...
ВСЕГО ЖИТИЯ...
ПОСТАВЛЕН ИЖДИВЕНИЕМ АДМИРА-
ЛА.**

Предусмотрительный адмирал велел вы-

резать только две первые цифры года смерти, на случай, если умрет не в семидесятых, а в восьмидесятых годах, и в духовном завещании поручал душеприказчику дополнить недостающие на памятнике цифры. Гроб и памятник содержались в полном порядке, и адмирал лично за этим наблюдал.

XXI

Старик сохранил все свои прежние привычки. Как и прежде, он неизменно вставал в шесть часов, брал холодную ванну, пил кофе с горячими «тостами» и холодной ветчиной, одетый к восьми часам в сюртук (а по праздникам в сюртук с эполетами), с орденом св. Александра Невского на шее и с Георгием в петлице, отправлялся, несмотря ни на какую погоду, на свою обычную прогулку, продолжавшуюся час или два и развлекавшую старика. Эти прогулки давали ему новые впечатления и кое-какое подобие деятельности, им же самим созданной от скуки безделья, в качестве добровольного наблюдателя за порядком и чистотой в городе. Губернатор шутя называл адмирала лучшим своим помощником, которого полиция боится более, чем его

самого.

Но уж теперь адмирал не носился, как прежде, своей быстрой и легкой походкой, не зная усталости, — годы брали свое, — а шел тихим шагом и уже с большой черной палкой в руке, направляясь в базарные дни непременно к базару.

Все в городе знали высокую сторбленную фигуру старого адмирала, строго и внимательно посматривающего по сторонам. Обыватели при встрече почтительно ему кланялись, дворники снимали шапки, а городовые вытягивались в струнку, провожая беспокойным взглядом грозного адмирала. В ответ адмирал кивал головой или прикладывал левую руку к козырьку фуражки. Заметив хорошенькую даму, адмирал, по старой привычке, приосанивался, выпячивал грудь и довольно кричал, прибавляя почему-то шагу. По пути он нередко останавливался около домов, где была грязь или не подметен тротуар, и грозил дворнику палкой, кидая ему своим резким сердитым тоном:

— Грязь... мерзость... Чтобы не было!

И шел далее.

Доставалось от него и городовым, и квартильным, и торговцам, у которых замечал недоброкачественные продукты. В особенности он донимал полицию.

Заметив беспорядки на улице, он энергично грозил палкой, а при какой-нибудь обиде, чинимой городовым обывателю, адмирал непременно вмешивался в разбирательство и грозно кричал:

— Небось, гривенника не дали?.. Мерзавец!.. Губернатору скажу!

И полицейские боялись, как огня, адмирала, всюду сующего свой нос. Еще недавно, благодаря Ветлугину, один частный пристав, отчаянный мздоимец, не только слетел с места, но был отдан губернатором за разные беззакония под суд. В качестве свидетеля, и самого беспощадного, на суде фигурировал сам адмирал. Во время следствия адмирал не соблаговолил пожаловать к следователю, а попросил его к себе на квартиру, но в суд явился в полной парадной форме, в звездах и орденах. Несмотря на любезное предложение председателя давать показания в кресле, нарочно

принесенном для престарелого адмирала, адмирал отвечал на вопросы суда и сторон стоя и хотя чувствовал утомление, но превозмогал его, чтобы не показаться перед публикой, среди которой было много дам, немощным стариком. Он в первый раз был в новом суде, который до того сильно бранил, и внимательно дослушал все дело. После этого посещения адмирал, кажется, до некоторой степени примирился с новыми судами, хотя и находил, что прокурор и адвокат болтают много лишних пустяков и что взяточника-пристава наказали очень легко, сославши на три года в Архангельскую губернию.

— Ему бы, негодяю, арестантскую куртку следовало надеть для примера прочим! — говорил с сердцем адмирал. — Это был бы суд!..

— Законов таких нет, ваше высокопревосходительство! — деликатно возражал ему губернатор, вскоре после суда посетивший старика.

— То-то и скверно, что нынче таких законов нет, ваше превосходительство! А при покойном государе Николае Павловиче, значит, были. Я помню, как одного генерала — был он

комендантом, — заслуженного, потерявшего ногу на Кавказе, — Николай Павлович разжаловал в солдаты за то, что тот обкрадывал арестантов. Так и умер солдатом. И поделом!

Губернатор, необыкновенно вежливый статский генерал, старавшийся быть всем приятным, снисходительно соглашался, чтобы не спорить со стариком, и терпеливо просиживал полчаса, выслушивая воркотню адмирала насчет общей распущенности, неуважения к властям и разных других зол, происходящих оттого, что «нынче никто не боится начальства».

Когда адмирал появлялся на базаре, торговли обыкновенно пересмеивались и тихонько говорили: «Старый черт идет!» Многие торговцы, завидя адмирала, прятали или прикрывали гнилой товар, зная, что он подымет историю. Городовые откуда-то появлялись на свет божий.

А старик медленно проходил в толпе по рядам, среди поклонов и приветствий базарного люда. Всякий там знал его. Адмирал, справляясь о ценах, смотрел мясо, дичь и рыбу, хотя ничего не покупал, спрашивал, откуда

дичь и рыба, много ли в привозе, каков лов и т. п., пробовал черный хлеб и, если находил что-либо гнилым или несвежим, сердито замечал:

— Гнильем торгуешь, а? Понюхай-ка!

И, взявши гнилую рыбу, подносил ее к лицу торговца.

Обыкновенно тот клялся и божился, что рыба только что дала дух от жары, и откидывал ее в сторону, чтобы снова положить на место, когда старик уйдет.

Проходя мимо торговых, торгующих яйцами, молоком, бубликами и зеленью, адмирал нередко останавливался у смазливых баб и иногда вступал в разговоры.

— Как торгуешь, бабенка? Авдотья, кажется? — спрашивал адмирал, трепля ее по щеке рукой.

— Авдотья и есть, барин. А торгую, барин, плохо.

— Плохо? Зачем же плохо? Такой красавице стыдно торговать плохо. На вот тебе, молодка, на разживу.

С этими словами он давал ей новенький серебряный гривенник. Запас новой мелочи

всегда был у него в кошельке.

Торговка благодарила и прибавляла:

— Черешенок купили бы, барин... Черешенки славные...

— Вижу. Повар уж взял.

— Он не у меня, барин, брал, а у Маланьи.

— Завтра у тебя возьмет.

И, ущипнув за подбородок молодую бабу, старик весело крякал и проходил далее, брезгливо обходя старых и непригожих торговок.

Побродив с полчаса по базару и непременно распушив кого-нибудь, адмирал возвращался домой, завернув по дороге иногда в лавку, чтобы купить лакомство или какую-нибудь обновку, и дарил Настасье.

Стараясь убить время до обеда, он придумывал себе разные занятия: сперва записывал в календаре происшествия утра со всеми мелочными подробностями, затем выдвигал ящики письменного стола и перебирал лежавшие там вещи и бумаги, осматривал платье в шкафу, заглядывал на минуту в комнату своей скучающей, заплывшей от жиру фаворитки, бродил по комнатам и глядел, все ли в порядке и на месте. Заметив, что кресло в го-

стиной стоит несимметрично, он его выравнивал. Во время таких осмотров обыкновенно доставалось лакею. Когда приносили газеты — все те же «Times» и «С.-Петербургские ведомости», — он надевал большие, в черепаховой оправе, очки, без которых уже не мог читать, принимался за чтение и нередко за чтением незаметно поклевывал носом в своем кожаном кресле.

Во время франко-прусской войны адмирал с большим интересом следил за событиями и особенно негодовал на бездействие французского флота.

— Вот и хваленые броненосцы! Никуда показаться не могут... Срам! — нередко ворчал старый моряк.

И, случалось, бросал газету и ходил по кабинету, мечтая о том, как бы он разнес немцев с прежней своей щегольской эскадрой.

За морским делом он следил, продолжая им интересоваться, и часто бранил наш броненосный флот и новое поколение моряков. Прочитав в газете, что броненосец стал при выходе из Кронштадта на мель или столкнулся с другим судном, адмирал с злорадством

повторял:

— Хороши моряки! Нечего сказать, управляютя! Мы с одними парусами ходили и не стучались друг с другом, не щупали дна, а ныне и с машинами ходить не умеют!.. Моря-ки! Позор!

Если не было гостя, приглашенного к обеду, Настасья обедала с адмиралом. Гости, впрочем, бывали очень редко. Раз или два в месяц адмирал приглашал обедать одного или двух постоянных своих партнеров: отставного старичка генерала и капитана первого ранга в отставке, Федора Ивановича Кнотопца, который еще мичманом служил в эскадре Ветлугина. С этим моряком адмирал обращался, точно тот все еще был мичман, и третировал, как мальчишку, хотя этому «мальчишке» уже было около шестидесяти лет. И моряк не обижался и смотрел на адмирала, как на начальника. Особенно доставалось ему за картами.

— Срам-с, Федор Иванович!.. Были прежде бравым офицером, а играете, как сапожник.

— Я, ваше высокопревосходительство, полагаю...

— А вы не полагайте-с... Он полагал... и дернул в чужую масть?.. А еще моряк... Стыдно-с! — сердито прибавлял адмирал.

— Виноват, ваше высокопревосходительство! — робко замечал добродушный Федор Иванович, трусивший, по старой памяти, грозного адмирала.

Этот же Федор Иванович, гулявший иногда по утрам с адмиралом, был неизменным и покорным слушателем его воркотни и его политических соображений и добродушно принимал на себя громы обвинений на молодых моряков, на которых, в лице старого Федора Ивановича, давно уже покинувшего службу, нападал старик, все еще видевший в своем покорном слушателе молодого человека.

— Черт знает, что у вас теперь делается! Ай да молодые моряки! Чай, и забыли, как поворот овер-штаг делать?

Федор Иванович, действительно забывший прежнее свое ремесло, добросовестно замечал:

— Это верно, ваше высокопревосходительство, — забыл.

— То-то и есть... Ни к черту вы не годитесь!

Кроме двух названных партнеров да еще третьего, начальника местной дивизии, адмирал ни с кем не водил знакомств, ограничиваясь лишь обменом визитами с губернатором да комендантом. Архиерея адмирал почему-то недолюбливал и бывал в соборе лишь в царские дни. В свою очередь, и преосвященный, человек очень строгой жизни, не благоволил к моряку и называл его «старым вольтерианцем, погрязшим в блуде». И они никогда друг друга не замечали при случайных встречах.

Когда по вечерам не было партии, старик пил чай в комнате у своей экономки и коротал с ней вечер, слушая ее болтовню или заставляя ее петь песни. А то играл с ней в дурачки по гривеннику партию, прощая всегда ей проигрыш. В десять часов Настасья укладывала адмирала спать, оставаясь подле него, пока он не засыпал.

В последнее время старик спал плохо, нередко просыпался в три часа, вставал, раскладывал пасьянс или ходил угрюмый и скупающий, не зная что делать, по кабинету, ожидая, когда кукушка в столовой прокукует

шесть раз, войдет слуга для обтирания и в маленьком домике начнется обычная жизнь.

XXII

Со своими детьми адмирал почти прекратил всякие сношения. Никогда особенно их не любивший, он под старость окончательно озлобился против своих близких и, казалось, забыл об их существовании. Даже к Анне, его прежней любимице, он охладел и, посылая ей ежемесячно деньги, не писал ни строчки. Анна лишь благодарила и уведомляла о получении. Сперва сыновья и дочери изредка еще писали отцу, но он не отвечал на письма, и переписка сама собою прекратилась. Никого из детей он не желал видеть, и никто его не навещал.

Одна только Анна, года через два после отъезда адмирала из Петербурга, просила разрешения приехать к нему погостить. Старик, после совещания с Настасьей, позволил и ко времени приезда дочери удалил экономку и запер ее роскошно убранную комнату на ключ.

Недолго прогостила Анна у отца. Присутствие дочери, видимо, раздражало адмирала,

принужденного стесняться из-за нее и не видеть около себя любимой экономки. Анна, конечно, поняла, в чем дело. Эта запертая комната и разряженная, раздобревшая Настасья, которую Анна встретила как-то на улице, красноречиво свидетельствовали о роли экономки в доме. К тому же и все в маленьком городке громко говорили о скандальной связи старого адмирала и смеялись над ней, и эти слухи дошли до Анны, глубоко оскорбленной за память матери.

И она поспешила уехать.

Старик был, видимо, обрадован отъездом дочери и, прощаясь с нею, не выражал желаний когда-нибудь увидеться, а сухо проговорил:

— Будь здорова... Верно, уж не увидимся... Обо мне не заботьтесь... У меня есть преданный человек... А если вы там фыркаете... недовольны... то и фыркайте... Я поступаю, как хочу...

И, вдруг закипая гневом, прибавил:

— Твоя старшая сестрица Ольга Алексеевна осмелилась написать письмо... Советы дадут, как жить, а?! Я ответил, что она дерзкая

дура и чтобы никогда больше не смела писать... Дети?! Хороши дети! Никого не хочу знать! — неожиданно крикнул старик. — Так и скажи всем... Слышишь...

— Слушаю, папенька! — грустно проронила обиженная Анна.

Вскоре после ее отъезда адмирал получил известие, что первенец его, Василий, утонул на кронштадтском рейде, ехавши на берег на шлюпке под парусами в очень свежую погоду. Адмирал принял эту весть со старческим эгоизмом и не особенно печалился. Ему только было жаль, что достойный представитель Ветлугиных погиб для флота. Адмирал возлагал теперь надежды на младшего сына Сергея. Он поддержит честь имени Ветлугиных во флоте, и, таким образом, моряки Ветлугиных не исчезнут.

Но надеждам старого моряка не суждено было сбыться. Молодой мичман, только что вернувшийся из кругосветного плавания, в котором пробыл пять лет вместо трех, извещал отца о своем намерении выйти в отставку и просил его разрешения, без которого высшее морское начальство не соглашалось

уволить молодого офицера.

Это письмо привело в ярость грозного адмирала. Тон его был почтительный, но твердый, и старик теперь невольно припомнил, как несколько лет тому назад он был побежден щенком. И это воспоминание еще более сердило его.

«В отставку... мерзавец!» — несколько раз злобно повторил старик и в бессильном гневе разорвал письмо на мелкие кусочки и плюнул на них.

Разумеется, он не отвечал на послание Сережи.

Прошло недели две, и от него снова было получено письмо, но на этот раз уже более настоятельное. «Если вы, папенька, не дадите разрешения, я устрою, что меня исключат. Хотите вы, чтобы офицера, носящего имя Ветлугина, выгнали из флота?» — писал между прочим Сережа, действуя на гордость и самолюбие старика.

Адмирал, знавший, что этот «упрямый негодяй» исполнит угрозу, принужден был, с яростью в сердце, согласиться. Он написал об этом министру, а сыну отправил письмо, ад-

ресуя его без имени и отчества, просто: «Мичману Ветлугину», следующего содержания:

*Позора не желаю и против ветра
плыть не могу. Черт с тобой, негодяй!
Выходи в отставку и забудь отныне,
что ты мой сын. Скотина!
Адмирал Ветлугин.*

С тех пор он особенно невзлюбил строптивого Сережу, олицетворявшего в глазах старика ненавистный ему «дух времени».

Таким образом обрывались отношения между адмиралом и его детьми.

Один лишь Гриша неизменно и аккуратно писал отцу, поздравляя его с каждым большим праздником и с днями рождения и именин. И, несмотря на то, что не получил от адмирала ни одного ответа, Гриша все-таки продолжал посылать ему почтительно-покорные письма, не забывая сообщать в них о своих быстрых служебных успехах. В этом году он собрался жениться и неожиданно приехал в город N чтобы получить папенькино благословение. Остановился Гриша не у отца, а в гостинице, тотчас же собрал справки и узнал, что есть духовное завещание в пользу Наста-

сьи и что у отца в банке около пятидесяти тысяч. Гриша нахмурился, выругал про себя папеньку и, облачившись в мундир, отправился в маленький домик адмирала.

XXIII

Старик дремал с газетой в руках у себя в кабинете, когда к крыльцу подкатил в извозчьем фаэтоне красивый молодой полковник с аксельбантами. Лакей, никогда не видавший молодого Ветлугина, доложил, что адмирал почивает у себя в кабинете.

— Ничего, ничего, братец... я подожду... Скажи-ка Настасье Ивановне, что Григорий Алексеич приехал. А то, еще лучше, я сам пойду к папенькиной экономке... Где она?

И с этими словами Гриша прошел в ее комнату, указанную слугой.

— Здравствуйте, Настя... Не узнали? — ласково и необыкновенно приветливо заговорил он, протягивая руку молодой экономке.

Та в первую минуту, при виде молодого барина, испугалась и была смущена.

— Не узнали, постарел, видно? — продолжал Гриша и, взявши за руку Настю, притянул ее к себе и троекратно с ней поцеловал.

ся. — Какая же вы стали хорошенькая, — прибавил он, оглядывая молодую женщину своими большими голубыми глазами.

— Что вы, барин! — промолвила Настя, краснея от удовольствия. — Да что ж вы сюда... Пожалуйте в гостиную...

— Я у вас посижу, пока папенька спит... У вас тут славно...

Гриша присел, усадив все еще смущенную Настасью, и в несколько минут, очаровал ее своим обращением. Она думала, что он и говорить-то с ней не станет, а между тем этот красивый полковник говорил с ней, как с ровней. Он расспрашивал об отце, поблагодарил, что она бережет старика, и сообщил ей, что собирается жениться и заехал на день, на два, чтобы попросить папенькиного благословения.

Настасья вызвалась сейчас же доложить адмиралу о приезде Григория Алексеича. Барин не спит... так дремлет.

Они вышли вместе. Гриша снова повторил, что Настя похорошела, и, весело разговаривая, они вошли в столовую.

Адмирал между тем перестал дремать и,

услышав голоса, показался на пороге кабинета. Увидев Гришу вместе с экономкой, он удивленно и без особенной радости взглянул на сына и строго спросил:

— Ты как сюда попал без моего разрешения?

Гриша подбежал, чтобы поцеловать руку отца, которую тот поспешил отдернуть, и стал извиняться, что приехал не предупредивши. Он был поблизости в деревне у родителей девушки, на которой он хотел бы жениться, и приехал просить благословение отца. Не желая беспокоить папеньку, он остановился в гостинице, тем более, что может пробыть только день или два.

— Не угодно ли вам, барин, покушать чего-нибудь с дороги или кофею? — спросила Настя.

— Спасибо вам, милая Настенька. Ничего не хочу! — отвечал с приветливой улыбкой Гриша.

Обращение сына с экономкой, видимо, понравилось старику, и он уже с меньшей суровостью проговорил:

— Будешь обедать у меня... Не взыщи, чем

бог послал!..

И позвал его в кабинет со словами:

— Ну, расскажи, на ком ты женишься... Вижу: по службе хорошо идешь!

Гриша обстоятельно все рассказал; партия была приличная, и старик заметил:

— Что ж, женись... Очень рад!

В течение часа до обеда Гриша не переставал занимать старика. Он рассказал ему много новостей и между прочим, как бы невзначай, сообщил, что адмиралы Дубасов и Игнатьев недавно получили по пять тысяч десятин в Самарской губернии.

— Вот бы и вам, папенька, получить...

— Разве дают?

— Как же, всем заслуженным лицам дают.

Настя не обедала с Ветлугиными. Обед прошел, по обыкновению, быстро и в молчании. После обеда Гриша, простившись с отцом, попросил позволения зайти проститься с Настасьей...

Это опять-таки очень было приятно старику.

На другой день Гриша уехал из N, получив от отца, вместо образа, полторы тысячи.

Столь щедрым подарком Гриша был всецело обязан Настасье. При прощании он снова, как бы вскользь, напомнил о земле в Самарской губернии, рассчитывая, что после смерти отца пожалованное имение достанется сыновьям.

Но расчеты предусмотрительного Гриши не оправдались. Действительно, адмирал вскоре написал в министерство письмо, в котором просил министра ходатайствовать о пожаловании ему, по примеру прочих, земли, но только в N-ской губернии. Когда министр ему ответил, что казенные земли в N-ской губернии раздаче не подлежат, а что может быть пожалована лишь земля в Самарской или Уфимской губерниях, адмирал ответил, что там земли не желает.

— Что, не удалась дипломатическая поездка, мой высокопоставленный братец? — подсмеивался потом Сережа, встретившись с братом на родственном обеде у одной из сестер. — Самарская-то земля тю-тю!

XXIV

Месяца через четыре после посещения Гриши адмирал, проснувшись однажды, по-

чувствовал такую слабость, что не взял холодной ванны и не пошел на прогулку.

Так прошла неделя. Старик, видимо, слабел, терял аппетит и целые дни дремал. На предложения экономки послать за доктором он отвечал отказом.

Наконец уж он не мог вставать с постели. Тогда только он велел к вечеру послать за доктором.

Врач внимательно обследовал старика: слушал сердце, выстукивал грудь, осматривал опухшие ноги и, прописав лекарство, сказал, что зайдет на следующее утро.

— Что у меня? — спросил адмирал.

— Ничего особенного... Так, общая слабость...

— Говорите прямо. Я не боюсь смерти! — строго промолвил старик. — Опасен?

— Опасны, ваше высокопревосходительство!

Действительно, адмирал совсем осунулся. Черты его землистого лица заострились, и печать смерти уже лежала на нем.

Адмирал сделал движение головой в знак благодарности.

Доктор вышел, приказал послать за лекарством и предупредил экономку, что адмирал очень плох.

Ночью старик поминутно просыпался. Не отходявшая от него Настасья давала ему лекарство. Он принимал его неохотно, и, когда экономка говорила, что это ему поможет, адмирал отрицательно шевелил головой и отвечал:

— Глупости!..

К утру адмирал совсем ослабел. Он с большим трудом мог повернуться на другой бок и сердился, когда Настасья хотела помочь ему.

— Не надо. Сам могу! Оставь!

В восемь часов утра, выпив горячего кофе, он велел попросить к себе Федора Ивановича, который был его душеприказчиком, и губернатора.

Когда явился Федор Иванович, адмирал произнес:

— Умирать, братец, пора...

— Что вы, ваше высокопревосходительство. Еще поживем-с!

— Вздор! — сердито ответил старик.

В это время вошел доктор. Он снова выслу-

шал адмирала и хотел было выстукивать его высохшую желтую грудь, но старик, морщась, сказал:

— Не надо. Довольно!

Врач незаметно вызвал из спальни Федора Ивановича и сказал, что старику жить несколько часов, не более.

— Какая у него болезнь?

— Старость, — ответил доктор. — Сердце почти не работает.

Когда Федор Иванович вернулся, адмирал сказал ему:

— Доктору за два визита пять рублей!

Вскоре приехал губернатор.

— Что это, ваше высокопревосходительство, захворать вздумали? — веселым тоном начал было деликатный губернатор.

— Умирать-с вздумал, — резко перебил адмирал. — Прошу извинить, что беспокоил ваше превосходительство...

Он сделал знак экономке, чтобы вышла, и продолжал:

— Прошу, ваше превосходительство, переслать вот этот пакет, после моей смерти, морскому министру! — указал глазами адмирал

на большой запечатанный пакет, лежавший на столике, около кровати. — В нем моя записка о флоте и собственноручное письмо ко мне Нельсона, когда я служил у него на эскад-ре. И насчет пенсии дочери, — прибавил он.

Губернатор взял пакет и молча поклонил-ся.

— Все, что после меня останется: деньги, имущество, я завещаю экономке... Федор Ива-ныч душеприказчик. Буду просить ваше пре-восходительство, чтобы ее на первых порах не обидели, чтобы никого в дом не пускали... особенно сына Григория...

Губернатор обещал оказать свое содей-ствие.

После минутного молчания, видимо устав-ший, старик снова заговорил довольно твер-дым голосом:

— Хоронить меня попрошу со всеми поче-стями, подобающими полному адмиралу. Впереди должны нести мои флаги: контр-ад-миральский, вице-адмиральский и адмираль-ский... Они все стоят в зале. Затем ордена... Федор Иваныч знает порядок.

— Все будет исполнено, ваше высокопре-

восходительство...

— Гроб, могила и памятник давно готовы... На похороны деньги отложены... Федор Иванович! Посмотри-ка в правом верхнем боковом ящике в письменном столе.

Федор Иванович вышел в кабинет и скоро вернулся с конвертом, на котором крупным стариковским почерком было написано: «На мои похороны».

— Тут шестьсот рублей... больше не тратить, Федор Иванович... Хоронит меня пусть приходский поп. Архиерея не нужно... Слышите, Федор Иванович?

— Слушаю, ваше высокопревосходительство!

— Ну, теперь все, кажется... Покорно благодарю, ваше превосходительство, за внимание, — проговорил адмирал, протягивая из-под одеяла сморщенную побелевшую руку.

Губернатор дотронулся до холодеющей уже руки адмирала и, повторив обещание исполнить все его распоряжения, ушел, обещав завтра навестить его высокопревосходительство.

Старик закрыл глаза и, казалось, дремал.

Тогда в кабинет вошла Настасья, вся взволнованная, со слезами на глазах (она слышала весь разговор, стоя у дверей), и, приблизившись к постели, проговорила:

— Голубчик барин, не хотите ли причаститься... Бог здоровья пошлет.

Адмирал ни слова не ответил.

Она повторила просьбу. Адмирал недовольно взглянул на свою фаворитку потускневшими глазами и снова опустил веки.

Через четверть часа он открыл глаза и слабым голосом произнес:

— Сегодня на почту придут деньги, Федор Иваныч... Жалованье и аренда за треть...

— Точно так, ваше высокопревосходительство...

— Нельзя ли оформить, чтобы и это Настеньке, а не детям?

— Уж поздно, ваше высокопревосходительство.

— Жаль... жаль... — коснеющим языком пролепетал старик. — Так пусть одной Анне... Ну, ступайте... Подремлю, — прибавил он чуть слышно и закрыл глаза.

Федор Иваныч и Настасья вышли за двери.

Когда через несколько времени они заглянули в спальню, грозный адмирал уже заснул навеки с спокойно-суровым выражением на лице.

Кукушка в столовой прокуковала три раза.

«Бесшабашный»

Из современных нравов

I

— **А** почему, позвольте вас спросить, я должен стесняться? Ради чьих прекрасных глаз?

— Но известные принципы... правила...

— А если у меня нет никаких?

— Как никаких?

— Да так, никаких-с. Мой принцип: беспринципность.

— А боязнь общественного мнения? Страх перед тем, что скажут?

В ответ на эти слова мой сосед за обедом в честь одного почтенного юбиляра, бессменно и безропотно просидевшего на одном и том же кресле двадцать пять лет, — молодой человек того солидного и трезвенного вида,

каким отличаются нынешние молодые люди, выстриженный по-модному, под гребенку, с бородкой а la Henri IV[38], в изящном фраке, румяный от избытка здоровья и выпитого вина, — взглянул на меня, щуря свои серые, слегка осоловелые, наглые глаза, словно на человека, только что вырвавшегося из больницы «Всех скорбящих», с одиннадцатой версты.

— Вы из... из какой неведомой Аркадии изволили приехать? — насмешливо сказал он.

Он подлил в стакан кло-де-вужо, отпил не спеша несколько глотков с серьезностью человека, знающего толк в хорошем вине, и продолжал слегка докторальным тоном своего мягкого и нежного баритона:

— Я, милостивый государь мой, боюсь только своего патрона. Одного его боюсь и никого больше!.. Вы знаете Проходимцева? Нет? Вон, наискосок сидит, рядом с худощавым седым стариком и, верно, заговаривает ему зубы, такой приземистый и широкоплечий пожилой господин, с пронизывающими маленькими глазками, лысый, в очках... Видите?

— Вижу.

— Ну, вот это и есть мой патрон. Слышали, конечно, о нем?

— Слышал...

— Это замечательный человек. Был когда-то приходским учителем в каком-то захолустье, а теперь председатель трех правлений, учредитель многих предприятий, общественный деятель, меценат, филантроп и ко всему этому, разумеется, продувная бестия, стоящая, выражаясь языком янки, двух миллионов. Нынче он сыт и потому позволяет себе роскошь быть честным человеком и преследовать злоупотребления. Он больше уже не получает промесс, не рвет процентов с заказов, не пишет дутых отчетов, не устраивает общих собраний с подставными акционерами и не играет на бирже. Он проповедует теперь экономию и воздержание; как бывший искусный вор, отлично ловит неискusstных воров, пишет записки о народном благосостоянии, называет себя патриотом восемьдесят четвертой пробы и по воскресеньям ездит в Лавру помолиться о своих грехах...

— Однако ваш патрон...

— Весьма большая умница! — с авторитетом и видимым сочувствием произнес молодой человек. — Un homme a tout faire...[39] Знает где раки зимуют и умеет влезть куда угодно. Голова золотая.

— Отчего же вы его боитесь?

— Наивный вопрос! Причина простая: Проходимцев может выгнать меня из своего правления, как только придет ему в голову эта глупая фантазия...

— Но такая фантазия не приходит?

— Положим, Проходимцев ко мне благоволит и даже верит... На всякого мудреца довольно простоты... верит в мою преданность, как я верю в свои шесть тысяч жалованья и две ежегодной награды. Положим, я работаю много: сижу целый день в правлении и по вечерам правлю литературные произведения Проходимцева... Он говорит не хуже Гамбетты, а пишет, как сапожник. Но ведь и его может укусить муха? Могут ему ловко шепнуть через даму его сердца, что я недостаточно усердно мечусь в своей канцелярии и недостаточно проникнут его идеями... А он любит проникновение... Ведь могут?

— Ну, допустим, что могут...

— И тогда ваш покорный слуга на тротуаре. Ищи другого места, ищи нового принцепала! Вот я и боюсь Проходимцева и вполне проникаюсь его идеями... А общественное мнение? — усмехнувшись, протянул молодой человек. — Какое мне до него дело? Что мне Гекуба, и что я Гекубе? Кто из мало-мальски неглупых людей боится его? Возьмите хоть Проходимцева! Разве его, нажившего два миллиона без вмешательства прокурорского надзора, общественное мнение преследует? Разве от него отворачиваются? Напротив! Его везде принимают с большим почетом. Он свой в обществе и выдает дочь за испанского гранда... У него бывают, в нем ищут, его просят о местах. Его портрет с биографией помещается в «Ниве», и газеты не иначе упоминают его имя, как предпослав: «Наш известный железнодорожный деятель и истинно русский человек». Все знают, что его два миллиона не с неба упали, все помнят, как трепали, лет пятнадцать тому назад, его имя в газетах, и все тем не менее ласкают его, втайне завидуя ему, как умному человеку, который, так

сказать, из ничтожества сделался тузом, избегнув бубнового туза на спину, и обеспечил себя и своих близких. Все это старо, как божий мир, и известно, как таблица умножения... А вы: боязнь общественного мнения! Какое такое общественное мнение? Кого оно удерживает? Вон, взгляните на того толстяка с отвислой губой и с оголенным черепом, похожего на раскормленного борова, со звездой Льва и Солнца... Это крупный землевладелец в одной из южных губерний. Все знают, что сын его, юноша, застрелился, ужаснувшись действий отца... Конечно, психопат был... а дочь убежала... А посмотрите, как любезно все с ним говорят... И он, как видите, совсем не похож на кающегося... Посмотрели бы вы, какие он фестивали задает, приезжая по зимам в Петербург... Обеды — восторг.

— Вы бываете у него?..

— Бываю. Отчего ж не бывать? У него все бывают. А вон... на том конце стола... красивый молодой человек, такой здоровый и сильный, покручивающий усы... Разве его тоже преследуют, — продолжал мой собеседник, становившийся все более и более слово-

охотливым к концу обеда, после нескольких бутылок вина, — разве преследуют его за то, что он за приличный гонорар состоит в артистах? Его, не без некоторого основания, оправдывают отсутствием средств и необходимостью сделать карьеру при помощи чужой бабушки, если своей нет... Да и по правде сказать, если отрешиться от предрассудков, профессия как и всякая другая!.. Кому же, скажите на милость, мешает ваше так называемое общественное мнение? Кто только не плюет на него? — с циничным, откровенным смехом добавил молодой человек.

II

Кстати, надо его представить читателю. Рекомендую: кандидат прав и естественных наук Николай Николаевич Щетинников. От роду двадцать восемь лет, но его серьезный и строгий вид заставляет ему давать больше. Сын небогатых и почтенных родителей, из захудалого дворянского рода, обожавших своего первенца и выбивавшихся из сил, чтоб дать ему образование и поставить на ноги. С отроческих лет подавал надежды, что не пропадет, и в гимназии слыл под прозвищем «бес-

совестного» за отвагу, с какою он разрешал разные этические вопросы. Учился отлично и, поступив в университет, окончил два факультета. Родителей почитал, получая ежемесячно по пятидесяти рублей, но считал отца порядочным дураком за то, что он, бывши одно время на хорошем месте, не сумел воспользоваться случаем и пребывал в бедности, а мать считал дурой за то, что потакала отцу в его, давно потерявших смысл, идеях. Еще в университете, слыша про чужие успехи, выработал теорию полной свободы личности делать то, к чему влекут желания, не стесняясь средствами, и эту теорию успешно оправдывал историческими примерами и ссылался на Шопенгауэра и Гартмана, которых изучал с удовольствием. В эту же пору он усвоил себе докторальный самоуверенный и несколько наглый тон и щеголял откровенностью мнений. Он говорил, что у молодого поколения и иные изгибы мозговых линий (эту чепуху он, впрочем, вычитал в каком-то журнале), и особого устройства нервная система, и более чувствительная организация, в особенности желудка и кишечника, и следовательно, и иные

задачи, чем у старого поколения. Надо принимать жизнь как она есть и не стесняться предрассудками и разными, по счастью, забывающимися словами. Бери от жизни всякий, что может, и думай лишь о себе. Успех оправдывает решительно все.

Все это он не без гордости называл «новым словом».

Надо сказать правду, это «новое слово», подкрепленное немножко философией, немножко историей, немножко естествознанием, немножко статьями распространенных газет и даже стихотворениями некоторых молодых поэтов, — хотя и всецело заимствованное у щедринского Дерунова, имело благодаря оскудению мысли и глухому времени успех среди некоторых товарищей, хотя их и шокировала, так сказать, оголенность этого нового слова. Молодость все-таки брала свое даже и у «молодых стариков», выраставших в неблагоприятных условиях. Но Щетинников именно хвастал этой самой наготой, называя ее доблестью независимого мнения. Внимательное наблюдение над жизнью еще более укрепляло его теорию и дало санкцию его во-

ждедениям, и он вышел из университета вполне готовый для практической деятельности, лозунг которой: «Прочь предрассудки, и да здравствует бесшабашность!»

По окончании курса Щетинников мало-помалу прекратил переписку с родителями. Не было никакого расчета, ибо они, по недостатку средств, не могли ему больше помогать. Кроме того, отец надоедал ему разными вопросами о душевном его настроении и о планах будущей деятельности, — вопросами, которые представлялись молодому человеку совсем наивными, чтоб не сказать глупыми. А мать, кроме того, требовала длинных писем. Ему было не до писем. Он искал места.

Сперва он хотел было поступить в судебное ведомство, рассчитывая со временем быть отличным товарищем прокурора. На этом месте можно было, по его мнению, показать себя какой-нибудь пикантной обвинительной речью или лукавой прозорливостью в уловлении неосторожных сограждан, — недаром же у господина Щетинникова был такой мягкий, такой вкрадчивый баритон. Но, на великое счастье будущих клиентов бу-

дущего прокурора, судьба столкнула Щетинникова с Проходимцевым. Они познакомились, и молодой человек пришел в восторг от этого умного и превосходно говорящего дельца. В свою очередь и Щетинников понравился Проходимцеву. Он словно узнал в молодом человеке самого себя в молодости, с тою же отвагой и с тою же бесшабашной беззастенчивостью, но в улучшенном издании, дополненном образованием и научным обоснованием бесстыдства. И была еще разница: Проходимцев рассуждал и действовал исключительно как художник, не ведая дебрей науки, а только чутьем угадывая, где что плохо лежит, а Щетинников — как трезвый мыслитель, по наперед составленному плану, без страха и сомнений.

Судьба Щетинникова была вскоре решена. Он поступил на службу к Проходимцеву и с тех пор служит у него. Он — член правления и управляющий делами Проходимцева. Кроме того, он секретарь дамского благотворительного кружка, член Общества мореходства и торговли и надеется, что звезда его поднимется высоко. У него на черный день уж есть

десять тысяч. Он холост, выжидает богатой невесты и широкого поприща.

III

Щетинников положил на тарелку спаржи и принялся есть, запивая вином. Под шум многочисленных тостов в честь почтенного юбиляра, просидевшего двадцать пять лет на одном и том же кресле и ни разу даже не воспользовавшегося отпуском, несмотря на гнетущую боль в пояснице и вообще расстроенное здоровье — такова была любовь его к служебным обязанностям (обо всем этом, конечно, упомянули ораторы!), — Щетинников снова вернулся к прерванному разговору.

Несколько возбужденный после пяти бокалов шампанского и еще наглее щуря свои глаза, он сказал:

— Уж не называете ли вы общественным мнением газетную болтовню, — это ежедневное переливание из пустого в порожнее с более или менее пикантными *faits divers*[40], скандальчиками и, подчас, игривыми фельетонами да руганью между собою журналистов? Не этой ли выразительницы общественного мнения прикажете бояться? Ха-ха-ха! Ко-

го пугает отечественная пресса? Какого серьезного человека, понимающего, что он не актер и не певичка, которых можно пробирать на здоровье! Разве еще провинциальную сошку, какого-нибудь мелкого воришку, бездарных артистов, страдающих манией величия, молодых беллетристов да, по временам, самих же газетчиков, когда они вдруг почувствуют себя не на настоящем курсе для... для успеха розничной продажи... Они ведь народ пугливый... эти выразители общественного мнения... и доходами не брезгают!

Щетинников помолчал, погладил свою выхоленную, благоухающую светло-русую бородку и заметил со смехом:

— Меня самого, я вам скажу, года два тому назад две-три газеты удостоили своим вниманием...

— Вас? За что?

— Да, видите ли, на работах при железной дороге в один прекрасный день обвалилась насыпь и... три человека рабочих были задавлены, а пять вытащены увечными... Дураки сами были виноваты. Я тогда имел главное наблюдение за работами. Проходимцев меня

командировал из Петербурга. Ну-с, газеты, разумеется, обрадовались случаю. Не всегда же им представляются случаи, на которых можно разыграть, так сказать, героическую симфонию и в то же время не бояться никаких *largo*...[41] И завопили о том, что ваш покорнейший слуга да еще один техник виноваты и что следует нас по меньшей мере в места не столь отдаленные, благо мы с техником состояли на частной службе, и, следовательно, нас можно было, во имя торжества справедливости, посылать хоть на Сахалин без риска задеть чье-нибудь корпоративное самолюбие. И торжество справедливости, и надлежащий курс! Чего же более желать газетчику? А ведь есть дураки: верят, что это геройство! Ну и что же вы думаете, проиграл я от этой газетной травли? — внезапно обратился он ко мне.

— Не знаю.

— Напротив, даже выиграл в глазах моего патрона Проходимцева. Выиграл и награду получил. А вернувшись в Петербург, я вскоре познакомился с этим самым джентльменом, который посылал меня на Сахалин. Премилый человек... Мы с ним у Кюба завтракали и

до сих пор сохранили приятельские отношения. Смеялся тогда, как узнал, что я тот самый, который и так далее... «Очень, говорит, рад что вы не на Сахалине. А я, говорит, рад был случаю... Как же: три убитых и пять раненых. По крайности, можно было не об Аркадии да Ливадии писать. И без того, говорит, вроде девицы легкого поведения... Строчишь неизвестно о чем и в каком придется тоне. Что, говорит, редактор велит, то и излагай, а редактор, в свою очередь, требует, чтобы было написано и весело, и с маленькой загвоздкой, и обязательно в истинно русском духе. Вот ты и изворачивайся с таким винегретом...» Неглупый малый этот публицист... Еще на днях приходил ко мне за даровыми билетами и жаловался...

— На что?

— Да на тяжесть своего ремесла... Прежде, говорит, хоть «жида» да «чухну» изо дня в день пробирали — всегда, значит, был материал, а теперь вдруг редактор приказал изъять «жида» из повседневного употребления... Просто беда... Не придумаешь, говорит, о чем и писать, чтобы было и весело, и патриотич-

но, и с загвоздкой!.. — передавал Щетинников и при этом хохотал.

— Вы очень заблуждаетесь, воображая, что все журналисты похожи на вашего знакомого.

— Знаю-с. Есть разновидность, которая величает себя честными журналистами, — иронически подчеркнул Щетинников.

— А вы как их величаете?

— Порядочными таки болванами, вот как я их величаю, если вам угодно знать... Людьюми предрассудков, совершенно отставшими от времени...

И после минутной паузы воскликнул:

— И после этого вы думаете, что кто-нибудь боится газетной болтовни? Боится газет? Нашли кого бояться! — с презрением прибавил Щетинников и велел подать себе шартрезу.

Тем временем юбиляр, окруженный толпой, перешел в другую комнату, и мы остались одни за столом.

Нам подали кофе. Щетинников закурил сигару.

Эта редкая, даже и в наши дни, откровенность молодого человека, несмотря на возбуждаемое отвращение, заинтересовала меня. Я знал Щетинникова, когда он еще был гимназистом, встречал его — редко, впрочем, — во времена его студенчества и, хотя много слышал о нем и об его «новом слове», тем не менее никак не ожидал встретить подобный расцвет открытого и словно бы гордящегося собой бесстыдства.

И, чтобы подразнить его, я заметил:

— Вы хвастаете. Наверное, и вы боитесь и общественного мнения и газет.

— Напрасно так думаете, — отвечал он, пожимая плечами. — Я никогда не хвастаю. Наплевать мне и на общественное мнение и на газеты.

— Так-таки и наплевать?

— Еще бы. Они не остановят меня от всего того, что я лично для себя считаю удобным. По-ни-маете ли, у-до-б-ным! — отчеканил он с самым наглым хладнокровием.

— А совесть, наконец?

— Совесть? — переспросил он и вслед за тем так весело и беззаботно залился своим

пьяным смехом, что я, признаться, совсем опешил.

А Щетинников, словно наслаждаясь моим смущением, не спускал с меня глаз и после паузы отхлебнул ликера и, протяжно свистнув, продолжал:

— Стара, батюшка, штука... Эка что выдумали, какого жупела!.. Он, может быть, годится для вашего поколения, но не для нас... Совесть?! Это одно из тех глупых слов, которые пора давно сдать в архив на хранение какому-нибудь добродетельному старцу. Ха-ха-ха!.. Пилат, говорят, спрашивал: что есть истина? А я спрошу: что есть совесть?

— Что ж она, по-вашему?

— Отвлеченное понятие, выдуманное для острастки дураков и для утешения посредственности и трусости... Вот что такое совесть, по моему мнению, если вам угодно знать. Наука ее не признает... Она знает мозг, центры, сознание, печень и так далее, а совести не знает... Это один из предрассудков... И многие люди носятся с ним, как уродливые женщины со своей добродетелью, на которую, к сожалению, никто не покушается... И

хотели бы обойтись без совести, да не умеют. Никому их совесть не нужна-с... Вы, конечно, изволите знать историю? — неожиданно спросил Щетинников.

— Изволю.

— В таком случае вам должно быть небезызвестно, что от древнейших времен и до наших дней так называемые бессовестные люди всегда имели успех и даже иногда удостоивались памятников от благодарного потомства, как, например, Наполеон Первый. Я на памятник не рассчитываю, нет-с, но рассчитываю на отличную квартиру, на роскошь, на богатство, на положение — словом, на то, что мне нравится, не заботясь о совести, которой не имею чести знать... Ха-ха-ха! Вас, я вижу, удивляют мои положения?

— Не стесняйтесь... продолжайте, продолжайте...

— Я и не стесняюсь, предоставляя вам удивляться на доброе здоровье... Я человек без глупых предрассудков...

— Как же, вижу, совсем без предрассудков...

— И — заметьте — имею доблесть самосто-

ательного мнения. Са-мо-сто-я-тель-ного! — продолжал он, начиная слегка заплетать языком... — Все эти прежние идеалы отжили свой век... Довольно-с! А то — чем пугают людей: совесть!.. И наконец, самая эта совесть бывает различная. Одного она беспокоит именно за то, за что другой считает себя сосудом добродетели, как изображают эти сосуды в детских книжках... Наполеона Третьего, я полагаю, мучила бы совесть, даже допуская ее, если бы не удалась декабрьская резня, а Проходимцева, например, — если бы он прозевал случай нажать честно и благородно свои миллионы... У животных нет совести, и они — ничего, живут себе, не чувствуя в ней потребности. Этот фетиш поистаскался и перестает, слава богу, пугать даже и не особенно мудрящих людей. И gros publique[42] умней стала. А то, прежде, крикнет какой-нибудь любимый писатель: «Берегись, совесть!» — публика и ошалевает и остановится в нерешительности, словно перед городовым, готовым схватить за шиворот.

— А теперь? — подал я реплику.

— А теперь хоть горло надорвите, господа

проповедники и хранители священного знамени... Ваша песенка спета... Теперь иные песни поют старики поумнее и молодые писатели с новыми взглядами и с новыми задачами... Еще неумело, но тон взят верный... А моралистов слушать не желают... Довольно!.. Если же и прочтут, то... пожмут плечами и... усмехнутся... Вот хоть бы сам граф Лев Толстой... Его сиятельство дописался до чертиков со своей правдой и совестью, а в последнее время даже нелепые вещи пишет... Пусть забавляется его сиятельство на разных диалектах... Его философия нас не переделает-с. Мы жить хотим, а не резонерствовать без толку и философствовать на тему: что было бы, если бы ничего не было? Да-с. Жить хотим в свое удовольствие и не по стариковской указке, а по своей! — воскликнул не без некоторого раздражения Щетинников, словно что-то все-таки ему мешало жить, несмотря на его бесстыдство, по своей указке.

Я молча взглядывал на это раскрасневшееся, красивое и наглое лицо, несомненно неглупое и энергичное; на эту статную, видную, уже выхоленную фигуру, дышавшую са-

моуверенностью и смелостью молодого, полного сил, наглеца, чувствующего под собою крепкую почву, и невольно вспомнил об его отце, который после смерти жены одиноко доживал свой век в маленьком заштатном городке на скромную свою пенсию. Вспомнил и порадовался, что он не видит и не слышит своего сына да, вероятно, и не вполне представляет себе, что вышло из его первенца — прежнего любимца.

Старый идеалист, старавшийся прожить всю свою жизнь по совести, веривший в добро, искавший, худо ли, хорошо ли, истины и стремившийся в своем маленьком скромном деле приложить свои идеи, — как бы поникла твоя седая голова при этих речах!..

А Щетинников между тем под влиянием хмеля становился все развязнее и наглее и словно хотел поразить меня независимостью своих мнений...

— Да-с... Все вопросы нравственности, собственно говоря, заключаются в приспособлении к духу времени и в успехе... Успех покрывает все. Сделайся я в некотором роде персонай, как Проходимцев, так ваши газеты и

пикнуть обо мне не посмели бы, хотя бы я нажил не два миллиона, как мой патрон, а целых пять, и хотя бы моя совесть казалась бы либеральным дятлам не чище помойной ямы... Да наделай я каких угодно, с вашей точки зрения, пакостей... что из этого?.. Кого я побоюсь, если относительно прокурора я прав?.. Еще посвятили бы мне прочувствованные статьи... А я утром за кофе буду читать и... посмеиваться себе в бороду, пока совестливые дураки будут дожидаться меня в приемной... Ха-ха-ха! Вот вам и совесть... Однако... боюсь вас утомлять. И то, кажется, я с достаточной полнотой изложил свои взгляды! — проговорил Щетинников. — Пора туда, к старикам пойти... Ишь они разошлись, заспорили...

Он замолчал и прислушался. Из соседней комнаты явственно доносились громкие голоса.

Говорили о голоде и голодающих.

— А вы как об этом думаете?

— А мне-то что? Мне какое дело? От этого мне ни холоднее, ни теплее. Жалованье свое из правления я по-прежнему буду получать.

Лепту свою я все-таки принес: триста рублей пожертвовал, вручив их одной любвеобильной старушке... Нельзя же... *Noblesse oblige*... [43] Может быть, с нею и экскурсию свершу в неурожайные губернии... Она носится с этой мыслью... Открывать хочет столовые. Сама имела глупость пожертвовать десять тысяч на это дело... Ищет людей и обратилась ко мне... Что ж, на месяц я поеду... Это в моде нынче, да и поездка с этой яркой филантропкой может мне пригодиться. Она с большими связями, эта старуха! — прибавил, засмеявшись пьяным смехом, Щетинников и, поднявшись, прошел в соседнюю комнату, откуда все еще доносился громкий разговор.

Я расплатился и вышел из ресторана.

Этот молодой человек с его цинизмом и наглостью не выходил у меня из головы, и я думал: «Неужели таких бесшабашных много?»

Это было бы ужасно, если б не было и другой молодежи, ничего общего не имеющей с господами Щетинниковыми и которая с презрением отворачивается от этого «нового слова» бесстыдства.

Месяца через три после встречи с Щетинниковым я услышал, что он, благополучно съездив в голодающие местности, охотится за богатой невестой, немолодой уже девушкой, Зоей Сергеевной Куницыной. Я знал эту барышню и понял, что охота должна быть интересной. Коса нашла на камень.

IV

Зрелый девичий возраст как-то незаметно подкрался к Зое Сергеевне. Ей стукнуло тридцать лет. Ее лицо потеряло свежесть, поблекло и пожелтело, как осенний лист. Черты обострились, и в выражении подвижной физиономии появилась жесткость. В углах беспокойных блестящих глаз обозначились чуть заметные «веерки» и над бровями — морщинки. Приходилось надевать косынки и фишу, чтоб скрывать худобу прежде красивого бюста. Маленькие холеные руки в кольцах сделались костлявыми, и ямки на них исчезли. Молодые люди уже не заводили, как прежде, «интересной», полной недомолвок, болтовни, изоцряясь в остроумии, чтобы понравиться девушке, не бросали на нее красно-

речивых взглядов, не возили цветов и бонбоньерок, не проигрывали на пари конфет и при встречах бывали как-то особенно почти-тельно-серьезны, стараясь при первом удобном случае дать тягу. По временам у Зои Сергеевны стали пошаливать нервы, вызывая мигрени и беспричинную хандру. В такие дни Зоя Сергеевна нервничала и, несмотря на свою сдержанность, бывала раздражительна и зла. Она придиралась к горничной, ядовито допекала кухарку и по целым дням не говорила с маман, приводя в смущение кроткую старушку, вдову-генеральшу с седыми буклями и недоумевающим взглядом круглых глаз, которая боготворила и немного побаивалась своего единственного сокровища — «очаровательной Зизи», и говорила о ней всем не иначе как с благоговейным восторгом низшего существа к высшему.

Модный петербургский доктор по нервным болезням, курчавый брюнет лет под сорок, с умным, несколько наглым лицом и уверенными манерами, с напускной серьезностью тщательно исследовал Зою Сергеевну. Он задавал ей множество вопросов, глядя в

упор своими пронизывающими, казалось насмешливо улыбающимися черными глазами, покалывал острием иглы спину, плечи, руки и ноги и с небрежным апломбом определил неврастению, осложненную малокровием. «Болезнь очень обыкновенная в Петербурге!» — прибавил он в виде утешения, прописал бром, мышьяк, посоветовал весной прокатиться в Крым, на Кавказ или за границу («куда вам будет угодно!») и, зажимая в своей пухлой волосатой руке маленький конвертик с двадцатью пятью рублями, любезно проговорил провожавшей его до прихожей генеральше:

— Никакой опасности нет... Весьма только жалею, что не в моей власти прописать вашей дочери более действительное средство! — значительно прибавил доктор, понижая голос.

В ответ старушка мать только безнадежно вздохнула.

V

Надо сказать правду, Зоя Сергеевна мужественно встретила свое увядание. Она поняла, что с зеркалом спорить бесполезно, и, с

присущим ей тактом, стала на высоте своего нового положения. Как девушка умная и притом казавшаяся моложе своих лет, она не скрывала своей тридцать первой весны и, с рассчитанной откровенностью самолюбивого кокетства, называла себя старой девой, к ужасу генеральши, все еще считавшей Зизи «обворожительной девочкой», и к досаде многих барышень-сверстниц, все еще желавших, при помощи косметического искусства, казаться юницами, забывшими арифметику.

Она почти перестала выезжать и носить туалеты и цветы, которые могли бы обличить претензию молодиться, и стала одеваться с изящной простотой женщины, не думающей нравиться, но всегда одетой к лицу, и кокетничала скромностью костюмов. Чтобы как-нибудь убить время, Зоя Сергеевна записалась членом благотворительного общества «Копейка»; начала посещать «психологический» дамский кружок, в котором «научно» вызывались духи и «научно» поднимались на воздух столы; принялась читать, кроме любимых ею французских романов, статьи по философии и искусству, бойко перевирая потом

в разговоре философские термины; выучилась играть в винт и рассуждать, по газетам, о политике; сделалась яркой патриоткой в духе времени; бранила евреев и усиленно занялась живописью по фарфору.

В то же время Зоя Сергеевна, к вящему огорчению татап, все с большей энергией и, по-видимому, искренностью стала выражать чувства презрения к браку и к семейной жизни. То ли дело быть свободной и независимой! Еще насмешливее, чем прежде, относилась она теперь ко всяким любовным увлечениям, глумилась над «прозябанием» замужних приятельниц и над «дурами», которые еще верят в мужскую любовь, и хвалила «Крейцерову сонату». Впрочем, как девушка благовоспитанная, хвалила с оговорками. Мысль в основе верна, но, боже, что за неприличный язык! И Зоя Сергеевна, не красневшая при чтении самых скабрёзных французских романов, которых изящный стиль как будто заволакивал грязнейшие мысли и положения, искренно возмущалась резкими выражениями великого русского писателя.

Презрительное отношение к замужеству

было любимым коньком зрелой барышни. В последние три-четыре года она так часто и много болтала на эту тему, что уверила и себя и мать, будто она в самом деле чувствует ненависть к браку. Она даже рисовалась этим, считая себя оригинальной, не похожей на других, девушкой. В самом деле, все рвутся замуж, а она не чувствует ни малейшего желания. Все влюбляются, страдают, делают глупости, а Зоя Сергеевна ничего этого знать не хочет. Она, правда, любила прежде пококотничать с мужчинами, подразнить ухаживателей, — это, во всяком случае, интересно. Но сама она была слишком холодного темперамента и чересчур рассудительна и осторожна, чтоб увлечься очертя голову. Она легко держала себя в узде и не сделала бы подобной оплошности.

Прежде, когда Зоя Сергеевна была моложе, она не прочь была от замужества и к браку не относилась с брезгливым презрением. Она втайне лелеяла мечту покорить какого-нибудь изящного кавалера из высшего общества, с звучной фамилией и, разумеется, с большим состоянием. Эта атмосфера grand

genre'a[44] привлекала Зою Сергеевну. И молодая девушка не раз мечтала, как он, высокий, красивый и элегантный брюнет, упадет перед ней на колени и на лучшем французском языке предложит ей руку и сердце, и как она великодушно согласится быть его женой, сперва проговоривши маленький монолог на таком же отличном французском языке. Выходило очень красиво, точь-в-точь как во французских романах. Выйдя замуж, она сумеет держать мужа в руках, стараясь ему нравиться. Для этого она достаточно умна и знает мужчин.

Но — увы! — эти мечты так и оставались мечтами. Родители Зои Сергеевны были небогатые люди. Отец ее, военный генерал, получал одно лишь жалованье. В ту пору бабушка Зои Сергеевны еще не думала оставить своей внучке трехсот тысяч наследства, — и блестящего кавалера, во вкусе молодой девушки, не оказалось. Были, правда, два-три жениха, но ни один не представлял собой «хорошей партии» и не нравился, и она им отказывала. У одного была невозможная фамилия, другой был вульгарен, третий, наконец, — без опре-

деленного положения и ревнивый до неприличия.

— Теперь я и подавно не сделаю глупости — не выйду замуж, если б и нашелся какой-нибудь любитель старых дев и моих трехсот тысяч! — говорила Зоя Сергеевна с обычной своей усмешкой.

— А если влюбитесь? — допрашивали приятельницы.

— Я — влюбиться? Никогда.

— А если вас любят?

— Не поверю!

Она самодовольно щурила глаза. Все ее лицо озарялось торжествующим выражением, словно говорящим: «Вот я какая!»

Она щеголяла скептицизмом и не доверяла ближним. Не такая она дура, чтоб лишиться состояния, выйдя замуж за какого-нибудь охотника до чужих денег!

VI

Между тем эти триста тысяч Зои Сергеевны не давали покоя Щетинникову, и он стал обхаживать «красного зверя» с тонким искусством и хладнокровным упорством умного и осторожного охотника. Он собрал предвари-

тельно справки: действительно ли у этой зрелой барышни триста тысяч, и, убедившись, что они лежат в государственном банке, решил, что они крайне полезны для его будущей карьеры и что Зоя Сергеевна, как придаток к ним, не представляет особенных неудобств. Он познакомился, стал бывать в доме Куницыных и после тщательного наблюдения нашел даже, что Зоя Сергеевна как раз такая жена, какая ему нужна. Правда, она старше его года на два, но это не беда. Она достаточно моложава, чтоб не бросалась разница лет в глаза, и не такой уже наружности, чтобы могли сказать, что он женился исключительно из-за денег. Она, правда, не красива, но и далеко не урод. По временам, когда оживает, она даже бывает миловидна и пикантна, эта брюнетка с черными волосами и с насмешливыми карими глазами. В ней тогда есть что-то вызывающее. Сложена она недурно, руки и ноги маленькие и красивые. Она, правда, худа и костлява — недаром носит фишу и косынки, — раздражительна и нервна, но после замужества нервы, разумеется, пройдут, и она, вероятно, пополнеет и

расцветет. Так, по крайней мере, уверяет знакомый доктор, у которого Щетинников предусмотрительно расспрашивал насчет худых, бледных и нервных зрелых девиц.

Одним словом, он оценивал внешность Зои Сергеевны во всех подробностях, с объективным хладнокровием лошадиного барышника, покупающего коня с браком, и пришел к заключению, что Зоя Сергеевна, при трехстах тысячах, достаточно удовлетворительна с супружеской точки зрения и, как женщина умная, сумеет не быть надоедливой. И самый холодный темперамент Зои Сергеевны имел, по мнению Щетинникова, свои выгоды, предотвращая семейные ссоры. Он по недавнему опыту знал неудобство иметь дело с пылкими женскими натурами и боялся их. Они только вносят неровность в отношениях, нарушая покой.

Что же касается до прочих качеств, то они во многом отвечали его требованиям. Она умна и тактична. Самолюбие гарантирует ее от какого-нибудь ложного шага. Она отлично вымуштрована светской выучкой, приветлива и любезна, может вести разговор о чем

удобно и владеет в совершенстве двумя иностранными языками. Она бойка без крайностей, практична и умеет приспособляться к людям. Одевается со вкусом и ни в каком обществе не ударит лицом в грязь. Она консервативна и прилично религиозна, в меру патриотична для порядочной женщины, знает верхушки разных наук и умеет ими пользоваться без претензии «синего чулка», — словом, такая жена не заставит покраснеть мужа, какое бы положение он ни занял.

От Щетинникова не скрылись и отрицательные стороны Зои Сергеевны. Как человек наблюдательный и серьезно изучавший намеченную им себе жену, он скоро понял, что, несмотря на экспансивность и живость ее характера, она, в сущности, себялюбивая, холодная натура и недоверчивая к людям эгоистка. Но все эти недостатки не пугали Щетинникова. Он и сам ведь был далеко не из чувствительных натур и надеялся справиться с подобной женщиной, только бы она вышла за него замуж, поверив его привязанности.

Вот это-то и было самое трудное. И охотник и «красный зверь» — оба были ловки и

способны.

Щетинников повел атаку необыкновенно тонко.

VII

В это зимнее воскресенье Щетинников встал, против обыкновения, поздно и не поехал показаться своему патрону. Было одиннадцать часов, когда он, взяв холодную ванну и окончив свой туалет, свежий и красивый, выхоленный и благоухающий, одетый в короткий утренний вестончик[45], с расшитыми туфлями на ногах, вошел в кабинет своей уютной холостой квартиры в нижнем этаже на Сергиевской улице. Окинув зорким взглядом комнату и убедившись, что все убрано как следует и все сияет чистотой, он присел к большому письменному столу с тем видом веселого довольства на лице, которое бывает у человека, находящегося в отличном расположении духа.

Письменный стол черного дерева, мягкая удобная мебель, крытая темным сафьяном, массивный шкаф, полный книг, хорошие гравюры по стенам, дорогие безделки и старинные вещи — все было не лишено вкуса и изя-

щества в этом просторном кабинете, где весело потрескивали дрова в камине, все свидетельствовало о любви хозяина к комфорту.

Тотчас же вслед за Щетинниковым появился с подносом и газетами в руках молодой, благообразный, чисто одетый лакей Антон, видимо хорошо вышколенный, и, осторожно поставив на стол стакан чая и положив газеты, почтительно-тихо осведомился:

— Хлеба прикажете?

Отрицательное движение коротко остриженной белокурой головы, и Антон исчез.

Отхлебывая чай, Щетинников стал быстро пробегать газеты. Окончив чтение, он отодвинул их не без гримасы и с веселой усмешкой промолвил:

— Ну, теперь соорудим любовное послание!

Перед тем чтобы начать, он закурил сигару, потянул носом ароматный ее дымок и, достав из красивой коробки листок плотной английской бумаги, украшенной золотой коронкой, принялся за письмо к Зое Сергеевне.

Он писал далеко не с той лихорадочной поспешностью, с какой обыкновенно пишут-

ся любовные письма, и по временам останавливался, чтобы обдумать то или другое выражение и покурить. Страничка уже была исписана красивым, твердым почерком, как из передней донесся звонок.

— Прикажете принимать? — спросил появившийся Антон.

— Принимать!

И он отложил в сторону начатое послание.

Через минуту в кабинет входил, лениво покачиваясь рыхлым, полным туловищем, франтовато одетый господин лет за сорок, с молодежью, хотя истасканным лицом, бросающимся в глаза выражением наглости и хлыщества. Лицо было не глупое. Маленькие карие глазки блестели улыбкой.

Это был Аркадий Дмитриевич Кокоткин, довольно известный человек, особенно среди постоянных посетителей театров, увеселительных заведений и среди дам более или менее вольного обхождения. Он занимал видное место, был немножко ученый, немножко литератор, немножко музыкант, друг актрис и содержанок, замечательный нахал, говоривший о чем угодно с великим апломбом, и ци-

ник, заставлявший краснеть даже самых отчаянных бесстыдников и бесстыдниц.

Он преуспевал, мечтая о блестящем венце своей карьеры, и имел репутацию талантливого человека.

«А главное — перо! Что за бойкое, хлесткое перо у этого Кокоткина! О чем бы он ни писал — записку ли о разведении лесов или об уничтожении мировых учреждений, статейку ли о шансонетной певичке или исследование о домах терпимости, — везде бойкость и стиль!»

Так говорили о нем везде и похваливали. Действительно, у Кокоткина перо было не только бойкое, но и повадливое.

— Кокоткин, изобразите!

— В каком духе-с?

— В таком-то...

И Кокоткин изображал — и сделался, в некотором роде, персоной.

Тем не менее его цинизм все-таки несколько шокировал, и о нем ходило множество анекдотов. Один из последних, циркулировавших в городе и, без сомнения, выдуманный кем-нибудь из шутников, если не самим

же Кокоткиным, был очень характерен.

Рассказывали, будто какой-то крупный промышленник однажды приехал к нему на квартиру и, предлагая ему промессу в пять тысяч за хлопоты, говорил убеждающим конфиденциальным тоном:

— Поверьте, Аркадий Дмитрич, это останется между нами. Ни одна душа не будет знать...

— А я вот что вам скажу, любезнейший, — возразил на это с веселым смехом Кокоткин, — вы лучше дайте мне десять тысяч и рассказывайте кому угодно.

Анекдот гласит, что проситель опешил.

Еще бы не опешить!

Вероятно, проситель, выдавший на своем веку немало всяких людей, в первый раз увидел такого откровенного и, разумеется, исключительного бесстыдника в наше время экономии, бережливости и бескорыстия.

— А вы разве не читаете субботнего дня, Николай Николаич? — воскликнул с веселым смехом Кокоткин, пожимая приятелю свою руку. — И отчего вы сегодня не в храме божем, как подобает благонравному россиянину?

Ужели за работой? Помешал?

— Нисколько. Писал письмо... Успею. Садитесь. Что нового, Аркадий Дмитрич, — вы ведь все знаете? Прикажете сигару?

— А у вас какие? Для друзей? — засмеялся Кокоткин, снимая перчатки.

— Хорошие.

— Тогда давайте.

Он грузно опустился в кресло, заложил одну ногу на другую и, закурив сигару, сделал довольную мину и продолжал крикливым, громким тенорком, пощипывая свою темную бородку:

— Сигара недурна... Очень недурна... А я ведь к вам, Николай Николаич, завернул, между прочим, за билетиками... Уважьте приятелю.

— Опять для дам?

— Ну, конечно, для дам, — захихикал Кокоткин, — для двух, знаете ли, недурненьких девочек... Хотят Москву поглядеть. Желаете, они сами явятся к вам сюда, как-нибудь вечером за билетами? Одна из них, Мария Ивановна, сложена, я вам скажу...

И, приняв вид знатока по этой части, Ко-

коткин вошел в невозможные подробности насчет достоинств этой Марьи Ивановны, смакуя их с видимым наслаждением развратника.

Щетинников слушал собеседника, не разделяя его восторгов и с скрытым презрением к этому истасканному и до мозга костей развращенному виверу. Сам он не был развратником и вел более или менее правильный образ жизни, благоразумно оберегая свое здоровье и имея связи, гарантирующие его и от увлечений и от излишеств. Он недаром уважал гигиену.

— Так прислать к вам дамочек, а?

— Нет, не надо. Я пришлю билеты вам.

— А познакомиться с ними не хотите?.. Да что вы, Иосиф Прекрасный, что ли? Не любите бабы?.. Да я без нее пропал бы от скуки. Или к женитьбе себя сохраняете, ха-ха-ха! Кстати, как ваши дела с Куницыной?

— Идут помаленьку.

— На каком пункте, дружище? Срываете уже мирные поцелуи или только по части рук... До каких пор дошли: до локтя или пробаиваетесь пока еще у пульсика?..

— Да полно вам врать, Аркадий Дмитрич!

— Нет, вы поймите, это важно... очень важно. Флирт флирту рознь. Ведь не влюблены же вы в эту барышню, надеюсь, а хотите, так сказать, прикарманить ее триста тысяч?... Вы ведь тоже малый не промах... ха-ха-ха!

Даже Щетинникова покорило от этих сочувственных замечаний, и он заметил:

— Просто хочу сделать выгодную партию.

— Ну это, мой друг, то же, что и я говорю, только мягче выражено. И потому надо, чтобы она втюрилась... Флирт этому способствует, особенно относительно старых дев. С ними надо действовать по-суворовски... Только смотрите, молодой мой друг, не проморгайте трехсот тысяч.

Щетинников высокомерно подумал: «Не проморгаю, она сама мне после свадьбы отдаст!» — и громко сказал:

— То есть как?

— А так... Я Зою Сергевну вашу имею честь знать. Прежде бывал у них. Она — дева не глупая и деньгу бережет, а главное — холодный темперамент... Мало, знаете ли, расположения настоящего к мужчине... Это какая-то

femme-homme[46]. Да смотрите, как бы, женившись, вы не получили одной лишь подруги жизни... Денежек можете и не увидеть. Она умная дама, Зоя Сергевна... В таких делах надо, мой друг, быть очень осторожным... Меня в дни молодости тоже чуть было не надули...

— Как так?

— Я тоже нацелил барышню с приданым. Ну, конечно, любовь и все такое... сладкие поцелуи — она была недурна и молоденькая; я звал ее Асей, она меня — Арочкой, одним словом — идиллия... Все было готово. Назначен день свадьбы. А папенька обещал перед свадьбой в руки мне сто тысяч привезти. День проходит — нет моего папеньки. Ну я, как был во фраке, к ним в дом... Невеста уехала в церковь, а папенька собирался. Так и так, говорю, «argent comptant»[47]. Он, шельма, туда, сюда... «Будьте, говорит, спокойны, завтра получите...» — «Ну, так и я завтра буду венчаться!» — и от него домой... ха-ха-ха... Скандал... невеста без чувств, как следует, а я, как видите, до сих пор гарсоном остался, предпочитая свободную любовь... Дня через три после скандала я и подарки потребовал обратно...

списочек составил... За что же их дарить?.. За поцелуи?.. Так ведь за это не стоит...

Он залился смехом и заметил:

— А у вас что нового?

— Где у нас?

— Да у Проходимцева?

— Кажется, ничего.

— Ну, так я вам сообщу новость, касающуюся вашего патрона. Да разве вы, его наперсник, ничего не знаете?

— Не знаю. Что такое?

— Он получает еще два банка под свое главное наблюдение.

— Неужели? — изумленно воскликнул Щетинников.

— Кажется, что верно. Вчера вечером «мой» мне сообщил и прибавил: «Как этой каналий везет!» Удивлены и, конечно, обрадованы?

— Мне-то что?

— Ну, полно врать... Он теперь и вас устроит, дай вам бог здоровья и генеральский чин! Не забудьте и нас грешных, — смеясь, прибавил Кокоткин.

Щетинников, несмотря на свой отчаянный

скептицизм, был поражен этой новостью.

— Вот что значит ум! — проговорил он, как бы отвечая на собственные мысли.

— Да, умен и кому хотите зубы заговорит!.. Да, кстати, — вдруг точно спохватился Кокоткин, — скажите-ка вашему патрону, чтобы он и мне порадел... Пусть мне место члена какого-нибудь правления устроит, чтобы жалованье и ничего не делать, а то, ей-богу, большие расходы... Одни женщины чего стоят! — добавил, смеясь, Кокоткин. — А ведь командировки не каждый же год!.. — Он помолчал и продолжал: — А если ваша шельма заартачится...

— Тогда что? — не без любопытства перебил Щетинников.

— Тогда, мой милый друг, скажите милейшему Анатолию Васильевичу, что у меня есть очень интересная статья о тмутараканском банке и о деятельности там Проходимцева... Очень пикантная и, главное, полная фактов... Или эта деликатная миссия вас затруднит? Ну, в таком случае я сам заеду на днях к Проходимцеву посоветоваться насчет статьи... Надеюсь, он разъяснит мне... превосходно разъяснит! — с хохотом проговорил Кокот-

кин.

— Он, кажется, печати не очень-то боится!

— Вы полагаете? Надеюсь, еще боится... Да, милейший Николай Николаич, как вы там с вашим патроном ни фыркаете на прессу, а все-таки лучше с ней быть в ладу до той поры, пока... вы понимаете? И вам советую, по-приятельски, на будущее время водить дружбу с журналистами. Однако addio...[48] Пора! Уж первый час! Мы сегодня завтракаем за городом... *Partie carree!*[49] — прибавил Кокоткин и поднялся с места.

Проводив гостя, Щетинников подумал: «И без того этот Кокоткин нахватывает с разных мест тысяч пятнадцать, а теперь будет двадцать получать. Вот как дела люди делают. Проходимцев, наверное, сделает его членом. Даже такие нахалы ценятся!»

Взволнованный только что сообщенной новостью, он быстро и нервно ходил по кабинету. Сегодня же он поедет к Проходимцеву, и тот, вероятно, сообщит ему в чем дело. Странно только, что вчера они виделись в правлении и Проходимцев ни слова не сказал.

Если слух окажется справедливым, тогда,

быть может, и его звезда поднимется, а там... кто знает? С энергиею и умом чего нельзя достигнуть?!

И Щетинников долго еще ходил по комнате, увлеченный самыми приятными мечтами, какие только могут быть в наши дни у свободного от всяких предрассудков современного молодого человека.

VIII

Часов в десять вечера Щетинников вернулся домой от Проходимцева необыкновенно веселый и радостный. Слух оказался справедливым, о чем ему и сообщил не без торжественности Анатолий Васильевич, уведя его после обеда в кабинет. Потом произошла трогательная сцена: Проходимцев обнял Щетинникова, сказал, что верит его преданности и надеется, что они будут снова вместе работать, причем наговорил ему много комплиментов.

В свою очередь и Щетинников не без волнения благодарил своего патрона, обещая до конца дней своих помнить; и так далее. Оба слишком были радостны и потому разыграли эту комедию вполонину искренно. Однако

Проходимцев все-таки был правдивее: он был расположен к молодому человеку, а не только ценил в нем дельного и способного работника и умного человека, понимающего его идеи с намека. Щетинников, напротив, готов был предать своего патрона во всякую минуту, если б того потребовали его интересы. Недаром же он говорил, что его принципы — беспринципность, а совесть — жалкое слово, пугающее только глупых людей...

Впереди ему открывались широкие горизонты. После беседы с Проходимцевым он твердо верил в свою звезду, и нервы его успокоились.

— Ну, теперь можно и послание окончить! — проговорил он, присаживаясь к столу.

Через четверть часа письмо было окончено, и он стал прочитывать его вслух:

— «Уверять, что я влюблен в вас, подобно гимназистам и юнкерам, было бы и глупо и неверно; сказать, что жизнь моя будет разбита или что-нибудь в подобном роде, что говорят обыкновенно, если встречают отказ, было бы еще глупей и маловероятней, и вы, конеч-

но, посмеялись бы от души, Зоя Сергеевна, получив от меня подобные строки. Так позвольте же мне вместо всего этого правдиво и откровенно сказать, что вы мне больше чем нравитесь, что я искренно привязан к вам и считал бы большим счастьем разделить жизнь с такой милой, изящной и умной девушкой, как вы. Пишу это вам после долгих и зрелых размышлений, уверившись в своей привязанности. Надеюсь, что, при всем вашем скептицизме, вы, Зоя Сергеевна, догадывались, что меня тянуло в ваш дом не одно только сродство наших натур и сходство взглядов, не одно только удовольствие живых бесед, а нечто большее...»

«Твои триста тысяч!» — мысленно проговорил, улыбаясь, Щетинников и промолвил вслух:

— Кажется, начало ничего себе. Не очень банально, не особенно чувствительно и в ее вкусе. Эта старая дева любит оригинальность!

И, покуривая сигару, Щетинников молча продолжал пробегать продолжение своего любовного произведения, не очень длинного, но и не короткого, ловко написанного, с рас-

считанной сдержанностью в выражении чувств, придававшей письму тон правдивости, — не без шутливого остроумия насчет того, что Зоя Сергеевна и он слишком большие скептики и слишком хорошо воспитаны, чтобы сделать из семейной жизни подобие ка-торги, и не без блестящих метафор на хорошем французском языке, столь любимых Зоей Сергеевной.

— Написано недурно! — произнес молодой человек и затем снова прочел вслух следующие заключительные строки письма:

— «Мы хорошо понимаем с вами жизнь с ее требованиями, чтобы я умолчал о прозаической стороне дела, то есть о средствах. Не имея их, я, разумеется, не подумал бы о женитьбе, не веря в счастье „шалаша“. У меня пока десять тысяч содержания и дохода и, вероятно, на днях будет двенадцать, что дает возможность жить до известной степени прилично. Положение мое для моих лет хорошее, но, разумеется, оно не удовлетворяет меня, и я рассчитываю — а я редко ошибаюсь в расчетах — на блестящее положение в близком будущем и на более значительные средства,

при которых мы могли бы жить вполне хорошо. Говорю обо всем этом, чтобы вы имели в виду, что я не рассчитываю на ваше состояние. Я сумею составить свое, и следовательно, вы будете пользоваться вашим, как вам будет угодно. Мне до него нет дела. Я сказал все. От вас, Зоя Сергеевна, будет зависеть решение задачи. Подумайте хорошенько и, если вы не прочь быть моей женой, любимым другом и помощником, — ответьте: „Приезжайте“, и я приеду к вам немедленно, радостный и счастливый».

Он не спеша вложил письмо в конверт, надписал адрес и надавил под доской письменного стола пуговку от электрического звонка.

В ту же минуту в кабинет явился Антон.

— Отнести завтра утром это письмо к Куницыным. Знаете, где они живут? — проговорил Щетинников, отчеканивая слова холодным, слегка повелительным, резким тоном, каким он имел обыкновение говорить с прислугой.

— Знаю-с! — тихо и почтительно отвечал Антон, принимая письмо.

— Где?

— В Моховой-с.

— Если ответа не будет, спросите, придать ли за ответом потом. Понял?

— Понял-с.

Антон вышел.

Щетинников поднялся с кресла, потянулся, хрустнул своими белыми крупными пальцами и с веселой самоуверенной улыбкой промолвил:

— Эта мужененавистница, верно, будет приятно удивлена письмом и согласится, пожалуй, вкусить от брака... Я ей нравлюсь... Да и возраст критический...

И молодой человек заходил по кабинету, улыбаясь по временам скверной, циничной усмешкой при воспоминании о своем сближении с этой недоверчивой девицей, о том, как постепенно он дошел до целования рук, с какой тонкой расчетливостью он старался возбуждать ее инстинкты и как мастерски охотился за ее состоянием.

Действительно, он охотился недурно, с цинизмом и утонченностью холодного развращенного психолога.

IX

Он начал с того, что вел с Зоей Сергеевной одни лишь «умные разговоры», беседовал о Шопенгауэре, о спиритизме и не подавал ни малейшего повода считать себя ухаживателем. Он как-то сразу стал с Зоей Сергеевной на приятельскую ногу, как добрый товарищ, сходный с ней во взглядах и вкусах. Как будто не замечая в ней женщины, он горячо беседовал с ней, давая ей тонко понять, что она замечательно умная девушка, беседовать с которой доставляет ему истинное удовольствие, — потому только он и ездит, чтоб «отвести душу». Он часто вызывал ее на спор, делая вид, что интересуется ее мнениями, и сам, в пылу спора, представляясь увлеченным, как бы в рассеянности, брал ее руку и, слегка пожимая, задерживал в своей теплой, мягкой руке, украдкой посматривая, не производит ли это пожатие того действия, на которое он рассчитывал.

Зоя Сергеевна, всегда приветливая и любезная, всегда довольная случаю поболтать, хоть и принимала Щетинникова радушно, но сперва не доверяла ему. «К чему он часто ез-

дит?» — спрашивала она себя и добросовестно не находила ответа. Тем не менее ей было не скучно с Щетинниковым. Он говорил недурно, щекотал ее ум и нервы. Под конец она привыкла к молодому человеку. Его ум, хладнокровие, светская выдержка, его скептические взгляды на людей и, наконец, его вызывающее, красивое лицо — все это производило некоторое впечатление. Она стала с ним откровеннее, шутя звала его своим приятелем и под конец скучала, если он долго не приходил.

И в течение этих трех месяцев Щетинников приходил часто по вечерам. Генеральша обыкновенно сидела в гостиной, а Зоя Сергеевна, на правах старой девы, звала молодого человека в свой роскошный, уютный кабинет, где они обыкновенно проводили вечера, она — на низеньком диване, он — около, на мягком кресле, болтая о разных разностях, споря или читая какую-нибудь книгу, и расходились иногда за полночь. Она, веселая и оживленная, шла спать, а Щетинников, несколько подавленный от скуки и голодный, ехал в трактир ужинать.

Во время этих бесед Щетинников ни разу не заводил разговора о «чувстве» — этой излюбленной теме молодых людей в начале ухаживания. Это как будто его совсем не интересовало. Не противоречил он, особенно в первое время, Зое Сергеевне, когда она называла себя «старой девой» и смеялась над товарками, все еще стремящимися выйти замуж. Он словно пропускал эти речи мимо ушей, и это немножко раздражало Зою Сергеевну, заставляя ее слегка кокетничать и стараться быть одетой к лицу к приходу Щетинникова. Он как будто и этого не замечал и с большей, казалось, искренностью принял по отношению к Зое Сергеевне тон доброго товарища, далекого от мысли за нею ухаживать. Он чаще брал ее руки или присаживался совсем близко около нее, обдавая ее горячим дыханьем, когда она прочитывала какое-нибудь место в книге, и в то же время с самым серьезным видом продолжал «умный» разговор, взглядывая украдкой на покрасневшее лицо и загоравшиеся глаза девушки. Затем он садился в кресло и терпеливо выслушивал возбужденную Зою Сергеевну, рассказывав-

шую, какие у нее были романы. Она любила их вспоминать и изукрасить собственным воображением, являясь в них всегда героиней, отвергавшей со смехом влюбленного героя. Он внимательно слушал, зная, что она привирает, и когда, закончив рассказ, Зоя Сергеевна говорила, что любить не умеет и ни разу никого не любила, молодой человек казался совсем равнодушным. Он лишь слегка, как светский человек, оппонировал, когда Зоя Сергеевна, словно бы вызывая на ответ, прибавляла, что теперь уж ее песенка спета, она уж не может нравиться. Это еще более подзадоривало самолюбивую девушку. Ей так хотелось, чтобы этот красивый молодой человек горячо оспаривал ее слова! И она еще тщательнее стала заниматься собой.

Так прошло месяца два с половиной. Щетинников видел, что его дела подвигаются вперед, что он нравится и что пора сделаться слегка влюбленным.

И вот однажды, когда он застал Зою Сергеевну, по случаю мигрени, с распущенными волосами, которые волной ниспадали на плечи, моложавя лицо девушки, — он с таким,

казалось, восхищением, словно бы внезапно очарованный, глядел на Зою Сергеевну, приостановившись у порога, что она заалела, как маков цвет.

— Вы что так смотрите, Николай Николаевич? — прошептала она и тут же извинилась, что, на правах старой девы, позволила себе принять его в таком виде.

Щетинников как бы очнулся от своего очарования, и с его губ, точно невольно, сорвался возглас, произнесенный тихим, мягким голосом:

— Да ведь вы совсем молодая и такая...

И, словно спохватившись, он прибавил уже более спокойно, тоном светского человека:

— Такая авантажная, Зоя Сергеевна...

И с этими словами подошел поздороваться с хозяйкой.

Вся эта коротенькая сценка была разыграна с мастерством большого негодяя.

Зоя Сергеевна испытывала величайшее удовольствие от этой, показавшейся ей столь искренней, хвалы. Но это, разумеется, не помешало ей сделать изумленное лицо и, при-

щурив глаза, со смехом спросить:

— Комплимент старой деве? И вы думаете, я вам поверю?

— Полно, Зоя Сергеевна, вам кокетничать этой кличкой. Ведь вы сами знаете, что это вздор! — умышленно резким тоном ответил Щетинников.

— Да вы чего сердитесь?! Садитесь-ка лучше... Что вы называете вздором?

— А то, что вы хотите считать себя старухой.

— Мне тридцать один год, Николай Николаевич.

— А хоть бы тридцать два — не все ли равно? На вид вам нельзя более двадцати пяти-шести дать!.. — заметил Щетинников и тотчас же переменял разговор.

В этот вечер Зоя Сергеевна была необыкновенно оживлена и весела. Она слегка кокетничала и нередко дарила молодого человека каким-то загадочным взглядом, не то вызывающим, не то ласкающим, своих карих глаз.

«Клюнула!» — подумал, внутренне усмехаясь, Щетинников и при прощании крепко поцеловал ее руку.

— Это — новость! — промолвила, вся вспыхивая, со смехом Зоя Сергеевна.

— В чем новость?

— Прежде вы никогда не целовали моих лап...

— Я просто не замечал, что у вас такие красивые руки! — смеясь, отвечал и Щетинников. — А я, как поклонник всего изящного, люблю хорошие руки... Посмотрите, какой красивый склад кисти, какие линии пальцев...

И он взял маленькую, бледную, красивую руку Зои Сергеевны, с самым серьезным видом несколько секунд любовался ею и снова поцеловал ее долгим поцелуем.

— До завтра? — промолвила Зоя Сергеевна. — Завтра придете поболтать?..

— Постараюсь.

Но Щетинников не приходил целую неделю. Зоя Сергеевна нервничала и скучала. Наконец явился Щетинников. Он был как будто расстроен.

— Где вы пропадали? — спросила Зоя Сергеевна, видимо обрадованная гостью.

— Хандрилось что-то, — как-то многозна-

чительно промолвил Щетинников, целуя ее руку.

— Что с вами? — участливо спросила девушка.

— Да ничего особенного... Так, видно, и у нашего брата нервы... С чего бы, кажется, хандрить?.. Положение хорошее... средства есть, а вот подите: одиночество иногда дает себя знать...

И Щетинников так мягко, так задушевно, словно бы говорил с любимой сестрой, рассказывал в этот вечер о своей жизни, о блестящей будущности, которой он достигнет, о своих планах.

Зоя Сергеевна слушала с видимым интересом и, когда Щетинников окончил, спросила:

— И все-таки вы хандрите?

— Все-таки порой хандрю. Приятели говорят: жениться надо.

— А в самом деле, отчего вы не женитесь?

— Жениться нетрудно, но...

— В чем же дело? Или вас удерживает какая-нибудь старая привязанность?..

— И никакой такой привязанности нет.

— Так что же вас останавливает? Не нахо-

дите достойной принцессы? — смеясь, спрашивала Зоя Сергеевна.

— То-то не нахожу, Зоя Сергеевна. Я ведь очень требователен. У меня совершенно особенный вкус.

— Любопытно узнать какой?

«Любопытно?!» — усмехнулся про себя Щетинников и с самым искренним видом, точно поверяя свои задушевные мысли, отвечал:

— Все эти юные смазливые барышни с пустыми головками, занятые одними туалетами да глупой болтовней, не моего романа. Скучно с ними, они скоро надоедят. Да и вообще я не поклонник юниц!.. — как бы мимоходом вставил Щетинников. — Отзывчивая, изящная натура, характер, ум, такт, знание жизни, умение стать на высоте всякого положения — вот чего я ищу в женщине. Мне нужна не пустая дура, а нужен умный верный друг и помощник, с которым я говорил бы как равный с равным. К такой женщине я мог бы привязаться! — закончил Щетинников с горячностью.

Зоя Сергеевна слушала с участливым вниманием и в каком-то раздумье.

А Щетинников подумал:

«Попалась, мужененавистница!»

Приехавшие гости помешали дальнейшей беседе в этом интимном тоне, и Щетинников скоро уехал, уверенный, что дело его в шляпе.

Обо всем этом Щетинников припоминал теперь с видом победоносного охотника. Гнусность его поведения, казалось, нимало не смущала его. Надо же было как-нибудь подъехать к этой подозрительной деве. И торжествующая улыбка играла на его красивом лице, когда он проговорил:

— Наверно выйдет замуж!

Он рано сегодня лег спать, но долго пролежал с книгою в руках.

Наконец он заснул. И ему снился дивный, обворожительный сон.

Х

Он — правая рука Проходимцева и главный контролер трех банков. Тот его любит, доверяет и осыпает щедротами с истинно русской расточительностью, не стесняющейся сорить общественными деньгами. Разные «добавочные», «путевые», разные «не в пример прочим» значительно округляют его хо-

рошее жалованье и вознаграждают за труды. Ему кланяются и льстят. В нем ищут, и он видит себя во сне еще более солидным и серьезным, с внушительным и строгим лицом влиятельного авгура. И походка стала тверже, и голос самоуверенней, и мнения категоричнее. Только со «своим» он кроток и проникновенен — с другими, особенно с подчиненными, он холодно любезен и, при случае, нагл.

А дома? Изящно, роскошно, уютно. Дом — полная чаша. Пополневшая, похорошевшая Зоя Сергеевна, со вкусом одетая, бежит ему навстречу, когда он, усталый, приезжает домой. Глаза ее утратили прежнюю беспокойность взора и глядят мягко и нежно, словно за что-то благодарят своего молодого красивого мужа. Еще бы! Она после замужества полюбила его со всем пылом запоздалой страсти и смотрит в глаза Никсу, угадывая малейшие его желания...

— Кстати, возьми, Никс, из банка мои деньги и помести, как найдешь удобней! — говорит она.

Деньги к деньгам! Он поместил их удобно, как помещает и свои. Он видит во сне эти

пачки, эти большие пачки радужных бумажек, которые как-то незаметно текут к нему и увеличивают его капиталы. Звонок! Это, он знает, представитель одного синдиката. «Просить и никого не принимать!» Мирная, конфиденциальная беседа, обещание похлопотать у Проходимцева, устроить дело, принять даже в нем участие. И новые вклады, новый прилив денег, новая записка о каком-нибудь необходимом соглашении между банками, конечно для пользы дела... И как все это просто, как мило и деликатно даже и во сне... Сон быстро уносит годы, один, два, три, четыре, бог их знает сколько, и Щетинников во сне богат, очень богат... У него около миллиона, не считая жениных денег. С богатством живет легче... Он пользуется всеми благами жизни. Он достиг, чего только можно желать в его годы, и, кажется, счастлив... А впереди? Все впереди кажется таким светлым, манящим...

Но вдруг чудный сон омрачен видением. Что же? Разве отец не похоронен два года тому назад на маленьком кладбище захолустного городка? Разве об этом не сообщил ему ка-

кой-то приятель покойного? Зачем он здесь, в кабинете, как раз в то время, когда с ним сидят два американца, предлагающие грандиозный проект не то благодеяния, не то опустошения, — с какой точки зрения взглянуть, с объективной или субъективной. «Последняя даст крупный куш!» — думает во сне Щетинников и внимательнее следит за выкладками американцев. И вдруг перед ним это скорбное, мертвенное лицо, этот грустный упрек тусклых глаз, эти бледные губы, тихо шепчущие:

— И тебе, Коля, не стыдно? Опомнись!

И что-то похожее на робость охватывает в это мгновение Щетинникова. Чем-то детским, давно забытым веет на него, напомнив старый отцовский домик и чистые ребячьи мысли. Но прошло мгновение, и дерзкая улыбка самоуверенного наглеца снова играет на его лице, и он отвечает:

— Чего стыдиться? Перед кем стыдиться? Уходи, старик! Ты — прошлое. Я — настоящее. Ты — бессилие. Я — сила, которой на мой век хватит. Ты верил в призраки, всю жизнь кипятился, из-за чего-то убиваясь. Я верю в дей-

ствительность, я счастлив и покоен и ни о чем не печалюсь. Ты думал всю жизнь о других, забывая о себе. Я думаю только о себе, не думая о других. Ступай, старик! Теперь наше время!

— Но подумай, подумай только, кого ты грабишь? Ты грабишь народ, бедный, темный народ. Он заплатит за твоих американцев, за твои записки, за твое желание угодить Проходимцеву. Подумай только, сколько горя, слез стоит твой бесстыдный эгоизм. Подумай, что о тебе скажут потом твои дети?

— Какое мне дело? Наверное, поблагодарят, что не оставил их нищими. И зачем я упущу случай? Не я, так другой. Не Щетинников, так Иванов!

— Срамник, остановись!

Видение исчезает. Щетинников поворачивается на другой бок, облегченно вздыхая, и снова приятные сновидения сменяются, одно за другим, точно в калейдоскопе.

Ему снится, что его произвели в штатские генералы (мало ли что во сне ни приснится!), и он доволен. Это, во всяком случае, ступень. Честолюбивый червяк отчасти удовлетворен.

Зоя Сергеевна — она очень хотела быть генеральшей и по мужу — так нежно, так страстно целует своего милого генерала, поздравляя его, что тот несколько хмурится от этих излишней своей подруги, темперамент которой оказался не такой холодный, как он предполагал. Но нет розы без шипов. И Зоя Сергеевна умеет скрывать эти шипы и с присущим ей тактом несет свои обязанности, не надоедая мужу излишней пылкостью чувств. И между ними царит потому согласие. В этот день они оба так веселы, так радостны. У них сегодня званый обед, тонкий обед; Проходимцев и разные лица, более или менее влиятельные, сидят за столом. Несколько красивых дам украшают собрание. Пьют за здоровье молодого генерала, и сколько несетя пожеланий! И сколько надежд в груди у Щетинникова!

И вот наконец... Даже у сонного замирает от волнения сердце... Он предчувствует, зачем к нему приехали от Проходимцева и в неурочный час зовут к нему... Он видит что-то особенное и в лице посланного, и в тех особенно почтительных поклонах, которыми его

провожают лакеи в доме патрона. Он видит радостно-торжественное лицо Проходимцева и сразу понимает, что это значит... Но это так неожиданно. Ужели его назначат директором-распорядителем банка?

Проходимцев обнимает и поздравляет...

— Вы назначены... Видите, я не забыл вашей службы... Вы назначены главным директором одного из банков. Вам открывается поле самостоятельной деятельности.

Самостоятельной?.. Даже и во сне у Щетинникова нет слов. Он молчит от избытка чувств.

— Надеюсь, вы достойно оправдаете мою рекомендацию... И уж более... Вы ведь сыты теперь? — ласково прибавляет вдруг, после паузы, плутовски улыбаясь, Проходимцев...

— Сыт, Анатолий Васильич, — нежно отвечает Щетинников, но чувствует, что в глазах его мелькают миллионы... И как теперь они легко могут прийти... Даже без риска...

— То-то... Я так и думал... У вас около миллиона, родной мой?

— Около, Анатолий Васильич.

— Ну и довольно. Не правда ли? Теперь для

общества потрудитесь бескорыстно... Экономия и бережливость... Твердые принципы. Вы понимаете?..

— О, поверьте!..

Он едет домой, и кажется ему, что его кровные рысаки бегут необыкновенно тихо... Ему машет рукой Кокоткин особенно мило. Знакомые кланяются, казалось, иначе. Уж все знают... Зоя Сергеевна чуть не упала от радости в истерику и с благоговейным восторгом смотрит на Никса. Никс взволнован и за обедом плохо ест, а после обеда ходит и думает, как он подтянет свое учреждение и скольких выгонит... Пусть видят, что он не шутит. Это реклама и для него.

— Экономия и твердые принципы! — повторяет он и думает в то же время: «А какие теперь можно дела делать!»

Он встал на следующее утро и, словно бы уж привыкший к новому положению, заходил по кабинету величественной походкой и заговорил, чуть-чуть растягивая слова.

Он прочитывает утром хвалебные статьи в мелкой прессе и даже минутами начинает верить, что он не бесстыдник, а «неподкуп-

ная честность». А вот и Прощалыжников, старый знакомый репортер, просит интервью. Щетинников, которого давно ли этот самый репортер хотел послать на Сахалин, теперь мякнет и говорит, что он будет искать поддержки в прессе. Он сочувствует ей. Он всегда... Прощалыжников тает и уходит в телячьем восторге, получив тут же в кабинете место юрисконсульта в отделении «текущих счетов» с обязательством приходить лишь двадцатого числа за жалованьем. И на другой день Щетинников уже читает новый дифирамб, необыкновенно прочувствованный, но читает наскоро, так как спешит ехать в свой новый частный банк.

Толпа служащих уже ждет в приемной. Тут и старики, и пожилые, и молодежь. Стоят и трепещут за свое жалованье. Скрипнула дверь, и он вышел...

И во сне он говорит речь:

— Прошу, господа, любить и жаловать... Я строг, но справедлив, и подтяну наше учреждение. Люди, не желающие работать, пусть лучше уходят, а полезные работники найдут во мне всегда покровителя и защитника. На-

деюсь, я не услышу более ни о злоупотреблениях, ни о послаблениях, ни о мздоимстве. Язву эту я вырву с корнем!

И, чтобы показать, что он не шутит, он на другой день уволил десять бухгалтеров, двадцать помощников и сто двадцать конторщиков.

Опять утро. Его речь опять в печати, благодаря усердию Прощалыжникова, и в заключение хвала его энергии и решительности. Щетинников опять читает и даже во сне улыбается циничной усмешкой и сам затрудняется, как себя назвать: великим ли дельцом или просто большим прохвостом. Его правдивость одерживает победу, он называет себя прохвостом и весело смеется, переполненный счастьем торжества... Ему хочется крикнуть: «Да здравствует бесстыдство!» Он вскрикивает и от собственного крика просыпается.

— Так это был сон? — говорит Щетинников, потягиваясь в кровати. — Авось он будет вещим сном! — прибавляет он, веселый и радостный, припоминая вчерашнюю беседу с Проходимцевым.

Он взглянул на часы. Был одиннадцатый

час.

— Есть ли ответ от Куницыной? — тревожно проговорил он и позвонил.

Вошел Антон с письмом в руке.

Щетинников быстро вскрыл конверт и с торжествующей улыбкой прочитал: «Приезжайте».

— Сон в руку! — весело заметил он, начиная одеваться.

Пассажирка*

I

Дня за два до ухода нашего из Сан-Франциско мичман Цветков, только что вернувшийся с берега, стремительно ворвался в кают-компанию и воскликнул своим бархатым тенорком:

— Какую я вам привез, господа, новость! Одно удивленье!

И чернокудрый пригожий молодой мичман, веселый, легкомысленный и жизнерадостный, ухитрявшийся влюбляться чуть ли не в каждом порте, где клипер наш стоял более трех суток, — окинул живым, смеющимся взглядом своих красивых черных глаз

несколько человек офицеров, благодушеествовавших после обеда за чаем.

— Ну какая там у вас новость? — недоверчиво и лениво кинул с дивана старший офицер Степан Дмитриевич и, потянувшись, зевнул, собираясь, по обыкновению, соснуть чашок после обеда.

— Уж не садится ли к нам адмирал? — испуганно спросил кто-то.

— Нет, нет... новость самая приятная! — рассмеялся мичман, открывая ряд ослепительно белых зубов. — Только моя новость не для вас, Евграф Иванович, и не для вас, Антон Васильич, — обратился он, лукаво улыбаясь, к пожилому артиллеристу и к доктору.

— Это почему?

— Вы — в законе. И не для вас, батя... Вы — монах! И не для тебя, милорд. Ты — влюбленный жених. Тебя ждет не дождется в Кронштадте твоя невеста.

— Да не балагань, говори, в чем дело! И без того довольно похож на Бобчинского*! — проговорил медленно, сквозь зубы, товарищ и приятель Цветкова, мичман Бобров, прозванный «милордом».

Рыжий, с выбритыми нарочно губами и маленькими, не доходившими до конца щек бачками, сухощавый и прилизанный, сдержанный и серьезный, он действительно смахивал на англичанина и корчил англomана, стараясь усилить это внешнее сходство и соответствующими, по его мнению, английскими привычками: напускал на себя невозмутимость, выпучивал бессмысленно глаза, цедил слова, носил фланелевые рубашки, пил портер и ничему не удивлялся.

— То-то: говори! А небось не угостишь бедного мичмана русской папироской... Эти манилки... Черт бы их побрал!.. Ну, не раздумывай же, благородный лорд... Давай!

«Благородный лорд», запасливый, бережливый и вообще очень аккуратный молодой человек, не только не делавший долгов, но кое-что сохранявший от своего небольшого жалованья, — несмотря на второй год плавания, курил еще папиросы, взятые из России. Он крайне неохотно угощал ими и не без некоторого внутреннего колебания достал папиросницу, но предусмотрительно не подал ее Цветкову, а, вынудив одну папироску, протя-

нул ее веселому мичману, давно прокурившему и проугощавшему свой запас.

Тот, после первой жадной затяжки, значительно и торжественно проговорил, прищуривая смеющиеся глаза:

— У нас на клипере будет пассажирка! Пойдет с нами до Гонконга... Не ожидали, господа, такой новости, а?..

И жизнерадостный мичман оглядел всех победоносным взглядом.

Новость эта, видимо, произвела впечатление на моряков.

— Пассажирка! — раздались восклицания.

— И даже две: молодая барынька и ее горничная, тоже молодая...

— Не плод ли это твоей фантазии, сэр? — усмехнулся милорд.

— Фантазии?! Прикуси свой язык, милорд, и кстати уж проглоти аршин, чтоб окончательно походить на англичанина.

— А собой как барыня? — спросил кто-то из молодежи.

— Чудо что такое!.. Ослепительная блондинка с золотистыми волосами. Бела как снег... Улыбка чарующая... Взгляд ангела...

Умница... Одета с изящной простотой... Стройна и сложена божественно... Бюст роскошный... Ручки — восторг: маленькие, с ямочками... Ножки...

— А горничная какова? — неожиданно перебил мичмана, восторженно перечислявшего все прелести пассажирки, долговязый вихрастый юнец гардемарин с крупными сочными губами.

— На кой вам черт знать о горничной?! — негодуяще воскликнул мичман. — Я рассказываю о ней, об этой дивной женщине, а вы — горничная! Это — профанация! У вас, видно, горничные только на уме... Тьфу!.. А впрочем, и горничная ничего себе! — вдруг, смеясь, прибавил мичман. — Ухаживайте за ней на здоровье!

— А ты уж, видно, того... втюрился в пассажирку? — насмешливо промолвил милорд.

— И ты втюришься, как ее увидишь, даром что жених.

Милорд презрительно усмехнулся и процедил:

— Я не такой влюбчивый воробей, как ты...

— Какая такая пассажирка, Владимир

Алексеич? Откуда она вдруг объявилась, и где это вы все узнали? — спросил, в свою очередь, и старший офицер, Степан Дмитриевич, умышленно равнодушным тоном, слушавший, однако, с живейшим любопытством описание прелестной пассажирки и втайне переживавший радостное волнение завязтого женолюба.

И Степан Дмитриевич, далеко неказистый из себя мужчина лет около сорока, белобрысый, коренастый, начинавший сильно лысеть, с красным от загара, угреватым, непривлекательным лицом, среди которого, словно руль, торчал длинный, неуклюжий нос с шишкой на кончике, невольно оживился, забыв сон, пригладил с достоинством потную лысину и с самым донжуанским видом стал крутить концы своих темно-рыжих усов. В то же время его маленькие с воспаленными веками глазки еще более сузились и подернулись, как выражались мичмана, «прованским маслом», и сам он молодецовато выпятил грудь колесом, представляя некоторое подобие бочонка.

Дело в том, что Степан Дмитриевич, отлич-

ный служака, добрый и вообще скромный человек, имел одну непростительную слабость — считать себя весьма и весьма соблазнительным мужчиной и думать, что нравится дамам.

— Я сейчас видел пассажирку у консула. Она приезжала к нему с горничной выправить бумаги... Меня представили ей, и мы с ней говорили... И капитан в это время был у консула. Ну и скажу я вам, господа, наш-то капитан...

— А что?..

— Потеха! Даром, что и с брюшком, и почтенный отец семейства, а так и рассыпался, так и лебезил... Совсем не такой свирепый, каким бывает во время авралов... Губы распустил, «ля-ля-ля», ходит вокруг, словно кот около сливок... консульша даже смеялась... И когда консул просил взять этих дам пассажирками до Гонконга, капитан с удовольствием согласился и предложил к услугам очаровательной блондинки свою каюту... А она, как царица, чуть-чуть кивнула головкой.

— Они американки, что ли? — снова попытствовал старший офицер, довольно

плохо объяснявшийся на английском диалекте.

— Какие американки! Чистейшие русские, москвички. С какой стати капитан взял бы американок пассажирками!

Это известие привело всех еще в больший восторг.

— Как же они сюда попали, в Калифорнию?

— Очень просто. Прелестная блондинка была замужем за американцем, инженером Кларком. Этот Кларк был зачем-то в России, встретился с русской красавицей и влюбился, понятно, в нее. Она, только что кончившая курс институтка, дочь какого-то генерала, тоже влюбилась в американца. Ну, повенчались и уехали в Америку; с ними уехала и русская горничная, бывшая крепостная. Прожили они, по словам консула, пять лет вполне счастливо, — американец обожал жену. Три года тому назад они приехали в Калифорнию, и здесь американец потерял все огромное свое состояние на спекуляциях с золотыми приисками. В отчаянии он в один прекрасный день пустил себе пулю в лоб... Ну не бол-

ван ли?

— Положим, болван, но что же дальше? — спросил кто-то.

— Эти три года несчастная вдова жила в Сакраменто* у родных мужа и затем в Сан-Франциско, давала здесь уроки музыки. Кое-какие деньги, оставшиеся у нее после богатства мужа, пропали у разорившегося банкира. Ее потянуло на родину, и вот теперь она возвращается в Россию, отказав трем богатым женихам...

— Это она все тебе сообщила? — иронически заметил милорд.

— Нет, проницательный милорд, не она, а консульша... Она с ней давно знакома.

— Что ж она — неутешная вдова, что ли?

— Этого я не знаю... Знаю только, что она прелестна и, по словам консульши, безупречной репутации. Ее так и зовут здесь «мраморной вдовой».

— А сколько ей лет?

— В консульстве говорили: тридцать, но это вранье, по-моему. Ей много-много двадцать пять... Она глядит совсем девушкой, так она свежа и хороша, эта миссис Вера, как

ее здесь зовут. Ну, вот вам и вся история... Эй, вестовые, чаю! — крикнул мичман.

— Она не научилась говорить по-русски? — спросил старший офицер.

— Отлично говорит. Изредка только у нее заедает[50]. А голос-то какой, Степан Дмитрич!

— Хороший?

— Бархат! Так и ласкает, так и проникает в душу!

— Посмотрим, посмотрим вашу красавицу! — весело и самоуверенно, с видом опытного знатока, промолвил Степан Дмитрич, задорно как-то крякнул и пошел к себе в каюту отдыхать.

«Черта с два ты посмотришь! Роба вроде медной кастрюльки, а тоже воображает!» — мысленно напутствовал его мичман. И бросил в спину старшего офицера неприязненный, насмешливый взгляд.

Распросы насчет пассажирок продолжались еще несколько времени. Одни интересовались барыней, а другие (и в том числе и пожилой артиллерист, и вихрастый гардемарин) горничной, и все выражали удоволь-

ствие, что на клипере будет пассажирка, которая своим присутствием скрасит однообразие и скуку длинного перехода.

Один только «дедушка», как звали все любимого старого штурмана Ивана Ивановича, слушая все эти разговоры, не выразил ни малейшего сочувствия и как-то загадочно усмехался, неодобрительно покачивая своей седой, коротко остриженной головой.

Мичман между тем не уставал петь восторженные дифирамбы красоте молодой вдовы. Отвечая на назойливые вопросы, он хвалил и горничную, но равнодушно и сдержанно. В конце концов чуть не вышла крупная история. Лейтенант Бакланов, довольно видный блондин, кронштадтский сердцеед, сделал насчет будущей пассажирки очень нескромное замечание. Мичман вспыхнул, губы его затряслись, и он назвал Бакланова нахалом, не понимающим, как надо говорить о порядочной женщине. Дело дошло бы до крупной ссоры, если б не вмешался дедушка и, со свойственным ему умением миротворца, не уговорил двух распетушившихся молодых людей извиниться друг перед другом.

— Перессорятся у нас все из-за этой пассажирки! — пророчески, тоном выдавшего вида философа говорил несколько минут спустя дедушка Иван Иваныч, преклонные года которого оставляли его, по-видимому, совершенно равнодушным к прелестям женской красоты. — Еще ее нет, а уж ссора! А что же будет, когда все закружат около пассажирки, словно тетерева на току? На берегу, где много бабья, и то из-за них одни неприятности, а в море, когда одна хорошенькая дамочка среди этих, с позволения сказать, петухов... благодарю покорно! Тут и служба не пойдет на ум... Нет-с, не резон брать пассажиров, да еще на длинный переход. Не одобряю-с! Недаром же, по регламенту Петра Великого, женщин нельзя брать в плаванье. Царь-то великого ума был... Понимал хорошо, в чем загвоздка.

Толстенский, кругленький, чистенький и свежий, как огурчик, судовой врач Антон Васильевич, перед которым философствовал старый штурман, весело закатился мелким визгливым смехом, умильно жмуря глаза, и неопределенно протянул, стараясь принять степенный вид:

— Ддда... женщина, особенно хорошенькая...

— То-то оно и есть! Каждому лестно...

— Именно лестно... Хе-хе-хе!

— И посойдут они все с ума, ошалеют, как коты по весне, вспомните мое слово, Антон Васильич... Этот Цветков уже втюрился... «И такая, и сякая, писаная, немазаная»... Чего только не насказал!.. Известно, с влюбленных голодных глаз, да в двадцать три-то года, всякая смазливая дамочка — красавица... И Степан Дмитрич... даром, что лыс, а уж хвост распустил и усы стал закручивать, и капитан тоже... Вот и будет, можно сказать, у нас кавардак из-за этой самой пассажирки! — ворчливо прибавил Иван Иванович.

Иван Иванович, вообще словоохотливый вне службы, по-видимому не прочь был еще пофилософствовать на эту тему. Но, взглянув на доктора и увидав в его лице и глазах игриво-веселое выражение, далеко не обнаружившее сочувствия к его словам, он укоризненно покачал головой, молча докурил манилку и вышел из кают-компаний.

«Да и ты, брат, такой же саврас, как и дру-

гие!» — говорило, казалось, добродушное старое лицо штурмана.

II

Вечером с берега приехал капитан и тотчас же потребовал к себе в каюту старшего офицера.

Капитан был толстяк лет пятидесяти, почти седой, с крупными чертами загорелого полного лица, с крепко посаженной круглой головой на короткой шее и большими темными глазами, метавшими молнии во время гнева и добродушными в минуты спокойствия. Короткие седые усы прикрывали толстые губы, с которых нередко слетали энергические ругательства во время авралов и учений.

Напустив на себя недовольный вид и хмуря заседевшие брови, капитан проговорил резким, отрывистым голосом:

— Завтра придут две пассажирки: вдова инженера Вера Сергеевна Кларк и ее горничная... Неприятно, конечно, возиться на судне с бабьем, но что делать? Нельзя было отказать. Консул очень просил и вообще... вообще дама, заслуживающая уважения и покрови-

тельства. Я отдаю ей свою каюту. Сам помещусь в рубке... Приходится из-за этой пассажирки стесняться, — все тем же недовольным тоном говорил капитан. — А вас, Степан Дмитриевич, попрошу распорядиться, чтобы хоть на это время и господа офицеры, и боцмана, и матросы воздержались... не ругались бы во всю ивановскую... Нельзя же... Понимаете, дама-с, генеральская дочь... Неприлично-с!

— Слушаю-с! Я скажу офицерам и отдам приказание боцманам, Петр Никитич!

— Особенно этот боцман Матвеев... Не может, каналья, рта открыть без ругани. Так уж вы велите ему заткнуть свою глотку, а то срам-с. Дама, и не какая-нибудь там, знаете ли, старая карга, а молодая женщина, образованная, деликатного воспитания, ну, одним словом, вполне дама-с. И жила, понимаете, долго в Америке и, следовательно, отвыкла в некотором роде от России. Здесь ведь так не ругаются! — пояснил капитан и снова повторил: — Да-с, приходится в рубке... не особенно приятно... Да и вообще не люблю я дам на военном судне... Стеснительно... Ну, да нельзя

было отказать! — как бы оправдывался капитан.

«Однако ловко же ты напускаешь туману!» — подумал старший офицер, вспомнив рассказ мичмана о том, как лебезил капитан перед хорошенькой пассажиркой, и проговорил:

— Это точно, Петр Никитич, дама более береговое создание...

— Да вот еще что, Степан Дмитрич, — заговорил капитан, — вы, пожалуйста, скажите мичманам и гардемаринам, чтобы они, знаете ли, того... не гонялись за горничной, как кобели, с позволения сказать... Чего доброго, заведут там еще интригу... Она пожалуется... Скандал... Военное судно... Надо помнить-с! — строго прибавил капитан.

— Слушаю-с!

Капитан помолчал.

— Больше не будет никаких приказаний, Петр Никитич? — спросил старший офицер.

— Кажется, более ничего... Снимаемся послезавтра с рассветом.

Степан Дмитриевич хотел было уходить, как капитан, внезапно меняя тон и сбрасывая

с себя строгий начальнический вид, проговорил с тем обычным добродушием, с каким говорил не по службе:

— А знаете ли, Степан Дмитрич, ведь наша пассажирка... того... прехорошенькая, можно сказать, дама-с!

И при этих словах лицо капитана расплылось в широкую улыбку, и большие навывахте глаза его приняли несколько игривое выражение.

— Цветков рассказывал, Петр Никитич! Говорит красавица, — отвечал, тоже весело улыбаясь, Степан Дмитрич и стал крутить усы.

— Цветков? Да, ведь он был у консула в то время, когда там была пассажирка, и успел-таки с ней познакомиться. Верно, уж и наговорил ей своих мичманских любезностей... Этот пострел везде поспел! — с оттенком неудовольствия в голосе прибавил капитан.

— Он, кажется, уж по уши влюблен в пассажирку. Вернулся с берега совсем ошале-лый! — смеясь, заметил Степан Дмитриевич.

— Ну и... и дурак! — неожиданно, с раздражением выпалил капитан.

Старший офицер удивленно взглянул на капитана, недоумевая, с чего это его прорвало.

А капитан через несколько мгновений, словно устыдясь своего внезапного, почти инстинктивного раздражения старого, некрасивого мужчины против молодого, красивого и ловкого, имеющего все шансы нравиться женщинам, и желая скрыть перед старшим офицером истинную причину своего гневно-го восклицания, проговорил:

— Ведь славный этот Цветков и офицер бравый, но какой-то сумасшедший. Как увлечется, тогда ему хоть трава не расти. Помните, как он чуть было не остался в Англии из-за какой-то англичанки? Три дня мы его по Лондону искали. Ведь пропал бы человек!

— Влюбчив, что и говорить, — вставил Степан Дмитриевич, — и не понимает еще хорошо женщин, — не без апломба прибавил старший офицер, приосаниваясь.

— То-то и есть... А эта пассажирка, молодая вдовушка, может легко вскружить голову такому молодому сумасброду... Да-с! Она, как я

слышал, — продолжал капитан, хоть и ничего не слышал, — она, знаете ли, хоть с виду в некотором роде нимфа-с, а опасная кокетка... В глазах у нее есть что-то такое... Как в океане... Штиль, а как заревет... бери все рифы-с... ха-ха-ха!.. Я, как человек поживший, сразу заметил... Штучка! Так вокруг пальца и обведет!

И капитан повертел перед своим широким крупным носом толстый и короткий указательный палец, на котором блестел брильянтовый перстень.

— Ну и жаль будет молодого человека, если он врежется, как дурак, и наделает глупостей... Пассажирка, в самом деле, канальски хороша... Надеюсь, Степан Дмитрич, этот разговор между нами! — вдруг прибавил несколько смущенно капитан.

— Будьте покойны, Петр Никитич.

Когда старший офицер уже выходил из каюты, капитан еще раз повторил ему вдогонку, и на этот раз снова резким тоном командира:

— Так, пожалуйста, чтобы боцмана не ругались. Особенно Матвеев.

— Есть! — на ходу ответил старший офи-

цер.

Он в тот же вечер позвал к себе в каюту обоих боцманов, Матвеева и Архипова, и, объяснив, что на клипере будут две пассажирки, строго приказал не ругаться и велел это приказание передать унтер-офицерам и команде.

Отдавая такое приказание, Степан Дмитриевич, и сам большой охотник до крепких словечек, сознавал в душе, что исполнить его боцманам будет очень трудно, пожалуй даже невозможно. И, вероятно, именно вследствие такого сознания, он, пунктуальный исполнитель воли начальства, еще грознее и решительнее повторил, возвышая голос:

— Чтобы во время работ ни гу-гу! Слышите?

— Слушаем, ваше благородие! — отвечали оба боцмана и в ту же секунду, словно охваченные одною и той же мыслью, переглянулись между собою.

Этот быстрый обмен взглядов двух боцманов совершенно ясно выражал полнейшую невозможность исполнения такого странного приказания.

— Смотри же! — прикрикнул старший офицер. — Особенно ты, Матвеев, не давай воли своему языку. Ты загибаешь такие слова... Черт знает, откуда только берется у тебя всякая ругань. Чтобы ее не было!

Матвеев, пожилой, небольшого роста, крепкий и коренастый человек, с рыжими баками и усами, почтительно выпучив глаза, нерешительно переступал босыми жилистыми ногами и усиленно теребил пальцами фуражку.

— Буду оберегаться, ваше благородие, но только осмелюсь доложить...

И боцман еще сердитей затеребил фуражку.

— Что доложить?

— ...Осмелюсь доложить, что вовсе отстать никак невозможно, ваше благородие, как перед истинным богом докладываю. Дозвольте хучь тишком, чтобы до шканцев не долетало и не беспокоило пассажиров. Чтобы, значит, честно, благородно, ваше благородие, — прибавил в пояснение Матвеев, любивший иногда в разговоре с начальством вворачивать деликатные слова.

На смуглом худощавом лице Архипова выразилось полное сочувствие к просьбе товарища.

— Тишком?! — переспросил старший офицер, подавляя улыбку. — Ты и тишком так орешь, что тебя за версту слышно. Глотка-то у тебя медная, у дьявола!

Боцман стыдливо заморгал глазами от этого комплимента.

— Ты пойми, Матвеев, пассажирки — дамы. При них ведь нельзя языком паскудничать, как перед матрозней.

— Точно так, ваше благородие, известно дамы! — осклабился боцман. — К этому не привычны.

— То-то и есть! Так уж вы остерегайтесь... Не осрамите... А не то командир строго взыщет, да и я не поблагодарю...

— Будем стараться, ваше благородие! — ответили разом оба боцмана подавленными голосами.

— Ступайте!

Они юркнули из каюты старшего офицера, осторожно, на цыпочках, прошли один за другим через кают-компанию и, очутившись

в палубе, остановились и снова переглянулись, как два авгура, без слов понимающие друг друга.

— Ддда! — протянул Матвеев.

— Ловко! — промолвил и Архипов.

— Нечего сказать: приказ! Остерегись тут!

— Как-то он сам остережется!

— Какая кузькина мать принесла этих пассажиров, чтоб их...

И из уст Матвеева полилась та вдохновенная импровизация ругани, которая стяжала ему благоговейное удивление всей команды.

— А вестовые сказывали, быдто горничная — цаца! — усмехнулся, подмигивая взглядом, Архипов.

— И без нас, братец, довольно на эту цацу стракулистов*! — сердито ответил Матвеев и кивнул головой на гардемаринскую каюту... — Не бойсь, маху не дадут!

И оба боцмана, недовольные будущими пассажирками, поднялись наверх и пошли на бак сообщать распоряжение старшего офицера.

А там уж шустрый молодой вестовой Цветкова, Егорка, сообщал кучке собравшихся во-

круг него матросов о том, что слышал в кают-компании, причем не отказал себе в удовольствии изукрасить слышанное своей собственной фантазией и произвел пассажирку в генеральши.

— Российского генерала, братцы, дочь, а здешнего генерала жена, — рассказывал не без увлечения Егорка. — Ва-ажная и кра-асивая! Сам генерал, братцы, из левольвера застрелился неизвестно по какой причине — спекуляция какая-то приключилась, болезнь такая, а женка после того и заскучила.

— Известно — живой человек... Без мужа заскучит! — вставил кто-то.

— «Не хочу, говорит, после того оставаться в здешних проклятых местах... Недавно, говорит, и сама тою ж болезнью заболею и решу себя жизни. Желаю, говорит, ехать беспременно на родину и вторительно пойду замуж не иначе, как за русского человека».

— Видно, баба с рассудком. Это она правильно... Со своими живи! — раздалось чье-то замечание.

— И испросилась, значит, генеральша у капитана идтить с нами до Гонконга, а отседа

она на вольном пароходе. А с ей ее горничная. Мой мичман сказывал, что такая форсистая и пригожая девушка, вроде бытто мамзели... Одно слово, братцы, краля!

— Она из каких, Егорка? Мериканка?

— Наша православная. Из России привезена, хрестьянской девушкой... Только живши в Америке в этой, мамзелистой стала на хорошем-то харче... Здесь ведь, братцы, все мясо да белый хлеб... Народ в пинжаках...

— Ишь ты... русская! А давно мы русских девок не видали, ребята! — заметил один из слушателей.

— То-то давно... А наши не в пример лучше! — решительно заявил Егорка.

— Небось, Егорка, и здешние мамзели понравились?

— Что говорить, чистый народ, но только ни она тебя, ни ты ее понять не можешь... «Вери гут да вери гут», — вот и всего разговору...

— А хороши, шельмы, здешние... Очинно хороши...

— Наши-то поядреней... Потоваристей, — засмеялся Егорка. — А здесь только что с лица

хороши... А чтобы насчет ядерности — против российских не сустоять... Костлявые какие-то...

Разговор принял несколько специальный характер, когда матросы стали входить в подробную оценку достоинств женщин разных наций. Все, впрочем, согласились на том, что хотя и англичанки, и француженки, и китайянки, и японки, и каначки* ничего себе, «бабы как бабы», но русские все-таки гораздо лучше.

III

В этот теплый и яркий сентябрьский день офицеры клипера, в ожидании пассажирки, особенно внимательно занялись туалетом и мылись, брились и чесались в своих каютах дольше, чем обыкновенно. К завтраку почти все явились в кают-компанию прифранченными, в новых сюртуках с блестящими погонами и белых жилетах. Туго накрахмаленные воротники и рукава рубашек, мастерски вымытых в Сан-Франциско китайцами-прачками, сияли ослепительной белизной и блестели словно полированные. Бакенбарды различных форм были бесподобно расчесаны и подбородки гладко выбриты. Усы, начиная с

великолепных усов фатоватого лейтенанта Бакланова, длинных, шелковистых, составлявших предмет его гордости и особенных забот, и кончая едва заметными усиками самого юного гардемарина Васеньки, были тщательно закручены и нафиксатуарены. Сильный душистый аромат щекотал обоняние, свидетельствуя, что господа моряки не пожалели ни духов, ни помады. Особенно благоухал старший офицер, Степан Дмитриевич. Щеголевато одетый, напомаженный, прикрывший часть лысины умелой прической, он словно чувствовал себя во всеоружии неотразимости соблазнительного мужчины и то и дело покручивал свои темно-рыжие усы и ощупывал свой длинный красный нос, испробовав накануне новое верное средство против угрей.

Кают-компания, вымытая и убранная ве-
стовыми, блестела той умопомрачающей чи-
стотой, какая только известна на военных су-
дах. Нигде ни пылинки. Клеенка сверкала, и
щиты из карельской березы просто горели.
На середине стола красовался в японской вазе,
данной кем-то из офицеров, огромный рос-

кошный букет, заказанный, по настоянию Цветкова, для украшения кают-компаний. Вестовые были в чистых белых рубашках и штанах и обуты в парусинные башмаки. Старший офицер еще вчера приказал им: на время присутствия пассажирки босыми не ходить и одеваться чисто, а не то...

Только дедушка Иван Иванович да старший судовой механик Игнатий Афанасьевич Гнененко нарушали общую картину парадного великолепия.

Иван Иванович сохранял обычный будничный вид в своем стареньком, хотя и опрятном, люстриновом сюртучке, серебряные погоны которого давно потеряли свой блеск и съежились, и с высокими «лисеями» (воротничками), упиравшимися в его чисто выбритые, старчески румяные щеки; а Игнатий Афанасьевич, человек лет за тридцать, с добрыми светлыми глазами, отличавшийся крайним добродушием, невозмутимой хохлацкой флегмой и неряшливостью, явился в кают-компанию, по обыкновению, в засаленном кителе, с вечной дырой на локте. воротник его рубашки, повязанный каким-то об-

рывком, был сомнительной свежести, всклокоченные волосы, видимо, требовали гребня и щетки.

Увидав Игнатия Афанасьевича в таком костюме, Цветков, сияющий словно именинник, в ослепительно белом костюме, просто-таки пришел в ужас.

— Игнатий Афанасьевич... Голубчик... Помилосердствуйте! — возбужденно воскликнул он, озирая неуклюжую фигуру механика.

— А что? — невозмутимо осведомился Игнатий Афанасьевич.

— Нельзя же... На клипере будет дама, а вы... Посмотрите!

И Цветков показал дыру на локте.

Игнатий Афанасьевич тоже взглянул на дыру, почему-то потрогал ее пальцем и, улыбаясь глазами, проговорил с сильным мало-российским акцентом:

— Не зачинил шельма Иванов... А я давно ему говорил...

— Но самый сюртук! Что подумает пассажирка, увидав вас в таком костюме?

— А нехай думает что хочет! — добродушно заметил Игнатий Афанасьевич.

Раздался взрыв смеха.

— Нет, уж вы, Игнатий Афанасьевич, поддержите честь клипера... Ради бога. Сюртука вам нового жаль, что ли?..

— Да я не выйду ее смотреть...

— А если она зайдет в кают-компанию... Захочет взглянуть?.. Наконец, мы ее пригласим... Уж вы, Игнатий Афанасьевич, не спорьте, ей-богу... Не поленитесь, переоденьтесь...

Цветков так упрашивал, что Игнатий Афанасьевич, несмотря на свою лень, обещал переодеться...

— Только не думайте, что на ходу я стану для нее одеваться... Под парами я в своей куртке буду! — заметил Игнатий Афанасьевич... — Она ко мне в машину не придет, надеюсь.

Пассажирку ждали к шести часам — к обеду, вместе с консулом и консульшей, приглашенными капитаном. В пять часов за гостями был послан щегольской капитанский катер. Другой катер отправился за багажом.

Цветков хотел было отправиться с катером, посланным за гостями, но старший офицер сказал ему, что, по распоряжению капи-

тана, ехать с катером назначен гардемарин Летков (Васенька).

— Да разве не все равно, кто поедет? Я по крайней мере уже знаком с пассажиркой... А Васенька охотно уступает мне свое право... Не правда ли, Васенька?

— Я очень рад не ехать! — подтвердил юный и очень застенчивый Васенька. — Я не умею разговаривать с дамами! — прибавил он, краснея.

— Так разрешите, Степан Дмитрич!

— Нет, уж вы лучше сами, Владимир Алексеич, спросите капитана! — с улыбкой проговорил старший офицер.

— Что ж, и спрошу!

— Эка тебе не терпится увидеть юбку... Удивляюсь твоему легкомыслию! — процедил милорд.

— И удивляйся! — огрызнулся Цветков, выходя из кают-компанияи.

Большая роскошная капитанская каюта была убрана, видимо для пассажирки, особенно тщательно. Разные японские и китайские вещи, вынутые из ящичков капитана, были расставлены в разных местах, украшая убран-

ство каюты. На накрытом, превосходно сервированном столе красовались букеты роз. Тонкий аромат духов стоял в воздухе.

Сам капитан, приодетый и прифранченный, с подстриженными волосами и баками, красный как рак и отдувающийся от жары, стоял, подавшись своим солидным брюшком вперед, озабоченно озирая убранство стола, и не заметил прихода мичмана.

«Ишь как он убрал каюту для пассажирки и как сам разукрасился, толстопузый! — усмехнулся про себя Цветков, оглядывая каюту и самого толстяка капитана. — Небось и шампанское сегодня! — завистливо промелькнуло у него в голове при виде ваз с бутылками на столе... — Жаль, что не моя очередь у него обедать... Милорд будет!..»

— Петр Никитич! — проговорил мичман.

Капитан поднял голову и, увидав Цветкова в полном блеске, сухо спросил:

— Что прикажете-с, Владимир Алексеич?

— Позвольте мне, Петр Никитич, ехать с капитанским катером вместо гардемарина Леткова.

— Это почему-с? Со шлюпками ездят гарде-

марины, а вы, кажется, мичман-с.

Эти «ерсы», которыми сыпал капитан, и резкий, сухой тон его голоса, казалось, должны были бы предостеречь мичмана от продолжения и заставить его убраться подобру-поздорову из каюты, — но он, охваченный страстным желанием прокатить хорошенькую блондинку на катере под парусами и щегольнуть перед ней своим умением лихо управлять шлюпкой, не замечал, что капитанские глаза предвещают бурю, и прежним легкомысленным тоном продолжал:

— В таком случае позвольте, Петр Никитич, просто поехать встретить пассажирку. Быть может, ей понадобятся услуги какие-нибудь... Так я...

— Это еще что за встречи, Владимир Алексеич?! — перебил, закипая гневом, капитан. — Какие такие вы выдумали особенные встречи?.. Какие там услуги-с?! С чего вы вздумали гоняться за пассажиркой? Вы ведь офицер военного судна, а не какой-нибудь, с позволения сказать, годовалый понтер-с! Тоже встречи устраивать! И как вы позволили себе, господин мичман, обращаться ко мне с таким

вздором, а? — вдруг крикнул капитан, уставив свои выпученные глаза с вращающимися белками на Цветкова.

Никак не ожидавший такого гневного взрыва, Цветков проговорил:

— Я полагал, что...

— А вы не полагайте-с и не приходите к капитану с подобными заявлениями... Ишь... разрядились как! — прибавил капитан, оглядывая блестящего мичмана. — Какая-то пассажирка, а уж вы...

— Я полагаю, это до службы не относится, Петр Никитич! — довольно твердо заметил Цветков, взглядывая на капитана в упор.

— Все-с относится к службе! — понижая тон, отвечал капитан. — Можете идти-с!

Цветков вернулся в кают-компанию в возбужденном состоянии, раздраженный.

— Ну что, едете за пассажиркой, Владимир Алексеич? — лукаво спросил старший офицер.

— Какое еду... Он еще меня разнес.

— За что же?

— А вот подите. Раскричался словно оглашенный. Даже насчет костюма заметил: «раз-

рядились», говорит... Но тут я ему задал «асса-же»*. Какое ему дело — разрядился я или нет? И с чего он взъерепенился, скажите на милость? Кажется, ничего нет позорного встретить даму?.. А, главное, сам-то он ради пассажирки фронт фронтом оделся... Ей-богу, вот увидите... И каюту изукрасил как! Везде китаящина и японщина... На столе букеты роз. К обеду шампанское... За что же мне-то пошло?

— И не так еще попадет, Владимир Алексич! — промолвил Иван Иванович.

— За какие такие дела, дедушка?

— А все из-за этой пассажирки.

— Она-то тут при чем?

— А притом, что все вы из-за нее с ума походите... Уж вот вы, батенька, горячку заполили... непременно встречать ее захотели... Еще посмотритесь на пассажирку. Переход-то длинный.

— А сколько, примерно, времени?

— Да уж никак не меньше трех недель.

— И чудесно, дедушка! — воскликнул мичман.

— Что чудесно?

— Она три недели будет с нами.

— Эх вы... ненасытные! Мало вам, что ли, влюбляться на берегу — еще в море захотели! — заметил, улыбаясь, дедушка. — Сколько у вас будет соперников. Друг дружку станете ревновать.

— Она ни на кого из нас не обратит внимания, дедушка.

— Ну так вы и совсем взбеситесь. Помните мое слово!

Цветков уже весело смеялся, слушая дедушку, забыл о «разносе», полученном от капитана, и все время нетерпеливо поглядывал на часы.

В это время в кают-компанию вошел Игнатий Афанасьевич в новой паре, в чистой рубашке, повязанной каким-то необыкновенным бантом, приглаженный, прилизанный и выбритый.

— Bravo, Игнатий Афанасьич! Совсем вы молодецом! — воскликнул Цветков.

— Того и гляди в Игнатия Афанасьича пассажирка влюбится! — заметил кто-то.

— А пусть влюбится! — невозмутимо произнес Игнатий Афанасьевич, вызывая общий

смех, и поспешил присесть к столу, видимо чувствуя себя не совсем ловко в новом платье и потому несколько удрученный.

— Катер, господа, идет! — крикнул в открытый люк вахтенный офицер.

Все бросились из кают-компания наверх смотреть пассажирку.

День был превосходный. Жара умерялась легким ветерком. Пользуясь им, капитанский катер, слегка накренившись, приближался под парусами к клиперу, лихо прорезывая кормы и носы многочисленных судов, стоявших на оживленном сан-францисском рейде.

Все бинокли устремились на катер. Один лишь Степан Дмитриевич, желая, в качестве старшего офицера, показать солидность, с напускным равнодушием разгуливал по шканцам, по временам подрагивая бедрами и неустанно закручивая усы.

— Ни-че-го осо-бен-ного! — процедил, отводя бинокль, милорд, стараясь показать ледяное равнодушие и корча из себя, по случаю приезда пассажирки, равнодушного ко всему в мире человека, как и подобало быть, по его мнению, настоящему англичанину.

— И болван ты, благородный лорд, после этого! — воскликнул прильнувший глазами к биноклю Цветков.

— Парламентское выражение!

— Или ты врешь, или ничего не понимаешь в красоте. Она идеально хороша... Вот увидишь ее вблизи, и если ты не английская швабра, то...

— И «швабра»... весьма мило! — насмешливо перебил милорд.

— Да как же ты смеешь говорить: «ничего особенного». Чего тебе особенного!.. Однако Васенька молодцом правит... Ишь как ловко подрезал корму американцу... Лихо!

— Нет, хорошенькая, я вам скажу, дамочка! — произнес ни к кому не обращаясь кругленький, толстенный, чистенький доктор и захихикал своим мелким смехом.

— И, как следует, с аванпостами и вообще... Хо-хо-хо...

И пожилой старший артиллерийский офицер, интересовавшийся горничной, весело загоготал.

— Уже заржали молодцы! — промолвил девушка и безнадежно махнул рукой.

— Да вы взгляните, Иван Иванович, так и сами... того... — обратился к нему вполголоса доктор, предлагая бинокль.

— Чего смотреть? Не видал я, что ли, юбок-с? Видывал. И без бинокля увижу. Небось пассажирка будет вечно торчать наверху при таких кавалерах... Только вахтенному мешать будет!

Посматривали, рассыпавшись у бортов, и матросы на приближавшийся катер.

А в это время боцман Матвеев обходил клипер и вполголоса говорил матросам:

— Смотри же, ребята, чтобы, значит, худого слова ни боже ни... А не то я вас...

И боцман заканчивал, правда довольно тихо, угрозами, сопровождая их самыми худыми словами.

— Сигнальщик! Доложи капитану, что катер с консулом пристаёт к борту! — крикнул стоявший на вахте красивый блондин Бакланов. — Фалгребные наверх! — скомандовал он затем и, молодецкато сбжав с мостика, пошел для встречи гостей.

В ту же минуту наверху появился капитан и, слегка сторбившись, умышленно нетороп-

ливой, ленивой походкой направился к парадному трапу. Своим недовольным, сумрачным видом, своей походкой он словно хотел соблюсти свой капитанский престиж и показать перед офицерами, что приезд пассажирки не только нисколько его не интересует, но как будто даже и не особенно приятен.

Между тем катер, сделав поворот, лихо пристал к борту. Паруса мигом слетели, и Васенька, разгоревшийся от волнения, бросил руль и предложил своим пассажирам выходить. Через несколько секунд на палубу в числе других гостей — пожилой консульши и ее мужа — легко и свободно спустилась по маленькому трапу молодая пассажирка.

IV

Хотя увлекающийся мичман и сильно преувеличил красоту пассажирки в своих безумно восторженных дифирамбах, тем не менее она действительно была очень недурна собой, эта стройная, изящная, ослепительно свежая блондинка, небольшого роста, с карими глазами и светло-золотистыми волосами, волнистые прядки которых выбивались на лоб из-под маленькой панамы с короткими,

прямыми полями, скромно украшенной лишь черной лентой.

Было что-то необыкновенно привлекательное в тонких чертах этого маленького, выразительного, умного личика с нежными, отливавшими румянцем, щеками, капризно приподнятым красивым носом, тонкими алыми губами и округленным подбородком с крошечной родинкой. Особенно мила была улыбка: ласковая, открытая, почти детская. Но взгляд блестящих карих глаз был далеко не «ангельский», как уверял Цветков. Напротив. В этом, по-видимому, спокойно- приветливом ясном взоре как будто прятался насмешливый бесенок и чувствовалась кокетливая уверенность хорошенькой женщины, сознающей свою привлекательность и избалованной поклонниками.

Пассажирка была вся в черном, что, впрочем, очень шло к ней, оттеняя поразительную белизну ее лица. Тонкая, изящная жакетка с небольшими отворотами обливала ее гибкий, крепкий стан, обрисовывая тонкую, точно девственную талию и красивые формы хорошо развитого бюста. Белоснежный

отложной воротничок манишки, повязанной фуляром, не закрывал красивой, словно выточенной из мрамора шеи. На груди алела бутоньерка из роз. Недлинная шелковая юбка позволяла видеть маленькие ноги в изящных кожаных ботинках. Все сидело на ней красиво и ловко, все до мелочей было полно изящного вкуса. И сама она, удивительно моложавая и цветущая, хорошо сложенная, видом своим скорее походила на молодую девушку, чем на тридцатилетнюю вдову, пережившую тяжелое горе.

Она шла по шканцам уверенной, легкой походкой, рядом с немолодой, пестро одетой, молодившейся полной консульшей, приветливо отвечая на почтительные поклоны офицеров и, казалось, не замечая любопытных, полных восхищения взглядов, устремленных на нее.

Капитан, с обычной рыцарской галантностью моряков, встретивший дам у трапа с обнаженной головой и любезно их приветствовавший, красный и вспотевший, торжественно улыбаясь, как на удачном адмиральском смотре, выступал около дам, стараясь подтя-

нуть живот, с горделиво покровительственным видом индейского петуха. По дороге пришлось останавливаться, чтобы представить пассажирке старшего офицера, доктора, батюшку и несколько офицеров, находившихся близко.

Степан Дмитриевич молодецки шаркнул своей толстой короткой ножкой, снимая фуражку и наклоня белобрысую голову с зачесанной лысиной, и выразил свое удовольствие встретить соотечественницу «под небом Америки». Затем старший офицер метнул в пассажирку победоносным взглядом своих маленьких, уже замаслившихся глазок и, выпятив грудь и закручивая усы, подошел к консульше. Чистенький, свеженький, кругленький доктор немножко сконфузился, и все его пухлое лицо расплылось в улыбку. Он проговорил «очень приятно» и дал место молодому батюшке, иеромонаху Евгению, который почему-то вдруг покраснел и напряженно топтался на месте, пока капитан не вывел отца Евгения из неловкого замешательства, подзвав двух гардемарин, которых и представил пассажирке. И эти двое молодых лю-

дей и еще представленные офицеры безмолвно кланялись, но их лица и без слов говорили, что молодым морякам очень приятно было познакомиться с такой хорошенькой пассажиркой. Один только милорд, в качестве «холодного англичанина», изобразил на своем выбритом лице самое ледяное равнодушие («дескать, ты меня нисколько не интересуешь!») и, отойдя от пассажирки, нарочно даже зевнул с видом скучающего джентльмена и отвел в сторону взгляд, хотя ему и очень хотелось посмотреть на пассажирку, в которой он не находил «ни-че-го о-со-бен-ного».

Пассажирка с милой приветливостью протягивала свою маленькую ручку в черной лайке и крепко, «по-английски», пожимала всем руки, видимо довольная, что находится среди соотечественников, на плавучем оторванном уголке далекой родины, и слышит вокруг русскую речь. Она ласковыми глазами взглядывала на матросов, рассыпавшихся по палубе, и сказала, обращаясь к капитану:

— Мне просто не верится, что я в России. Если бы вы знали, как я рада, капитан, и как я благодарна, что вы меня взяли!

И радостная улыбка озаряла ее хорошенькое личико, делая его еще обворожительнее.

— Помилуйте, — любезно ответил капитан, — я счастлив, что мог быть вам полезным и вообще... Только вы бы не соскучились, Вера Сергеевна, в море, а мы... мы... Мы с употребим с своей стороны все старания, чтобы вы не скучали...

— С такими любезными людьми разве можно скучать? И наконец, я восемь лет не видала русских, а я ведь русская, да еще из Москвы! — прибавила пассажирка.

— Сердце России! — с одушевлением произнес капитан. — А москвички, насколько я встречал, премилые, позволю себе заметить-с, дамы. И очень привлекательные! — прибавил с улыбкой капитан в виде тонкого, по его мнению, комплимента.

— Вы бывали в Москве?

— Как же-с, имел это удовольствие. Она произвела на меня превосходное впечатление... Этот Кремль, радушие, сердечность! — не без горячности проговорил капитан и незаметно скользнул взглядом по белой, как сливки, хорошенькой шейке пассажирки.

— Ишь глазнапа запускает! — заметил кто-то вполголоса в кучке гардемарин, стоявших вблизи, и раздался сдержанный смех.

Вероятно, до капитана донеслось это замечание, потому что он вдруг повернул голову, метнув свирепый взор, нахохрился и, не распространяясь более о Москве, заговорил с консульшей.

Увидав Цветкова, отвешивавшего ей низкий поклон, пассажирка ласково кивнула ему головой, как знакомому, и сделала несколько шагов ему навстречу.

— Что же вы не приехали за мной, Владимир Алексеич, как обещали? — любезно упрекнула она, протягивая просиявшему мичману руку.

— Нельзя было... Если б я только мог, Вера Сергеевна! — проговорил восторженно мичман, весь вспыхивая.

— Вас задержала служба?

— Какая служба! Просто капитан не пустил, — улыбаясь заметил Цветков, понижая голос.

— Не пустил? Почему не пустил?

— Это его тайна! — усмехнулся Цветков. —

Впрочем, и Васенька вас отлично довед... Не правда ли?

— Какой Васенька?

— Летков... Мы все так зовем этого милого юношу, который приезжал за вами.

— Мы отлично доехали... Отлично! — повторила пассажирка и прибавила: — А с вами мы опять будем спорить, как вчера, лишь только познакомились... Я люблю таких спорщиков... Это напоминает мне молодые годы в Москве... Здесь так не спорят, и я давно так не спорила...

— Он отчаянный спорщик, Вера Сергеевна, — заметил капитан, подходя к Вере Сергеевне.

— О, я знаю. Вчера уж мы поспорили, но, к сожалению, не dokonчили спора. Надеюсь, dokonчим и начнем новый? — промолвила, улыбаясь, Вера Сергеевна и отошла с капитаном, пожав руку окончательно влюбленному и счастливому мичману.

Сзади дам, поминутно останавливавшихся благодаря представлениям пассажирке офицеров, медленно подвигался консул, сухощавый, долговязый и серьезный финляндец, лет

под пятьдесят, оживленно беседовавший по поводу каких-то счетов с ревизором клипера.

В это же время по другой стороне шканцев торопливо проходила, шурша накрахмаленными юбками и повиливая подолом, с опущенными вниз глазами, под перекрестными взглядами моряков, круглолицая, полнотелая, не лишенная миловидности горничная, щеголевато одетая, в серой тальме и яркой шляпке, с мелкими вещами в руках, сопровождаемая молодым вестовым Цветкова, Егоркой, который нес маленький баул и две картонки с особенной осторожностью, словно боясь раздавить их в своих грубых рабочих руках.

— Сюда пожалуйста, мамзель, — шепнул Егорка, щеголяя перед этой «мамзелистой» горничной своим умением обращаться с дамами, — по этому трапу спускайтесь, — указал он головой на спуск в капитанскую каюту. И, спускаясь вслед за ней по трапу, Егорка обстоятельно любовался широким, полным затылком горничной и ее внушительными формами.

У каюты, перед буфетной, их встретил Иван Чижиков, капитанский вестовой, раз-

битной, молодой чернявый матрос с плутоватыми глазами, с медной сережкой в ухе, с коротко стриженной головой, франтовато одетый в белой собственной рубаше с широким воротом, открывавшим крепкую загорелую шею, и в нитяных перчатках, надетых к парадному обеду.

— С приездом! — бойко и весело проговорил он, улыбаясь глазами и пропуская горничную.

Он принял от Егорки баул и картонки и, подмигнув ему глазом, вошел в каюту.

— И как же у вас здесь хо-ро-шо! — протянула горничная слегка певучим московским говорком, оглядывая большую, полную света, падающего сверху через люк, капитанскую каюту, с диванами вокруг бортов, с блестяще сервированным столом, сиявшим белизной скатерти, хрусталем и цветами.

— Для вас постарались, — любезно ответил Чижиков, взглядывая на краснощекое лицо горничной, полное и веселое, с добродушными серыми большими глазами, напоминавшее лицо деревенской здоровой, пригожей тридцатилетней бабы, — потому как тепери-

ча каюта в вашем полном распоряжении. Жить здесь будете... А как дозволите величать вас?

— Аннушкой.

— А ежели по батюшке?

— Егоровной.

— Так доложу вам, Анна Егоровна, вещи эти я пока в спальне сложу... Пожалуйте их мне, — говорил вестовой, принимая из рук Аннушки мелкие вещи. Он поставил их вместе с картонками за альков и продолжал: — Потом разместите, как будет угодно... А как придет катер с багажом, вы только прикажите, что — куда, мы все как следует поставим и принайтовим. Места у нас много... А что не надо, в ахтерлюк спустим. Не угодно ли, Анна Егоровна, полюбопытствовать, какая, значит, будет ваша квартира?

— Покажите, пожалуйста... А вас как звать?

— Иван Матвеев Чижиков. Вологодские будем.

— А я московская крестьянка, Иван Матвеевич.

— Но только вы, можно сказать, вовсе на

американскую даму похожи, Анна Егоровна, — подпустил комплимент вестовой.

Аннушка усмехнулась с довольным видом и сказала:

— Здесь все женщины по-дамски ходят, что барыни, что прислуга...

А Чижиков продолжал:

— Вот эта самая каюта вроде быдто и зал, и кабинет, и столовая. Тут капитан занимается: лепорты пишет в Россию, как, мол, по морям ходим, на карте путь со штурманом прокладывают — куда и как, значит, плыть клиперу по наблюдению солнца секстаном. Тут и обедает. У нас завсегда два офицера к обеду приглашаются... Здесь вот спальня, — объяснил вестовой, раздвигая шелковый альков, открывший небольшую, освещенную бортовым иллюминатором каюту, застланную пушистым ковром по полу и увешанную коврами по борту, к которому прилежала койка, с роскошными шифоньеркой, комодом, умывальником и зеркалом, — ваша генеральша будет почивать.

— Генеральша? Моя барыня точно генеральская дочь, но муж ейный был американ-

ский анжинер... Здесь-то и совсем почти генералов нет, не то что в России.

— А сказывали: американская генеральша!.. Тут вот рядом сбоку ванная, ежели пожелаете, примерно, скупаться по жаркости...

— Славно у вас... Ровно как в городе...

— Нельзя... командирское звание! — не без достоинства заметил Чижиков. — А вот для вас каютка, Анна Егоровна, — продолжал вестовой, уводя Аннушку из капитанской каюты и указывая на крошечную каютку, сейчас за дверью, у трапа. — Тесновато маленько, Анна Егоровна. Мне-то, по матросскому моему званию, привычное дело, а вам, при вашей, можно сказать, деликатности, не такое бы следовало помещение.

Аннушка ласково усмехнулась, взглядывая на обходительного, любезного вестового, говорившего ей комплименты, и заметила, смеясь:

— Не барыня — потеснюсь. Всяко жили. А вы со своим барином как же?

— А мы наверху, в рубке. Надо, говорит, дамам уважение сделать и «постеснироваться». Он у нас, Анна Егоровна, — конфиденциально

сообщил Чижиков, улыбаясь своими плутоватыми глазами, — даром что человек старый и грузный, а очень почитает женский пол. С мужчинами, ежели по службе, прямо сказать, зубастая щука, а с вашей, примерно, сестрой — вроде бытто теленка... А я, значит, Анна Егоровна, назначен к вам, буду приходить сюда справлять свою часть: накрыть на стол, подавать кушать, все как следует.

— Я вам помогать стану, — добродушно промолвила Аннушка.

И, войдя в каютку, она сняла шляпку и стала было снимать тальму, как вестовой помог ей, подхватил плащ и повесил на крючок.

— Благодарствуйте!

Аннушка оправила свое праздничное яркое шерстяное платье, обрисовывавшее крупные формы ее полной высокой фигуры, и медленно, с серьезным лицом, стала креститься на маленький образок, висевший в углу.

Затем она присела на койку и радостно сказала:

— И как же я рада, что господь привел возвращаться в Россию да со своими встретиться. Совсем на чужой стороне стосковалась. Ка-

бы не жаль было барыни, кажется давно бы убежала.

— Все в Америке жили? — спрашивал Чижигов, стоя у порога и покручивая усы, и в то же время чутко прислушивающийся, не идет ли капитан с гостями.

— В Америке.

— Сторона, сказывают, вольная.

— Вольная-то вольная, и живут люди чисто, и обращение учтивое, особливо с нашей сестрой, а все чужая сторона... К своим так и тянет... Батюшка с матушкой да сестры с братом в деревне живут, и повидать их жду не дождусь... Как приедем, сейчас отпрошусь у барыни в деревню погостить.

— А барыня, значит, добрая?..

— Добрая... и меня на волю отпустила и испхлопотала за батюшку у своего брата... Отец-то ее помер...

— Нонче и всем скоро воля выйдет, — заметил Чижигов и спросил: — А вы, Анна Егоровна, по-ихнему говорить умеете?

— Научилась. Восемь лет здесь жили.

— Ишь ты! Поди трудно научиться?

— Вовсе нетрудно.

— Однако пока прощайте, Анна Егоровна. Господа, кажется, идут! А я вам сюда подам... маленький столик накрою. Какого вина прикажете: красного или белого?

— Все равно... Вы не беспокойтесь, Иван Матвеич.

— Очень даже лестно для вас услужить, а не то что беспокойство, Анна Егоровна! — проговорил Чижиков, бросая выразительный взгляд на Аннушку, и перешел в буфетную — напротив.

А Аннушка, закрыв дверь, достала из своего мешка зеркальце, гребень и щетку и, повесив зеркальце на гвоздик, погляделась в него и, оправляя свои темно-русые густые волосы, усмехнулась не без кокетства.

Через несколько минут гости с капитаном спустились в каюту.

— Вот-с ваше помещение, Вера Сергеевна, — проговорил капитан. — Вы здесь полная хозяйка.

Пассажирка восхищалась каютой и благодарила.

Капитан помог дамам снять их жакетки, принял шляпки и вообще был необыкновен-

но любезен. Когда ровно к шести часам собрались приглашенные к обеду: старший офицер, доктор, милорд и гардемарин Васенька, — капитан повел дам к маленькому столу, уставленному закусками, и пригласил их «по русскому обычаю, закусить».

— Вера Сергеевна... Чего прикажете? Вы, чай, отвыкли от наших порядков... Позвольте вам икры положить! Русская икорка!

За обедом он сидел между дамами и угощал их с хлебосольным радушием. Он любил покушать, и стол и вина у него были хорошие. Сам капитан за обедом занимал больше пассажирку, к вящей досаде Степана Дмитриевича, который принужден был занимать консульшу и только мог глазами пожирать хорошенькую блондинку. Доктор и ел за обе щеки, и посматривал на пассажирку, и рассказал какой-то забавный анекдот. Милорд, напустивший на себя бесстрастность, солидно беседовал с консулом и подливал ему вина. Один лишь юный Васенька все время застенчиво краснел, не раскрывая рта и не смея поднять глаз на Веру Сергеевну. Он только изредка украдкой взглядывал на нее и, встре-

тив раз ее взгляд, зарделся, как маков цвет, уставился в тарелку и больше не решался смотреть.

К концу обеда, когда подали жаркое с брусничным вареньем, вывезенным еще из России, и Чижиков розлил шампанское, капитан, совсем размягший от еды, вина и присутствия хорошенькой женщины, предложил тост за милых дам и потом отдельно за пассажирку. При этом он произнес короткий спич, в котором пожелал, чтобы плавание было благополучное и чтобы Вера Сергеевна, вернувшись в Россию, не поминала его лихом.

Все чокались друг с другом. Веселый и ставший необыкновенно добродушным капитан, глаза которого с начала обеда приняли несколько телячье выражение, предложил, обращаясь к пассажирке, тост за Москву и, еще раз чокаясь, неожиданно спросил:

— Вас укачивает, Вера Сергеевна?

— Кажется, нет, — отвечала она, ставя бокал, из которого чуть-чуть хлебнула.

— Ну, тогда вам нечего бояться! — радостно воскликнул капитан, втайне довольный, что пассажирка не будет «лежать в лежку» и,

следовательно, ее можно будет видеть. — Вы ведь уже окрещены... Раз переплывали океан... Ей-богу, он не страшен, совсем не страшен... Да и наш «Забияка» доброе судно! — любовно прибавил капитан. — Отлично штормы выдерживает. Помните, Степан Дмитрич, как нас весной трепануло у Сангарского пролива*?

— Изрядный был штормяга! — подтвердил и старший офицер.

— А «Забияке» хоть бы что... Только катер потеряли...

Эти воспоминания, приятные для моряков, не особенно были приятны для пассажирки, но она ничем не выдала охватившего ее беспокойства и с внимательной улыбкой слушала, когда капитан стал рассказывать в подробностях об этом «дьявольском шторме».

Старший офицер посматривал украдкой на пассажирку взглядом, полным восторга и «прованского масла», и в уме решил, что за ней следует серьезно «приударить». Она вполне отвечала его эстетическим требованиям. И в голове его, не совсем свежей после бордо, портера, хереса, портвейна и шампан-

ского, смутно бродили даже смелые мысли насчет того, что недурно бы предложить ей руку и сердце. Она будет жена хоть куда. И хороша собой, и такая аппетитная, черт возьми, и приобрела житейский опыт — не какая-нибудь молодая девчонка, — и, видимо, с умом бабочка... Надо покороче ее узнать и... куда ни шло... Она, конечно, не откажет! — горделиво подумал Степан Дмитриевич, совершенно забывая в эту минуту о четырех отказах, уже благополучно скушанных им и все-таки не поколебавших в нем уверенности в своей неотразимости.

Заметил ли он, что рассказ капитана о шторме не особенно приятно действует на пассажирку, или просто хотел приободрить ее, но только он проговорил по окончании рассказа, обращаясь к пассажирке:

— Я уверен, что наше плавание будет превосходным... и никаких штормов не будет.

— Отчего это? — спросила пассажирка.

— Вы принесете нам счастье, Вера Сергеевна...

И доктор сказал что-то утешительное. И капитан заметил:

— Теперь время самое благоприятное... Какие штормы!

Пассажирка, тронутая этим общим вниманием, по-видимому самым бескорыстным, улыбалась в ответ, и ее лицо, казалось, говорило: «Какие простые и добрые люди эти моряки!»

А пока шел обед, Цветков малодушно нет-нет да и заглядывал через открытый, задернутый флагом люк капитанской каюты и любовался блондинкою, чувствуя себя на седьмом небе при воспоминании об ее любезной приветливости.

И он ходил по палубе, досадуя, что обед тянется так долго, и мечтал. Мечты уносили его далеко. Он грезил, что «Забияка» вдруг потерпит крушение. Все погибнут. И только она да он спасутся на необитаемом острове.

«Фу-ты, какой я болван!» — говорил он себе не без некоторого основания, соображая нелепость мечтаний, и смеялся.

Он так и не говорил в этот вечер с пассажиркой.

Консул и консульша, несмотря на искренние пожелания Цветкова, чтобы они поско-

рей убрались к черту, засиделись долго, пили чай и уехали с клипера поздно вечером. Вера Сергеевна вышла их проводить и затем гуляла по палубе. Но Цветкову нельзя было подойти. Этот «толстопузый» не отходил от нее, за что был изруган Цветковым самым беспощадным образом, несмотря на свое капитанское звание. Через четверть часа пассажирка простилась с капитаном и ушла в каюту.

— Видно, нагнал скучищу, старый черт! — промолвил Цветков не без злорадства и продолжал гулять по палубе.

Но она не выходила.

В полночь все, кроме вахтенных, спали. Только мичман не спал в своей каюте и без сюртука строчил стихи, да вестовой Чижиков, койка которого висела рядом с койкой Егорки, вполголоса рассказывал соседу о красоте Аннушки, и оба они по временам издавали восторженные восклицания.

На следующее утро, с рассветом, клипер снялся с якоря, вышел под парами из бухты, прошел пролив, поставил все паруса и с попутным теплым ветром понесся в открытый океан.

К восьми часам, к подъему флага, все офицеры вышли приодетые, веселые и как-то особенно настроенные. Присутствие пассажирки, видимо, подтянуло всех. Даже дедушка был в новом сюртуке.

А когда около полудня чудного дня с высоко поднявшимся солнцем, сверкавшим с бирюзовой выси, на палубе клипера показалась свежая, как вешний день, пассажирка, все офицеры один за другим поднялись на палубу.

V

Любезное предсказание старшего офицера Степана Дмитриевича о том, что пассажирка принесет счастье, по-видимому оправдалось.

Прошло уже десять дней, как мы ушли из Сан-Франциско, и все это время плаванье наше действительно было на редкость прелестное. Погода стояла отличная: теплая, без угнетающей жары. Солнце ни разу не закрывалось черными, мрачно нависшими тучами или клочковатыми, бешено несущимися, зловещными облаками и ослепительное, заливая ярким блеском океан, весело сверкало с далекой высоты чудного бирюзового неба, по ко-

торому двигались, гонимые воздушным течением, молочные перистые облачка необыкновенно изящных очертаний и прихотливых узоров, точно выведенных волшебным резцом. По временам они нагоняли друг друга и, соединяясь, представляли собой белоснежные фантастические города с церквами, узорчатыми башнями, деревьями, медленно плывущими по ярко-голубой лазури.

Далекий горизонт, куда ни взглянешь, чист. Не видно на нем этого маленького издали, темно-серого пятна, быстро растающего, по мере своего приближения, в гигантский столб дождевой шквалистой тучи, яростно несущейся среди внезапно наступившего затишья на судно, благоразумно поспешившее убрать свои паруса, чтоб не быть уничтоженным грозным шквалом.

И сам загадочный и таинственный дедушка-океан, вея приятной прохладой и выдыхая аромат озона, был в самом милостивом и благодушном настроении, как бы стараясь оправдать свою далеко не справедливую кличку «Тихого». С ласковым рокотом, неторопливо и плавно катил он могучие свет-

ло-синие волны, бережно и покойно, словно добрый пестун, покачивая на своей мощной, коварной груди маленький трехмачтовый клипер.

И «Забияка», стройный и красивый, похожий на птицу с распущенными гигантскими белыми крыльями, летел под всеми парусами, имея лиселя с правой, с ровным попутным мягким норд-вестом, узлов по девяти в час, рассекая с тихим гулом воду своим острым водорезом и оставляя за кормой след в виде серебристой ленты.

Светло, ясно и радостно кругом!

— Эка благодать! — говорят весело матросы, радуясь и спокойным вахтам, и спокойным ночам, не прерываемым окриками боцмана, призывающего «всех наверх». — Так-то, братцы, плавать еще куда ни шло... Кабы за- всегда да так!

— Ишь, шельма, как высоко забрался...
Гляди-кось! — восклицает кто-то.

И матросы беспечно глядят вверх, где в прозрачном воздухе реет альбатрос.

— Рыбки наелся и отдыхает.

— Вон парусок-от белеет... Должно, купец...

— Купец и есть... Гличанин какой, а то из голландцев. Привышны они к морю... Им что на сухом пути, что на воде — все едино.

— Не то, что наш брат, российский...

— И пречудесно, господа! Ах, как пречудесно! — восклицает на баке фельдшер Завитков среди маленького кружка баковой аристократии: двух боцманов, подшкипера, баталера и писаря. — Теперь бы только сюда Анну Егоровну... так окончательно один восторг... Как вы об этом полагаете, Артемий Нилыч? — обращается фельдшер к боцману Матвееву.

— Ну ее к чертовой... тетеньке! Из-за их только неприятности! — недовольно промолвил боцман, которому еще сегодня утром попало от старшего офицера за ругань, раздававшуюся на баке во время обычной утренней уборки клипера, когда пассажирки спали и боцман, рассчитывая на их крепкий сон, дал полную волю своей артистической импровизации.

— А вы, Артемий Нилыч, уже потерпите, пока пассажирки. Что делать! — успокаивал боцмана фельдшер. — И напрасно вы насчет Анны Егоровны так выражаетесь. Очень она

славная девица... Такая белая, рассыпчатая... Одно слово: бельфамистая... И разговор у нее деликатный... Сейчас видно, что видала людей...

— С ней подлец Чижиков шуры да муры. Все около нее липнет в каюте по своей должности. Ловок он, бестия, насчет девок. В Кронштадте двух горничных облестил! — не без зависти заметил рябой и некрасивый баталер.

— Станет она с вестовым заниматься! — воскликнул фельдшер, обижаясь за горничную. — Она не какая-нибудь кронштадтская чумичка, а понимает обращение, с кем и как... недаром в загранице жила. Какая ей компания вестовой!.. На нее офицеры и гардемарины зарятся... Так и сторожат, как она в палубе покажется, а вы: вестовой! Вчера вечером... смеху было, — продолжал Завитков и рассмеялся.

— А что?

— Поджидал это Анну Егоровну артиллерист Евграф Иваныч в палубе, все выглядывал из своей каюты: не идет ли? Думал: никто не видит, а я притулился за машиной и жду...

От фонаря вижу, как он, весь красный, глаза пялит. Ладно. Прошло так минут с пять времени, спускается Аннушка с трапа с чайником — за кипятком к камбузу, идет это тихонько, — а он ей рукой машет. «Не хотите ли, говорит, Аннушка, на мою каюту полюбопытствовать. Отличная у меня каюта. Я вам, говорит, разные вещицы покажу...»

— Ишь, дьявол... «каюту»! Рожа-то у него вроде швабры, а туда же! — воскликнул с веселым смехом боцман Матвеев.

— То-то мне и смешно было.

— Что ж она, пошла? — нетерпеливо раздались голоса.

— Не пошла... «Очень, говорит, вам мерси, но в каюту не согласна». Так Евграф Иванович только заржал от отчаянности и захлопнул двери.

Веселый смех над пожилым артиллерийским офицером разразился среди кучки. Все, видимо, были рады неудачному исходу его авантюры.

А фельдшер продолжал:

— Идет, значит, Анна Егоровна дальше, как к ней откуда ни возьмись гардемарин Ка-

саткин... Тоже, вихрастый, ее сторожил.

— Пройти, черти, не дают!

— «Ах, какая вы, Аннушка, хорошенькая. Позвольте вас поцеловать, упользоваться случаем». Это он тишком говорит, а сам, не будь дурак, облапил ее и пробует, значит, из какой-такой материи у нее кофточка...

— Ах шельмец!

— Она вырываться. «Оставьте, говорит, молодой человек». А Касаткин ей: «Простите, говорит, очень вы мне нравитесь», и чмок, чмок, — два раза в шею поцеловал, да и был таков...

— Ишь ты... отчаянный какой! — с сочувственным смехом промолвил Матвеев... — Будет ему от капитана, если Аннушка да пожалуется своей барыне... Он его отчешет да на сальник (салинг) на высидку пошлет...

— И поделом: не приставай! — заметил фельдшер.

— А тебе небось завидно?.. Однако пора и к водке свистать! Выноси-ка, баталер, водку! — сказал Матвеев, и аристократы бака разошлись.

Иван Иванович с секстаном в руке уже ловит «полдень». Его помощник, молодой штурманский прапорщик, отсчитывает на часах секунды.

— Стоп! — произносит старый штурман и машет рукой. В колокол бьют «рынду», и все проверяют часы.

А сам дедушка в новом люстриновом сюртучке, в сбитой на затылок фуражке, торопливо спускается к себе в каюту, чтобы закончить утренние вычисления. Через пять минут все готово. Полуденные широта и долгота получены. Мы точно знаем, в какой точке земного шара находимся и сколько прошли за сутки миль.

Суточное плавание отличное. Все довольны, начиная с капитана и кончая Васенькой, что мы «отмахали» более двухсот миль, что погода отличная, ветер попутный, и что, наконец, хорошенькая пассажирка часто показывается на палубе, что она тут, свежая, красивая и приветливая, один вид которой доставляет морякам удовольствие и как-то подтягивает их.

И сам дедушка, в первые дни ворчавший,

что на клипере пассажирка, приглядевшись к ней, значительно смягчился. Правда, он ждал всяческих историй в кают-компании из-за нее (недаром Цветков уже ходил как полоумный, Степан Дмитриевич ежедневно душился, а капитан придирался без всякой причины к молодым офицерам), но находил ее вообще «молодцом дамой». Ее не укачивает, держит она себя просто и умно, без всяких, как он выражался, «цирлих-манирлихов» и «не разводит антимионии», как вообще дамы, изображающие из себя «разварную лососину».

Вследствие такого отношения к пассажирке, Иван Иванович каждый день докладывал ей о пройденном расстоянии.

И сегодня, выйдя из капитанской рубки, где проверил хронометры, он подошел к пассажирке. Она сидела на юте, под тентом, в лонг-шезе, одетая в легкое серое платье, с морской шапочкой на белокурой головке. Офицеры завтракали. Она была одна и читала книгу. Красивый блондин Бакланов, стоявший на вахте, шагал по мостику, поглядывая на молодую женщину, но спуститься и заго-

ворить с ней не смел. Того и гляди появится капитан — и тогда разнос. Уж было этих историй!

— С добрым утром, Вера Сергеевна!

— Здравствуйте, Иван Иванович! — радостно ответила она дедушке, протягивая маленькую, изящную белую ручку с обручальным кольцом на третьем пальце и бирюзой на крохотном мизинце, которую он почтительно пожал в своей морщинистой широкой лапе.

Ей очень нравился этот славный добряк Иван Иванович, простой и бесхитростный, относившийся к ней сердечно и ласково, без ухаживаний, и она всегда рада была, когда он подходил к ней сообщать о пройденном расстоянии.

— Сколько, Иван Иванович, прошли... Двести или больше?

— Двести двадцать две мильки-с пробежали, Вера Сергеевна... Отлично идем... Погода — прелесть, чтоб не сглазить! И подлинно вы нам счастье принесли, Вера Сергеевна...

— И вы комплименты стали говорить, добрейший Иван Иванович?.. С каких это пор?

Ведь вы, кажется, не любите дам на корабле? — прибавила с лукавой улыбкой молодая женщина.

Дедушка несколько смутился.

— А уж вам разболтали наши молодцы? Экие сороки! Что ж, скрывать не стану-с, Вера Сергевна... Говорил в этом роде, точно говорил-с.

— Почему же не любите? Или вы вообще женщин не любите? — допрашивала, смеясь, молодая женщина.

Старый штурман запротестовал самым решительным образом против такого обвинения.

— Что вы, что вы, Вера Сергевна! За что мне не любить дам? У меня в Кронштадте и свои дорогие дамы остались, жена и две дочери, — с чувством подчеркнул старик, — так как же мне не любить дам-с? Напротив, я их очень почитаю и уважаю, особенно таких, позволю откровенно сказать, таких милых и достойных, как вы, Вера Сергевна! — прибавил дедушка с рыцарской любезностью.

И, пуская затем в ход все свое красноречие, Иван Иванович «забрал ходу» и продолжал:

— Но дамская сфера, так сказать, не море, а берег-с. На твердой земле, в полной безопасности, — вот-с ее назначение, а не на палубе судна... Мало ли что случается в море? Вот теперь, слава тебе господи, все благополучно... Вы сидите себе спокойно, вас не укачивает... да и какая это качка! А как вдруг засвежеет, как начнет трепать-с! Нам, морякам, ничего. Поставили штормовые паруса и жди, пока штормяга отойдет, а даме и боязливо, и неприятно, и докучно-с. Ну и жалко, очень даже жалко в таком случае даму. Она ведь создание деликатное... нервы чувствительные... И лежит, бедненькая... «Ох да ох»... Смотреть больно... В этом смысле я и говорил... Поверьте, милая барыня... И, наконец, дама даме рознь...

Разумеется, пассажирка «поверила» и поблагодарила Ивана Ивановича за доброе о себе мнение, и дедушка, поболтав еще несколько минут, отошел от молодой женщины, вполне уверенный, что «заговорил ей зубы» и что она не знает истинной причины его нелюбви к даме на корабле.

Не говорить же ей, в самом деле, что все

наши ребята, как коты по весне, ошалелые бегают. Сама может догадаться... Видит, как за ней увиваются все, начиная с капитана!..

«А прехорошенькая! Недаром всех с ума свела. Прехорошенькая дамочка! И вся такая беляночка!» — усмехнулся про себя Иван Иванович.

И старый штурман, вообще степенный и строгих правил человек, которого никогда не видали на берегу в обществе «космополиток дам» или туземных разноцветных красавиц, неожиданно смутился и сердито крякнул, точно прочищая горло. Целомудрие его было оскорблено. Глупые мысли насчет пассажирки полезли в его старую голову. Он покраснел и нахмурился.

— Э-э-э-э. И вы, дедушка, того?.. Иду я из лазарета и вижу, — заговорил доктор, хитро улыбаясь маленькими глазками.

Дедушка совсем смутился и, досадуя на свое смущение, с напускным равнодушием спросил:

— Что ж вы такого видели, Антон Васильич?

— И вы начали приударять за пассажир-

кой, а?

Иван Иванович испуганно повернул голову. Доктор говорил так громко, что пассажирка могла услышать. По счастью, ее не было.

— Скрылась, скрылась... Сию минуту с капитаном ушла завтракать... Отравит он ей завтрак своими старыми анекдотами... Ишь ведь как вы любезничали с барынькой... хе-хе-хе! Ловко! Представляется женоненавистником, а сам...

— Да полно вам врать вздор, Антон Васильич. Это мичманам да разве таким саврасам, как вы, впору любезничать, а не мне... Я просто сказал ей, сколько мы прошли миль. Только и разговору было.

— Рассказывайте, рассказывайте, Иван Иваныч... Видел я... Ведь пассажирочка-то преаппетитная... И ручки, и ножки, и бюстик... Небось, дедушка, и вы молодость вспомнили... Глазенапа-то запускали на белоснежную шейку?.. Признавайтесь...

— Тьфу, бесстыдник... А еще женатый! Вот вернемся, жене скажу!

— А что ж, говорите... Грех разве любоваться на чужой товар?

— Ну вас... Отстаньте! — сердито проговорил старый штурман и поспешно спустился вниз, слыша сзади веселый мелкий смех циника доктора.

«И впрямь саврас!» — мысленно обругал доктора возмущенный дедушка и, сердитый, молча садится в кают-компанию завтракать, предварительно выпив объемистую рюмку джина.

Все, исключая механика да батюшки, торопятся окончить завтрак, чтобы выйти наверх и поболтать с пассажиркой, если она выйдет на палубу и не будет читать, желая избавиться от слишком большой внимательности господ моряков. Старший офицер, надушенный так, что пахло на всю каюту, торжественно сосредоточен. За эти десять дней он решительно пришел к заключению, что ему следует сделать попытку: предложить руку и сердце. Он, во всяком случае, «партия недурная». Человек с положением в некотором роде, офицер на виду. Через год вернется, наверное сделают командиром. Глупо было бы отказать! Он все настойчивее думал об этом решительном шаге, нередко восхвалял пассажирке

прелести семейного счастья и только затруднялся: устно или письменно сообщить ей о своем великодушном намерении.

«Положим, — рассуждал он, мечтая о браке с хорошенькой вдовушкой, — она покамест не только не делает никаких авансов, но даже довольно равнодушно слушает его и подчас даже подсмеивается, но, быть может, это одна женская дипломатия! Знаем мы женщин, слава богу! — самодовольно усмехнулся при этом Степан Дмитриевич. — Правда, она со всеми одинаково любезна и приветлива, всегда умеет как-то ловко отклонить слишком восторженные комплименты (Степан Дмитриевич это на себе испытал), но не тонкое ли это кокетство?.. Она в некотором роде дьяволенок, эта вдовушка. С ней надо ухо остро... И не для отвода ли глаз она часто спорит с этим влюбленным мальчишкой, легкомысленным Цветковым, играет с ним в четыре руки и заставляет его читать ей вслух. Ведь не может же ей нравиться такая взбалмошная таранта! А он-то, чего доброго, воображает, что победил пассажирку. Вот-то попал пальцем в небо!» — заносчиво думал Сте-

пан Дмитриевич и, припомнив это, не без досадливого чувства взглянул теперь на курчавого красивого мичмана, который рассеянно, видимо чем-то взволнованный, лениво ковырял вилкой.

В свою очередь, и влюбленный мичман про себя посмеивался над ухаживанием Степана Дмитриевича и полагал, кажется, не без некоторого основания, что человек, у которого «рожа вроде медной кастрюльки», «толстые ноги колесом» и вдобавок воображающий себя красивым мужчиной, — едва ли может обратить на себя какое-нибудь внимание такой умницы и такой изящной женщины, как Вера Сергеевна. Его раздражал и возмущал не этот «брам-брас» Степан Дмитриевич, а «хлыщ» и «нахал» Бакланов. Вот кто терзал до глубины души ревнивого мичмана! Как он на нее нахально смотрит своими большими голубыми глазами, ска-а-а-тина! Как он смеет так смотреть на нее, мер-за-вец! Он от всей души ненавидит этого спокойного, самоуверенного, красивого блондина, особенно со вчерашнего вечера, когда Бакланов пел в кают-компании романсы и пассажирка долго

слушала и хвалила его «бархатный баритон». А он обрадовался — давай еще и еще... И все больше: t'amo, t'amo[51]...подлец эдакий!

Бедный мичман рвал и метал. Он похудел и побледнел за эти дни от бессонных ночей, посвящая их неистовому строчению самых лирических стихов, и по временам так свирепо на всех глядел, точно сейчас готов в ссору. Вдобавок и капитан к нему придирался — то и дело разносил...

С товарищем и приятелем милордом у них стали тоже натянутые отношения. Еще бы! Цедил, цедил: «ничего осо-бен-ного», делал вид, что не обращает на пассажирку никакого внимания, а теперь не отходит от нее, старается острить... думает: умно... Болван эдакий... А еще жених... Клялся, что любит по гроб свою невесту, а сам... Рыжая каналья!

Нет, все они циники, все с подлейшей стороны смотрят на женщину и не понимают, что можно любить благоговейно, бескорыстно, не бывши любимым... Один только он любит ее святой, чистой любовью.

— Ты что это, сэр, в виде рыцаря печально-го образа? Или капитан призывал в рубку?

Разнес опять? — спросил, процеживая лениво слова, милорд.

— А тебе что? — резко спросил мичман, и в его черных глазах блеснул огонек.

— Ровнешенько ничего.

— Так чего ты спрашиваешь?

— Простите-с, не буду! — иронически промолвил милорд и благоразумно умолк.

Дедушка беспокойно взглянул на Цветкова и покачал головой, словно бы хотел сказать: «Начинается!»

Взглянул и Степан Дмитриевич на мрачную физиономию обыкновенно веселого и жизнерадостного мичмана и, чтобы отвлечь его от милорда, заговорил о чем-то с ним.

Завтрак быстро окончен. Все уходят наверх. В кают-компании остаются только дедушка, допивающий свой стакан красного вина, отец Евгений, механик в новом сюртуке и Цветков. Наконец батюшка и механик ушли отдохнуть, и старый штурман с молодым человеком остались одни.

VI

Отхлебывая небольшими глотками вино, дедушка украдкой участливо взглядывал на

мрачно задумавшегося Цветкова и, наконец, мягко спросил:

— Что вы, батенька, надулись, как мышь на крупу? Или в самом деле серьезные неприятности с капитаном?

— Ну его... капитана, черт с ним! Пусть придирается.

— Так в чем же дело?

— Не могу я, дедушка, терпеть более этого скотства, вот в чем дело, если вы хотите знать! — порывисто воскликнул, встряхивая своей кудрявой головой, мичман, видимо обрадовавшийся случаю излить свое негодование перед единственным на клипере человеком, не ухаживавшим за пассажиркой.

— Какого скотства? — переспросил Иван Иванович, удивленно поднимая свои седые густые брови.

— Понимаете... этого безобразно-подлого отношения к такой святой женщине, как Вера Сергевна! — возбужденно отвечал Цветков и тотчас же вспыхнул.

— Гм... Вот оно что, — протянул старый штурман.

— Особенно этот нахал Бакланов... Чест-

ное слово, я запалю ему, наконец, в морду... Пусть вызывает на дуэль... Будем стреляться... Очень рад.

— Что вы, что вы, Владимир Алексеич? Как можно даже говорить такие слова! — строго заметил дедушка и укоризненно покачал головой. — Мы вдали от отечества, от родных и близких, нас небольшая горсточка, которая должна избегать ссор, чтобы вместо плавания не было каторги, а вы захотели дуэлей?! Уж вы извините меня, голубчик, а я прямо скажу: нехорошо, очень нехорошо-с! Каково убить товарища или самому быть застреленным, причинив тяжкое горе родным, — подумали вы об этом? Я вот сорок лет во флоте служу, а не слыхал о дуэлях на судах, слава богу. Ишь тоже что выдумал: дуэль! Не ждал я от вас этого, Владимир Алексеич... Нет, батенька, выкиньте скорее этот вздор из головы, послушайте искренне любящего вас старика... И с чего, наконец, вы окрысились на Бакланова? Что такого он вам сделал?

— Да как же, рассудите сами... Вы, дедушка, можете быть беспристрастны, так как вам Вера Сергевна не нравится... я хочу сказать,

не нравится как женщина, и вы... вы... Одним словом, вы не смотрите на нее, как другие, с гадкими мыслями...

— Ну, положим, не смотрю. Уж куда мне, — вымолвил смущенно старый штурман.

— А скотина Бакланов... Обратите внимание, как подло он на нее глядит... Разве можно так оскорблять порядочную женщину и разве не следует проучить подобного нахала?

— Только-то и всего? И из-за этого вы собираетесь... в морду и сочинить дуэль?! Ну не сумасшедший ли вы человек! — с улыбкой проговорил дедушка. — Приревновали, значит?

— Какое я имею право ревновать? Тут не ревность...

— Разве для ревнивых писан закон? За что же вы собираетесь извести Бакланова, как не из-за ревности?.. Обезумели вы совсем, Владимир Алексеич, вот что я вам скажу. Видно, втюрились в пассажирку совсем с сапогами? — ласково прибавил старый штурман.

— То-то и есть, с сапогами, дедушка, — с виноватым видом проговорил мичман.

— Ну и... очень скверно... Впрочем, это ва-

ше дело, но только зачем же истории заводить? Плавали мы себе смирно и дружно два года, никаких, слава богу, историй не было, и вдруг... на тебе! Нет, милый Владимир Алексеич, это не того... не ладно. Вы — человек добрый и не станете разводить ссор... И с чего вы взяли, что Бакланов уж так подло, как вы говорите, глядит на пассажирку? Просто любит, как и все другие... Всем лестно любоваться... А если даже и смотрит, как лисица на виноград, ну и бог с ним. Пусть. Только глаза просмотрит! — засмеялся дедушка. — Не бойтесь, Вера Сергевна умная, она понимает людей, знает, кто чего стоит, и все видит, хоть и не все говорит, потому что нельзя же... дама-с... И выходит, что и ревнуете вы впустую. Так-то. Успокойтесь-ка да отоспитесь хорошенько, а то совсем вы, бедняга, осунулись...

Эти слова добряка Ивана Иваныча несколько успокоили влюбленного мичмана и устыдили его. Он дал слово оставить пока Бакланова в покое и не затевать ссор.

— Так он, по-вашему, не нравится Вере Сергевне? — допрашивал мичман.

— Нисколько, — утешал старик.

— Однако... вчера, когда он пел...

— И пусть себе поет...

Старый штурман допил стакан и вдруг спросил:

— И, скажите на милость, что за надобность такая влюбляться вам, батенька, а? На какого рожна?

Цветков невольно улыбнулся при этих словах и не знал, что ответить.

— Вернемся в Россию, тогда валяйте себе на здоровье, а в море — не резон, только одно расстройство... Что хорошего? Вы вот совсем какой-то шалый стали. К чему эта канитель? Не обалдели же вы до того, чтобы бацнуть предложение: «Так, мол, и так»... Вера Сергеевна, положим, дама достойная, но старше вас, да и вам еще рано жениться...

— Что, дедушка, года... Не в этом дело...

— А в чем же?

— Она не пойдет за меня! — грустно вымолвил Цветков...

— А вы уж готовы руку и сердце? — с досадой спросил Иван Иванович.

— Я жизнь отдам за нее, дедушка! — вос-

торженно прошептал мичман.

— И довольно глупо. Очень даже глупо-с. Жизнь впереди пригодится, а не то, что отдавать ее из-за бабы... Не раскисайте, Владимир Алексеич, будьте молодцом... Ну ее, пассажирку... Встретите целую уйму других и снова влюбитесь...

— Нет, шабаш! Такой другой не встречу!

И лицо Цветкова и тон его голоса дышали такой грустью, что старый штурман озабоченно взглянул на молодого человека и сердито проворчал:

— Вы, никак, того... всерьез?.. Эх, говорил я, что не след брать бабу на судно! Вот один и свихнулся. Того и гляди какую-нибудь штуку выкинет...

— И выкину, — загадочно протянул мичман.

— И... срам-с... Возьмите все рифы, а то врежетесь со всего ходу на мель... Экий вы отчаянный... Какую же вы собираетесь штуку выкинуть... Уж не бежать ли за пассажиркой в Россию... Под суд угодно попасть, что ли?..

Интимный разговор оборвался. В кают-компанию, один за другим, стали входить

офицеры, напрасно поджидавшие пассажирку на палубе. После завтрака она не выходила наверх. Как кажется, нескончаемая любезность моряков начинала немножко утомлять вдовушку.

VII

Прелестные были дни, но едва ли не лучше были эти быстро, почти без сумерек, опускавшиеся над клипером ласковые южные ночи с мириадами звезд, ярко мигающих с высокого темного купола. Нежной прохладой дышат эти чудные ночи, навевая невольные грезы и наполняя душу безотчетным восторгом.

Двенадцатый час на исходе. Жизнь на клипере затихла. Команда и большая часть офицеров спит. Вахтенные матросы полудремлиют у своих снастей или чуть слышно, словно боясь нарушить тишину этой волшебной ночи, «лясничают», вспоминая, по большей части, про «свои места» на далекой родине. Тихо кругом. Океан едва ворчит, словно в дремоте, да легонько поскрипывает, покачиваясь, клипер и летит во мраке, рассыпая вокруг алмазные брызги фосфорической воды.

Пробило восемь склянок, и Цветков торопливо взбежал на мостик, вступая на вахту с полуночи до четырех часов. Он сменял милорда. Бывшие приятели при сдаче вахты не обменялись, как бывало прежде, ни словом, ни шуткой. Цветков ревновал и к милорду, а милорд, в свою очередь, злился, что пассажирка, по-видимому, оживленнее и охотнее болтает с Цветковым, чем с ним, оставаясь совершенно равнодушной и к его английской складке, и к его разочарованному виду, и недостаточно оценивая его остроты и цитаты из Байрона. Он ли не старался, забыв даже позорно свою невесту, понравиться хорошенькой пассажирке? Он ломал голову, придумывая что-нибудь поумнее, вычитывал из книг разные словечки, в надежде произвести эффект и показаться оригинальным, напускал на себя демонизм, еще отчаяннее корчил англичанина и... ноль внимания. Молодая женщина словно нарочно не замечала его оригинальности, раздражая адское самолюбие милорда до последней степени.

Цветков обошел клипер, поверил часовых и зашагал по мостику взволнованный и с та-

ким отважным видом, будто бы он принял какое-нибудь важное решение. Он то и дело бросал тревожные взгляды через освещенный люк капитанской каюты. Пассажирка еще не спала. Склонившись над книгой, сидела она за большим столом, и влюбленный мичман мог только видеть ее густую золотистую косу. Выйдет ли она перед отходом к консу подышать этой дивной ночью? Этот вопрос казался мичману самым важным вопросом в подлунной. О, если бы она только вышла! Он готов был бы сидеть целый год без папирос и не съезжать на берег. «Выйди, выйди!» — беззвучно шептали его губы, и он обещал себе самому, в случае ее выхода, дать Егорке пять долларов. Если она появится наверху, он поговорит с ней наедине, без помехи. Она должна, наконец, узнать, как беспредельна и свята его любовь. До сих пор он тщательно скрывал свои чувства (так ему казалось, хотя его обожание к пассажирке было жирным шрифтом напечатано на его лице) и не осмеливался намекнуть о них. Только раз, дня два тому назад, он не удержался от искушения прочитать ей свое стихотворение и то

сказал, что оно написано год тому назад. Молодая женщина внимательно выслушала и похвалила, не догадываясь, конечно, кто этот «ангел», наделенный всеми физическими и душевными совершенствами. Однако попросила на память этот листок и привела этим мичмана в счастливое состояние. Теперь он скрывать своих чувств более не может. Он весь переполнен ими, как цилиндр паром, и должен объясниться, сказать ей... Что сказать — он и сам в эту минуту не знал. Он только всем своим существом чувствовал и безграничную прелесть этой чудной ночи, и красоту мерцающих звезд, и жгучую истому о каком-то нечеловеческом блаженстве, и неудержимую потребность излить здесь, среди океана, при звездах, свою чистую любовь, и готовность немедленно броситься в морскую пучину, если она скажет своим чудным грудным голосом: «Бросьтесь!». Только не проснулся бы этот «пузатый черт» капитан и не подстерег бы его разговаривающим на вахте с пассажиркой.

Он взглянул на рубку. Темно. Верно, спит старая бестия, отравляющая своими любезно-

стями жизнь пассажирки. Тоже, сороковая бочка, лебезит на старости лет, зафрантил. Думает, что его разговоры очень интересны, и всегда, как нарочно, лезет, как только увидит, что он разговаривает с Верой Сергеевной. Так бы и треснул его!

Да... это первая его настоящая любовь, а все прежнее — мимолетные увлечения, — размышляет молодой мичман, шагая по мостику. «И какая же, однако, я был свинья!» — шепчет он, когда в его легкомысленной голове одно за другим проносятся эти бесчисленные «увлечения», как бы для того, чтобы оттенить чистоту, силу и прочность настоящей любви.

Кузина Ньюта... Влюблен был месяц. Думал стреляться, но кончил тем, что был шафером у нее на свадьбе. И что хорошего нашел он тогда в этой девчонке? Теперь он решительно не понимал... Тридцатилетняя супруга кронштадтского чиновника Софрончикова. «Фу, гадость!» — неблагоприятно отплюнулся мичман, не без стыда вспоминая, как он сжимал в объятиях рыхлую, дебелую, с подведенными глазами, госпожу Софрончикову, которая

при каждом свидании стыдливо вскрикивала: «Ах, что я делаю!» — и томно требовала клятв в вечной любви. И он не только давал их с небрежной расточительностью, но еще и поднес ей очень трогательные стихи, в которых сравнивал госпожу Софрончикову с «пышной розой», тогда как по совести ее следовало бы сравнить с откормленной индюшкой. Ровно два месяца клялся он в любви «пышной розе», пока не поехал в день получения жалованья, то есть 20-го числа, в Петербург и не встретил на Гороховой черноглазой брюнетки с картонкой в руках, швеи из магазина, Кати... Эта была, напротив, «лилия», бледная и худенькая, и если бы не случайная и довольно щекотливая встреча у Кати с каким-то румяным писарьком, то... кто знает, сколько времени он относил бы Кате жалованье и деньги, занятые под «небольшие проценты»... Писарь «открыл ему глаза» и заставил его в тот же день идти обедать к адмиралу Налимову, у которого была молодая и довольно пригожая жена с румяными щечками, мятежно вздымавшейся грудью и беспокойными серыми глазами, точно отыскивающи-

ми что-то. Глаза эти ласково смотрели на молодого кудрявого мичмана, особенно ласково, когда старик адмирал пошел после обеда вздремнуть, и дня через три легкомысленный мичман уже был «готов». Опять стихи, на этот раз: «Постыла жизнь без пылкой страсти», и внезапное негодование против добряка адмирала, влюбленного в свою жену, который, вдруг оказалось, «губил чужую молодость». Через месяц совместного чтения и целования пухлой ручки (на дальнейшую «подлость» он не решался из уважения к адмиралу), великодушное предложение развестись с адмиралом и выйти замуж за него. Вечная любовь и сорок три рубля с полтиной в месяц жалованья к ее услугам. Не угодно ли?

Как ни беспокойно бегали глазки адмиральши и как ни нравился ей этот красивый, жизнерадостный мичман, тем не менее она выпучила на него глаза, как на человека, только что вырвавшегося из сумасшедшего дома и не понимающего возможности не только целования рук, но и дальнейшего счастья, без катастроф и потрясения основ. Обидный, насмешливый хохот был единственным

красноречивым ответом на «дерзкие слова». Результатом отказа адмиральши осуществить столь остроумный план разжалования ее в мичманши было полное гражданских чувств стихотворение по адресу молодой адмиральши, закончившее почти ежедневные, в течение трех месяцев, посещения Налимовых, у которых он, несмотря на любовь, за обе щеки уплетал вкусные адмиральские обеды. А там приспело назначение в дальнейшее плавание и отпуск перед ним в деревню.

Мисс Дженни в Лондоне... Это было что-то уж совсем дикое, начавшееся знакомством в Holborn Casino и едва не кончившееся очень плохо... Он чуть было не застрял в Лондоне, поселясь с Дженни и просаживая на нее вторую и последнюю тысячу — весь бабушкин подарок на дорогу. Две целых недели пропал он в Лондоне, не думая возвращаться на клипер, стоявший в Гревзенде*, и если б не товарищи, каким-то чудом разыскавшие его в громадном городе и уговорившие ехать на клипер вместо того чтоб попасть под суд за самовольную отлучку и лишиться плавания,

быть бы бычку на веревочке. Но она была так чертовски хороша, эта Дженни с голубыми глазами, и так уверяла его в своей безграничной любви, получая от него банкноты, что он в те дни не прочь был навсегда остаться в Англии хотя бы чистильщиком сапог.

В беспутной голове каявшегося мичмана промелькнули затем: и продавщица перчаток в Шербурге, и барышня из баррума* в Капштадте, на мысе Доброй Надежды, и японка Танасари в Хакодате, и креолка, жена испанского доктора, в Маниле, и роскошная каначка в Гонолулу, и, наконец, маленькая русская заседательша в Камчатке, которым он на разных языках говорил комплименты и если не всегда доходил до объяснения, то только потому, что клипер уходил из порта, где влюбчивый мичман воспламенялся, как порох.

«Все это была ерунда... все это свинство!» — еще раз повторил мичман, бросая умиленный взгляд через капитанский люк. Только теперь он понял любовь и чувствует, что значит полюбить на веки вечные... Ему ничего не надо, он не мечтает даже о счастье благоговеино поцеловать эту маленькую

изящную ручку. Пусть только она позволит ему сказать, как он предан ей, вот и все, чего он хочет... Пусть только позволит себя любить, и он по возвращении в Россию непременно поселится в том городе, где будет жить Вера Сергеевна. Господи, что это за женщина?! Сравнить ее с кем-нибудь из прежних увлечений — одна профанация...

VIII

— Вперед смотреть! — крикнул он вполголоса, вглядываясь в окружающую темноту и вспоминая, что он на вахте.

— Есть, смотрим! — раздался обычный ответ часовых с бака.

Раздался один удар колокола. Прошла склянка (полчаса).

«Она не выйдет», — с грустью подумал мичман, посматривая на выход из капитанской каюты, и вдруг замер...

Маленькая грациозная фигурка пассажирки, словно волшебная тень, показалась на палубе и поднялась на мостик.

В первую секунду мичман оцепенел от восторга и без движения стоял у компаса. Все мысли разом выскочили у него из головы.

А она приблизилась к нему совсем близко, так что свет от компаса освещал ее хорошенькое личико, и спросила своим бархатным голосом:

— Я не помешаю вам, Владимир Алексеич, если несколько минут постою на мостике? Капитан ведь спит? — лукаво прибавила она.

Она помешает?! Может же прийти такая нелепая мысль в голову?

И вместо ответа мичман глядел на нее, как очарованный.

— Вы... помешать? — наконец, прошептал он.

Должно быть, в этих двух словах было вложено слишком много экспрессии, потому что пассажирка с некоторой тревогой взглянула на молодого мичмана и, отходя на конец мостика, проговорила:

— Здесь так хорошо... И что за славная ночь!

Она любовалась этой ночью, глядела на звездное небо, на воду и молчала.

Молчал и мичман, не спуская глаз с пассажирки. Так прошло несколько минут...

— Спокойной вахты, Владимир Алексе-

ич! — вдруг проговорила пассажирка, делая движение, чтоб уходить.

— Как, вы уже уходите?.. Нет, ради бога... еще несколько минут... Я должен вам кое-что сказать, — испуганным и взволнованным шепотом проговорил он, подойдя к краю мостика, где стояла пассажирка.

— Что такое? — спросила она нарочно беззаботно-веселым голосом, словно не догадываясь, что может сказать этот влюбленный мичман, и имея доброе намерение этим тоном несколько отрезвить его пыл. Что Цветков влюблен в нее, она заметила, конечно, раньше всех, но его обожание было такое чистое и непритязательное, и сам он был такой милый, добрый юноша, что пассажирка невольно и сама расположилась к нему и держала себя с ним с дружеской простотой, не придавая его увлечению серьезного значения.

— Простите, Вера Сергеевна... я, конечно, не смею спрашивать...

— И все-таки хотите спросить? — смеясь, перебила пассажирка. — Ну, спрашивайте. Заранее прощаю.

— Вам... вам нравится Бакланов? — выговорил он не без трагической нотки в дрогнувшем голосе.

Пассажирка усмехнулась. Ужасно смешные эти господа моряки! Не далее как на днях такой же вопрос относительно Цветкова предложил ей Бакланов, а еще раньше и капитан, как будто шутя, допрашивал: кто из офицеров ей более всего нравится, и был, по видимому, очень доволен, когда она дипломатически ответила, что «все вообще и никто в особенности».

Но она не удержалась от кокетливого желания подразнить своего поклонника и имела неосторожность, в свою очередь, спросить, засмеявшись тихим смехом:

— А вам зачем это знать?

Зачем ему знать? Ему?!

И мичмана, что называется, прорвало. Откуда только брались эти горячие и искренние, порывистые и нежные слова любви, которую он благоговейно кидал к ногам божества, не осмеливаясь, разумеется, даже и мечтать о каком-нибудь вознаграждении. Только бы Вера Сергеевна не сердилась за дерзость

его, недостойного мичмана Цветкова, полюбить такую «святую» женщину и милостиво бы разрешила ему любить ее до конца своих дней. Бескорыстие влюбленного мичмана было воистину феноменальное.

Надо думать, что и эта дивная теплая ночь, и тихо рокотавший океан, и яркие звезды, меланхолически мигавшие сверху, и, наконец, ревность к Бакланову значительно способствовали красноречию вдохновенной импровизации. Так, казалось и ему самому, он никогда в жизни не говорил. И если в эту минуту он не мог сравнить своего признания с признаньями госпоже Софрончиковой и другим, то потому только, что он их совершенно забыл.

Мраморная вдова, слышавшая-таки, особенно после смерти мужа, лаконически деловые признания янки и умевшая различать звуки страсти, несмотря на свое относительное хладнокровие и свято чтимую память о муже, невольно поддавалась обаянию этой безумно-страстной песни любви среди океана, на узком мостике покачивающегося клипера. И эта песнь вместе с теплым дуновени-

ем ночи словно ласкала ее, проникая к самому сердцу и напоминая, что она еще молода и что жить хочется...

— Послушайте... я рассержусь, если вы еще раз будете говорить такие глупости, — строго проговорила она, хотя совсем не сердилась. — Вы немножко увлеклись и вообразили уж бог знает что... Скоро мы расстанемся, и вы так же скоро забудете про свою блажь... Так лучше останемся добрыми приятелями... Вы ведь знаете, что я к вам расположена...

— Так вы не верите, что я вас люблю? Не верите?.. Хотите, я сейчас докажу?

Какая-то нахлынувшая волна чувств вдруг захлестнула его, наполнив душу отчаянной отвагой. Жизнь в эту минуту, казалось, не имела ни малейшей цены. И он, весь охваченный сумасшедшим желанием доказать свою любовь, занес ногу за поручни.

— Повторите еще раз, что не верите, и я буду в море!..

Голос Цветкова звучал восторженной решимостью фанатика.

И он и пассажирка — оба в одно и то же мгновение почувствовали, что, повтори она

слова сомнения, он без колебания бросится в океан.

— Верю, верю! — прошептала она, охваченная ужасом.

И, схватывая его руку, ласково и нежно, взволнованным голосом прибавила:

— Боже! Какой вы сумасшедший!

Она невольно восхищалась этой безумной, чисто славянской выходкой, испытывая в то же время эгоистически-приятное чувство женщины, из-за которой человек готов совершить невозможную глупость. А легкомысленный сумасброд, счастливый, что теперь не может быть сомнения в его любви, задержал на мгновение похолодевшую ручку пассажирки в своей руке и быстро поцеловал ее в темноте.

И опять спросил:

— Ответьте же, Вера Сергеевна. Нравится вам Бакланов?

— С чего вы это взяли? Нет.

— И милорд не нравится?

— Вот нашли...

— Значит, никто? — радостно воскликнул мичман.

— Никто особенно, но вы — больше других, недаром мы с вами приятели. И останемся, если вы не станете больше делать глупостей... Я очень тронута вашей привязанностью и ценю ее, но, кроме дружбы, ничем не могу отплатить вам. Простите, милый Владимир Алексеич, и не сердитесь... Постарайтесь забыть меня... И что бы могла я дать вам, — с оттенком грусти прибавила мраморная вдова. — Во мне уж нет свежести чувства... Мне тридцать лет, а вы... вы совсем юный.

Сердиться на нее? Да он бесконечно счастлив ее дружбой и больше ему ничего не надо. Разве он не понимает, что она его полюбить не может... Но он надеется, что она по крайней мере не порвет с ним знакомства и позволит ему писать ей и, быть может, напишет ему сама... А чтобы забыть ее...

Он только усмехнулся.

— Очень рада буду получить от вас весточку и отвечу вам... А пока, чтобы все было по старому, не правда ли? Вы больше не будете говорить мне о вашей... привязанности... Обещаете?

— Вам так это... неприятно? — спросил он.

— Не все ли вам равно, почему я вас прошу об этом... Так обещаете? — шепнула мраморная вдова, и — показалось Цветкову — в голове ее опять звучала грустная нотка.

Он обещал, и пассажирка ушла, позволив ему еще раз поцеловать свою руку.

Оставшись один, Цветков полной грудью крикнул:

— Вперед смотреть!

И этим радостным криком он, казалось, возвещал океану о своем счастье.

Свет погас в капитанской каюте, а пассажирка долго еще не спала. Эта песнь любви все еще звучала в ее ушах, и образ кудрявого мичмана несколько времени стоял перед ее глазами.

— Какие влюбчивые, однако, эти моряки! — шепнула она и засмеялась.

IX

Прошла еще неделя. Погода, по-прежнему, стояла великолепная, но пассажирка стала реже показываться наверху, особенно после заката солнца, когда наступили роскошные южные ночи, располагающие к изливаниям. Она также, видимо, избегала разговоров на-

едине. Исключение составлял дедушка Иван Иванович.

Для молодой женщины не было, разумеется, секретом, что почти все офицеры неравнодушны к ней и готовы перессориться из-за малейшего предпочтения, в виде улыбки или ласкового слова, сказанного ею кому-нибудь из ее ревнивых поклонников. Приходилось всегда быть настороже, испытывая первый раз в жизни неудобство положения хорошенькой женщины, и притом одной, среди этих «добрых» влюбчивых моряков, которые уж чересчур удостоивали ее своим любезным вниманием и ни на минуту не оставляли без своего общества, лишь только она появлялась на палубе. Каждый старался чем-нибудь услужить ей. Каждый встречал ее восторженным комплиментом или красноречивым взглядом.

«И как скоро воспламеняются моряки и как быстро делают признания!» — удивлялась пассажирка, убедившись в этом не на одном только примере сумасшедшего мичмана.

Через два дня после его страстной песни любви, совсем неожиданно, и тоже во время

ночной вахты, признался ей в своих чувствах и лейтенант Бакланов. Говорил он, правда, не столь пылко и красноречиво, как Цветков, и для доказательства своей любви не предлагал бултыхнуться в океан, но зато со стремительной откровенностью предложил хорошенькой вдове руку и сердце. Не выждав еще принципиального согласия, он диктовал следующие условия: свадьба немедленно после возвращения клипера в Россию, а теперь они будут женихом и невестой (соблазнительная роль жениха, кажется, особенно привлекала лейтенанта и едва ли не была главным мотивом предложения). У него есть состояние, правда небольшое, но жить можно не нуждаясь. Он будет любящим и преданным мужем. Полюбил он ее с первой же встречи и так горячо никогда и никого не любил.

— Судьба моя в ваших руках! — не без эффекта закончил лейтенант трагическим шепотом.

Все свое признание он произнес необыкновенно быстро, очевидно боясь, что кто-нибудь помешает интимной беседе на самом интересном месте, и тогда жди случая, чтобы за-

кончить начатое с такой отвагой. И то уж Цветков раз прошмыгнул мимо них.

В ожидании ответа Бакланов глядел на пассажирку таким восхищенно-жадным взглядом своих голубых, несколько наглых, глаз, точно собирался тотчас же съесть ее, лишь только она благосклонно примет его предложение.

Благодаря темноте вечера пассажирка не видала этого взгляда. Не видал и Бакланов насмешливой улыбки в ее глазах и только услышал ее спокойно-иронический ответ:

— Совсем по-американски. Я не думала, что моряки так торопливо решают и свою и чужую судьбу.

Она поблагодарила за честь, ничем ею не вызванную, прибавив, что, к сожалению, не может разделить его столь неожиданно проявившегося чувства и вообще не собирается пока выходить замуж.

Этот ответ, звучавший насмешливым тоном, вызвал самолюбивое раздражение кронштадтского сердцеда, избалованного успехами, и главным образом против Цветкова, которого Бакланов считал своим счастливым

соперником. Недаром эти последние дни он необыкновенно весел и ходит гоголем!

По-видимому, Бакланов безропотно покорился отказу мраморной вдовы. Он извинился за смелость признания, вызванного его безумной любовью. Разумеется, он более не осмелится надоедать ей и просит похоронить этот разговор. Пусть о нем ни душа не знает...

— О, будьте на этот счет спокойны! — прервала его молодая женщина.

— А я останусь с разбитым сердцем надолго... Надолго, Вера Сергеевна, — грустно прибавил он.

— Надеюсь, не более недели?

— Вы смеетесь?.. Что ж, смейтесь!.. Но, поверьте, я не похож на других, которые влюбляются в каждом порте, — пустил он намек по адресу товарища и, низко поклонившись, отошел от пассажирки и поднялся на мостик.

Молодая женщина поспешила спуститься к себе, боясь новых изливаний с чьей-нибудь стороны, и спугнула капитанского вестового Чижикова, который стоял у раскрытой двери Аннушкиной каютки и вполголоса рассказывал своей внимательной слушательнице о

том, какие бывают бури, а сам, улыбаясь глазами, поглядывал на румяную, пышную Аннушку, занятую шитьем, и взором, полным ласки, говорил, казалось, совсем о другом.

— Так больше ничего не потребуется? — спросил он Аннушку, пропуская пассажирку... — Спокойной ночи, барыня! — поклонился он.

— Прощайте, — промолвила молодая женщина, невольно улыбнувшись этой маленькой хитрости вестового.

«И тут влюбленная атмосфера!» — подумала она.

Х

Чижигов находился уже с Аннушкой на короткой приятельской ноге, словно они давным-давно были знакомы. Это сближение произошло как-то само собой, незаметно. Он помогал и услуживал Аннушке, охотно и весело исполняя ее обязанности: чистил и барынины и ее ботинки, вытряхивал рано утром платья, стирал их белье. «Уж вы не беспокойтесь, Анна Егоровна, — говорил он, — все справим как следует. По матросскому нашему положению мы все должны справлять».

И, ловкий и расторопный, Чижииков действительно все справлял не хуже заправской горничной. Он и шить умел, и знал, как выводить пятна, и башмаки починил Аннушке, — словом был парень на все руки, и все у него в руках спорилось и выходило хорошо. При этом он был всегда весел и никогда не жаловался на работу, хотя работы у него были полны руки. Урывая свободную минуту, он перекидывался из буфетной с Аннушкой словом и по вечерам «лясничал» с ней, но не говорил никаких нежностей, а только улыбался глазами и как-то без слов любви, не торопясь и спокойно, вкрадывался в ее душу, «облецивал» с тонким искусством заправского знатока женского сердца, и чрез неделю после знакомства, несмотря на «мамзелистость» Аннушки, уже позволил себе с нею флирт. То, будто шутя, ущипнет ее повыше локтя и спросит: «Больно?», то схватит ее руку и, скрестив пальцы с пальцами, предложит попробовать силу, то близко подсядет к Аннушке и, словно невзначай, поцелует в розоватый затылок. А сам, с серьезно-невинным видом, точно чмокал не он, продолжает рассказывать о матрос-

ском житье-бытье или про свою сторону и только ласково улыбается глазами, уставленными на Аннушку. И она, отвергшая немало ухаживаний господ офицеров, как-то покорно и весело отдавалась флирту, как будто не замечая ни шуточных трепков, ни щипков, ни поцелуев молодого, пригожего черноглазого матроса, который казался ей куда милее и понятнее американских ухаживателей. Она только после поцелуев становилась румянее, ее добрые серые большие глаза ярче блестели, и лицо делалось серьезнее и внимательнее, точно она вся поглощена была тем, что рассказывал ей Чижиков. С тем же невинным видом Чижиков увеличивал мало-помалу область флирта и, не делая никаких деклараций, продолжал эту «песню без слов», по-прежнему услуживая и помогая Аннушке с ретивым усердием беспритязательного человека. Он не переступал известных границ постепенности, чтобы не особенно компрометировать Аннушку в ее собственных глазах, так что флирт этот мог казаться невинной шалостью. Раз только Чижиков слишком увлекся, и, внезапно прервав разговор о починке ба-

рыниных ботинок, облапил Аннушку и впился в ее губы, имея, по-видимому, серьезное намерение целовать без конца (недаром он незаметно защелкнул в каюте задвижку). Аннушка в первое мгновение поддалась этой ласке, но вслед за тем сурово оттолкнула дерзкого и, вспыхнув, съездила его по уху.

Но Чижиков и тут не потерялся и даже не стал просить прощения. Вмиг очутившись по ту сторону двери, он как ни в чем не бывало спросил, продолжая прерванный разговор:

— Так какое будет ваше приказание насчет барыниных ботинков, Анна Егоровна? Прикажете починить?

Первую минуту Аннушка молчала и казалась очень сердитой.

— Что ж, почини, — наконец промолвила она строгим тоном, не глядя на Чижикова и оправляя сбившиеся волосы.

Однако любопытство заставило ее бросить взгляд на вестового, и невольная улыбка скользнула по ее заалевшему лицу при виде этой невинно-серьезной физиономии, точно ни в чем не повинной.

— Так пожалуйста, Анна Егоровна. Ужо зав-

тра принесу, — проговорил деловым тоном Чижиков. — Пуговишки есть у вас?

— И лукавый же ты парень, Ванюшка! — протянула нараспев Аннушка, говоря ему давно уже попросту на «ты», и, отдавая ботинки, усмехнулась.

Сохраняя на своем лице все тот же степенно-невинный вид, Чижиков опять только ласково улыбнулся глазами и, пожелав спокойной ночи, ушел, чувствуя, что Аннушка его простила.

В жилой палубе, где в подвешенных койках уже спали подвахтенные матросы (спать наверху не позволяли, вследствие присутствия на клипере пассажирки), встретил его Егорка, собиравшийся было ложиться, и любопытно спросил:

— Ну, что, братец, как с ей? Забираешь ходу?

— Как есть здря. Давно бросил! — отвечал Чижиков.

— Ну?

— Горда больно пассажиркина мамзель. От матроса морду воротит...

— Ишь ты, а я, брат, думал...

— То-то, пустое, — перебил Чижиков, который, как истый джентльмен, хранил в абсолютной тайне свои успехи даже от друга и земляка Егорки.

— Однако дело есть! — прибавил он и, сходя в свой сундучок за инструментом, прилачился у фонаря, чтобы приняться за работу.

— Ты это что же? Слава богу, намотался за день, пора бы и спать. К спеху, что ли? — допрашивал Егорка, разглядывая крошечные дамские ботинки. — Нам разве на палец надеть! — усмехнулся он.

— Обещал. Сама пассажирка просила, — сочинил Чижиков.

— Да у ей башмаков много.

— Эти самые любит. Хорошо пришлись, говорит.

— Небось заплатит?

— А то как же? Наверно, наградит, как в Гонконт придем. Намедни вот не в зачет доллар дала, — опять соврал Чижиков, чтобы не выдать тайны, для кого это он так старается.

— А мой мичман, Володя-то наш, вчерась мне пять долларовей отвалил, — радостно сообщил Егорка и, полураздетый, в одной рубашке,

присел на корточках около Чижикова.

— За что?

— Поди ж... Я и сам подивился... И так добр — завсегда награждает, а тут... Встал это он, братец ты мой, после ночной вахты такой веселый... смеется... и велел, значит, достать из «шинерки»[52] деньги... А у него и всего-то двадцать долларовей капиталу... Подаю. Отсчитал пять долларовей. «Получай, говорит, Егорка, а достальные назад положи!»

— Щедровит, — промолвил Чижиков и прибавил: — И льстится же он на пассажирку, я тебе скажу, Егорка. Ах, как льстится!.. Намедни пришел: тары, бары, по-французскому... лямур, — это и я разобрал, — а потом вынул из кармана стишок и давай ей читать. Складно так выходило, Егорка. «Ваши, говорит, очи не дают спать ночи». «Вы, говорит, что андел распрекрасны, щеки, говорит, что розы, а ручки у вас атласны». Все, братец ты мой, перебрал по порядку: и насчет ног, и насчет носа, и насчет ейных волос... И так, шельма, складно. «Я, говорит, из-за вас ума решусь и беспременно утоплюсь»... Это он пужал, значит.

— Ишь ты! И выдумает же! — восхитился Егорка. — Что ж пассажирка?

— Усмехнулась и стишок на память взяла... Только вряд у их что-нибудь выйдет, — авторитетно заметил Чижиков.

— Небось мой мичман ловок! — заступился за своего барина Егорка.

— Отважности нет... Только языком болтает... Этим в скорости не облестишь.

— Нельзя, брат, генеральская дочь...

— Генеральская не генеральская, а все живой человек. Только она, должно быть, какая-то порченная! — неожиданно прибавил Чижиков.

— Порченная?

— Да как же, Егорка. Женщина молодая, сочная, всем взяла, а три года вдовует, и, — сказывала Аннушка, — в Америке женихи были, а не шла. И опять же здесь: все на нее льстятся, а она ровно статуя бесчувственный. Видно, в ей кровь не играет. Есть, братец, такие. Не любят мужчин...

— Может, только виду не хочет оказать и себя соблюдает, а ежели, братец ты мой, честь честью, замуж — очень даже будет согласна...

Видит — здесь ей мужа не найти, потому как в плавании все, да и господа не из богатых, ну и... форсит.

— Разве что... Но ты, коли баба, хоть хвостом поверти...

— Не вертит? — рассмеялся Егорка.

— То-то и есть. И глаз у ей рыбий... Поверь, Егорка, испортили барыню в Америке этой самой.

— А кто ее знает?.. У господ другое положение. Они там с мичманом моим по-французскому говорят, может и договорятся... Он тоже ловок насчет этого... И стишок умеет, и из себя молодец, и башковат... Вот в Гонконт придем, окажется... Однако я спать пошел!..

И Егорка, поднявшись с корточек, направился к своей койке.

XI

«Как следует нос. Форменный нос!» — несколько раз повторял про себя Бакланов, нервно шагая с одного края мостика на другой. Самолюбие его было уязвлено, и в нем закипала злость и на себя за то, что он так «опрохвостился», и на пассажирку за то, что она с насмешливой шуткой отнеслась к его

предложению и даже не сказала обычных в таком случае слов о дружбе, и на Цветкова зато, что этот «смазливый болван» слишком много о себе воображает.

«Мальчишка!» — со злобой подумал Бакланов, стараясь отыскать в «мальчишке» самые дурные стороны. Он и легкомыслен, и беспутен, и вообще пустельга, и в денежных делах неаккуратен. По уши в долгах. «До сих пор двадцати долларов не отдает», — припомнил Бакланов, решившись завтра же их потребовать с него. «Не особенно проникательна и она, если верит такому мальчишке!.. Не в мужья же она его прочит, кокетничая с ним... Нечего сказать, основательный был бы муж... Одна потеха!.. А если этот „мерзавец“ и вдруг имеет успех?..»

При этой мысли у Бакланова явилось такое сильное желание перервать «мерзавцу» горло, что он, остановившись, стиснул руками ручки, словно вместо ручней было несчастное горло мичмана...

— Пос-мот-рим! — прошептал он и вдруг грозно крикнул на дремавшего сигнальщика: — Ты что дрыхнешь, каналья, а?..

А чудная ночь словно нарочно дразнит своим нежным дыханием, волнуя воображение давно не бывшего на берегу моряка далеко не идеальными мечтаниями, в которых предпочтительную роль играла, разумеется, эта соблазнительная вдова в виде его невесты. То-то вышел бы эффект, и сколько было бы зависти в кают-компании, если бы он официально объявил себя женихом пассажирки! Он все свободное время проводил бы с нею наедине, у нее в каюте, черт возьми, и по праву без конца целовал бы эти маленькие с ямками ручки, сливочную шейку, алые губки. Он бы...

Неожиданное появление на шканцах толстой фигуры капитана в белом кителе вернуло лейтенанта Бакланова к действительности. Он тревожно огляделся вокруг.

Тяжело переваливаясь и подсапывая носом, капитан поднялся на мостик, посмотрел в компас, зорко осмотрел горизонт и поднял голову, взглядывая на паруса.

— Лиселя полощат, а вы и не видите-с! — резко выпалил капитан.

Действительно, к стыду Бакланова, лиселя

с правой позорно «полоскали».

— Только сейчас ветер зашел.

— Убрать-с!.. И попрошу вас, господин лейтенант Бакланов, на вахте не заниматься болтовней с пассажиркой, — тихо, очевидно сдерживаясь, но с тем же раздражением продолжал капитан. — Что у нас, военное судно или гостиная-с? На вахте разве офицеры разговаривают-с? Вы тут любезничали, а у вас лиселя шлепают-с... Могли бы и все паруса прошлепать. Прошу помнить-с, что вы вахтенный начальник, а не дамский кавалер-с!

Бакланов скомандовал убрать лиселя, а капитан стоял сердитый, взглядывая на освещенный люк каюты, в которой скрылась эта очаровательная вдовушка, лишившая и его, точно в штормовую погоду, сна и будившая в нем, на старости лет, мечты о второй молодости и страстное желание мгновенно похудеть.

Капитан постоял минут пять и скрылся в рубке. Раздевшись, он снова лег спать, но заснул не скоро. Черт знает что лезло в голову. И уборка лиселей не так его занимала, как прежде, и его Пашета, верная супруга и стро-

гая дама, казалась ему теперь, при сравнении, такой некрасивой, сухопарой, белобрысой женщиной с своими жидкими косичками и такой злой, с вечными сценами из-за смазливых горничных...

Со времени появления на клипере пассажирки капитан вдруг стал чаще философствовать насчет семейной жизни и критически оценивать характер и наружность жены, хотя и был примерным отцом и добрым мужем; вместе с тем он до унижения лебезил перед пассажиркой. Все его любезности обращались очень мило в шутку, и он, наконец, заметил, что пассажирка не особенно любит быть с ним *tete a tete*[53]. Заметивши это, он, как истинно галантный рыцарь, перестал в последнее время заходить к ней и встречался только за обедом да наверху, умильно поглядывая на нее и срывая свою досаду на молодых офицерах, к которым ревновал с слепой яростью влюбленного пожилого человека, сознающего тщету надежд.

Как ни старался капитан скрыть перед подчиненными свое малодушное ухаживание за пассажиркой, все видели, что он втю-

рился. Недаром же он и душится, и ходит в новом сюртуке, и наверху остерегается ругать матросов и давать подчас волю рукам. Все понимали причину его «разносов» и посмеивались втихомолку над «влюбленным боро-вом», устраивая ему всяческие каверзы. Заметит вахтенный, что капитан спустился к пассажирке, как сейчас же шлет туда гардемарина доложить, что «судно на горизонте», или что «ветер заходит», или что «кит показался». Словом, молодежь выискивала всевозможные предлоги, чтобы помешать капитану любезничать с пассажиркой. А когда она бывала наверху, ее тотчас же окружали, и капитан, сердито пыхтя, одиноко ходил по шканцам, с досадой посматривая на молодежь и не смея подойти, чтоб не вызвать иронически-почтительных взглядов.

Капитан видел и чувствовал все эти каверзы и скрытые насмешки и, несмотря на свое добродушие, втайне бесновался. Особенно преследовал он Цветкова и раз даже во время парусного учения пригрозил отдать его под суд...

Все это заметила под конец и пассажирка

и прекратила с Цветковым чтения вдвоем, тем более что при первом же чтении после признания он снова заговорил о любви, и хотя раньше и клялся, что ему, кроме святой дружбы, решительно ничего не надо, тем не менее так трогательно просил позволения «братски» поцеловать ее «святую» ручку и, получив разрешение, чрез минуту уж так умоляюще жалобно поглядывал на маленькие розовые пальчики, оправдывая поговорку: *l'appetit vient en mangeant*[54], — что мраморная вдова, ограждая мичмана и от капитанской мести, и от малодушных волнений, благоразумно решила вместе не читать и наедине не оставаться.

Но что она могла сделать против хитрости влюбленного человека, который сторожил каждый ее шаг и, случалось, улавливал минуту-другую, когда она была на палубе одна, и тогда... каких только тогда не расточал он ей восторженных комплиментов, про это только знала она одна, так как сам мичман находился в телячьем экстазе и едва ли помнил, что говорил. И все эти комплименты были так наивно-почтительны и искренни, а сам мичман

так благоговейно-восторжен, что молодая женщина не могла и, признаться, не хотела сердиться. Уж очень мил был этот жизнерадостный пригожий мичман, и так щекотали ее нервы эти речи.

«Да и опасно, — уверяла себя мраморная вдова, — того и гляди этот сумасшедший выкинет снова что-нибудь невозможное. Пусть уж лучше говорит!»

Она и не подозревала, что он в самом деле уж подумывал выкинуть такую штуку, которая огорошит всех и окончательно убедит ее, и тогда, быть может, заставит ее откликнуться на его любовь (уж он теперь втайне мечтал о взаимности).

Но пока эта «штука» была его тайной.

С каждым днем положение бедной пассажирки становилось затруднительнее, и, несмотря на удобства плавания, она не без нетерпения ждала его конца. Эта атмосфера любви вокруг нее все сгущалась и сгущалась и грозила разразиться новыми излияниями и всеобщей ссорой моряков.

Милорд перестал цедить слова и однажды как-то очень значительно заговорил с пасса-

жиркой о том, что жизнь, собственно говоря, глупая и пустая шутка. Бедняга Васенька, до сих пор не решавшийся говорить с пассажиркой, совсем проглядел на нее глаза и исхудал. Доктор что-то усиленно стал проповедовать о разводе и заботливо расспрашивал о здоровье, предлагая свои услуги исследовать ее. Капитан, как гимназист, сторожил пассажирку, соперничая в этом с Цветковым; долговязый ревизор мрачно вздыхал, а Бакланов, согласно обещанию, ходил «с разбитым сердцем». При встречах с пассажиркой он или горько улыбался, или меланхолично расправлял свои роскошные длинные усы и пел в кают-компании, присаживаясь за пианино, самые меланхолические романсы. Пусть слышит! Но, разумеется, от всех скрывал свою неудачу и в разговорах о пассажирке выказывал пренебрежительное равнодушие. Однако почти не говорил с Цветковым и по временам бросал на него такие свирепые взоры, что старик Иван Иванович теперь боялся, как бы у Бакланова, в свою очередь, не было намерения «запалить в морду» мичману, и нетерпеливо ждал конца этого «бабьего» плавания,

благодаря которому на клипере пошел кавардак и все очумели.

Один только старший офицер Степан Дмитриевич, не обнаруживая особенной ревности ни к кому, залихватски покручивал усы, с спокойной уверенностью человека, дело которого в шляпе. «Скоро все объяснится!» — не раз думал он и нередко гляделся у себя в каюте в зеркало, не без приятного чувства удовлетворения любуясь своей красной, угреватой физиономией с длинным носом и маленькими воспаленными глазками, не без некоторого основания уподобленной Цветковым «медной кастрюльке». Но у Степана Дмитриевича было насчет своего лица особое мнение, и он полагал, что всякая умная женщина должна была находить его лицо привлекательным.

Он давно подпускал пассажирке какие-то отдаленные намеки насчет уз Гименея и своих надежд скоро быть капитаном, и молодая женщина со страхом ожидала с его стороны серьезного нападения.

Эти «добрые» моряки представлялись ей теперь несколько в ином свете. «Они, конеч-

но, милые люди, но, верно, еще милее на сухом пути», — не раз говорила себе хорошенькая вдовушка, чувствуя на себе с каждым днем все более и более влюбленные взгляды и нередко такие красноречивые, что краска невольно заливала ее лицо; и она плотнее закрывала косынкой свою белоснежную шею и пышную грудь и, несмотря на жару, показывалась не иначе, как в высоких платьях с длинными рукавами.

И когда дедушка, наконец, зашел к ней однажды и сообщил, что через неделю, если, бог даст, все будет благополучно, клипер придет в Гонконг, она выразила большую радость.

— Обрадовались, Вера Сергеевна? — усмехнулся хитро дедушка... — Уж вы не сердитесь, а откровенно признаюсь, что и я порадуюсь, несмотря на все мое к вам уважение, когда вы покинете клипер.

— Вы-то отчего, Иван Иваныч? — спросила, улыбаясь, пассажирка.

— Разве не видите, Вера Сергеевна? Небось отлично видите, что теперь делается на клипере. Жили мы без вас, милая барыня, мирно и покойно, волновались только по службе, а

теперь?.. Все друг на друга косятся... Все от вас без ума и совсем сделались вроде бесноватых...

— Да разве я виновата, Иван Иванович? Кажется, я никому не подавала повода... Я не знала, что моряки такие влюбчивые, — прибавила пассажирка.

— Вы ничуть не виноваты, если не считать виной, что господь бог создал вас такой хорошенькой. Простите, Вера Сергеевна, мне, старику, можно это сказать, — проговорил старый штурман отеческим тоном, избегая, однако, глядеть на ослепительно свежее лицо пассажирки.

— Я больше никогда не поеду на военном судне, — промолвила она.

— И не следует... Я никогда не брал бы пассажиров, особенно таких милых, как вы... А бедняга Цветков что-то опять загрустил. Как бы не натворил глупостей! Уж вы его образумьте, Вера Сергеевна. Вас он послушает.

— Каких глупостей? — спросила пассажирка, и в голосе ее дрогнула испуганная нотка.

— А кто его знает. От этого сумасшедшего можно всего ожидать. Пожалуй, захочет бе-

жать за вами, и тогда прощай его служба. Жаль будет. Малыш он славный, и сердце золотое, и офицер блестящий... Я его очень люблю... Одна беда, — улыбнулся дедушка, — как влюбится, так ему море по колена на первых порах. Совсем отчаянный становится... Уж вы урезоньте его... Уедете вы, и он придет в себя... Отходчивый!

— Отходчивый? — протянула пассажирка. — Ну конечно, эта блажь скоро пройдет. Благодарю, что предупредили, милый дедушка. Постараюсь убедить его не дурить...

— Только теперь ему ни полслова, а то непременно удерет за вами. Сумасброд на редкость и упрям, как лошак.

XII

Приглашать пассажирку обедать в это воскресенье в кают-компанию пошел, по обыкновению, старший офицер, но в этот раз всем невольно бросилась в глаза какая-то особая торжественность и в лице, и во всей плотной, небольшой и неказистой фигуре Степана Дмитриевича. Он был по-праздничному, в виц-мундире, с Станиславом на шее и Анной в петлице*, весь сияя, как хорошо отчищен-

ная медная пушка. Лысина была тщательно зачесана, редкие волосы напомажены, усы подфабрены, и весь он благоухал, нисколько не пожалевши духов.

В таком великолепии явился он после доклада Чижикова перед пассажиркой и после приветствия, пожав ей руку, сел в кресло и сказал:

— От лица всей кают-компании явился к вам, Вера Сергеевна, покорнейше просить сделать честь и пожаловать к нам сегодня откушать. Надеемся, вы осчастливите нас своим посещением, не правда ли? — прибавил Степан Дмитриевич и стал крутить усы, взглядывая на пассажирку с победоносным видом обаятельного мужчины.

Пассажирка любезно поблагодарила и обещала быть.

Обыкновенно после подобного приглашения Степан Дмитриевич, сказав два-три слова, удалялся, но на этот раз он плотнее уселся в кресле, выпятив грудь колесом, и после небольшой паузы проговорил:

— Увы! это последнее воскресенье, что мы видим вас на клипере, божественная Вера

Сергеевна. Еще три дня, и клипер осиротеет, как только бросит якорь в Гонконге. Вам не жаль покидать нас? Никого не жаль?

— Напротив, всех жаль. Все так баловали меня своим вниманием.

«Лукавишь», — весело подумал Степан Дмитриевич и продолжал, отставив чуть-чуть вбок свою коротенькую толстую ножку.

— Но вы ни о чем не догадывались? Вы не заметили, что с моей стороны было нечто большее, чем простое внимание? — не без пафоса проговорил старший офицер, и его маленькие глазки еще более сузились и словно хотели совсем спрятаться от полноты чувств.

«Вот оно, начинается!» — со страхом подумала пассажирка и промолвила:

— Как же, я видала вашу доброту и заботливость и очень вам благодарна.

— Не совсем то, далеко не то, Вера Сергеевна... Не одна заботливость, не одна доброта, а чистосердечно скажу: более серьезное чувство... Казалось, что и вы показывали мне расположение, Вера Сергеевна... Не конфузьтесь, пожалуйста, — вставил Степан Дмитриевич, заметив, что пассажирка достала платок,

чтобы скрыть едва удерживаемый смех, — я не мальчик, а человек солидный, мне сорок лет, и я пришел к вам с серьезными намерениями... с очень серьезными и основательно обдумантыми... Давно собирался я вкусить счастья семейной жизни, но до сих пор не встречал особы, которая... которая внушила бы мне глубокое чувство, пока не встретил под небом далекой Америки вас...

Степан Дмитриевич остановился, чтобы вытереть надушенным платком пот, обильно струившийся по его лицу, и с большим одушевлением продолжал:

— Я — человек не злой, характер у меня ровный, и я буду любить и хранить вас, как дорогую жемчужину... Служебное положение мое обеспечено, и у меня кое-что есть на черный день... Смею надеяться, что вы, после тяжелых испытаний, захотите тихой пристани и осчастливите одинокого человека, давши слово быть его другом и женой, — с чувством произнес старший офицер. — Через шесть месяцев мы вернемся в Россию. Ждать недолго. Надеюсь, и я вам нравлюсь, Вера Сергеевна? — закончил Степан Дмитриевич не без са-

моуверенной улыбке и ждал ответа.

Но пассажирка молчала, давно склонив голову, чтобы скрыть смеющееся лицо. Этот самоуверенный тон был так комичен!

Степан Дмитриевич, имевший несчастье считать себя неотразимым мужчиной, объяснил это молчание совсем иначе и, любуясь бюстом пассажирки замаслившимися глазками, проговорил нежным, ласковым шепотом:

— Милая Вера Сергеевна!.. Не конфузьтесь! Поднимите головку... взгляните на меня... Ведь вы согласны, да?.. Не волнуйтесь, ради бога... Вы молчите?.. Ну протяните вашу прелестную ручку в знак согласия...

Пассажирка подняла голову и, стараясь быть серьезной, чтобы не оскорбить Степана Дмитриевича, ответила, кусая губы:

— Благодарю за честь, но... я не собираюсь замуж.

Степан Дмитриевич опешил и наивно спросил:

— Значит, вы отказываете?

— Как видите...

— Но, быть может, это не решительно... Вы подумаете и...

— Нет, Степан Дмитрич, решительно...

— В таком случае... извините... А я, признаться, надеялся... Что ж... Ошибся... Надеюсь, это между нами... Дай вам бог счастья, Вера Сергеевна.

И, шаркнув ножкой, как обучали его в корпусе, Степан Дмитриевич, скушавши на своем веку пятый отказ, с достоинством удалился, не столько обиженный, сколько изумленный.

«Я считал пассажирку гораздо умнее. Оказывается, совсем глупая бабенка!» — высокомерно подумал Степан Дмитриевич.

Однако он был красен как рак, когда вошел в кают-компанию, и не имел прежнего торжественного вида.

Обед в кают-компании в это воскресенье прошел как-то натянуто. Все точно стеснялись чем-то и недружелюбно посматривали друг на друга. Взгляды прояснялись лишь только тогда, когда обращались на пассажирку. Она была в светлом высоком платье, по обыкновению любезная, приветливая и ослепительная. Капитан предпочтительно занимал ее, повторяя старые рассказы, и часто пу-

тался. Степан Дмитриевич, хоть и по-прежнему победоносно покручивал усы, но казался несколько раздраженным. Бакланов сидел с «разбитым сердцем», милорд был мрачен, а кругленький чистенький доктор хоть и выручал капитана, поддерживая разговор с гостью, но имел несколько обиженный вид огорченного кота. Исхудавший Васенька, сидевший на конце стола, поминутно краснел, бросая робкие взгляды на пассажирку. Только дедушка, механик, артиллерист Евграф Иванович и вихрастый гардемарин с сочными губами ели и пили с обычной исправностью.

— А барометр все падает, Иван Иванович, — заметил в конце обеда капитан. — Как бы сегодня не засвежело!

— К тому идет-с. Пожалуй, и не дотянем нашего счастливого плавания...

— Вот, Вера Сергеевна, вы нас скоро покидаете — и погода нам изменяет, — любезно промолвил капитан, умильно взглядывая на пассажирку. — Сегодня и небо уж не прежнее... Тучи заходили, и океан зашумел... Сердятся, что мы вас отпускаем.

И только он это сказал, как сверху раздал-

ся громкий, взволнованный голос Цветкова, торопливо и возбужденно командовавший:

— Брам-фалы и марса-фалы отдать! Фок, грот и бизань на гитовы! Кливера долой!

В ту же секунду вбежал сигнальщик.

— Шквал, вашескобродие, — доложил он капитану.

— Извините, Вера Сергеевна, — вымолвил капитан и торопливо вышел. Вслед за ним вышли старший офицер и дедушка. Вестовые бросились закрывать люк.

Видя спокойные лица оставшихся за столом, пассажирка без страха, хотя и волнуясь, доканчивала пирожное, как вдруг сверху донесся какой-то потрясающий гул, в кают-компании потемнело, с грохотом покатилась посуда, и молодую женщину бросило на другой конец дивана. Клипер лег на бок, и пассажирка чувствовала, как она вместе с ним наклоняется все ниже и ниже.

Сияясь улыбнуться, она испуганно посмотрела на моряков. Бакланов, доктор и Васенька подошли к ней.

— Не пугайтесь, Вера Сергеевна, он сейчас встанет, — успокаивал Бакланов.

— Никакой опасности нет, — авторитетно проговорил юный Васенька.

Но клипер не вставал! Его кренило все больше и больше... Казалось, вот-вот он сейчас опрокинется. Эти секунды были ужасны. Бледная как смерть, с широко открытыми от ужаса глазами, пассажирка глядела перед собой. И у всех лица мгновенно сделались необычайно серьезными. Трепет страха застыл в глазах. Все инстинктивно бросились вон из каюты.

— Пойдемте, — стараясь казаться спокойным, выговорил Бакланов и повел пассажирку вверх, поддерживая ее руку. Васенька шел за ними. Он твердо решил в случае гибели клипера спасти пассажирку.

Страшный вихрь разметал её волосы, и они рассыпались по плечам. Бакланов подвел ее ко входу в капитанскую каюту. Там стояла уже испуганная Аннушка и то и дело крестилась.

XIII

Клипер между тем уже поднялся и бешено мчался. Паника, охватившая молодую женщину во время этой долгой, бесконечной ми-

нуты лежания на боку клипера, поваленного жестоким шквалом, прошла вместе с мыслью о гибели. Вид людской толпы бодрил пассажирку. Все еще взволнованная от только что испытанного ощущения казавшейся ей близости смерти, она торопливо подобрала свои роскошные волосы и при помощи Аннушки завязала в узел. Смышленный Чижиков, бывший во время шквала при Аннушке, догадался принести пассажирке ватерпруф и платок на голову.

— Оденьтесь, барыня, неравно продует.

Между тем боцман как бешеный проревел: «Пошел все наверх!» — и все бросились на свои места. Бакланов еще раньше побежал к своей фок-мачте, а Васенька, не оставлявший пассажирки, полетел на мостик, где должен был находиться при капитане во время аврала. Уходя, он сказал молодой женщине:

— Видите, никакой опасности нет. Вы не бойтесь, Вера Сергеевна, — прибавил он голосом, полным нежного чувства, и с выражением необыкновенно серьезной и трогательной заботливости на своем юном лице. И совсем заалел, встретив благодарный, ласковый

взгляд пассажирки.

Две женщины остались одни.

Пассажирка огляделась. Боже, как все переменялось кругом! Небо было сплошь усеяно клочковатыми нависшими тучами, океан шумел, вздымая высокие седые волны, и сильный ветер свирепо гудел в снастях. На оголенных мачтах клипера трепыхались разорванные в клочки громадные марсели, а от брамселей оставались одни лоскутки.

На палубе и на реях кипела работа. Снизу принесли новые марсели и подняли их, взявши предварительно все рифы. Марсовые, качиваясь на реях, отвязывали разорванные паруса, чтобы потом привязать новые. Брам-стеньги и брам-реи уже были спущены. Раздавались какие-то непонятные для пассажирки командные слова старшего офицера, грозные окрики капитана, и по временам с бака доносились отчаянные ругательства боцманов, разрешивших себя от долгого воздержания. В первый раз пассажирке пришлось увидеть морскую жизнь в ее суровой обстановке и моряков за тяжелым, полным опасности делом. А ветер крепчал, волны росли, все сильнее

раскачивая клипер. Качались стремительнее и матросы вместе с реями, концы которых сцепившимися на них людьми висели над водяной бездной.

Капитан, стоявший на мостике, расставив свои толстые ноги, сосредоточенный и серьезный, с энергичным и суровым выражением на красном лице, не имел теперь ничего общего с тем смешным, лебезившим ухаживателем, говорившим пошлые любезности и приторные речи, которого знала пассажирка. И он, казалось ей, был теперь не прежний уродливый толстяк, а не лишенный своеобразной красоты «морокой волк» среди бушующего океана. И Степан Дмитриевич со своим комичным самомнением о прелести своей персоны был теперь далеко не смешон, спокойно и уверенно распоряжавшийся авралом и командовавший тем авторитетным тоном знающего свое дело человека, который в минуты опасности вселяет бодрость и уверенность в других. Невольно чувствовалось, что эти люди — верные рыцари долга. И Бакланов точно сбросил свое хлыщество и вид «разбитого сердца», весь, казалось, проникнутый

одной мыслью, чтобы у него поскорее переменяли фор-марсель и не отстали от грот-марса. И милорд не корчил англичанина, а усердно и ретиво наблюдал за работой на юте. А где же Цветков? — искала глазами пассажирка, и, наконец, поднявши взгляд наверх, увидала его, веселого, румяного, с выбившимися из-под фуражки кудрями, на грот-марсе, куда полез он, чтобы на месте руководить переменной грот-марселя, и где матросы, любившие мичмана и называвшие его между собой Володей, веселей и спорей работали, подбадриваемые его веселыми словами и его жизнерадостным и отважным видом...

И никто из них не обращал теперь на хорошенькую пассажирку никакого внимания. Точно ее и не было.

«Совсем они стали другие», — подумала пассажирка.

Через полчаса работы были окончены, и клипер с зарифленными марселями бежал, подгоняемый засвежевшим ветром, удирая от попутной волны.

XIV

К утру следующего дня в море «ревело».

Обеих пассажирок укачало, и они отлеживались по своим каютам. Капитан часто навещался к пассажирке и через закрытую дверь уверял, что нет ни малейшей опасности, выражал негодование на погоду, лишавшую его счастья видеть очаровательную Веру Сергеевну, и опять говорил любезности. Чижиков находился безотлучно при пассажирках и ухаживал за ними, разгоня находивший по временам на них страх своим спокойным видом и ласково улыбающимися глазами. Он каждый день докладывал барыне, что мичман Цветков «кланяются и просят узнать о здоровье», и передавал мичману, что пассажирка велела очень благодарить. И за это получал от мичмана доллары. А Аннушку он усердно угощал лимонами, развлекал болтовней и, пользуясь иногда молчаливым ее согласием, чмокал в щеки.

Через три дня клипер с попутным штормом влетел в Гонконг и, бросив якорь, недвижно замер в затишье закрытой бухты.

В тот день — после прощального обеда, во время которого пассажирке высказывались самые горячие пожелания и самые пылкие

сожаления об ее отъезде, — она съехала в город и перебралась в гостиницу в ожидании парохода, уходящего в Европу через три дня.

Подсторожив пассажирку перед отъездом одну, Цветков просил разрешения быть у нее на берегу. Ему необходимо переговорить об одном очень важном деле. Он так умоляюще глядел, и вид у него был такой серьезный и решительный, что пассажирка шепнула: «Приезжайте», — надеясь отговорить его от «штуки», которую он, видимо, собирался выкинуть.

«Да и отчего не повидаться с этим милым мичманом перед тем, как расстанемся навсегда?» — подумала мраморная вдова, чувствуя к нему невольную благодарность за его сумасшедшую любовь.

Аннушка вышла из каюты с заплаканными глазами, а Чижиков с особенно серьезным видом старательно перетаскивал вещи и подавал их на шлюпку, и когда шлюпка была готова, подошел к капитану и, осененный внезапным вдохновением, доложил:

— Барыня приказала помочь на берегу и вещи доставить. Прикажете ехать, вашеско-

бродие?

Капитан махнул головой, приказав поскорее вернуться.

— Есть! — весело ответил Чижиков и вслед за пассажирками юркнул на нос катера.

Когда катер отвалил, с клипера раздались прощальные приветствия, и с палубы долго еще махали шапками и платками.

— Ну, слава богу, уехали! — прошептал, облегченно вздыхая, дедушка и бросил испытующий взгляд на озабоченного Цветкова.

Отвозил пассажирку Васенька, который и привез ее в Сан-Франциско на клипер. Грустный сидел он на руле сзади молодой женщины и безмолвно любовался ею в последний раз.

XV

Под вечер следующего дня Цветков, одетый в статское летнее платье, со шлемом, обвитым кисеей, на голове, поднимался с пристани в город пешком, отвергнув предложение китайцев-носильщиков снести его в паланкине. Он ходко шел, несмотря на жару, занятый приятными мыслями. За этот день он сделал все приготовления для осуществления

своего плана: взял у ревизора жалованье за месяц и заручился согласием артиллериста Евграфа Ивановича дать ему займы под расписку пятьсот долларов. «Очень, мол, нужно». У милорда он не решался просить: они были в натянутых отношениях, да скупой милорд и не дал бы. Отказал бы и дедушка, догадавшись, на что ему нужны деньги. С этими капиталами можно пуститься в путь. Вдобавок он отсюда пошлет бабушке телеграмму, чтобы немедленно выслала в Суэц тысячу рублей. Обожавшая внука старуха, конечно, вышлет. С капитаном разговор будет короток. Он подаст ему рапорт о том, что желает списаться с клипера по болезни, и на словах объяснит, что не может больше с ним служить и выносить его вечные разносы и придирки. А не то скажет, что получил телеграмму о смерти бабушки («Дай бог доброй старушке здоровья!») и его немедленно вызывают для получения большого наследства. Там видно будет. «Верь не верь, это твое дело!» А если «толстый боров» заартачится, он удерет и без разрешения. Пусть выгонят в отставку. Наплевать! Только бы она разрешила ему ехать с ней.

Вот и роскошный, громадный «Oriental Hotel» с чудным садом по ту сторону гостиницы. Он хорошо ее знал, проигравши в одном из номеров сто долларов в ландскнехт Бакланову два года тому назад, когда клипер шел из России и простоял здесь неделю.

Он подал швейцару индусу в белой чалме визитную карточку, приказав передать ее миссис Кларк (вчера приехала). Темно-бронзовый швейцар позвонил, и бесшумно спустившийся слуга китаец снова пошел с карточкой наверх, а Цветков вошел в обширный, роскошно убранный «parlour»[55]. В полутемной, прохладной комнате, с опущенными жалюзи, за большим столом посредине, заваленным газетами и иллюстрациями*, сидели только две старые англичанки, которых мичман, разумеется, тотчас же мысленно осыпал проклятиями, опускаясь на самый отдаленный от стола мягкий диванчик.

Прошла минута, другая, и молодая женщина вошла в гостиную. Англичанки подняли головы, пошевелили своими выдавшимися челюстями, оскалив большие белые зубы, и снова погрузились в чтение.

— Пойдемте лучше в сад, там будем беседовать о важных делах, — шутливо промолвила вполголоса молодая женщина после рукопожатий.

— Господи!.. Да как же вы сегодня прелестны! — невольно вырвалось у Цветкова, и он, словно очарованный, благоговейно глядел на Веру Сергеевну, которая действительно была обворожительна в своем летнем светлом платье с прозрачными рукавами, сквозь которые сверкали ослепительно белые руки, и казалась совсем молодой девушкой по своей гибкой изящной фигуре и нежной свежести лица.

— Об этом можно бы и не говорить, — полшутя, полусерьезно возразила она, поправляя в своей золотистой косе пышную ярко-красную розу. — Пойдемте.

Они прямо из гостиной вышли в сад, сверкавший яркими цветами в клумбах и роскошью густой листвы тропических деревьев. Он осмелился предложить ей руку, она взяла ее, и они направились в глубь сада. Мичман замирал от восторга, что идет с ней под руку, от волнения не находил слов и, умиленный,

только искоса взглядывал на очаровательную блондинку и ступал с боязливой осторожностью, словно боясь, что это счастье вдруг нарушится.

— Ну что ж вы примолкли, Владимир Алексеич? Какие у вас такие важные дела, рассказывайте, — промолвила молодая женщина и, чувствуя, как вздрагивает рука молодого мичмана, поспешила опуститься на скамейку, стоявшую в конце аллеи, под прохладной тенью густолиственного тамаринда*. — Садитесь, а то жарко ходить! — прибавила она...

Он сел с видом обиженного ребенка, у которого вдруг отняли игрушку, и сказал:

— Не смейтесь, Вера Сергеевна!.. То, о чем я хочу говорить, для меня очень важно... очень...

И, «волнуясь и спеша»*, он объявил, что положительно не в состоянии перенести с ней разлуки. Он бросит клипер и поедет за ней.

— Зачем? Чего вы хотите? На что надеетесь? Ведь я говорила вам, что не могу ответить на ваше чувство!..

О, он ничего не требует... Он только молит

не прогонять его и позволить ему быть поблизости от нее, видеть это божественное лицо, слышать этот дивный голос... Жизнь без нее будет одним страданием... Он убедился в этом за те три дня во время шторма, в которые он не видал ее... Он будет ждать год, два, целую вечность... и когда она убедится, что привязанность его глубока и беспредельна, тогда, быть может...

Он не смел закончить и, вдруг охваченный молодой страстью, с глазами, блесквшими от навертывавшихся слез, схватил эту маленькую ручку и припал к ней, покрывая ее беззвучными поцелуями.

И листья тамаринда тихо шелестели над головой мичмана и словно насмешливо шептали: «Он ничего не требует».

Молодая женщина не отнимала руки. Эти горячие поцелуи среди тишины и прелести тропического сада взволновали и эту мраморную вдову, так долго жившую лишь воспоминаниями о прежней любви. И ее замерзшее сердце оттаивало под ними, как хрупкая льдинка под вешним солнышком. Полузакрыв глаза, она чувствовала, как жгучая исто-

ма разливаётся по её существу, и в голове её вдруг мелькнула мысль: «А что ж, пусть едет!»

Но в следующее же мгновение явился вопрос: «Зачем? Не идти же ей, тридцатилетней вдове, за этого юного сумасброда. Он и она — нищие. Хороша была бы пара!»

И она, не без тайного сожаления, высвободила свою горячую руку и заметила строгим тоном, подавляя невольный вздох:

— Не нервничайте, Владимир Алексеич. Ваша любовь скоро пройдет. Помните, сколько раз вы клялись в любви? — прибавила она, припоминая слова дедушки.

Мичман виновато опустил свою кудрявую голову.

— То была не любовь! — промолвил он.

— А что же?

— Ерунда! — решительно заявил мичман.

— И теперешняя будет тем же, — улыбнулась Вера Сергеевна.

— Неправда! — горячо возразил Цветков. — Хотите, сейчас докажу?..

— Нет, не надо... Верю... верю, — испуганно прошептала молодая женщина.

— Так умоляю вас, позвольте мне ехать!..

— Образумьтесь, Владимир Алексеич!.. Ваша служба... карьера.

Мичман горько усмехнулся.

Он готов был броситься за нее в океан, а она говорит о службе, о карьере...

— Но я не допущу этого безумия. Я не хочу, чтобы вы ехали, слышите ли?

Мичман мрачно опустил голову.

— А я все-таки поеду, — решительно сказал он. — Я не могу. Я не подойду к вам, если вы запрещаете, но издали буду смотреть на вас... А это разве не счастье! — воскликнул он.

«Господи! что мне делать с этим сумасшедшим!» — подумала молодая женщина и решила прибегнуть к хитрости.

— Послушайте, Владимир Алексеевич, я вижу, что вы серьезно любите, но потребую от вас испытания...

— Какого хотите...

— Подождите шесть месяцев... Это недолгий срок... Мы будем переписываться. И если вы будете так же любить меня, то тогда...

— Что тогда? — воскликнул просиявший мичман.

— Тогда являйтесь ко мне и... я посмотрю...
Быть может, я соглашусь за вас выйти замуж.

— О господи... Такое счастье!

И мичман, не помня себя от восторга, в знак благодарности, бросился целовать руки. И пассажирка позволила ему выразить свою благодарность таким образом. Ведь они скоро навсегда расстанутся! Они просидели еще несколько времени. Он говорил ей о своих будущих планах, о том, как будут они жить вдвоем, шептал о своей любви и снова целовал руки, снова говорил и опять целовал... А мраморная вдова слушала этот влюбленный лепет с тайной радостью, и когда опустились сумерки, ей все не хотелось уходить...

«Ведь мы видимся в последний раз!.. Он завтра уходит в море...»

Часы где-то пробили десять, а они все еще сидели, и рука ее была в руке мичмана.

— Пора, — прошептала, наконец, она, вставая. — Прощайте, милый юноша!..

И с этими словами вдруг обвила его шею и прильнула к его губам.

— Теперь идите, — почти гневно шепнула она, отталкивая мичмана... — Вот вам на па-

мять... Пишите!..

Она выдернула из волос розу и подала ее Цветкову.

Трепещущий от счастья, он прижал розу к губам и прошептал:

— Так через шесть месяцев...

— Через шесть... Уходите... Уходите... Прощу вас...

Он ушел, поминутно оборачиваясь, чтобы взглянуть на белеющую в темноте фигуру, медленно следовавшую за ним.

Вернулся он на клипер в одиннадцатом часу, чувствуя себя таким счастливым, как никогда, и бережно спрятал розу в шифоньерку.

— Что, брат Егорка, ведь хорошо, а? — неожиданно обратился он к вошедшему Егорке.

— Точно так, ваше благородие!.. Ужинать не угодно ли?

— Ужинать?! Кто нынче ужинает?..

Егорка сперва подумал, что барин спятил с ума, а потом решил, что, видно, они с пассажиркой «договорились», наконец, на берегу.

Цветков заглянул в кают-компанию. Там, кроме Ивана Ивановича да отца Евгения, ни-

кого не было. Все были на берегу.

Увидавши счастливое, радостное лицо мичмана, дедушка недовольно крякнул и решил, что пассажирка его обманула, обещаясь уговорить своего сумасшедшего поклонника.

«Верно, позволила ему ехать за ней», — с тревогой подумал он, прослышав от Евграфа Ивановича, что Цветков у него берет пятьсот долларов.

— Что так рано с берега, Владимир Алексеевич? — спросил Иван Иванович.

— Да нечего делать на берегу...

— А наши все закатились в театр, а оттуда ужинать и, конечно, с дамочками...

— И пусть себе. Не завидую.

И Цветков скоро ушел в свою каюту, чувствуя потребность быть одному, и стал строчить горячее послание к Вере Сергеевне.

Когда на другой день клипер ушел в море, следуя, по телеграфному предписанию адмирала, в Калькутту, и дедушка увидал, что Цветков весел и счастлив, как вчера, старый штурман окончательно стал в тупик.

— Провела его, верно, лукавая бабенка, — решил он, искренне радуясь за мичмана.

XVI

С отъездом пассажирки с клипера и после побывки господ офицеров на берегу в кают-компании по-прежнему скоро воцарилось согласие. Ни у кого не являлось мысли кому-нибудь «запалить в морду», на клипере не разило духами и помадой, и боцмана да и господа офицеры не стеснялись уснащать командные слова вдохновенной «морской» импровизацией. Капитан снова ходил в засаленном сюртуке, спал и ругался отлично, похудеть не желал, и жидкие косички супруги больше не беспокоили его воображения. Он не придирался без толку к офицерам, и Цветков снова стал его любимцем. Степан Дмитриевич остался при старом мнении, что пассажирка, хоть и недурна собой, но «глупая женщина», а милорд снова стал цедить, что в ней нет «ни-че-го осо-бен-но-го», и писал длиннейшие письма к своей невесте. Бакланов, кажется, починил свое «разбитое сердце» за ужином с наездницей из цирка в Гонконге, а доктор перестал проповедовать о разводе. Один только Васенька иногда мечтал перед сном о божественной пассажирке.

А Цветков?

В первое время он ежедневно строчил ей нечто вроде письма-дневника. Там были и проза и стихи. Сначала более стихов, а потом прозы. Из Калькутты он послал это письмо-монстр, деликатно зафранкировавши* его, и просил отвечать в Мельбурн. Там он письма не получил и с горя отправился на бал к губернатору, где много танцевал с одной хорошенькой англичанкой, женой адвоката. Он находил ее чертовски прелестной и часто бывал у нее, но, однако, воздержался от признания, имея на совести воспоминание о поцелуе в саду «Oriental Hotel'я» в Гонконге. Из Мельбурна он снова написал, но уже не письмо-монстр, и упрекал Веру Сергеевну в молчании. И когда в Шанхае мичман получил письмо от пассажирки, пересланное из Мельбурна, оно показалось ему коротким и недостаточно горячим... Еще бы! Он ей писал на десяти листках, а она всего на двух!.. Правда, в этих листках слышалось дружеское чувство и как будто даже что-то большее, но ведь бумага не то, что хорошенькое личико. Он ответил на это письмо и опять говорил о любви, а по-

том... потом... новые встречи... новые увлечения...

Нужно ли прибавлять, что когда через год (а не через шесть месяцев) клипер вернулся в Россию, легкомысленный мичман не явился к очаровательной пассажирке.

Но засохшая роза хранится у него до сих пор, напоминая давно прошедшую молодость.

Страдалец*

I

Вскоре после приезда в N., один из больших городов Сибири, в котором мне предстояло пробыть весьма короткое время, я случайно узнал, что в N. живет некто Петровский, старый мой петербургский знакомый, которого я давно потерял из виду, с тех пор, как он со своей молодой женой уехал на частную службу на юг России.

Оказывалось, что этот самый Петровский уж года три как приехал из России и занимает здесь видное место в одном из страховых обществ.

Я, разумеется, обрадовался, что в незнако-

мом городе нашел знакомых людей, и на другой же день отправился к Петровским.

— Барина нет дома, — объявила горничная.

— Скоро будет?

— Они с вечера уехали на охоту.

— А барыня?

— Барыня дома. Пожалуйте!

В то время, как я проходил через залу, неслышно ступая по узкому протянутому ковру, из соседней комнаты доносился чей-то необыкновенно мягкий, вкрадчивый мужской голос, звучащий грустными нотами. Я отчетливо услышал изящно составленную французскую фразу о необходимости терпеливо нести свой крест, ввиду людской несправедливости, и вслед за тем из-за портьеры показалась высокая, худощавая фигура почтенного старика, с слегка опущенной на грудь седой головой, одетого не без щегольства и вкуса.

Старик бросил на меня быстрый взгляд из-под очков и тихо прошел мимо, натягивая на руку шведскую перчатку.

Я любопытно всматривался в бледное,

длинное лицо, окаймленное вьющимися сединами и маленькой бородкой, и что-то знакомое промелькнуло в этих тонких чертах с заостренным, как у хищной птицы, носом, в грустно насмешливой полуулыбке тонких губ, в этом быстром, остром взгляде, совсем неподходящем к печальному выражению физиономии.

Мне показалось, что я когда-то встречал этого господина и совсем при другой обстановке.

Я вошел в гостиную.

Хозяйка сидела на диване у стола задумчивая, по-видимому, чем-то расстроенная, и не заметила моего прихода. Ее добродушное, румяное лицо, значительно расплывшееся с тех пор, как мы не видались, смотрело грустно, и большие ласковые глаза были влажны.

Я назвал ее по имени. Она встrepенулась, тотчас же узнала меня и засыпала вопросами. Скоро уж мы, по сибирскому обычаю, сидели в столовой за большим самоваром. Она ожилилась, расспрашивала про Петербург, про веяния, про общих знакомых, рассказывала про свою кочевую жизнь с мужем, жаловалась на

отсутствие людей, на грабежи и убийства, словом, повторяла все то, что обыкновенно рассказывают про сибирские города.

По ее словам, они заехали сюда только потому, что муж соблазнился большим жалованьем.

— Скопим что-нибудь и уедем отсюда! — заключила Варвара Николаевна.

— Так вы, значит, недовольны Сибирью? То-то я застал вас совсем расстроенной.

— Ну, это совсем по другой причине... Я только что выслушала одну печальную исповедь...

— Уж не того ли старого господина, которого я встретил сейчас в зале?

— Да. Вы знаете ли, кто это такой?

— Не имею чести... Сдается мне, что я его где-то встречал, но где — не припомню... У него совсем не провинциальный вид.

— Наверное встречали в Петербурге. Ведь это Рудницкий!

— Рудницкий!?

И в моей памяти воскрес когда-то известный всему Петербургу знаменитый делец и потом главный герой скандального процесса

о расхищении одного солидного банка.

— Вот уж никак не ожидал встретить у вас эту печальную знаменитость... Постарел однако этот барин, но облик прежнего величия все-таки еще сохранился... Не скажите вы его фамилии, я никак бы не узнал знаменитого расхитителя... Но рассказывайте, чем однако растрогал вас этот старый грешник!

— Напрасно вы говорите о нем в таком тоне. Он его не заслуживает! — с упреком остановила меня Варвара Николаевна.

— Почему это?

— А потому, что Рудницкий невинная жертва, пострадавшая за других! — горячо проговорила Петровская.

Я посмотрел во все глаза на молодую барыню.

— Рудницкий — невинная жертва!? — рассмеялся я. — Тогда каждый крупный вор — ангел по вашей терминологии. Да вы читали ли его процесс?

— Не читала.

— Прочтите... Любопытно.

— И не буду читать... Я и так знаю теперь правду. Прежде и я, как вы, была предубежде-

на против него. Все говорили: расхитил банк, пустил по миру людей... ну, и я повторяла...

— А теперь?

— А теперь я убеждена, что Рудницкий невинен, и жалею, что прежде не знала этого...

— Да вы с ним когда ж познакомились? — удивлялся я.

— Года два... Я изредка встречала его у одних здешних знакомых и, признаюсь, с удовольствием слушала, как он говорит... Он умный и образованный человек и держит себя здесь с большим тактом, всегда скромно, всегда в тени... Мне только не нравился в нем насмешливый скептицизм, удивляла какая-то странная его злоба к людям, но теперь мне все это понятно... Сперва мы не принимали его у себя — муж не хотел... Но эту Пасху он явился с визитом и после был раза три...

— И очаровал вас?

— Не иронизируйте, пожалуйста! Повторяю, что до сегодняшнего дня я относилась к Рудницкому с предубеждением... Я не знала его, верила молве и была с ним суха... Муж, тоже не зная его, не особенно благоволил к

нему... Вы понимаете, что бедный старик, чувствуя наше недоверие, бывал всегда сдержан и о своем прошлом не говорил...

— А сегодня, оставшись наедине с такой доверчивой барыней, как вы, соблаговолил удостоить вас описанием своих добродетелей? И вы попались на эту удочку?..

— Остановитесь, Фома неверный*, и устыдитесь ваших слов!.. Если б вы слышали его задушевную исповедь, если б видели слезы на глазах у этого одинокого, всеми забытого старика, вы пожалели бы его так же, как и я, и убедились бы, что перед вами честный человек...

— Пожалеть, быть может, и пожалел бы, но поверить, что он невинная жертва, не поверил бы... Будьте спокойны!

— Послушайте... Так говорить, как говорил он, с такой дрожью в голосе, не могут люди виноватые...

— Еще как говорят...

— И к чему ему было лгать, подумайте! — горячилась Варвара Николаевна. — Ведь я все равно не помогу ему оправдаться перед всеми! Имя его обесславлено, жизнь разбита,

впереди мрак... Что ему за счастье в том, что я убеждена в его правоте, когда все уверены в противном?.. Бедный, несчастный человек! Если б вы знали, сколько он перенес!

Как все женщины, проникнутые чувством сострадания, Варвара Николаевна готова была теперь произвести чуть ли не в мученики этого уголовного героя.

Я знал раньше Варвару Николаевну, знал ее страсть отыскивать страдальцев (преимущественно, впрочем, среди людей, более или менее прилично одетых) и носиться с ними до первого разочарования, и слушал, не прерывая, длинный список добродетелей господина Рудницкого, понимая очень хорошо, что гораздо легче войти в царствие небесное, чем разубедить женщину, поверившую чему-нибудь всем своим сердцем.

Надо думать, что Варвара Николаевна заметила наконец, что на моей физиономии не было и тени того восторженного умиления, которым дышало все ее существо. Вероятно, вследствие того она вдруг резко оборвала вводный эпизод, повествующий о необыкновенной любви господина Рудницкого к до-

машним животным и в особенности к пташкам (что тоже, по ее мнению, служило веским доводом в пользу невинности Рудницкого в ограблении банка), и с сердцем сказала:

— Вы все-таки не верите?

— Вам — безусловно.

— Не мне, а в невинность бедного старика!

— Ни на пол-иоты, Варвара Николаевна. В таких делах, как дело вашего нового «страдальца», судебные ошибки почти невозможны... Присяжных в напрасной жестокости еще никто не обвинял.

— А я верю, верю, верю! — капризно прокричала Варвара Николаевна, — и постараюсь убедить мужа дать у себя место невинному старику.

— А разве невинный старик во время исповеди и о местечке говорил?

— Вовсе нет... С чего это вы взяли? — заметила, вдруг смущаясь, Варвара Николаевна.

— По вашему смущению вижу, что говорил.

— Да нет же! Он вообще говорил, что ищет занятий... Ведь у этого расхитителя, обокравшего банк, нет ни гроша за душой! — прого-

ворила Варвара Николаевна, победоносно взглядывая на меня.

— Если это и правда, то ничего еще не доказывает... Крохи-то, быть может, и остались... Не в том дело, а вы скажите-ка лучше, какое место вы хотите дать Рудницком у?

Оказалось, что на днях уезжает помощник мужа, и очищается место. Работы немного, жалованья сто рублей в месяц.

— Я так была бы рада, если б Алексей пристроил старика... Не улыбайтесь ядовито... Лучше прежде познакомьтесь с Рудницким и тогда, если хотите, опять поговорим о нем... Приходите-ка завтра обедать, я позову и Рудницкого... Хотите?

Я охотно согласился взглянуть поближе на такого знаменитого человека.

— А процесс его вам все-таки не мешало бы проштудировать! — прибавил я, прощаясь с милейшей хозяйкой.

Но она только замахала руками.

II

...«Рудницкий»?!

Кто из петербуржцев, лет десять, двенадцать тому назад, не видал Рудницкого или,

по крайней мере, не знал его по имени?

Этот делец и воротила крупного банка, влиятельный гласный в думе, член многих благотворительных обществ и видный чиновник в одном из министерств, был одно время довольно популярен в Петербурге. Его можно было увидеть утром в своем банке, между тремя и четырьмя на Невском, в биржевые дни на бирже, а вечером в первых рядах на первых представлениях среди сливок петербургского общества, — всегда скромного, любезного, даже искательного, с какой-то загадочной улыбкой на устах, всегда свеженького, чистенького, благоухающего и одетого с особым солидным шиком, по-английски. Имя его довольно часто мелькало в газетных отчетах о разных заседаниях, и репортеры нередко прохаживались на его счет за его «ретроградные» поползновения и особенно за его предложение изгнать из думы представителей печати.

Он говорил немало. То говорил в думе речь в защиту каких-нибудь сомнительных предложений, то умилялся на каком-нибудь торжественном открытии нового приюта, то за-

щищал «питательную ветку» или «проводил» мысль о слиянии земельных банков в обществе содействия промышленности и торговли.

Это был видный банкocrat — одна из восходящих звезд мира дельцов, прожектеров и пройдох. О нем говорили: одни — как об «умнице», ловком, осторожном и благоразумном дельце, другие — как о неразборчивой на средства «шельме», не без ума и не без образования, но все соглашались, что эта «умница» или «шельма» сделает блестящую карьеру и наживет большие деньги, не попав на цепуру. Рассказывали, что он умел очаровывать и без мыла влезать в чужую душу, когда требовалось провести какое-нибудь «дельце» или привлечь к сомнительному предприятию какого-нибудь недоверчивого капиталиста. В таких случаях «припускали» всегда Николая Степановича Рудницкого, и он «обработывал».

В мире дельцов он пользовался большим уважением и быстро шел в гору. Начав свою карьеру, по выходе из университета, скромным, незаметным чиновником, он скоро оста-

вил департамент и сделался бухгалтером в банке. Затем он выдвинулся, обратив на себя внимание финансовыми способностями, и через несколько лет уж был директором банка. Он много работал, поднял дивиденды банка, устраивал не одну замысловатую комбинацию, мало-помалу стал главным воротилой и шел, казалось, верными и твердыми шагами к блестящей будущности миллионера, как вдруг, в одно прекрасное утро, в газетах появилось известие о крахе банка, в котором орудовал Рудницкий.

Банк рухнул, и через несколько времени Рудницкий появился на скамье подсудимых в качестве главного действующего лица.

Обвинительный акт нарисовал довольно пикантную картину нравов и дал недурную характеристику главного героя. Слушая обвинение, вы видели, что этот умный, пронырливый, беспринципный человек не рассчитал всех шансов и, воспользовавшись крупным кушем, не замел следов, по обстоятельствам от него не зависящим, и потому, только потому, попал в объятия прокурора.

На суде он вел себя отвратительно. Озлоб-

ленный позором, злой на неудачу, он сваливал всю вину на своих товарищей, невменяемых «божьих младенцев», слепо веривших во всем своему вожаку, и старался разыграть роль невинной жертвы, пострадавшей за свое доверие к людям. Как затравленный зверь, чующий близость гибели, он прибегал к отчаянным средствам: говорил чувствительные тирады о своем патриотизме, о святости основ, им почитаемых, и плакал, моля о пощаде.

Ни трогательные тирады, ни слезы, ни блестящая по бесстыдству речь адвоката не убедили присяжных. Улики были веские, виновность Рудницкого не подлежала сомнению, и матерой зверь был затравлен. Его осудили.

В непрерывной смене новых неосторожных грабителей, появлявшихся на скамье подсудимых, о Рудницком скоро забыли.

Имена новых «героев» занимали публику. Лишь изредка попадалось в газетах имя Рудницкого, как нарицательное имя.

Все это невольно припомнилось мне, когда на следующий день я шел обедать к Петровским.

В то время, когда я знавал Петровского, это был один из тех многочисленных русских интеллигентных людей, к которым как нельзя более идет прозвище: «ни рыба ни мясо». Он был не особенно умен, но и не глуп, немножко читал, немножко думал, особенно твердых принципов не имел, но чтил известные традиции и слегка либеральничал при «закрытых дверях», и главным образом стремился к покою с приличным окладом.

Он обрадовался встрече, заговорил было о прошлом, но скоро перешел к настоящему. Провинциальная сонная жизнь видимо положила на него свой отпечаток.

— Ну, как вы меня нашли? Порядочно я оскотинился? — спрашивал меня, смеясь, Петровский после первых взаимных расспросов.

— Брюшко отрастили изрядное...

— Брюшко — это что!.. А я, батюшка, водку ныне могу душить в невероятном количестве, могу до одури играть в винт и по целым неделям ничего не читать... По именинам езжу, в видах развлечения... Уж такое здесь сонное

царство... Все вокруг располагает к мирному прозябанию... Да и чего кипятиться-то, как подумаешь?

В эту минуту в кабинет, где мы болтали с Петровским, вошла Варвара Николаевна.

— А что же твой Рудницкий? Видно, не будет? — резко оборвал разговор Петровский, взглядывая на часы.

— Еще трех часов нет.

— Вот, батюшка, — обратился он ко мне, указывая движением головы на жену, — неисправимая идеалистка... Ее никакая провинция не берет... Если б не она, так я бы давно совсем оскотинился. Во все еще верит... Даже в невинность Рудницкого верит... Сегодня целое утро приставала ко мне, чтобы я дал ему место, и расписывала своего протеже.

— И что же, убедила вас Варвара Николаевна?

— Ну, убедить-то не убедила...

— Подожди, ты скоро убедишься, что он невинен...

— На это не надейся... Шельма изрядная твой Рудницкий, а место ему я, пожалуй, и дам. Все ж таки он умный и деловой чело-

век... Немножко, правда, неловко как-то брать к себе такого гуся... Ну, да здесь мы неразборчивы... И не таких гусей принимают... Денег у него на руках не будет — следовательно опасности нет! — прибавил, смеясь, Петровский.

— Ах, Алеша, как тебе не стыдно так говорить!

— Еще стыднее, Варя, обокрасть банк. Ну, ну, не буду! — шутливо заметил Петровский и прибавил: — пойдете-ка лучше — выпьем по рюмке!

Уж мы с хозяином, в ожидании гостя, выпили по две, и уж сама Варвара Николаевна начинала беспокоиться, что нет Рудницкого, как ровно за пять минут до трех он появился на пороге гостиной.

Он приостановился на минуту, озирая присутствующих, и мягкой, неспешной походкой направился к хозяйке, распространяя вокруг себя тонкую душистую струйку.

— Надеюсь, я не провинился, не опоздал? — заговорил он и как-то особенно почтительно и ласково пожал руку хозяйке, затем поздоровался с Петровским и поклонился

мне.

Нас назвали друг другу, и мы обменялись рукопожатиями.

Вслед за тем мы пошли обедать, и я не без любопытства продолжал рассматривать этого знаменитого «бубнового туза* на покое».

Он держал себя просто и скромно, с тактом выдавшего свет человека, и производил сегодня впечатление добродушного, смиренного, тихого старика. Приветливая улыбка сияла на его умном, спокойном лице с глубокими бороздами, свидетельствовавшими о пережитых бурях, и маленькие серые глазки глядели сквозь очки ласково и мягко. В его манерах, в выражении лица проглядывало спокойное смирение человека, познавшего тщету жизни и с философским достоинством глядящего на мир божий.

Вначале он говорил мало, очевидно, избегая занимать собою общество, и обращался преимущественно к Варваре Николаевне. Когда словоохотливый хозяин овладевал разговором, Рудницкий слушал внимательно. Склонив чуть-чуть набок голову, он тихо покачивал ею в знак одобрения и первый сме-

ялся его острогам.

Петровский то и дело подливал нам вина, не забывая, конечно, и себя. Рудницкий был воздержан, пил мало, ссылаясь на слабое свое здоровье, но несколько рюмок вина сделали его к концу обеда разговорчивее. В его разговоре сразу сказывался умный, бывалый человек, знающий свет и людей. Говорил он недурно, мягким, тихо льющим голосом. Замечания его были подчас метки и остроумны. Он как-то ловко и незаметно попадал в тон собеседника и очень тонко льстил слегка подвыпившему хозяину. Петровский видимо добродушнее и ласковее относился к Рудницкому после обеда, и Варвара Николаевна торжествовала.

Когда Петровский с Рудницким заговорили о чем-то, Варвара Николаевна шепнула мне:

— Ну, что... понравился он вам?

— Ловкая шельма! — чуть слышно прошептал я в ответ.

Она с немым укором взглянула на меня. Я в эту минуту посмотрел на Рудницкого и поймал его пытливым, зорким взгляд, устремлен-

ный на нас. В этом взгляде не было и следа добродушия. Холодный, стальной, он точно пронизывал.

Рудницкий тотчас же отвел глаза и продолжал с хозяином беседу вполголоса.

К концу вечера Петровский совсем был очарован Рудницким и, отведя меня в сторону, промолвил:

— А ведь, кажется, старик лучше, чем я думал...

— Понравился? — улыбнулся я.

— В нем больше добродушия, чем я предполагал... И умница... Что ж, в самом деле, на него нападать... Ну, случился с ним грех, он пострадал за него... Что там ни говорите, а жаль старика... Укатали сивку крутые горки!

— Едва ли... Пустите-ка этакого козла в огород — он вам покажет!

— Да вы что ж это?.. А еще гуманный человек! Не верите, что ли, в возможность раскаяния?

— Верю, милейший Алексей Петрович. Но только кающиеся люди не драпируются в мантию непонятых страдальцев и не плачут крокодиловыми слезами.

— А черт его знает... Быть может, он и в самом деле не так виноват!..

Я только засмеялся в ответ.

IV

Поздним вечером мы вышли с Рудницким от Петровских. Узнав, что я пойду в гостиницу пешком, Рудницкий предложил идти вместе.

— Что за чудный вечер! — заговорил мой спутник после нескольких минут молчания. — Теплынь, тишина! Невольно вспоминаются иные страны, иные небеса... У нас здесь такие вечера — редкость... Благодать да и только!

Он глубоко вздохнул полною грудью и поднял голову кверху.

— И как хорошо сегодня небо! — продолжал он в том же мечтательном тоне, растягивая слова. — Полюбуйтесь, как ярко светятся звездочки! Как хороша Венера!..

Я невольно вспомнил рассказ Варвары Николаевны про любовь Рудницкого к птичкам и спросил:

— Вы, верно, любите природу?

— Люблю ли я природу? — переспросил он

таким тоном, будто даже сомнение в этом было обидой для его чувствительной души. — Да что ж и любить-то, как не природу, полную великих тайн... Людей, что ли? — грустно усмехнулся он, — люди злы и безжалостны... Одна природа беспристрастна и на всех льет свои дары...

Этот тон в устах Рудницкого был для меня неожиданностью.

Я взглянул на него. Он шел, понуриив голову, с видом человека, подавленного думами, и молчал.

— Надолго вы в наши Палестины? — спросил он наконец.

— Нет... Через три дня уеду.

— В Россию?

— Да, в Петербург...

— Завидую вам! — проговорил он. — Невеселы наши Палестины. Не дай бог никому попасть сюда... Люди здесь грубые, некультурные... Духовные интересы для них непонятны... Здесь пьют, играют в карты и сплетничают... Человеку с высшими потребностями, привыкшему к иной жизни, к иным нравам, тяжело... Верите ли, не с кем иногда перемол-

виться словом... Вот только и отдыхаешь душой у Петровских да еще в одном семействе. Славные они оба, эти Петровские... Вы давно с ними знакомы? — прибавил Рудницкий.

— Давно...

— Как они оба еще сохранили свежесть души! — восторженно проговорил мой спутник, — особенно эта милая Варвара Николаевна!.. Женщины, впрочем, вообще лучше нашего брата, — вставил Рудницкий. — Не будь здесь этих двух семей — пришлось бы научиться говорить... Купцы — народ невозможный... Чиновничество... тоже не особенно симпатично, да и многие сторонятся от людей в моем положении... Развлечений порядочных никаких... Отвратительный город, отвратительная страна! — угрюмо закончил Рудницкий.

Он выдержал паузу и продолжал:

— И знать, что вам предстоит навсегда здесь остаться! Навсегда в этой трущобе!.. А, впрочем, вероятно, уж и недолго терпеть! — грустно усмехнулся старик, — здоровье мое вконец расстроено... Однако вот и гостиница... Простите, я разболтался... Здесь такая

редкость встретить свежего человека, и так хочется отвести душу, поговорить... Видно, старческая слабость...

Признаюсь, и мне было любопытно послушать, что будет говорить старик, и посмотреть, в какой роли он явится перед «свежим» человеком, и я попросил его зайти ко мне.

Он охотно согласился.

Через несколько минут мы сидели в номере за бутылкой красного вина, и мне было дано настоящее представление с самым неожиданным финалом.

V

— Да... Одиннадцать лет, как я живу в этом городе... Одиннадцать лет одинокий, всеми забытый... Легко сказать: одиннадцать лет, а каково прожить их?..

Он прихлебнул вина и промолвил с усмешкой:

— И все-таки находят, вероятно, что наказание мало для такого... ужасного преступника... Для всех есть милосердие, а для меня его нет... Многим разрешили вернуться... Другие, видите ли, не столь виновны, а я, видно, в самом деле злодей!.. — прибавил он и засмеялся

тихим, почти беззвучным смехом.

При этом злобное, насмешливое выражение пронеслось по его бледному, худому лицу, засветилось холодным блеском в глазах и искривило тонкие, бескровные губы в сардоническую улыбку. Что-то неприятное, мефистофелевское было в этом старческом лице.

— Вы разве хлопотали о возвращении?

— Три раза я подавал прошения и все три раза при самых лучших отзывах местной администрации, и каждый раз один и тот же ответ: «Просьба мещанина из ссыльных Рудницкого не подлежит удовлетворению»... Я ведь нынче имею честь носить звание мещанина! — прибавил старик, — N-ский мещанин из ссыльных... Это звучит несколько иначе, чем действительный статский советник, не правда ли?..

— Но ведь вы можете переехать в другой какой-нибудь город Сибири.

— Все та же Сибирь! Здесь хоть есть давность привычки... Я и просился только ради здоровья... Ведь если б мне и можно было уехать отсюда, я все равно везде буду отверженцем... Везде позор... Везде станут шептать,

указывая на меня: «Это тот самый Рудницкий, который ограбил банк»... И все будут злорадоваться, и больше всех люди, которые, быть может, во сто раз хуже меня... Это ведь обыкновенная история на свете... Пока успех на вашей стороне, вам готовы простить преступление, а чуть падение, быть может, и незаслуженное, вызванное не преступлением, а ошибкой, доверием, пожалуй, и ошибочным, но непреднамеренным, — подчеркнул он, — все отвернулись, все забыли, даже самые близкие когда-то люди...

Рудницкий отпил еще глоток и продолжал:

— И знаете ли, что больше всего возмущает меня при этом?

— Что?

— Людское лицемерие... Все кричат о какой-то общественной совести, о каких-то нарушенных правах!.. Какая это общественная совесть?.. где она? Кто отказался бы от положения Ротшильда, хотя он, с точки зрения известной морали, каждым день возмущает общественную совесть и нарушает чьи-нибудь права? А между тем про него не кричат, кро-

ме горсти безумцев, мечтающих исправить мир... Он пользуется уважением; весь свет у его ног... Общественная совесть!? — усмехнулся злобно старик, — да из тысячи людей девятьсот девяносто девять наплевали бы на нее, если б одних не удерживал страх наказания, других — просто глупость... А ведь все кричат о совести... О, господи, как все это глупо и возмутительно! И после этого разве можно не презирать людей!? — патетически воскликнул Рудницкий.

Он помолчал, налил себе вина и снова заговорил:

— Уехать!? Куда мне уехать?.. Ведь у меня, ограбившего банк, нет состояния, чтобы замазать рты и заслужить уважение... Вы знаете ли, что, приехав сюда, я, известный грабитель, не знал, на что пообедать... Кто этому поверит, не правда ли? — грустно усмехнулся Рудницкий.

Когда он говорил, голос его дрожал, казалось, искренними нотами. Я слушал и недоумевал. К чему эта комедия? Или, в самом деле, он, с точки зрения своеобразной философии, считает себя невинной жертвой?

Я молчал и ждал, что будет далее.

— Я стар, — снова начал он, — у меня нет даже надежды поправить свое положение, чтобы посмотреть, как эти самые люди, которые отвернулись от меня, снова станут находить, что я человек, обладающий всеми добродетелями... И, каюсь, иногда я жалею, что не могу вернуть прежнего положения... Каюсь, жалею и озлобляюсь... Да разве можно не озлобиться!? — воскликнул он с раздражением. — Помилуйте... Тут всякое терпение лопнет!.. Я думал: хоть здесь-то меня оставят в покое... Так нет... И здесь меня преследовали.

— За что?

— А за то, что два года тому назад здесь был начальник, который имел доблесть дать мне место и кусок хлеба... Как можно! И поднялся кругом вой, пошли сплетни, будто я влияю, будто играю роль... Появились в этом жанре корреспонденции в столичных газетах... Вы разве не читали?

— Что-то помню...

— Уголовные ссыльные деморализуют общество... От них страдает край... И все в та-

ком роде... И здешняя мерзкая газетка тоже стала твякать... О, это была нескончаемая травля... Эти господа ненавидят людей порядочных, благонамеренных, людей цивилизованных и, главное, приезжих... У них ведь свой патриотизм... сибирский... специфический, как петрушкин запах*... Они тут в таком случае все заодно...

И, точно вспомнив испытанные им обиды, он начал бранить Сибирь и сибиряков и в особенности какую-то «шайку мучеников идеи» с необузданной злобой. Он не говорил, а шипел с каким-то угрюмым ожесточением завзятого человеконенавистника. Он поносил людей, не останавливаясь перед клеветой, и в то же время жаловался, что его не оставляют в покое.

Куда девался добродушный, смирный «старичок», которого я видел у Петровских?

— Не удивляйтесь этому раздражению! — проговорил он после паузы, наливая новый стакан и залпом выпивая его. — Я не могу равнодушно говорить, как вспомню об этом... Поймите только: одиннадцать лет тому назад меня позорил прокурор... почти год меня тре-

пали все газеты... Чего только ни говорили про меня! Я переносил все... Мое имя наконец забыли... И что же? За то, что мне дают кусок хлеба, в меня снова летят комки грязи... Каждый писака, каждый недоучившийся молоко-сос кричит о моем прошлом... И за что же? за что?.. Что я им сделал?

Он закрыл лицо руками и несколько времени молчал.

Когда наконец он поднял голову, на глазах его блестели слезы.

— И если б еще я, в самом деле, был виноват, как расславили меня на всю Россию... Послушайте... Вы тоже недоверчиво отнеслись ко мне... Я заметил... у Петровских... Но если б вы знали всю правду...

И Рудницкий, начинавший немного хмелеть, начал рассказывать мне свое дело, «как оно было в действительности». Из его слов выходило, что его напрасно обвинили, что он невинен, как ангел. Он, правда, сделал ошибку, доверился другим и... попался, как кур во щи...

Признаюсь, это было уж слишком, и я заметил Рудницкому, что был на его процессе.

— Изволили быть? — переспросил он.

— Был...

— И, пожалуй, не верите мне? — проговорил он внезапно изменившимся тоном, с нескрываемой насмешкой.

Я молчал.

— Что ж вы не говорите?.. Ведь вы, кажется, из либералов? — ядовито усмехнулся он. — О, я отлично вижу, что не верите... И знаете ли что? Ведь вы, пожалуй, и правы, что не верите! — вдруг проговорил он, понижая голос, и засмеялся своим тихим, неприятным смехом. — Ей-богу, правы, что не верите!..

Я взглянул на Рудницкого. Признаюсь, мне редко приходилось видеть такое злое, отвратительное лицо. Оно как-то все съежилось и улыбалось скверной, циничной, насмешливой улыбкой, в глазах сверкал злой огонек, и искривленные губы дрожали.

— Еще бы верить!? Не младенец же я был в самом деле и не дурак, мечтавший об акридах и меде, когда ворочал банком и пользовался общим почетом?.. Ха-ха-ха... Я, батюшка, был поклонником капиталистического строя... Ну, да... Я воспользовался случаем сделаться сра-

зу богатым, чтобы потом еще более разбогатеть... Изволите слышать?.. Воспользовался! — прошипел он, глядя на меня в упор с насмешливым видом. — И если б не глупая случайность, я бы теперь был не мещанин из ссыльных, а глубокоуважаемый Николай Степаныч Рудницкий, тайный советник и кавалер... И все эти господа прокуроры считали бы за честь у меня обедать, и никто не смел бы заикнуться об общественной совести... Совесть!.. Это все «слова, слова, слова!», как говорил Гамлет... * У всякого своя совесть!.. Но я не рассчитал шансов, и... тот же многоуважаемый Николай Степаныч внезапно разжалован в малоуважаемые... Казни его за то, что он не рассчитал... Спасай общество от такого вредного члена... Ха-ха-ха!.. Да, не рассчитал... Дурак был, осел, и наказан за это... И, вы думаете, я раскаиваюсь? — прибавил он с каким-то бешенством. — Я злюсь... не оттого... Я злюсь на свою глупость... Ну, вот вам... Довольны признанием?.. Опишите, если будет угодно... Довольно любопытно будет прочесть... Так не верите?.. Ха-ха-ха... А я думал, поверите... Надеюсь, я прав ваших не нару-

шал?.. Вкладов у вас не было в банке?.. Или были?.. Ну, в таком случае очень жаль... Весьма жаль... А затем имею честь кланяться... Руки не протягиваю в видах торжества общественной совести... Вот, когда буду Ротшильдом, тогда милости просим... ко мне... Я вас угощу чудным вином, не то что эта кислятина... Надеюсь однако, что у Петровских вы мне не повредите... Не правда ли?.. Ведь там не лежит миллиона... А ведь мне, старику, все-таки пить и есть надо... Надеюсь, общественная совесть не возбраняет...

И с этими словами Рудницкий ушел.

VI

Прошел год со времени этого странного свидания. О Рудницком я ничего не слышал, как вдруг получаю от Петровского письмо, в котором он, между прочим, сообщал, что старик по-прежнему служит у него и собирается издавать с кем-то газету.

«Это будет, — по словам Рудницкого, — орган честных русских людей». «Эта идея тешит бедного старика», — прибавлял Петровский.

Рудницкий в роли руководителя общественного мнения!

Это уж было совсем неожиданной новостью, хотя и не невероятной по нынешним временам.

Рождественская ночь*

Волшебная тропическая ночь, вслед за закатом солнца, почти внезапно опустилась над Батавией* и, благодаря ветерку, дувшему с моря, дышала нежной прохладой, казавшейся таким счастьем после палящего зноя дня. Мириады звезд зажглись на небе, и луна, круглая и полная, лила свой серебристый свет с высоты бархатисто-темного купола и, медленно плывя, казалась задумчивой и томной.

В эту чудную ночь, накануне Рождества Христова, белый катер с клипера «Забияка», стоявшего верст за шесть, за семь на рейде, — дожидался у одной из пристаней нижней части города господ офицеров, бывших на берегу.

Эта нижняя, «деловая» часть города с конторами, пакгаузами*, лавками, складами и тесно скученными домами, исключительно населенная туземцами — малайцами и мети-

сами, да пришлыми китайцами, ютилась почти у самого моря, кишачего акулами и кайманами, в нездоровой, сырой и болотистой местности. Настоящие хозяева острова Явы, голландцы, жили наверху, на горе, в европейской Батавии, роскошном, чистом городке изящных домов, вилл и гостиниц, тонувшем в густой зелени садов и парков, в которых высились гигантские пальмы. Оттуда с ранней зари деловые люди спускались в малайский квартал и в десять часов утра уже возвращались домой в свои прохладные дома. Адская жара заставляла прекращать занятия, возобновлявшиеся снова за несколько часов до заката и оканчивающиеся часом в десять вечера.

Оживленная и шумная днем жизнь в малайском квартале затихла. Огоньки в маленьких домах потухли, и узкие и грязные, прорезанные смертоносными каналами, улицы нижнего города опустели. Даже не видно было шныряющих у пристаней ночных темнокожих фей-малаек, чтобы смущать матросов всевозможных национальностей, давно не бывших на берегу, и своим более чем откры-

венным нарядом, и выразительными пантомимами, и острым, неприятным запахом кокосового масла, которым малайки расточительно пользуются, смазывая им и волосы, и руки, и шею. Пусто везде. Изредка лишь мелькнет громадный бумажный фонарь запоздалого разносчика всяких товаров, китайца — этого еврея почти всего востока, возвращающегося из верхнего города, от варваров, к себе домой на отдых.

Где-то вблизи на рейде, на каком-то судне пробило шесть склянок — одиннадцать часов. Туземец спит. У пристани и далеко кругом стоит мертвая тишина с однообразным шепотом морского прибоя, который нежно лижет береговой вязкий песок. Только по временам эта торжественная, полная какой-то таинственности, тишина тропической ночи нарушается вдруг шумными всплесками, когда крокодил, после дневного крепкого сна на отмелях под отвесными лучами солнца, забавляется в воде, ловя добычу.

И снова тишина.

Русские матросы с «Забияки», катерные гребцы, в ожидании господ, находились все

на катере. Лунный свет падал на их белые рубахи и захватывал некоторые лица. Несколько человек, растянувшись под банками, сладко спали. Один чернявый молодой матросик задумчиво и как-то вопросительно поглядывал то на мерцающие звезды, то на сверкающую серебром полосу моря и видимо думал какую-то думу, судя по его напряженно-строгому лицу. По временам, когда раздавались всплески, он вздрагивал и пугливо озирался на товарищей. А человек шесть или семь собрались около кормы и, рассевшись по бортам на сиденьях, вели беседу как-то особенно тихо, почти шепотом, словно бы боясь нарушить тишину этой волшебной ночи и точно несколько пугаясь ее жуткой таинственности. Дымок нескольких курящихся трубочек с острым запахом махорки приятно щекотал обоняние беседующих гребцов.

Кроме русского катера, у пристани не было ни одной шлюпки.

Матросы вспоминали о России, о празднике на родине, высказывали желание поскорей вернуться домой, особенно те, которые по возвращении рассчитывали на отставку или,

по крайней мере, на бессрочный отпуск. Вот уж третье Рождество они встречают в «чужих» и «жарких» местах... Опротивело... Скорей бы вернуться!

И несмотря на жизнь, хотя полную опасностей, но все-таки относительно сносную (на клипере и командир, и офицеры были люди порядочные и матросов не теснили) и сытую, каждого из матросов тянуло туда, на север, на далекую родину с ее бедами и нуждой, с покосившимися избами, соснами и елями, снегом и морозами.

После этих воспоминаний все как-то притихли. Несколько минут длилось молчание.

— Гляди... Звезда упала... Еще... И куда она падает, братцы? — тихо спросил чернявый матрос.

— В окиян, известно. Опричь окияна ей некуда упасть! — отвечал пожилой здоровый матрос уверенным тоном.

— А ежели на землю? — спросил кто-то.

— Нельзя, потому все как есть расшибет. По самой этой причине бог и валит звезду в море... Туда, мол, тебе место...

Чернявый матросик, видимо недово-

ренный этим объяснением, снова стал глядеть на небо.

И необыкновенно приятный грудной голос загребного Ефремова заговорил:

— Это бог виноватую звезду наказывает... Потому звезды тоже бунтуют... И особенно много, братцы, падает их в эту ночь...

— По какой такой причине, братец? — задорно спросил пожилой, плотный матрос.

— А по такой причине, милый человек, что в эту ночь не бунтуй, а веди себя смирно, потому как в эту самую ночь Спаситель родился... Великая эта ночь... Нашему рассудку и не понять... И как ежели подумаешь, что родился он в бедности, пострадал за бездельных людей и принял смерть на кресте, так наши-то все горя ничего не стоят... Ни одной полушки!.. Да, братцы, великая эта ночь. И кто в эту ночь обидит младенца, — тому великое будет наказание... Так старик один божественный мне сказывал, странник. В книгах, говорит, все показано...

— Ишь ты, подлый!.. Так и мутит воду! — проговорил кто-то, когда слышался вблизи всплеск воды...

— Нешто крокодил?

— Кому другому... Гляди — башка его над водой...

Все глаза устремились на одну точку. На освещенной светом луны полосе воды видна была отвратительная черная голова каймана, тихо плывшего неподалеку от шлюпки к берегу.

— Погани-то всякой в этих местах!.. И крокодил, и акула проклятая... Сказывают, на берегу, в лесах и тигра... Однако загуляли что-то наши офицеры на берегу, братцы... Скоро и полночь... А ты, Живков, что все на небо глаза пялишь? Ай любопытно? Не про нас, брат, писано! — проговорил, обращаясь к чернявому матросику, пожилой, плотный матрос.

В эту минуту с берега вдруг донесся чей-то жалобный крик.

Матросы притихли. Кто-то сказал:

— А ведь это дите плачет...

— Дите и есть... По близности где-то... Ишь, горемычный, заливаётся... Заплутал, что ли...

— Кто-нибудь при ем должен быть...

Жалобный, беспомощный плач не прекра-

щался.

— Сходил бы кто посмотреть, что ли? — заметил плотный, пожилой матрос, не двигаясь, однако, сам с места.

— Куда ходить? Офицеры могут вернуться, а гребца нет! — строго проговорил унтер-офицер, старшина на катере.

— И то правда! — сказал плотный матрос.

— Что ж, так и бросить без призора младенца в этакую ночь? — раздался приятный тенорок загребного Ефремова. — А ежели он один да без помощи?.. Это, Егорыч, не того... неправильно...

— Я мигом вернусь, Андрей Егорыч, только взгляну, в чем причина! — взволнованно проговорил чернявый матросик. — Дозвольте...

— Ну, ступай... Только смотри, Живков, не заблудись...

— И я с ним, Егорыч! — вымолвил Ефремов.

И оба матроса, выскочив из катера, бегом побежали по пустынному берегу на плач ребенка...

И очень скоро, почти у самого моря, они увидели крошечного черномазого мальчика

в одной рубашонке, завязшего в мокром рыхлом песке.

Около не было ни души.

Матросы удивленно переглянулись.

— Эка идолы!.. Эка бесчувственные!.. Бросили ребенка... Это, брат Живков, неспроста... Погубить хотели младенца... Тут бы его крокодил и сожрал!.. Гляди... Ишь плывет... Почув-ял, видно...

И Ефремов взял на руки ребенка.

— А что же мы с ним будем делать?

— Что делать?.. Возьмем на катер... Там видно будет!.. Ну ты, малыш, не реви! — ласково говорил Ефремов, прижимая ребенка к своей груди. — Это сам господь тебя вызволил...

Велико было изумление на катере, когда минут через десять вернулись оба матроса с плачущим ребенком на руках и рассказали, как его нашли.

Унтер-офицер не знал, как ему и быть.

— Зачем вы его принесли? — строго спрашивал он, хотя сам в душе и понимал, что нельзя же было оставить ребенка.

— То-то принесли! И ты бы принес! — мяг-

ко и весело отвечал Ефремов. — Ребята, нет ли у кого хлеба?.. Он, може, голоден?..

Все матросы смотрели с жалостью на мальчика лет пяти. У кого-то в кармане нашелся кусок хлеба, и Ефремов сунул его мальчонку в рот. Тот жадно стал есть.

— Голоден и есть... Ишь ведь злодеи бывают люди!..

— А все-таки, ребята, нас за этого мальчонка не похвалят! Ишь пассажир объявился какой! — снова заметил унтер-офицер.

— Там видно будет, — спокойно и уверенно отвечал Ефремов. — Может, и похвалят!

Ребенок скоро заснул на руках у Ефремова. Он прикрыл его чехлом от парусов. И его некрасивое, белобрысое, далеко не молодое лицо светилось необыкновенной нежностью.

Скоро приехали с берега в двух колясках офицеры. Веселые и слегка подвыпившие, они уселись на катер.

— Отваливай!

— Ваше благородие, — проговорил старшина, обращаясь к старшему из находившихся на катере офицеров, — осмелюсь доложить, что на катер взят с берега пассажир...

— Какой пассажир?

— Малайский, значит, мальчонка... Так как прикажете, ваше благородие?..

— Какой мальчонка? Где он?

— А вот спит под банкой у Ефремова, ваше благородие...

И унтер-офицер объяснил, как нашли мальчонку.

— Ну что ж?.. Пусть едет с нами... Фок и грот поднять! — скомандовал лейтенант.

Паруса были поставлены, и шлюпка ходко пошла в полветра на клипер.

Ефремов уложил найденыша в свою койку и почти не спал до утра, поминутно подходя к нему и заглядывая, хорошо ли он спит.

Наутро доложили о происшествии капитану, и он разрешил оставить мальчика на клипере, пока клипер простоит в Батавии. В то же время он дал знать о ребенке губернатору, и маленького малайца обещали поместить в приют.

Неделю прожил маленький найденыш на клипере, и Ефремов пестовал его с нежностью матери. Мальчику сшили целый костюм и обуви. И когда накануне ухода полицей-

ский чиновник приехал за мальчиком, матросы через боцмана просили старшего офицера испросить у капитана разрешение оставить найденыша на клипере.

И Ефремов, успевший за это время привязаться к мальчику, ждал капитанского ответа с тревожным нетерпением.

Капитан не согласился.

Долго потом Ефремов вспоминал рождественскую ночь и этого чуть было не погибшего мальчика, успевшего найти уголок в его сердце.

Дяденька Протас Иванович*

I

Не он ли, Протас Иванович, пользовавшийся в Коломне и на Песках, где живут многочисленные его родственники, репутацией человека гениального ума («готовился в ветеринары, а куда метнул!» — прибавляли обыкновенно при этом), не стеснявшегося попросту говорить «правду-матку» в глаза непосредственному своему начальству, — не он ли, бывало, торжественно восклицал, бия увесистым кулаком по своей широчайшей груди:

— У меня хищение?! Я давно искоренил хищение. У меня строгий порядок... Чиновник у меня — верный, добрый, бессребренный чиновник... У меня...

И, не находя более слов, под бременем охватывавших его благородных чувств, дяденька Протас Иванович обыкновенно хватывал меня за руку и подводил к стене кабинета, которая сплошь была увешана различными картами и таблицами.

— Смотри, скептик!.. Видишь? У меня тут всё, как на ладони! Весь механизм администрации в графическом изображении. Отсюда я все вижу и все знаю...

Я обыкновенно смотрел на эти красиво раскрашенные карты и таблицы, пестревшие красными, синими, зелеными и черными кружками, линиями и черточками, против которых стояли красиво выведенные цифры, — и восхищался.

— Действительно, дяденька... Превосходные таблицы!

— То-то! На них все показано... все до малейшей подробности...

— Верны ли они?

— Я, братец, два года этим занимался... Двенадцать чиновников работали над ними...

— Положим, дяденька, по этим таблицам вы можете представлять себе...

— Не представлять, а знать! — резко перебивал Протас Иванович.

— Но есть ли у вас диаграмма нравственных качеств ваших подчиненных?..

Дяденька, питавший необычайную слабость к всевозможным статистическим таблицам и графическим изображениям, на минуту был озадачен моим вопросом.

«В самом деле, не дал ли он маху? Почему у него нет такой таблицы?» — говорило, казалось, его широкое, скуластое лицо, на котором блестели маленькие глазки. Мысль эта, по-видимому, очень заинтересовала его, и гениальная голова уже разрабатывала ее с быстротой, обычной в характере Протаса Ивановича Мордасова.

Недаром он часто говорил: «Во всем нужны, братец, быстрота и русская сметка... Русский человек всякое дело обмозгует. Вот я по ветеринарии курс кончил, а слава богу... Да назначь меня хоть адмиралом... не бойсь, не

ударю лицом в грязь... Главное: здравый смысл!»

— Такой таблички у меня, по правде сказать, нет! — ответил, наконец, дяденька и даже несколько сконфузился. — Но ты мне поддал мысль... Я прикажу составить такую... Как ты назвал?

— Диаграмма...

— Да, диаграмму... Завтра же велю сделать... Это в самом деле очень просто и удобно... Вместо того чтобы справляться в списке о чиновниках, я сейчас же взгляну на таблицу и... шабаш! Вполне благонадежный чиновник будет обозначен лиловым кружком, просто благонадежный — синим, а внушающий опасения — черным... Это, братец, отлично!..

Через два дня в кабинете прибавилась новая таблица, и дядя ликовал. Показывая мне ее, он, впрочем, заметил:

— Конечно, табличка облегчает справки, но я и без нее отлично знаю, каковы у меня подчиненные... Превосходно знаю. Выбор у нас не то, что в других местах. Я сперва выисповедаю человека, и как он уйдет от меня, я его насквозь понимаю... Конечно, кое-какие

злоупотребления могут быть — тут никто ничего не поделает — но чтобы хищение, систематическое хищение... никогда!

— Трудно, дяденька, ручаться по нынешним временам.

— Зарядил: трудно... Я и жалованье прибавил, и, наконец, у меня знают, как я на хищение смотрю... Хищник у меня, братец, держись только... Ты, верно, не читал моих циркуляров? Некоторые из них в газетах даже были напечатаны как образец... Прочитай-ка, да и говори потом...

И дяденька дал мне довольно большой томик приказов и циркуляров, в которых увещательных и грозных посланий насчет хищения было немало. В одном из таких посланий, между прочим, говорилось: «Хищение будет мною преследоваться по всей строгости законов. Все можно извинить, но хищение никогда. Хищение — это язва, разъедающая наш организм; я надеюсь, что наш округ останется чист от каких бы то ни было нареканий в лихоимстве» и так далее. В послании, появившемся вслед за назначением Протаса Ивановича на место, было изображено: «Я считаю

долгом объясниться коротко и ясно. Я простой русский человек и изворотов не люблю. Бескорыстие, правдивость и трудолюбие — вот главные качества, составляющие украшение человека, а тем более чиновника. С ними всякий может смело рассчитывать на меня. Я жажду правды, одной правды и ничего более! Пусть каждый смотрит на меня не как на начальника, а как на старшего товарища и попросту, по-русски, говорит в глаза „правду-матку“... Но да трепещет лихоимец, если только таковой скрывается между нами. Пусть лучше он заранее бросает службу, — иначе его ждет немилосердная кара. С хищниками я буду беспощаден. Ни слезы, ни раскаяние, ни многочисленное семейство — ничто не остановит меня... Каждая неправильно стяжанная у казны копейка есть преступление, ничем не оправдываемое».

В Коломне и на Песках эти послания нередко читались вместо посланий святых апостолов, на сон грядущий, и производили немалую сенсацию среди бесчисленной родни Протаса Ивановича.

— Протас-то Иванович каков! Готовился в

ветеринары, а теперь... поди ты!

— Ум, ум-то какой!.. А ведь обучался на медные деньги!

— И правду-то как любит! Намедни, слышал?.. Приехал он в Петербург и явился к князю Остроленкову. Ну, там, разумеется, все по этикету, у князя-то, как следует в высшем обществе, а наш-то простец этого не любит... Князь спрашивает о чем-то дяденькиного мнения, а он-то, наш Протас Иваныч, начистоту: «Извините, говорит, ваше сиятельство, я, говорит, русский, простой человек, я, говорит, не знаю по-французски и всяких, говорит, там выкрутасов... Я от души, напрямки». Да так-таки прямо и выложил ему свою душу-то!

— А князь что?..

— Его сиятельство тоже настоящий русский человек. Он потрепал Протаса Иваныча по плечу так ласково и говорит: «Правды-то нам и нужно, Протас Иванович! Все нынче изолгались и врут, говорит, как сивые мерина. Я и не знаю, кому верить... Так как же не ценить нам таких простых людей, как вы». При этих словах и Протас Иваныч не выдер-

жал — ты знаешь ведь его сердце? — он заплакал и от полноты чувств князя-то в ручку, а сам шепчет: «Не обессудьте, ваше сиятельство! Я, говорит, не могу, сердце переполнено от таких слов... Я русак бесхитростный». И тогда его сиятельство изволили обнять его, и, обнявшись, они простояли так минуты две и оба плакали... А за правду-то Протасу Иванычу велели выдать подъемных две с половиной тысячи... И то сказать: мундирчик-то на нем был ветхенький; его сиятельство обратили внимание, а Протас Иваныч на это замечание опять-таки прямо, наотмашь: «Не из чего мне, ваше сиятельство, новых мундирчиков шить. Можно походить и в старом мундирчике, подкладочку новую ластиковую поставить, что ли, если душа чистая». И тут же, попросту, продекламировал:

*Вот идет Петрушка —
Черный трубочист,
Хоть лицом он грязен,
Но душою чист...*

Его сиятельству очень понравился этот стишок... Он несколько раз заставил Протаса Иваныча повторить его и просил записать на

память, причем, как рассказывал Протас Иванович, дал о стишке такой одобрителный отзыв: «Стишок отменно хорош и остроумен. Автор выразил в нем патриотические чувства и зрелый талант».

II

Одним словом, про дяденьку Протаса Ивановича ходило немало рассказов, свидетельствующих об его уме, находчивости, бескорыстии и, главное, об его способности резать «правду-матку», ни перед кем не стесняясь, с наивной грубостью медведя и с чистосердечием откровенного человека.

И — что всего удивительнее — эта откровенность не только не представляла неудобств, а, напротив, усеяла жизненный путь Протаса Ивановича розами и фиалками.

Протас Иванович еще и в молодых годах не стеснялся резать «правду-матку» и этим самым отличался от своих товарищей по успехам в жизни. Товарищи его не столь плотные, как дяденька, не имели такого пристрастия к откровенности и, напротив, достигли успехов тощим видом, скромностью и готовностью иметь столько правд у себя в боковом карма-

не, сколько находилось над ними начальников.

Дяденьке Протасу Ивановичу, очевидно, не к лицу были такие приемы. Он и в молодые годы был коренаст и необыкновенно толст, имел широкую грудь и короткую шею, на которой была помещена большая голова, с трудом поворачивающаяся, точно она была пришита к затылку. С такую наружностью как ни ухитришься, а трудно пробраться в задний карман начальства и сидеть в нем, как в маленьком раю. Тощему это можно, а толстому — нельзя. И как ни старайся, а никак не сделаешь из румяного, брызжущего здоровьем, широкого мясистого лица с вечно веселой улыбкой — той изжелта-бледной физиономии без улыбки, а с одной только готовностью умереть во всякое время дня и ночи, — которой обыкновенно отличаются худоща-вые люди, достигающие намеченной цели тихонько, не торопясь, более помалчивая, чем болтая.

А мой дяденька к тому же был болтлив, как сорока. Он болтал, не останавливаясь, кряду по пяти часов, сидя за своим письмен-

ным столиком, — и как он ухитрился, это уж его дело, — но только порученные ему дела исполнялись как следует тощими переписчиками. Он, бывало, подмахнет и опять болтает насчет того, что без правды никак нельзя жить на свете такому толстому и веселому человеку.

Он и тогда уж резал «матку-правду», так что худощавые его товарищи не без удовольствия чаяли, что скоро Протаса Ивановича уберут и заменят его тощим человеком. Однажды он так горячо объяснял своему непосредственному начальнику о том, что он русский человек и — «уж прошу меня простить» — любит по простоте резать «матку-правду» (эти два слова были его любимыми и впоследствии он даже испросил разрешение включить их в свой герб), что все худощавые ждали неминуемого скандала, так неистово Протас Иванович бил себя в грудь кулаком и так громко говорил в глаза такие вещи, о которых обыкновенно только думают. Но, к общему изумлению, никакого скандала не произошло. Напротив, непосредственный начальник (тоже из худощавых) как-то особенно

пристально взглядывал на Протаса Ивановича и, когда последний несколько успокоился, вытер слезу благородного негодования, стер пот со своего лба и перестал терзать свою широкую грудь увесистым кулаком, худощавый начальник тихо, с едва заметной улыбкой на тонких губах, взял его под руку, отвел к себе в кабинет и спросил:

— А сколько вам лет, молодой человек?

— Двадцать семь!

— Вы, молодой человек, далеко пойдете... В вас оригинальность есть... Впрочем, как же и не быть?.. Эх вас разнесло как! — улыбнулся начальник не то насмешливо, не то как-то загадочно. — Вам нельзя, как нам, худощавым... Хе... хе... хе... А за вашу правду благодарю... очень даже, но жаль, молодой человек, что я не могу воспользоваться ею как следует... Вы, верно, еще не знаете?.. Я уволен в отставку и... — худощавый запнулся, — и уж не имею возможности оценить вашей прямоты по достоинству!

Худощавый протянул руку и взглянул опять в глаза Протасу Ивановичу, но — странное дело! — Протас Иванович осовел, лицо

его вдруг потеряло выражение благородного негодования, и глаза как-то смотрели вкось, избегая встречи с глазами бывшего непосредственного начальника.

— Ну, желаю вам, молодой человек, всего хорошего... Если, когда что... не забудьте и нас... Эк вас разнесло!.. Хе... хе... хе!..

Когда худощавые товарищи увидали ороселое лицо Протаса Ивановича и весело заключили, что отныне он уж лишен возможности резать «правду-матушку» и должен будет уехать по крайней мере в Америку, — все бросились его поздравлять и пожимать ему руки за мужество и доблесть, только что им проявленные. Но Протас Иванович (недаром он тогда еще был молод!) принял товарищеские излияния как-то холодно и раньше времени ушел домой.

Но когда через неделю худощавые узнали, что выходит в отставку не Протас Иванович, а непосредственный начальник, то изумлению не было пределов. Большинство худощавых вдруг пошли к лучшим врачам и стали настоятельно требовать самых радикальных средств для того, чтобы пополнить. Люди, не

пившие пива, стали душить его в несметном количестве, люди, не любившие мучного, стали надоедать женам, чтобы за обедом было побольше мучного и поменьше говядины.

— Да что это с вами? — говорили жены.

— А то с нами, что нужно нам пополнить.

— Зачем это?

— А Протас Иванович... Слышали?..

Шел, конечно, рассказ о Протасе Ивановиче с приличными комментариями и с прискорбным прибавлением, что он не только не уехал в Америку, а, напротив, получил высший оклад.

Жены, разумеется, охотно стали заказывать пироги, и я не знаю, чем бы кончилась эта революция худощавых, если бы не случилось обстоятельства, заставившего худощавых бросить лечение, пиво и пироги и пожелать снова оставаться в штате худощавых.

Случай вышел такой.

Одного худенького, совсем худенького человека терзала мысль, что ему, несмотря на мучную пищу, пришлось бы, по точному расчету одного известного врача, ждать ровно три года и пять месяцев с восемью днями до

того времени, когда он может достигнуть четверти той плотности, какой обладает Протас Иванович. Худенький не мог похвастать большим терпением. Он решил не дожидаться определенного врачами срока и предупредить товарищей, которые, к его ужасу, стали было уже полнеть не по дням, а по часам. У него созрела мысль, мысль эта была поддержана его супругой, и вот, в одно прекрасное утро, худенький пришел в департамент и сразу заходил по департаменту таким гоголем, что все начали спрашивать: не выиграл ли он двухсот тысяч?

— Нет! — как-то загадочно отвечал худенький.

— Наследство получил?

— И наследства не получал.

— Начальник поцеловал?..

— Нужны мне его поцелуи! — вдруг обрзал он так решительно, что все только разинули рты и не могли проронить слова.

Как раз в ту пору вошел начальник, ласково со всеми поздоровался и, между прочим, заметил самому худенькому:

— А ту бумажечку, о которой я вас просил,

изготовили?

— Нет, не изготовил! — произнес худенький решительно.

Все сидели словно бы очарованные. Даже сам начальник и тот на секунду очаровался.

— Почему?

— А потому, что... Уж вы меня простите... Я русский человек и привык правду-матку резать... Я не могу никак видеть, как нарушается правильное течение бумаг... Я человек откровенный... Я...

И худенький стал колотить себя худеньким кулачком по худенькой груди и, насколько позволяло сил, снова выкрикивать «правду-матку».

— Вы не больны ли? — осведомился начальник.

— Нет-с, я, слава богу, здоров!

— Здоровы? А кажется мне, что вы настолько больны, что вам нужно будет лечиться!

С этими словами начальник ушел.

А худенький все сидит гоголем и думает, что вот-вот ему сейчас же принесут известие о высшем окладе, даже и товарищи его не без

зависти смотрели на его задорный вид и, прозревши каверзу, чуть ли не громко называли его «интриганом» (обещал лечиться и пополнеть и вдруг такую штуку отмочил!). Но когда через два часа худенькому принесли подлинную резолюцию об увольнении без прошения, то он долго еще не мог прийти в себя и, свесив голову на грудь, только повторял:

— Да как же это... как же! А Протас Иванович?

Все худощавые тоже пришли в недоумение и тут же решили бросить диету. Один Протас Иванович весело хихикал и болтал соседу, что ему без «правды-матки» не жить.

И вскоре, как нарочно, открылся блестящий случай доказать это. В те места, где жил дяденька, приехал начальник, который требовал «правды, одной правды и больше ничего». Вслед за тем понадобился откровенный человек, самый, что называется, откровенный, для исполнения какого-то поручения.

Пришли выбирать. Осмотрели всех. Видят, всё какие-то неоткровенные лица, в которых преданности много, но откровенности мало. Хотели было уже уходить, как вдруг взгляд

скользнул по лицу Протаса Ивановича, остановился и радостно блеснул при виде этого широкого добродушного лица. «Господи! Да это самая откровенность и есть! А мы ищем!»

— Молодой человек... Нам нужен...

— Я, ваше превосходительство, не го- жусь! — не стесняясь, перебивает молодой человек. — Я, ваше превосходительство, русский человек и люблю резать правду-матку... Я...

— Да вы позвольте... дайте нам досказать, молодой человек...

Но «молодой человек» стал еще пуще горячиться и забил себя снова так кулаками в грудь, что худощавые опять подумали, что теперь шабаш, придется уехать этому толстяку в Австралию. Они не забыли еще случая с худеньким и испуганно слушали, как толстяк с азартом восклицал:

— Я, ваше превосходительство, не го жусь... Я все, что увижу, все так по-русски, без прикрас, и выложу... Злоупотреблений не прикрою-с... Нет-с... Я русский человек, душа простая, любит правду-матку... Мне главное — правда, без того я сейчас бы умер... И что

жить без правды? Я не умею по-дипломатически... Я попросту, без затей. Нет уж, увольте меня, ваше превосходительство... Я...

Но, к общему изумлению, вместо негодования в глазах начальства стоял тот снисходительно поощрительный взгляд, которым часто матери смотрят на своего резвого малютку, выказывающего, по их мнению, большие способности.

— Такого-то нам и нужно, молодой человек... Одной правды, правды и ничего, кроме правды. Довольно мы слушали льстивых слов. Дайте нам правды!..

И с этими словами молодого человека увели под руку, а худощавые как сидели с разинутыми ртами, так и остались до тех пор, пока не пришел сторож и не сказал, что время закрывать рты.

Молодой человек вполне оправдал доверие. Он говорил правду, одну правду и более ничего.

— Ваше превосходительство... я не могу... Я русский, люблю матку-правду...

— Что с вами, молодой человек?

— Не могу, ваше превосходительство,

скрыть, хотя бы за это мне пришлось пострадать... У нас, ваше превосходительство, сторожа воруют перья и бумагу...

— Благодарю вас, молодой человек, за открытие этого злоупотребления... Очень вам благодарен... Вы знаете, я требую от подчиненных правды, одной правды и более ничего.

— Я, ваше превосходительство, люблю правду. Для меня главное, ваше превосходительство, правда... Я русский простой человек и хитрить не умею...

— Да вы успокойтесь, молодой человек... что с вами?.. Успокойтесь, — говорил начальник, усаживая взволнованного молодого человека в кресло.

— Не могу, ваше превосходительство, успокоиться. Простите, ваше превосходительство, я русский человек, простой... Что на уме, то и на языке...

— И прекрасно... Вы знаете, я прошу правды, одной правды и более ничего...

— Это, ваше превосходительство, меня и трогает... Я, можно даже сказать, полюбил вас, как родного отца, именно за то, что вы

изволите не бояться правды...

— Так что же, молодой человек, вы хотели оказать?.. Говорите!

— Вы, ваше превосходительство... Уж вы меня простите за простоту... Вы изволили поступить незаконно...

Его превосходительство хмурится...

— В чем же, молодой человек?..

— Вы приказали выдать сторожу пять рублей награды, а по закону ему полагается три с полтиной!.. — задыхаясь от волнения, докладывал молодой человек. — Казенный интерес, таким образом, терпит ущерб...

— Спасибо... спасибо. Вы правы... Мы исправим эту оплошность... Благодарю вас! Вы ведь знаете, что я прошу правды, одной правды и ничего более...

Его превосходительство прижал молодого человека к груди.

— Всегда поступайте так... Это честно и благородно... Нам нужны люди, которые не боятся правды.

Кажется, и не особенно мудреные слова говорил Протас Иванович, да вдобавок еще и слова-то были всё одни и те же, и запас их

был далеко не разнообразен, но, сказанные вовремя и с умом, они производили надлежащий эффект, так что слух об откровенном молодом человеке, говорящем правду не стесняясь, тогда как товарищи всё еще продолжали стесняться, распространился повсюду. На молодого человека обратили внимание; ему стали давать лестные поручения. Бескорыстие и откровенность его сделались общепризнанным фактом, так что даже в газетах появились корреспонденции, сообщавшие о появившемся чуде — о человеке, говорящем в глаза правду, одну правду и ничего более. Слава его росла. Ни от каких поручений он не отказывался. Он утверждал, что русский человек все смекнуть может, и любил повторять анекдоты о самоучках... Надо ли было исследовать вопрос о ловле трески, он брался за треску, ехал на место и в неделю исследовал; надо ли было свидетельствовать леса, он, нимало не задумываясь, свидетельствовал; требовалось ли изыскать меры для улучшения конских пород, худо ли, хорошо ли, но он изыскивал и горячо докладывал об этом кому следует.

— На все руки вы мастер! — похваливали его и ценили как правдивого и откровенного человека.

Он, по словам родственников и знакомых, был в молодости превосходный ветеринар и избавил весь уезд от сибирской язвы благодаря средству, дотоле неизвестному в медицине, но выдуманному Протасом Ивановичем (состав из купороса, соли, дегтя и махорки). Затем он был отличным исправником, после чего не менее превосходным педагогом, пока, наконец, не обнаружил необыкновенных высших способностей. «И всегда до всего доходил своим умом, всегда изнутри, из своего русского нутра, выдумывал». Далее рассказывали совсем уж неправдоподобную историю о том, как Протас Иванович десятью хлебами накормил неурожайную губернию*, и, наконец, передавали легенду об огурце, причем в Коломне и на Песках я слышал различные варианты этой легенды; однако основание легенды было одно и то же и относилось ко времени путешествия Протаса Ивановича за границу для изучения на месте различных способов приготовления селедки...

Во время проезда через княжество Лихтенштейн*, ее светлость княгиня Лихтенштейнская удостоила Протаса Ивановича пригласить к себе; хотя Протас Иванович ни по-французски, ни по-немецки не говорил, но тем не менее при помощи мимики и некоторых слов произвел на ее светлость очень хорошее впечатление, особенно после эпизода с огурцом. Вышло это так: показывая Протасу Ивановичу свой огород и жалуясь, что она, принцесса, по малости населения, принуждена сама входить во все и даже смотреть за огородом — иначе того и гляди Бисмарк отнимет и последнее достояние!* — принцесса изволила собственноручно сорвать огурец и предложила Протасу Ивановичу огурец этот скушать, причем указала ручкой, как это сделать. Но Протас Иванович вместо того огурец-то этот поцеловал (в забывчивости не утерев с него даже навоза) и знаками дал понять, что огурец он не съест ни за что, а сохранит его на память, как некоторый талисман. Принцесса Лихтенштейнская, не привыкшая, натурально, к выражению таких благородных чувств — много ль у нее-то и

подданных? — была необычайно этим тронута и дала Протасу Ивановичу еще один огурец, но уже поменьше — немка была скупенька! — но с той поры все узнали, как сильны чувства у нашего Протаса Ивановича!..

Так передавалась эта легенда в Коломне. На Песках она передавалась несколько иначе. Там действующим лицом была не принцесса Лихтенштейнская, а восточный принц Абдул-хан, и рассказывалось уже не об огурце, а о подошве, данной будто бы его высочеством Протасу Ивановичу в подарок и тоже сохраненной дяденькой в качестве талисмана...

Нет сомнения, что все эти легенды сочинялись в Коломне и на Песках многочисленными родственниками, но факт сочинения таких легенд тем не менее показывал, как все любили Протаса Ивановича. И действительно, имя дяденьки произносилось между родными всегда с особенным уважением и какою-то торжественностью, а когда он жаловал к кому-нибудь из родных и подчиненных на пирог или на тарелку супа, то такое посещение давало пищу восторгам на долгое время.

III

И то сказать, как было его не любить! Какую массу родных и знакомых пристроил он к местам... Тому местечко, другому, третьему, десятому... «В пятом колене и то родство признает!» — говорили про дяденьку родственницы. Попросят его за братца или за свояка, он призовет претендента и начнет исповедовать:

— Здравый смысл у тебя есть?

— Кажется, дяденька... Я и аттестат имею...

В гимназии курс кончил...

— Ты глупостей мне не говори... Зачем мне твой аттестат?... Очень нужно мне знать, что ты там разные глупости проходил... Это даже лишнее... Я вот ветеринаром был, а слава богу... Так если бог рассудком не обидел — всему научиться можешь...

— Слушаю, дяденька...

— Только у меня знаешь... Правда и правда... Слышишь?

— Помилуйте...

— То-то!.. Смотри, служи честно и не думай о хищении... Наше ведомство заслужило дурную репутацию на этот счет, но теперь у нас...

У меня тут все видно!.. — добавлял он, показывая на свои таблицы. — Ну, с богом, недельку, другую присмотрись, а там и на место.

Смотришь, Васенька или Петенька уже ехал через недельку, другую на место и годика через два возвращался погостить в Петербург, как будто поперившись... И поступь делалась тверже, и голос уверенней... одним словом, видно было, что человек на кормах.

Помню очень хорошо, как однажды, на вечере у коломенской тетеньки, я встретил одного из таких родственников, пригретых дяденькой.

Митенька был скромный, очень скромный, добронравный и даже чувствительный молодой человек, оперившийся с тех пор, как дяденька пристроил его. До того он искал мест и нередко сокрушался, что покойный папенька его был «неисправимым идеалистом», служил в таможне и умер голяком.

— Если бы папенька побольше думал о своих детях, мы не терпели бы лишений. Я бы кончил курс как следует и был бы подпорой маменьке! — говаривал он, бывало.

Вот этот-то скромный молодой человек

рассказывал мне, как теперь благодаря дяденьке очистилось ведомство и как у них все «честно и благородно».

— Хищения нет?

— Что вы? При дяденьке? — ужаснулся даже молодой человек.

И все родственники в один голос повторили:

— При дяденьке? При Протасе Иваныче?! Как вам не стыдно подумать!

И затем начались перечисления добродетелей Протаса Ивановича. Сколько он делает добра! Какой он родственный! Дошло до того, что стали стыдить меня за то, что я родной племянник и не схожу попросить себе места.

— Да у меня, слава богу, есть работа; целый день занят!

— Все равно... Он тебя запишет для жалованья — он примет во внимание твое семейное положение... Он добрый. Вот Петя, Женечкин брат, двести рублей в месяц получает, а живет в Париже... А Костя Куроцапкин, двоюродный племянник?.. А Васенька?.. А Колю командировали в Италию, чтоб дать возможность жене его лечиться в Ницце...

Следовало еще перечисление имен... Все оживились, восхваляя наперерыв дяденьку Протаса Ивановича. Коломна и Пески читали единодушно акафист*. Никто не находил странным, что можно получать жалованье, не ходивши даже на службу. «Все равно, по штату деньги полагаются... Не возвращать же их в казну... Пусть лучше пойдут бедному человеку!» и так далее. Тут же, в виде похвалы Протасу Ивановичу, сообщили, как он, выдавая дочь замуж за своего подчиненного, испросил пособие и для жениха и для себя. Приданое и сделал. Мало-помалу из рассказов выяснилось, что Протас Иванович и от командировок получает довольно и что, наконец, Протасу Ивановичу и землицы изрядный кус отрезали в Западном крае, и всё за его прямоту да честность...

Одна только Агафья Тихоновна, ядовитая вдова статского советника, восстала против общего мнения и зашипела. Она назвала Протаса Ивановича «Пролазом Ивановичем» и даже выказала арифметические способности, начавши перечислять, сколько дяденька «срывает» в год разных дополнительных сбо-

ров. То же и относительно подчиненных дяденьки она далеко не была того мнения, чтобы они поступали честно и благородно. «Отчего это „некоторые“ (и при этом Агафья Тихоновна довольно ехидно взглянула на скромного молодого человека), уезжая на службу, с позволения сказать, без сапог и получая — „мы знаем, какое жалованье!“ — годика через два дарят женам черно-бурых лилиц и покупают брильянты... Небось на жалованье?!?»

Но ядовитой статской советнице не дали продолжать. На нее напали со всех сторон, и кто-то прямо выпалил, что она имеет «личности» против дяденьки.

— Она за сына хлопотала, а Протас Иваныч, при всем желании, не мог определить сынка ее! — говорила мне под шумок одна молодая родственница. — Ты ведь знаешь, какой оболтус ее сынок? Идиот совсем! До пятидесяти сосчитать не может. Дяденька принужден был отказать, вот она и злится на дяденьку!

Несмотря на протесты, статская советница продолжала, однако, отбиваться. То и дело с

ее уст срывались ехидные замечания насчет «Пролаза Ивановича». И даже — о святотатство! — легенду об огурце она норовила объяснить совсем иначе...

Солидный молодой человек, однако, успел утишить бурю, пошептавшись с тетенькой Агафьей Тихоновной. Что такое он шептал, бог его знает, но только Агафья Тихоновна усмирилась! После сказывали, что он ей обещал подарить персидскую шаль, приобретенную им по случаю. Надо тут заметить, что почти все предметы ввоза приобретались в этой компании «по случаю» и, таким образом, «случай» был хорошим подспорьем по хозяйству.

К концу ужина, когда вина, приобретенные тоже, разумеется, «по случаю», внесли еще большее оживление, скромный молодой человек, сидевший рядом со мной, значительно подпил; на Митеньку вдруг напала какая-то отвага, и он счел своим долгом высказаться. Во-первых, он заявил о своих гражданских чувствах, хотя в них никто не сомневался, и объявил громогласно, что он истинный патриот. Затем стал рассказывать, как он жи-

вет в своей провинции. У него и повар и лошадки резвые, дом — полная чаша, жену он балует, маменьке служит подпорой, вообще живет как «порядочный человек».

— И на черный день кое-что прикапливаем! — прибавил он горделиво в заключение.

— Видно, дешево жить?

— Дешево не дешево, а жить там хорошо. Можно жить, братец!

— Доходцы есть?

— Есть-таки и хорошие доходцы!..

Испробовав вин разных сортов, сосед мой окончательно вошел в азарт. Глаза его загорелись плотоядным блеском, когда он стал пояснять мне, какие у них доходцы. Мне казалось, что он хвастал, фамильярно обращаясь с цифрами, и тогда он, несколько даже обиженный, что я не верю ему, входил в подробности и хвалился, как все это у них правильно и хорошо организовано, совсем на коммерческом основании. Притом он ни разу не упомянул слова «взятка», а говорил лишь о «комиссии», о «соглашении» и тому подобном. Чем более он рассказывал, тем более оживлялся и бахвалился.

— Прежде не то еще было! — проговорил он, видимо довольный произведенным впечатлением.

— Неужто?

— Это, братец, целая поэма... Тогда в два-три года можно было, при случае, нажать огромное состояние... Например, если партия фальшивых ассигнаций или...

— Но как же дяденька?.. — перебил я, — ведь у него таблицы?

— Таблицы?! — засмеялся Митенька пьяным смехом. — Как же, как же! Дяденька превосходный человек, но тут у него гвоздь! — показал он на свой лоб. — Таблицы?! Мы над этими таблицами много смеемся. Ведь у нас, братец, жизнь, а не таблицы!

И он снова разразился самым паскудным смехом.

Я вспомнил, что этот скромный молодой человек в дяденькиной «таблице нравственности» значился под лиловым кружком, и, признаться, пожалел дяденьку...

— Мы очень ценим дяденьку! — продолжал молодой человек, — очень ценим и никогда не подведем его, нет! У нас все довольно

остроумно устроено...

IV

Месяца через два после этого разговора пронесся зловещий слух о грандиозном хищении в ведомстве, где служил дяденька; говорили, что прикосновенных накрыли. Вскоре слух этот попал и в газеты; по словам корреспондентов, обнаружилось нечто действительно колоссальное. В Коломне и Песках наступила паника.

Все родственники ходили как ошалелые; многие отправились пешком к Сергию* излить горе в молитве; нечего и говорить, что все сочувствовали Протасу Ивановичу, бранили этих «подлецов», забывших бога, которые подвели дяденьку, и горько сожалели, что теперь, пожалуй, многим из них не придется приобретать «по случаю» разных необходимых предметов по хозяйству. «Как-то теперь будет жить дяденька?.. Он ведь себе ничего не прикопил! Бессребреник ведь дяденька!» Но ехидная статская советница и при таких обстоятельствах не удержала своего языка.

— Пролаз-то Иваныч не прикопил? — заметила она. — Он-то?!

И, задыхаясь от волнения, словно боясь, что ей не дадут говорить, она начала перечислять, сколько «урвал» дяденька разными подъемными, пособиями, остаточными и так далее, и заключила свою ехидную речь восклицанием: «Пролаз Иваныч не пропадет... не таковский!»

Я отправился к дяденьке Протасу Ивановичу узнать правду. Вхожу в кабинет. Он шагает быстрыми, нервными шагами, взволнованный, расстроенный. Увидав меня, он остановился, протянул руку и остановил на мне свой взгляд. Какое-то недоумение стояло в этом взгляде маленьких глаз, в чертах этого мясистого, широкого лица.

— Кто бы мог этого ожидать! — проговорил он наконец. — Кажется, у меня сосредоточены все сведения... (Он указал рукой на стену, покрытую картами и таблицами.) И вдруг... Подлецы!

Я не знаю, закралось ли в его гениальную голову чувство недоверия к таблицам, или какая-нибудь новая «предупреждающая» таблица озарила его мозг, но только он поник головой и несколько времени молча стоял перед

этими таблицами, скрестивши руки, как Наполеон на статуэтках.

— Кажется, я должен был служить им примером! — с горечью проговорил дяденька. — Я действовал честно, и эти подлецы меня подвели, а еще родственники! Ты знаешь, Митенька один из главных мошенников? Митенька, которого я в люди вывел!

Он разразился гневом и обещал никого не пощадить. Себя он считал невинной жертвой.

Дяденька Протас Иванович в самом деле был поражен. Слишком уж грандиозное было хищение; практиковалось оно давно и было организовано по всем правилам мошеннического искусства. А не он ли был уверен, что уничтожил хищение и завел настоящие порядки? Не он ли выдумывал таблицы, даже осуществил мою мысль о диаграмме нравственности и писал грозные послания к подчиненным коринфянам?* По поводу этих посланий некоторые газеты даже пришли в умиление и прозрели новую эру. Не он ли, в начале своей деятельности, показал пример на двух чиновниках, повинных в лихоимстве? Не он ли ежегодно получал подъемные,

чтобы лично удостовериться, везде ли порядок и правда, везде ли то самое, что показывали ему таблицы?.. Он ездил, осматривал, одобрял и вдруг приходится стукнуться крепким лбом в стену и увидеть в один прекрасный день — и то по указанию других, — что все это здание с таблицами, циркулярами, экзаменами и прочим и прочим, выводимое с любовью и гордостью, — построено на песке и оказывается вполне гнилым и никуда негодным... Хищение не только не было уничтожено, но как будто нагло смеялось в глаза и говорило:

«На-ко съешь!»

Комментарии

Мрачный штурман*

Впервые — в журнале «Вестник Европы», 1889, № 8, с подзаголовком: «Картинки былой морской жизни».

Шербург (Шербур) — город во Франции.

Манилка — сорт дешевых сигар.

Марсальца — марсала — крепкое десертное виноградное вино.

Чирутка — сорт дешевых сигар.

Вист — карточная игра.

Роббер — карточный термин, означающий тройную партию при игре в вист.

...карла Черномор перед Людмилой!.. уйдем — явится и Руслан!.. — Имеются в виду персонажи поэмы А.С.Пушкина «Руслан и Людмила» (1820).

В настоящее время штурмана упразднены. — По положению о Морском ведомстве, утвержденному 3 июня 1885 года.

Авгур — здесь: посвященный в недоступные другим тайны. В древнем Риме так называли жрецов, толковавших волю богов по пе-

нию и полету птиц.

Эмеритура (лат.) — особая пенсия, выдававшаяся уволенным в отставку служащим гражданских и военных ведомств из сумм эмеритальных касс, средства которых составлялись из обязательных отчислений от жалования этих служащих.

...игравшая запоем в мушку... — *Мушка* (франц.) — старинная карточная игра, одно время очень распространенная в петербургских клубах.

Нефрит — камень зеленоватого цвета, применяющийся при поделочных работах.

Чечунча — правильно: *чесуча* (кит.) — суровая платяная ткань, вырабатываемая из особого шелка.

Крепон — толстая шерстяная ткань.

Остров Гогланд — находится в Финском заливе.

Ландскнехт — старинная немецкая карточная игра.

Честер — сорт сыра.

Марсала — крепкое десертное виноградное вино.

Эль — английское крепкое ячменное пиво.

Стереоскоп — прибор, дающий объемное изображение рисунка.

Ревель — ныне г. Таллин.

Истинно русский человек*

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1890, № 230, 234, под названием: «Встреча в Париже» и общим заголовком: «Маленькие рассказы». Включено в сборник «Современные картинки», СПб., 1892.

Трактир Палкина — располагался на Невском проспекте.

Кант, Иммануил (1724–1804) — немецкий философ, родоначальник немецкого классического идеализма.

Цивические. — Цивизм — гражданские чувства.

Журфикс — постоянные дни для приема гостей (франц.).

Департаментский «юс». — Юс — здесь в значении законник, крючоктвор (устар.).

«Ласточка» — название ежемесячного журнала «для дам и девиц», издававшегося в Петербурге в 1859–1860 годах.

«Шепот, робкое дыханье, трели соловья»... — начальная строка известного стихотворения А.А.Фета.

Гессейнская (гессенская) муха — хлебный комарик, насекомое, истребляющее хлебные посевы.

Во время «сербского возбуждения»... — Имеется в виду восстание 1875 года в Боснии и Герцеговине, знаменующее собой начало нового этапа борьбы славянских народов против владычества турок.

...трещал о «славянской идее»... распинался за «братушек-болгар»... — В 70-е годы в России развернулось широкое общественное движение в пользу братских славянских народов в связи с восстаниями в Боснии и Герцеговине, жестоким подавлением турецкими войсками Апрельского восстания 1876 года в Болгарии и другими событиями национально-освободительной борьбы славян.

...когда объявлена была война... — Русско-турецкая война началась 12 апреля 1877 года.

Плевна заставила его приунуть... — После ряда неудачных попыток русская армия це-

ной огромных потерь взяла Плевну 28 ноября 1877 года.

...«целокупной» *Болгарии*... — По Сан-Стефанскому договору, подписанному 19 февраля 1878 года, Болгария превращалась в вассальное по отношению к Турции государство, но объявлялась автономным княжеством с правом избрания князя.

Царьград — старое название Константинополя.

Сан-стефанский «восторг»... сменился *берлинским «унынием»*. — Имеется в виду Берлинский конгресс 1878 года, пересмотревший решения Сан-Стефанского мирного договора в ущерб России и славянским народам. Представителем Англии на этом конгрессе был премьер-министр Биконсфилд, председательствовал канцлер Германии Бисмарк.

«Вперед, друзья, без страха и сомненья»... — Контаминация двух первых строк стихотворения А. Н. Плещеева (1825–1893) «Вперед!» (1846).

Комильфотность — то есть соответствие правилам приличия (франц.).

...*считает ее очень «мовежанрной»*... — то

есть дурного тона (франц.).

Франценсбад, Мариенбад — известные австрийские курорты (были расположены на территории нынешней Чехословакии).

Эйдукунен — прусское местечко и железнодорожная станция на русско-прусской границе.

«*Chouberski*» — экономичная переносная комнатная печь (франц.).

Карно, Мари Франсуа Сади (1837–1894) — французский государственный деятель. С 1887 года — президент французской республики.

Вестончик — пиджачок (франц.).

Пассажирка*

Впервые — в газете «Русские ведомости», 1892, №№ 186, 190, 202, 218, 232, 248, 267. 271, с подзаголовком: «Из воспоминаний бывшего моряка» и посвящением Н. Г. Гарину — писателю Николаю Георгиевичу Гарину-Михайловскому (1852–1906).

...похож на Бобчинского... — По «замечаниям для господ актеров» Гоголя Бобчинский —

низенький, коротенький, очень любопытный, с небольшим брюшком, говорит скороговоркою к чрезвычайно много помогает жестами и руками.

Сакраменто — город на западе США.

Стракулист (строкулист) — прозвище приказных.

Каначки. — Канаки — старинное название жителей островов Полинезии; на языке туземцев Гавайских островов «канак» — человек, житель страны.

...я ему задал «ассаже» — то есть осадил, образумил.

Сангарский пролив — между островами Хонсю и Хоккайдо (Япония).

Гревзенд (Грейвзенд) — город на восточном побережье Англии.

...барышня из баррума... — то есть из небольшого ресторана, бара.

...с Станиславом на шее и Анной в петлице... — Станислав — польский орден, с 1831 года вошедший в состав российских орденов; Анна — орден св. Анны, учрежденный с 1797 года.

...за... столом... заваленным газетами и

иллюстрациями... — Иллюстрации — здесь в значении: иллюстрированные журналы.

Тамаринд — тропическое вечнозеленое дерево.

...«волнуясь и спеша»... — нередко встречающаяся в произведениях Станюковича цитата из стихотворения Н. А. Некрасова «Памяти друга» (1853).

Зафранкировать — то есть предварительно оплатить доставку.

Страдалец*

Впервые — в сборнике «Современные картинки», СПб., 1892.

Фома неверный — один из двенадцати апостолов, пожелавший удостовериться в воскресении Иисуса Христа.

Бубновый туз — цветной матерчатый четырехугольник, пришивавшийся на спину арестантского одеяния.

У них... свой патриотизм... сибирский... специфический, как петрушкин запах... — то есть стойкий, тяжелый, затхлый; сравнивается здесь с тем особенным, «собственным запа-

хом», который имел один из персонажей «Мертвых душ» Н. В. Гоголя — лакей Чичикова Петрушка (том 1, гл. 2).

...«слова, слова, слова!», как говорил Гамлет... — в трагедии Шекспира «Гамлет» (акт 2, сц. 2).

Рождественская ночь*

Впервые — в сборнике «Рассказы из морской жизни», СПб., 1892.

Батавия — город на северо-западном побережье острова Ява (ныне — столица Индонезии, Джакарта).

Пакгауз — специальный склад для хранения грузов при железнодорожных станциях, портах и т. п.

Дяденька Протас Иванович*

Впервые — в сборнике «Современные картинки», СПб., 1892, с подзаголовком: «Из прошлого».

Основой для рассказа послужил один из очерков цикла «Картинки общественной жизни», напечатанный в журнале «Дело»,

1882, за подписью: Откровенный писатель.

...как Протас Иванович десятью хлебами накормил неурожайную губернию... — «Деяние» Протаса Ивановича автор уподобляет евангельскому чуду (Евангелие от Луки, гл. 9, ст. 13–17).

Княжество Лихтенштейн — государство в Центральной Европе на правом берегу Рейна.

...Бисмарк отнимет и последнее достояние!.. — С 70-х годов княжество Лихтенштейн, по существу, находилось в зависимости от Австрии, которая, в свою очередь, по договору 1879 года попала в зависимость от Германии, правительство которой возглавлял канцлер Бисмарк.

Акафист — род хвалебного церковного песнопения.

...пешком к Сергию... — Имеется в виду Троице-Сергиевская пустынь в 15 верстах от Петербурга.

...писал грозные послания к подчиненным коринфянам? — то есть обличал и наставлял своих подчиненных на путь истины, подобно тому, как это делал апостол Павел в своих по-

сланиях к членам христианской общины Коринфа.

Примечания

«Чиновниками» матросы называют всех нестроевых: писарей, фельдшера, баталера, подшкипера. — Прим. автора.

[^^^]

баловень (фр.).

[^^^]

выгоду (от фр. profit).

[^^^]

коньяка (фр.).

[^^^]

5

гражданских чувств (от лат. *civils* — гражданский).

[^^^]

с глазу на глаз (фр.).

[^^^]

7

запутанности (от лат. complicatio).

[^^^]

8

желудочная лихорадка (лат.).

[^^^]

Исключительное положение штурманов во флоте явилось главным образом вследствие сословного различия. Дело в том, что прежде флотскими офицерами могли быть лишь потомственные дворяне. Представители других сословий не имели доступа в морскую (флотскую) службу. Штурмана же (как и механики, и морские артиллеристы) не принадлежали к привилегированному классу и были из разночинцев — из так называемых «обер-офицерских» детей, из личных дворян, из бывших кондукторов и т. п. В настоящее время штурмана упразднены.* (Прим. автора.)

[^^^]

Содержателем кают-компаний называется офицер, выбираемый всеми членами кают-компаний заведовать хозяйством. Обычно выбирают на шесть месяцев, после чего делают новые выборы. (Прим. автора.)

[^^^]

Если офицеры недовольны за неделю капитаном, то обыкновенно они не приглашают его. Эти приглашения делаются по большинству голосов. (Прим. автора.)

[^^^]

Бискайский залив. — Прим. автора.

[^^^]

Перед крушением у русских матросов есть обычай надевать чистые рубахи. — Прим. автора.

[^^^]

Леера — веревки, протягиваемые вдоль судна во время сильной качки. — Прим. автора.

[^^^]

Здесь: вполне приличен (фр.).

[^^^]

дурным тоном! (фр.)

[^^^]

господин Серж (фр.).

[^^^]

Здесь: образец (фр.).

[^^^]

Дальше, дальше! (фр.)

[^^^]

Два гренадина, пожалуйста! (франц.)

[^^^]

«Свобода, Братство, Равенство» (франц.).

[^^^]

Государственный советник (франц.).

[^^^]

табачная лавка! (франц.).

[^^^]

вход бесплатный (франц.).

[^^^]

господин и дама (франц.).

[^^^]

«важный господин» (франц.).

[^^^]

«Голосовать, голосовать!» (франц.)

[^^^]

«мой маленький поросеночек» (франц.).

[^^^]

мадам Дюран (фр.).

[^^^]

«Научного обозрения» (фр.).

[^^^]

Экипаж флотский — то, что в армии полк. —
Прим. автора.

[^^^]

В старину моряки кругосветное плавание называли «дальним вояжем». — Прим. автора.

[^^^]

Шлюп — трехмачтовое судно, похожее на нынешние корветы. — Прим. автора.

[^^^]

Интрипель — абордажный топор. — Прим. автора.

[^^^]

Нок — оконечность рангоутного дерева. Грот — вторая мачта на корабле. Марс — полукруглая площадка на мачте корабля. Рея — горизонтальный брус на мачте, служащий для привязывания парусов.

[^^^]

Дурной тон (*франц.*).

[^^^]

Ожерелье с застежкой (от франц. *fermoir* — застежка).

[^^^]

как у Генриха IV (фр.).

[^^^]

На все руки мастер... (фр.)

[^^^]

происшествиями (фр.).

[^^^]

Здесь: промедлений затруднений (ит.).

[^^^]

широкая публика (фр.).

[^^^]

широкая публика (фр.).

[^^^]

Здесь: высшего общества (фр.).

[^^^]

пиджачок (от фр. veston — пиджак).

[^^^]

мужеподобная женщина (фр.).

[^^^]

наличные деньги (фр.).

[^^^]

прощайте... (ит.)

[^^^]

Двумя парами! (фр.)

[^^^]

Моряки говорят. «Снасть заела», то есть снасть не идет, остановилась. (Прим. автора.)

[^^^]

люблю тебя, люблю тебя (итал.).

[^^^]

Шифоньерка. (Прим. автора.)

[^^^]

наедине (франц.).

[^^^]

аппетит приходит во время еды (франц.).

[^^^]

гостиную (англ.).

[^^^]